

И. А.  
БУНИН

# И. А. БУНИН

---



1







И. А. БУНИН.  
Фотография 1915 года.

# И.А. БУНИН

---

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ПЯТИ ТОМАХ



ТОМ ПЕРВЫЙ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»  
МОСКВА 1956



Собрание сочинений  
осуществляется под наблюдением  
Л. В. Никулина

Подготовка текста и примечания  
П. Л. Вячеславова

## И. А. БУНИН

### 1

В майские дни 1887 года из почтового отделения в Озерках, Елецкого уезда, Орловской губернии, шел семнадцатилетний юноша, рвал в лесу росистые ландыши и перечитывал стихотворение, напечатанное в журнале «Родина».

Стихотворение кончалось так:

Грустно видеть, как много страданья,  
И тоски, и нужды на Руси!

Это было первое опубликованное стихотворение Ивана Бунина, непосредственно связанное с впечатлениями его детства и юности.

Иван Алексеевич Бунин родился в Воронеже в 1870 году; детство и юность провел в деревне. Он так писал о себе в автобиографических записях:

«Я происхожу из старого дворянского рода, давшего России немало видных деятелей, как на поприще государственном, так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина и Василий Жуковский, один из корифеев русской литературы, сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальхи».

Отец Бунина, Алексей Николаевич, в молодости был офицером, участвовал в обороне Севастополя в 1854—1855 годах, потом жил беззаботно, широко, прожил не одно имение — свое и жены и полученные в наследство. Разорившись, он поселился с семьей на хуторе Озерки, в Елецком уезде.

Это был вспыльчивый, беспечный, но в общем добродушный человек, убежденный в преимуществе своего стародворянского, барского происхождения даже в те годы, когда почти всюду в России происходило оскудение дворянства и запустение помещичьего землевладения. «Хозяйствовать-то, — иронически замечал он, — слава богу, уж не над чем». И хотя отец, в сущности, был первым виновником разорения и бедственного положения семьи, Иван Бунин любовно писал о безалаберной, вздорной натуре отца; он выведен в образе Петра Петровича Хрущова в рассказах «Суходол», «Подснежник» и в других произведениях.

Жизнь на хуторе, общение с крестьянами, с народом проникновенно отразились в лучших произведениях Бунина.



«Тут, — писал он, — в глубочайшей полевой тишине, среди богатейшей по чернозему и беднейшей по виду природы, летом среди хлебов, подступавших к самым нашим порогам, а зимой среди сугробов, и прошло все мое детство, полное поэзии печальной и своеобразной».

Бунин говорил, что писателем он стал как-то само собой, «рано и незаметно», что в детстве у него была склонность к музыке, живописи и ваянию. В Ельце Бунин-гимназист помогал в работе мастеру, который делал надгробные памятники. В Одессе в молодые годы писатель был близок к кружку южнорусских художников, «хотел быть художником, часами глядел на цветы, на солнечный свет и тени, на синеву неба».

«Почему же все-таки не стал я ни музыкантом, ни ваятелем, ни живописцем?» — спрашивает Бунин и не дает на это ответа. Склонность к восприятию красок, цвета, объема впоследствии помогла ему в той «живописи словом», которая у Бунина впечатляет читателей, в особенности в пейзажах русской природы. Склонность к музыке рождала ту музыкальную ткань бунинской прозы, тот особый, присущий писателю ритм, который пленяет нас в его повествовании.

Естественно, что на развитие литературного дара юноши влияла не только окружающая его природа, но среда, близкие люди. Бунин говорит о влиянии, которое имел на него его воспитатель, обедневший дворянин, скитавшийся по деревням и усадьбам, начитанный, образованный, много видевший на своем веку человек. От него Бунин слышал о Гоголе, которого его воспитатель видел на балу, окруженного почитателями. Они слушали рассуждение Гоголя о законах фантастического в искусстве. Смысл его суждения был такой: можно писать о яблоне с золотыми яблоками, но не о грушах на вербе.

Мальчик запомнил этот рассказ после того, как прочитал «Страшную месть» Гоголя, повесть, «самый ритм которой всегда волновал меня необыкновенно», — отметил позднее в своих записках Бунин.

С особенной теплотой и сердечностью Бунин вспоминал своего старшего брата, Юлия Алексеевича. Это был хорошо образованный человек, участвовавший в общественной и политической жизни, переживший тюремное заключение и ссылку в уездную глушь. Именно Юлий Бунин пробудил в младшем брате любовь к книгам, «один вид которых давал мне почти физическое наслаждение», но, по его же словам, все то, что помогало ему в творчестве, он черпал «не из книг, а из общения с людьми». Жизнь подростка складывалась печально. В Ельце, обучаясь в гимназии, Бунин жил у помещан и купцов, был близок «к тяжкому быту помещанских и купеческих домов» и оттого так правдиво и образно описал этот быт в некоторых своих рассказах. С горечью вспоминал Бунин «хождение в училище, где гибло наше детство, полное мечтами» («Над городом»).

Бунин дошел только до четвертого класса гимназии, вернулся на хутор к родителям, не зная, чем заняться. Разорение семьи чувствовалось все сильнее и сильнее, и юноша вынужден был уехать из родного дома. Именно в эту пору его жизни и появилось в журнале «Родина» первое напечатанное стихотворение Ивана Бунина.

## 2

В начале своей самостоятельной жизни Бунин поселился у брата в Харькове, затем переехал в Орел, работал в местной газете, писал «с кривой улыбки газетным жаргоном» о провинциальном быте, благотворительных учреждениях, был корректором, служил

статистиком в земстве в Полтаве, служил библиотекарем, усердно учился, писал, ездил, ходил по Украине.

С 1888 года имя Бунина начинает появляться в книжках «Недели», где часто печатались произведения Льва Толстого, Щедрина, Глеба Успенского. В 1894 году Бунин пробует силы в прозе. Первый его рассказ, «Танька», напечатан в журнале «Русское богатство». Редакция дала название рассказу «Деревенский эскиз», и редактор журнала Н. К. Михайловский предвещал уже тогда, что из автора выйдет «большой писатель».

В следующем, 1895 году в журнале «Новое слово» напечатан рассказ Бунина «На край света», проникнутый горячим сочувствием к переселенцам, которых голод и нужда гнали из родного села в далекий Уссурийский край. Рассказ привлек внимание читателей и литераторов, и хотя Бунин впоследствии скептически относился к тем своим произведениям, в которых отражались мысли и чувства либеральных кругов общества девяностых годов, все же крепнущее дарование писателя отражалось и в этих ранних рассказах.

До 1894 года Бунин, как он рассказывает в своих «Автобиографических заметках», не видел ни одного настоящего писателя. Ему и в этом посчастливилось: первая встреча его была значительной для всей его жизни, — в 1894 году, в январе месяца, он встретился с Львом Толстым. Беседа с великим писателем не была случайностью, она связана с увлечением Бунина идеями Толстого.

В 1895 году Бунин приехал в Петербург, познакомился с членами редакции журнала «Русское богатство», и с того времени ширятся его литературные связи.

«Я увидел сразу четыре литературных эпохи: с одной стороны Григорович, Жемчужников, Толстой; с другой — редакция «Русского богатства» — Златовратский; с третьей — Эртель, Чехов; а с четвертой — те, которые по слову Мережковского уже «преступали все законы, нарушали все черты». Иначе — декаденты.

После книжки стихов Бунина, «чисто юношеских, не в меру интимных», в 1897 году вышел в свет сборник его рассказов, встреченный почти единодушными похвалами. Но вслед за таким важным событием в жизни молодого писателя он замолчал на несколько лет, изредка печатал только стихи, однако эти годы имели для него важное значение. Это было время переоценки всего, что он написал в прозе, время странствий, наблюдений, время, когда Бунин не столько пишет, сколько готовится к тому, чтобы стать писателем с своим собственным литературным стилем, языком, «учится видеть и запоминать, воспринимая все зримое и переживаемое, как материал для творчества».

В «Гюлистане» иранского поэта Саади Бунина поразила такая мысль: «У всякого клада лежит стерегущий оный клад стоглавый змей». Клады берутся не «голыми руками и с превеликой легкостью... тут борьба не на жизнь, а на смерть. Вечная, бесконечная, до гробовой доски». Стремление к совершенству, взыскательное отношение к литературному труду Бунин принял как правило и не отступал от него в лучших своих произведениях.

Очень много дали молодому писателю его странствия. В ту пору он, говоря его же словами, «был влюблен в Малороссию, в ее реки, в ее села и степи, жадно искал сближения с ее народом, жадно слушал песни и душу его». Лирический рассказ «Лирник Родион» (в первой редакции он назывался «Псальма») проникнут любовью к украинскому народу, восхищением его одаренностью.

Стремление писать о народе, быть близким к народу, естественно, рождало в молодом писателе интерес к писателям-народникам.



В ранней своей молодости Бунин застал в живых Глеба Успенского и Златовратского.

О Левитове, Глебе и Николае Успенских, которые «были столь талантливы, что можно и теперь перечитывать их», Бунин говорит в своих записях с уважением, сожалел о горькой судьбе Николая Успенского, в расцвете таланта лишившего себя жизни.

Рассказы Николая Успенского Бунин особенно ценил потому, что в них не было стремления вызвать сострадание к безответному, кроткому крестьянину, — в этих рассказах не было народнической сентиментальности.

Об уважительном его отношении к некоторым писателям-народникам следует напомнить, в особенности, если сопоставить отношение молодого писателя к декадентам, о которых он всегда упоминал с иронией и даже с язвительной насмешкой.

Одно время Бунин считал себя толстовцем; об этом увлечении толстовским учением читаешь между строк в рассказах «В августе» и «На даче». Но впоследствии к идеям толстовцев Бунин относился с иронией, с юмором описал попытку распространять книжки издательства «Посредник». С юмором пишет он о том, что едва не пострадал за свое «толстовство». От трехмесячного тюремного заключения за торговлю книжками без разрешения его избавил манифест по случаю рождения престолонаследника.

Но перед Львом Толстым — писателем и человеком — Бунин благоговел. Это был единственный писатель, который произвел на Бунина «истинно потрясающее впечатление»: «Я почти весь свой век прожил в страстной любви к нему». О Толстом и Чехове он пишет в своих литературных воспоминаниях последнего периода тепло и любовно.

Особенности характера Бунина сказывались уже в молодые годы. В своих «Записях» он писал о себе: «Я уже тогда стал слагаться в того бодрого, общительного и расточительно веселого человека, каким почти всегда был впоследствии на людях». Замечание о том, каким писатель старался быть «на людях», бросает свет на некоторые особенные черты его характера.

### 3

Годы, о которых Бунин писал:

В чужом мне мире сложном и огромном  
Я молод был, безвестен, одинок...—

эти годы прошли. Литературная судьба Бунина складывалась счастливо. Критика в общем восхваляла его произведения; после первой книжки рассказов его именовали «певцом осени, грусти и дворянских гнезд», отдавали должное его прекрасному языку.

Жизнь в детстве и юности на хуторе, постоянное общение с соседями, бывшими крепостными крестьянами, обогатили язык писателя. От них Бунин услышал рассказы о печальном прошлом, о крепостном праве, услышал народные поэтические сказания. Крестьянам и дворовым отца и деда он обязан многим в своем творчестве. Бунин вырос, он сам пишет, «в том плодородном подстепье, где московские цари, в целях защиты государства от набегов южных татар, создавали заслоны из поселенцев различных русских областей, где благодаря этому образовался богатейший русский язык и откуда вышли чуть не все величайшие русские писатели во главе с Тургеневым».

В своих «Записях» Бунин приводит примеры языка помещиков

с его архаизмами и галлицизмами и своеобразного, яркого языка дворовых. Он обращает внимание на сходство этого народного языка, с его старинными оборотами и словами, с языком времен удельной Руси. Бунин подмечает и странные, пришедшие с Запада слова — для примера «кампан» — колокол. (Кампанила — по-итальянски колокольня.) В рассказе «Брань» восьмидесятилетний старик-крестьянин говорит о дворянах:

«— Ну, разорился, ну, именье свое прожил, а все-таки честь свою держи, алебарду не опускай!»

В рассказах Бунина о деревне поражает точность, подлинность крестьянской речи — достоинства, которые мы находим только в произведениях наших великих писателей, прежде всего у Толстого. Не только народная речь восхищает нас у Бунина, но и вообще мастерство, с которым он передает язык разных слоев общества, переходит к повествованию от автора. Наконец высокие достоинства переводов с английского, французского у Бунина объясняются тем, что он находил точные, звучные, красивые русские слова, передававшие нам прелесть стихов, написанных на чужом языке.

В те годы странствий и исканий Бунин печатал стихи — картины природы, переводы стихов английских и французских поэтов. «Чужое было легче передавать», — замечает он. Он перевел «Песнь о Гайавате» американского поэта Лонгфелло, перевел не только точно, но, стремясь передать всю красоту подлинника, работал с горячей любовью к произведению, «дорогому еще с детских лет». Эпос североамериканских индейцев, «Песнь о Гайавате», переведен поэтом, в каждом стихе чувствуется поэт. За перевод поэмы Лонгфелло Академия наук наградила Бунина Пушкинской премией.

Некоторые рассказы Бунина, написанные в девяностых годах, заслуживают особенного внимания; русская жизнь, жизнь крестьян, угнетенных, ограбленных помещиками и кулаками, без прикрас предстает перед читателями. В то время, когда царил дух Победоносцева и Плеве, даже сочувствие голодающим крестьянам, забитым, «сдерживающим шапки» перед станционным носильщиком, упоминание о мальчике, истомленном, «до времени» вытянувшемся на работе, в рассказе «На чужой стороне» воспринималось махровыми реакционерами как дерзостный выпад, и нужно было иметь гражданское мужество, чтобы писать правду, притом в тягчайших условиях, которые создала для печати цензура.

Бунин писал в ту пору главным образом от первого лица; временами это были не рассказы, а очерки, написанные мастерским пером, острые наблюдения того, что видел писатель. Вот рассказ-очерк «Новая дорога» с поэтическими пейзажами лесной глуши, где сонно течет и теплится «забытая жизнь родины». Эту глушь должна пробудить новая железная дорога; со страхом встречают перемену привычки к старому укладу жизни крестьяне. Восхищение «девятственно-богатой страной», сочувствие ее «молодому, замученному народу», ощущение пропасти, отделяющей автора от страны и народа: «Какой стране принадлежу я, одиноко скитающийся? Она бесконечно велика, и мне ли разбираться в ее печалях...» — этими грустными раздумьями проникнут рассказ писателя.

Еще более полна тревоги и сомнений «эпитафия» под названием «Руда», эпитафия милой сердцу Бунина степи. В эту степь пришли новые люди, «с рассветом они выходят в поле и длинными буравами сверлят землю... Они ищут «нового счастья», в недрах земли ищут «талисман будущего». Ищут руду. «Скоро этот край закипит народом, задымит трубами заводов, проложит крепкие железные пути...» В этом рассказе чувствуется сожаление об уходящей



прежней жизни степных жителей, сомнение в том, что новая жизнь принесет им счастье.

«Эпитафия» написана в 1900 году. В то время громче начинает звучать в произведениях Бунина тема об уходящем в прошлое помещицьем укладе, о запустении дворянских гнезд. Это печаль о гибели Лучезаровки (рассказ «В поле», в первой редакции «Байбаки»), о брошенной усадьбе («Новый год»). Возникает тема, которую даже не оставляет Бунин в последний период своего творчества (в рассказе «К дому отцов своих»). Вместе с тем еще ярче выступают характерные черты творчества Бунина: острота наблюдений, свежесть и своеобразие языка, музыкальный ритм повествования.

В девяностых годах Бунин еще сильно ощущал влияние Чехова и в форме и в содержании рассказов. Чеховские интонации, чеховскую манеру рисовать образы мы чувствуем в рассказе о спивающемся, уязвленном нуждой, бедностью, одиночеством учителя («Учитель»).

В романтическом рассказе — стихотворении в прозе «Велга» в манере письма есть нечто от романтики ранних произведений Горького. Вместе с тем в рассказах Бунина была и своя, свойственная ему манера, в особенности в художественных подробностях. В раннем рассказе Бунина «Мелитон» (в первой редакции он назывался «Скит») соловей поет «страстно и отчетливо, с нежной удалью». Лирическая мелодия повествования у Бунина звучит в полную силу в рассказе «Антоновские яблоки» с «запахом меда и осенней свежестью», в описании утра с сытым вхоптаньем осенних дроздов на коралловых рябинах... Здесь Бунин является зрелым художником. Над дорогим Бунину по воспоминаниям детства рассказом он работал даже в старости, устрояя длинноты, совершенствуя язык. В этом его рассказе — сожаление о том, что не стало троек, нет верховых «киргизов», нет гончих и борзых, нет дворни и «запах антоновских яблук исчезает из помещицьих усадеб».

Однако Бунин не мог не видеть разорения и обнищания крестьянства, страданий и бедствий, так правдиво, достоверно отраженных им в рассказах «На край света», «На чужой стороне», написанных еще в девяностых годах.

В начале двадцатого века безработица, бесчеловечная эксплуатация рабочего класса, промышленный кризис, тяжелое положение крестьянства пробудили справедливое недовольство в народе. Еще в 1902 году В. И. Ленин писал: «Мы переживаем бурные времена, когда история России шагает вперед семимильными шагами... Революционное движение продолжает расти с поразительной быстротой...»

То было время, когда «Песнь о Буревестнике» Горького ходила в списках по России. Революционный подъем оказал влияние и на Бунина. Естественно возникает его сближение с Горьким и группой писателей — участников сборников «Знание», которыми руководил Горький. В первом сборнике «Знание» Бунин опубликовал «Чернозем», произведение, состоящее из двух рассказов — «Золотое дно» и «Сны». Рассказ «Золотое дно» начинается словами:

«Тишина — и запустение. Не оскудение, а запустение». Зажатое в том краю, где, собственно, его не должно быть, где на аршин чернозему, но эта земля «расходится» по городским лавочникам... «По ним, а не по народу... им ведь только бы купить, благо дешево... Ну, вот их-то, чертей, и зажать бы в тесном месте!» — это говорит кучер Корней, здешний мужик. Но он говорит «сдержанно» и другое, еще более значительное, проникнутое предчувствием приближающейся грозы:

«— Живем пока...»

— То-есть как «пока»? А потом-то что ж?

— Потом — что бог даст. Все что-нибудь да будет...

— Что же?

— Да что-нибудь будет... Не век же тут сидеть, чертям оборки вить! Разойдется народ по другим местам, либо еще как...

— А как?

При свете месяца ясно видно лицо Корнея, но, опуская голову, он сдвигает брови и отводит глаза в сторону...»

Барин все же допытывается, тревожит его эта скрытность, застенчивость мыслей мужика.

«— Как иначе-то?

— Там видно будет, — отвечает Корней уже совсем хмуро. — Поедете, барин, не рано!

И молча лезет на козлы».

Рассказ написан в 1903 году. Однако писателю так дорог дворянский усадебный быт, что он не ощутил обреченности дворянских гнезд, запаха могильного тления в заброшенных усадьбах; узость кругозора помешала ему увидеть и понять надвигающиеся события.

Стихотворение, написанное примерно в эту же пору, называется «Запустение»:

Томит меня немая тишина.

Томит гнезда родного запустенье...

И дальше старый дом беззвучно говорит поэту:

Я жду веселых звуков топора,  
Жду разрушенья дерзостной работы,  
Могучих рук и смелых голосов!

Я жду, чтоб жизнь, пусть даже в грубой силе,  
Вновь расцвела из праха на могиле...

Эти стихи и напечатанное в сборнике «Знание» стихотворение о великом борце и просветителе «Джордано Бруно» относятся к тем временам, когда окрепла творческая дружба Горького и Бунина. Еще в самом начале этих благотворных для Бунина отношений Горький писал Чехову в 1900 году: «Знаете — Бунин умница. Он очень тонко чувствует все красивое, и когда он искренен — то великолепен. Жаль, что барская неврастения портит его...» В этих строках заключена великая правда: «барская неврастения», к сожалению, и в дальнейшем оказала серьезное влияние на творчество Бунина.

Горький справедливо называл «зауспокойной обедней» некоторые произведения Бунина, в частности «Суходол», где Бунин с грустью писал об уходящем усадебном дворянском быте. Другого хотел Горький от Бунина. «...не понимаю — как талант свой, красивый, как матовое серебро, он не отточит в нож и не ткнет им куда надо?» — писал Горький в 1901 году.

#### 4

В начале 1905 года Бунин поселяется в Москве. Он участник московского литературного кружка «Среда», основателем которого был писатель Н. Д. Телешов; в этом кружке были Чехов, Горький, Леонид Андреев, Куприн и другие видные писатели. Бунин печатает свои произведения в журналах «Заветы», «Современный мир», «Со-

временник», где принимает участие Горький. Три зимы Бунин прожил в Италии, на острове Капри, где жил и Горький, и это еще больше сблизило писателей. На Капри Бунин пишет рассказы «Захар Воробьев», «Сверчок», «Веселый двор» и другие. То было время наиболее тесного его сближения с Горьким.

В «Автобиографических заметках» — предисловии к французскому изданию рассказа «Господин из Сан-Франциско» — Бунин отметил, что широкой известности он не имел, несмотря на то, что в 1909 году был избран почетным академиком. Далее он пишет, что успех ему создала повесть «Деревня» и другие «беспощадные» произведения, где он не идеализировал крестьянство, и что эта повесть и рассказы вызвали страстные отклики в печати.

Из переписки Бунина с Горьким мы узнаем, кто, собственно, натолкнул Бунина на мысль написать повесть о деревне в годы реакции. В сентябре 1909 года Бунин писал Горькому: «Вернулся к тому, к чему Вы советовали вернуться, — к повести о деревне».

В чем заключается ценность этого произведения Бунина? Почему высоко ценили «Деревню» Горький и демократическая критика того времени?

«Деревня» поражает тонкостью психологического анализа, суровым, поистине беспощадным реализмом, жизненной правдой и замечательным совершенством формы.

«Деревня» Бунина — это сурово написанные образы голодающих, забитых крестьян, алчных, безжалостных кулаков, выживших из ума, разорившихся дворян-помещиков, старых и молодых последней крепостного строя. Действие повести разворачивается в годы реакции, после революции 1905 года.

Эпически просто и именно потому так зловеще начинается «Деревня».

«Прадеда Красовых, прозванного на дворе Цыганом, затравил борзыми ротмистр Дурново. Цыган отбил у него, у своего господина, любовницу».

Далее так же просто и с внешним спокойствием автор рассказывает о том, как Цыган бросился бежать. «А бегать от борзых не следует», — лаконично, несколько назидательным тоном пишет автор.

«Деду Красовых почему-то дали вольную», — пишет он в первом издании «Деревни».

В этом «почему-то» отзвук страшного крепостного быта: одному почему-то дают вольную, другого почему-то сдают на двадцать пять лет в солдаты, третьего гонят в Сибирь или он умирает под розгами.

А правнук затравленного борзыми Красова, злой и бессердечный кулак Тихон Ильич, покупает хутор господ Дурново — Дурновку. Его брат Кузьма — человек иного склада — самородок, мечтающий учиться, стать сочинителем, неудачник, скиталец, умный и честный человек, тяжело переживающий страдания народа. Красовы живут среди забитых, запуганных крестьян, для которых даже начальник почтового отделения — власть: «Подаетшь письмо — руки-ноги трясутся!»

Жестоко и как бы бесстрастно рисует Бунин старую деревню: в одной волости от голода все детишки перемерли, в другой — всех собак поели. Темнота, напрасные надежды на Государственную думу, которая будто бы прибавит земли, — впрочем, над этими надеждами смеются сами крестьяне. Из века в век сидят на земле и не зна-

ют, когда в поле надо выезжать, когда надо сеять, когда пахать, — «как люди, так и мы!».

Кузьма Красов видит на станции трех крестьян, искусанных бешеным волком. Они едут без копейки денег в город, в Пастеровский институт, едут без хлеба, подолгу ждут на каждой станции — в скорые поезда их не пускают. Кузьма в негодовании кричит на жандарма, дело кончается полицейским протоколом.

В первый раз в жизни Кузьма напился до бесчувствия.

Характерный разговор происходит между ним и возвращающимся с богомоля странником:

«— С богомоля?»

— Из Воронежа, — с милой готовностью ответил слабым криком странник.

— Жгут там помещиков?

— Жгут...

— И чудесно!

— Ась?

— Чудесно, говорю! — крикнул Кузьма.

И, отвернувшись, дрожащими руками, смаргивая набежавшие слезы умиления, стал свертывать цыгарку...

Брат Кузьмы, Тихон Ильич Красов, прожил всю жизнь, по его собственному суждению, «цепным кобелем» при накопленном богатстве, но и он понимает: «Ты думаешь, не убили бы меня на смерть лютую, кабы попала им, мужичкам-то этим, шлея под хвост, как следует, — кабы им повезло в этой революции-то? Погоди, погоди, — будет дело, будет!» — говорит он в припадке откровенности брату.

«...будет дело, будет!» — со страхом ожидает возмездия кулак-мироед Тихон Красов.

Встретили «Деревню» в либеральной печати несколько растерянно. Критика была ошеломлена: Бунин — поэт брошенных усадеб, дворянских гнезд — написал повесть об ужасающем бесправии, темноте, бедности, о тяжелой крестьянской доле! Но и здесь критика восхваляла писателя как даровитого художника слова, мастера психологического портрета, новеллиста, тонко чувствующего русскую природу, чудесно передающего пейзаж.

«Ветер дул все порывистее, сыпля брызги с яркозеленых деревьев, за садом где-то низко гремел тугой гром; бледноглазые сполохи озаряли аллею, и повсюду пели соловьи. Совершенно непонятно было, как могут они так старательно, в таком упорном забытьи, так сладко и сильно цокать, щелкать и рассыпаться под этим тяжким свинцово-облачным небом, среди гнущихся от ветра деревьев, в густых мокрых кустах...»

А дальше Бунин пишет с горечью и укоризной:

«Но еще непонятнее было, как проводят караульщики на этом ветру ночи, как спят они на сырой соломе под навесом гнилого шашала!..»

И становится ясным, отчего с такой злобной тоской мужик Аким говорит об этой ликующей соловьиной песне.

«— Вот бы из ружья-то его! — сказал он особенно скрипуче и картаво. — Так бы и кувыркнулся!»

Либеральная критика порицала Бунина, упрекала за то, что он преувеличил темные стороны быта деревни. Упрекали его и в том, что он описал деревню как «пришлый интеллигент», как дворянин, разорившийся помещик (кстати, помещиком Бунин никогда не был).

В 1911 году в журнале «Мысль» В. Воровский, один из лучших марксистских критиков, напечатал большую статью о «Деревне» Бунина. Воровский оценил эту повесть как «талантливую, то

есть действительно внутренне пережитую и искренне написанную талантливый художником повесть».

В. Воровский отмечал, что автор повести видел воочию темные стороны жизни деревни, не поддурманивал крестьянскую жизнь, как это делали народники. Вместе с тем, по мнению Воровского, Бунин не увидел нарождающихся черт новой деревни, которые выразились в резолюциях крестьянских сходов, в выступлениях крестьянских депутатов во второй Государственной думе. Бунин видел только старую деревню; «молодая деревня», пишет В. Воровский, была еще слаба, но она все же проявляла себя, хотя и была каплей в море «среди сотни миллионов покорно изнывающих под притупляющей «властью земли».

В будничной жизни деревни Бунин не различил этой капли. Он увидел в деревне крепнущую темную кулацкую силу, но не заметил того, что созревало в крестьянских массах в результате революции 1905 года, не увидел того посева революционных идей, которые с такой сокрушительной и созидательной силой проявились после «генеральной репетиции» 1905 года, в октябре 1917 года, в годы Великой Октябрьской социалистической революции. При всем своем замечательном даровании Бунин-художник не мог отрешиться от реакционных взглядов своего класса, дворянства; это был своего рода социальный дальтонизм, который не позволял писателю полностью и во всей глубине разглядеть деревню и ее людей, понять их чувства и чаяния.

В. Воровский, выступая против объективизма писателя, против неполного отражения деревенской жизни в повести Бунина, признавал ее высокую художественную ценность и считал ее важным человеческим документом, в известной степени свидетельствующим о настроениях в деревне после 1905 года.

О том, какое значение имело для Бунина это произведение, поясняет нам его письмо к Горькому, написанное в декабре 1910 года, после опубликования повести:

«...если напишу я после «Деревни» еще что-нибудь путное, то буду я обязан этим Вам, Алексей Максимович. Вы и представить не можете, до чего ценны для меня Ваши слова, какой живой водой брызнули Вы на меня».

В этом письме подчеркнута не только значение повести в творчестве Бунина, но и то, как ценил в то время Бунин суждение Горького о своей работе.

## 5

Не только в повести «Деревня» Бунин с большой художественной силой, талантом и внутренним убеждением в правде своих творений описывал крестьянскую жизнь.

Рассказ о батраке Аверкии, о жизни и смерти его — один из лучших у Бунина. В первой редакции рассказ назывался «Худая трава», во второй — «Оброк». Тридцать лет надрывался, работая на хозяев, Аверкий, и вот пришла пора умирать, вносить горький оброк смерти.

Аверкий — «оброчный кочет» — обречен на медленное угасание, он терпеливо ждет смерти, с какой-то созерцательной мудростью глядит на окружающую его бедность и привычную нищету. Все вокруг — его старуха-жена, зять, дочь, сельский священник — примиряются с таким концом. Аверкий отработал свое, что ж, «худая трава из поля вон»... Умирает он тихо, почти незаметно для окружающих, «со сладкой надеждой на что-то», хотя вся жизнь его была



тяжким трудом и прозябанием в нищете. Этот рассказ о смерти крестьянина-бедняка по силе воздействия и глубине психологического анализа приближается к таким изумительным произведениям мировой литературы, как «Смерть Ивана Ильича» Толстого.

Вот мужик Авдей, по прозвищу Забота (так и назван рассказ): всю жизнь поедом ели его заботы, в шестьдесят семь лет, когда надо бы отдохнуть, обычное крестьянское горе мучит его — продать хлеб или продать барана, и в таких заботах прошла вся жизнь, и не пробуждается в нем мысль о том, что возможна другая жизнь. Заботы сделали его старуху страдальцей, а его нелюдимом. И когда, должно быть, от скуки, молодой барин спрашивает его, было ли что-нибудь интересное в его жизни, Авдей отвечает:

«— У меня, слава богу, ничего такого не было. Вот семьдесят лет живу, а, благодарю бога, интересного ничего не было».

Захар Воробьев (в одноименном рассказе) — русский богатырь, могучий мужик с доброй и чистой душой, жаждущей подвига, но нет ему пути, и он погибает бессмысленно, из удалства выпив в час времени больше четверти ведра водки, умирает на дороге, близ кабака. Последняя сознательная мысль его — как бы не подвести сидельца винной лавки, отпустившего ему сверх меры вина:

«— Слухай. Я помираю. Шабаш. Не хочу тебя под беду подводить. Я отойду. Отойду».

И твердо пошел на середину большой дороги. И, дойдя до середины, согнул колени — и тяжело, как бык, рухнул на спину, раскинув руки».

«Захар Воробьев», — писал об этом рассказе Горький, — просто и страшно».

В рассказе «Птицы небесные» («Беден бес») студент ужасается тоже бессмысленной смерти замерзшего странника, равнодушию и покорности, с которой тот идет на верную смерть. Прост и страшен конец этого рассказа; в первом варианте он усугубляется тем, что мужик просит разрешения схоронить гробик умершей девочки в одной могиле с гробом странника и бежит на кладбище с радостным криком: «Разрешил!» Видимо, очень уж мрачным показался Бунину этот конец рассказа, и он от него отказался в новом варианте.

Бунин рисует озлобленных, измученных бедностью и заботами крестьян в рассказе «Будни», где мужик, почуяв в случайно встреченном студенте самодовольного счастливица, готов его избить до полусмерти.

В другом рассказе, которому писатель дает лирическое название «Весенний вечер», Бунин с кажущимся спокойствием описывает убийство нищего.

«— Я беден, беден, я, может, другую весну не пашу, не сею...» — говорит убийца и вымогает у нищего скопленные им деньги. — «...Отдай — тебе все равно ни к чему... а я навек человеком стану! Отдай добром...»

Но нищий не отдал добром, а убийца не воспользовался деньгами убитого, в конце концов отшвырнул ладанку, сорванную с шеи жертвы.

Страстные споры вызвал рассказ Бунина «Ночной разговор». Здесь писатель сталкивает юношу, «опростившегося» гимназиста, с крестьянами, равнодушно и вместе с тем подробно рассказывающими о совершенных ими убийствах.

Бунин владел приемом острого, резкого противопоставления картин жизни, быта, он поистине писал жестокие, «беспощадные» рассказы.

В лучших деревенских рассказах Бунина, несмотря на кажу-

щеся внешнее спокойствие и некоторую как бы холодность, выражено сострадание, сочувствие к угнетенным людям, — настоящий талант не может не сочувствовать обиженным и угнетенным.

Есть в этих мрачных картинах деревенского быта и светлые образы. Вот трогательный образ старика и молодого шорника Василия, — он работал «с той приятной, ладной напряженностью, которая дается только хорошо развитой силой, талантом». Старика прозвали Сверчком, так и назван этот рассказ о том, как старик-шорник в метель нес на плечах замерзающего сына: «...думалось так... принесу на село... может, оттает, ототру...» И когда спрашивают его, как же он сам не замерз, он отвечает «рассеянно»:

«— Не до того было, матушка».

Какое светлое чувство любви вложено в эти слова, как трогает описание подвига, совершенного скромнейшим, незаметным человеком из народа!

Или рассказ о материнской любви «смиренной Анисьи» к непутевому сыну, о том, как опустел «Веселый двор» («веселым» его прозвали потому, что при жизни хозяина там были вечные ссоры и драки). Погибая от голода, Анисья идет к ничемному, но любимому сыну, не застаёт его, тихо умирает, а сын ее ушел, чтобы разжиться хлебушком у богатого мельника.

Великодушие и сила — свойства характера и крестьянина Захара Воробьева, и этот образ тоже вызывает искренние симпатии читателей.

Бунин увидел в старой деревне и ту грубую, поднимающуюся силу, которая гнула и обирала мужика, — «князя во князьях», богатея-кулака Лукьяна Степаныча. Одна у него страсть — «чернопегие битюги»; они живут в холе и чистоте, куда чище и лучше, чем Лукьян с семейством. «Князь во князьях» живет в землянке, новый дом свой он жалеет, в землянке «нары человек на двадцать, опять-таки заваленные старьем», рассеяная печь, «полати, стол, занимавший чуть не половину избы, щербатые чугуны на мокром земляном полу возле печки, — в них, в воде с золой, выпаривались портки и рубахи». Бунин мастерски пользуется и здесь приемом противопоставления этой жизни и жизни «молодых господ» в Москве.

«Жизнь в Стрельне, у Яра, только начиналась. Весело было входить туда, в огни, тепло, блеск зернал, теплый воздух, пахнувший сигарами, шампанским...» С какой тонкой, умной иронией Бунин подчеркивает, что в это же время Лукьян Степанов со своим многочисленным потомством и телятами спал в страшной земляной берлоге. Но именно он был «князем во князьях», а не разоряющееся помещичье семейство, не старые и не молодые господа.

В 1911 году Бунин написал повесть «Суходол», своего рода отходную разоренному дворянству, дворовым людям, привязанным к усадьбе, к прежним своим господам. Это повесть о судьбе дворовой девушки Наташи, сгубленной усадьбой «Суходол»; жестоко платит Наташа за свою любовь к барину Петру Петровичу.

Бунин описал разорение класса, из которого он вышел. «Мы застали в молодости начало великой помещичьей бедности», — пишет он; сочувствие его, несомненно, на стороне старшего поколения помещиков из «культурного» дворянства. О «старых господах», об угасающем старшем поколении он пишет с нескрываемой симпатией и грустью в романе «Жизнь Арсеньева». Но не во всех произведениях Бунина мы видим идеализацию старшего поколения дворян-помещиков. Вспомним дедушку из «Суходола» или ротмистра Дурново в повести «Деревня», Воейкова из рассказа «Последний день».

Наследники «старых господ» заслужили злой и беспощадный отзыв Бунина: «...неучи, бездельники, нищие, все еще думающие, что они голубая кровь, единственное высшее благородное сословие».

Молодое поколение — мелкопоместный дворянин Стрешнев (рассказ «Последнее свидание», в первом издании «Вера»). Озлобленный бедностью и унижениями, расставаясь со своей состарившейся любовницей Верой, Стрешнев оскорбляет и унижает ту, которую знал красивой и юной девушкой, и в припадке самобичевания называет ее и себя «дворянским отродьем».

Самое название рассказов — «Последнее свидание», «Последний день» — звучит похоронным звоном по уходящему классу.

И потому так изумляют читателей явные противоречия в суждениях писателя.

«Все предки мои всегда были связаны с народом и с землей...» — стремится убедить нас Бунин в «Автобиографических заметках».

С землей помещики были связаны в том смысле, что она им принадлежала. В чем же выражалась связь помещиков с народом? Не сам ли Бунин в 1907 году в стихотворении «Пустошь» так писал о судьбе крепостных крестьян:

...Жили — в страхе,  
В безвестности — почили. Иногда  
В селе ковали цепи, засекали,  
На поселенье гнали. Но стихал  
Однообразный бабий плач — и снова  
Шли дни труда, покорности и страха...

Такой была «связь с народом» во времена крепостного права. Но вот не стало крепостных. В «Деревне» и деревенских рассказах Бунина мы не видим этой «связи» помещиков с народом, наоборот, попрежнему пропасть лежит между «господами» и народом.

Помещики сидели на земле, она их кормила. В рассказе «Косцы», написанном на чужбине в 1934 году, Бунин хочет уверить читателей в том, что «мы и они», то есть помещики и крестьяне, «были дети своей родины и были все вместе, и всем нам было хорошо, спокойно и любовно». Но не так уж было «хорошо и любовно» помещикам и крестьянам, если в рассказе «Сны» мужик жадно слушает рассказ о видении, приснившемся сельскому священнику, о красном, белом и черном кочетах — петухах. Смысл этого «видения» — предчувствие революции, и когда барин делает попытку прислушаться к разговору, мужик злобно говорит барину:

«— А тебе, господин, что надо?

— Не господское это дело мужицкия побаски слушать».

Или вспомним другой рассказ, «Сказка», где мужик развлекает отпущенного от деревенской скуки барина сказками о том, как мужик жестоко отплатил помещику за поби. Даже в раннем рассказе добродушнейший старик «Настрюк» с сердцем глядит вслед уезжающему на дрожках барину: «Ишь покати!»

Когда же это помещикам и крестьянам, всем вместе, было «хорошо и любовно»? Так ли хорошо было другу детства помещика Волкова, умершему от голода мужику Мишке Шмыренку, или смиренной Анисье, или переселенцам, или крестьянам из голодающей губернии? Разорившийся помещик Воейков, продав усадьбу мешанину Ростовцеву, в бессильной злобе велит сорвать со стен обои, разбивает в доме все стекла и приказывает повесить в саду на деревьях состарившихся

борзых собак, которые были когда-то украшением его псовой охоты. «Личарда», сводня из дворовых, поставлявшая девушек барину, менее омерзительна, чем сам барин, избивающий плетью до полусмерти изменившую ему любовницу.

Так, в лучших своих произведениях, написанных в расцвете его дарования, писатель уничтожает иллюзию связи помещиков с народом, рассказывая правдиво и искренне обо всем жестоком и мерзком, что совершалось в стенах дворянских усадеб.

## 6

Не только деревня, уездный городишко, и Москва, и Петербург в годы злейшей реакции предстают перед нами в произведениях писателя. В 1913 году написан рассказ «Чаша жизни». Рельефно, зримо, со стереоскопической резкостью возникает перед читателем уездный город, его обыватели — одержимый гордыней и фанатическим духом протоиерей Кир Иорданский, звероподобный чудак Горизонтов, бессердечный ростовщик Селихов.

Знакомый Бунину с гимназических лет мещанский быт, психология добытчицы-мещанки, сгубившей сына, отражены в рассказе «Хорошая жизнь».

Бунин стремился проникнуть в духовный мир описываемых им людей. Мы знаем, как он умел воплотиться в образ батрака Аверкия, в душу Авдея, по прозвищу Забота. Он знал и ту мутную пену, которую выплескивает капиталистический город на свои улицы и площади.

«Я, как сыщик, преследовал то одного, то другого прохожего, глядя на его спину, на его калоши, стараясь что-то понять, поймать в нем, войти в него».

Так он входит в патологический образ маниака-убийцы Адама Соколовича, описывая в рассказе «Петлистые уши» почти протокольно обстановку убийства, наружность, походку, одежду убийцы, проникая в чудовищную психологию выродка.

В рассказе «Казимир Станиславович» — уже иной образ: человек, дошедший до последней черты низости, проходимец, в котором все же теплится любовь к дочери, которую он мог увидеть только издали, тайком. Каждое движение, слово, сказанное этим человеком, его мысли переданы точно, правдиво, верно. А с какой точностью, и силой, и верностью в деталях нарисован фон этого рассказа — дореволюционная Москва!

Бунин много путешествовал, подолгу жил в Западной Европе, был в Египте, Сирии, Северной Африке, на острове Цейлон. Казалось удивительным, как он мог совместить в своем творчестве тонкое ощущение природы средней полосы России и восприятие тропического пейзажа со всей яркостью его красок. Толстой однажды говорил сыну Сергею Львовичу о способности воображения, необходимой каждому писателю. Поразительна сила воображения у Бунина. Люди, которых он описывал, как бы стояли у него перед глазами, но он не только видел людей, силой воображения он в точности восстанавливал или придумывал фон и создавал точную картину быта, строил отношения людей правдиво, жизненно, о чем бы ни писал: о деревенском пейзаже или о пейзаже в Коломбо, об избе, где умирает Аверкий, или о роскошном отеле на острове Капри. Он мог проникать в душу батрака и в душу рикши «номер седьмой» на острове Цейлон.

В 1914 году Бунин пишет рассказ «Братья» — о белом колонизаторе и «цветном», человеке другого цвета кожи, о жизни и смерти рикши, о «земном рае» — острове Цейлон.

Вот день рикши: бешеный бег под нестерпимо палящим солнцем, бег с колясочкой, в которой сидит белый господин «с черными сросшимися бровями, в черных коротких усах, с оливковым цветом лица, на котором тропическое солнце и болезнь печени уже оставили свой смуглый след...» Следует описание этого бега, дум и чувств рикши, подбавляющего себя наркотиком-бетелем, почти физически ощущаешь нестерпимый зной, видишь изнемогающего от усталости рикшу, видишь зеленую лагуну, блестящую, теплую, полную черепах и гнили, окаймленную рощей кокосовых пальм.

Бунин показал, что сделали колонизаторы из живописного острова, на котором, как гласит легенда, протекала райская жизнь прародителей, Адама и Евы.

В кают-компании парохода, отплывающего в Европу, белый философствует, беседуя с капитаном, невольно обнажая при этом методы политики колонизаторов, их бесчеловечность, жестокость:

«...я убивал людей в Индии, ограбляемой Англией, а, значит, отчасти и мною, видел тысячи умирающих с голоду, в Японии купал девочек в месячные жены... на Яве и на Цейлоне до предсмертного хрипа загонял рикш».

И все это называется у него и подобных ему «нашими колониальными задачами!»

Бунин жил на острове Капри, знал быт роскошных туристских отелей, видел туристов, путешествующих на трансатлантических пароходах-дворцах. В таком пловучем дворце герой его рассказа, господин из Сан-Франциско, совершал развлекательное путешествие по свету. Он много работал, — «китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит!» И вот в пятьдесят восемь лет он разрешил себе отдых — путешествие в роскоши и комфорте. И вдруг скоростижно умер в отеле на Капри, доставив много хлопот хозяину отеля и гостям. С какой тонкой, острой иронией Бунин описывает, как стараются поскорее избавиться от трупа «господин из Сан-Франциско», как тайком вывозят тело в ящике из-под бутылок для содовой воды, ночью, чтобы не волновать приехавших развлекаться туристов. А жизнь в отеле и на пароходе течет попрежнему, и никому нет дела до того, что в трюме трансатлантического парохода везут гроб и в нем тело мертвого старика. То, что произошло с ним, — как бы насмешка судьбы над человеком, который кончил свои дни в то время, когда достиг всего, чего добивался всю свою жизнь. Сколько умной и горькой насмешки над властью денег в этом рассказе Бунина!

Н. Д. Телешов приводит факт, свидетельствующий о строгой взыскательности Бунина к своим произведениям. «Господин из Сан-Франциско» писатель предназначал для одной одесской газеты и только по настоянию Телешова отдал рассказ в сборник «Слово». Бунин считал этот рассказ не очень значительным.

Бунин много странствовал по Европе и Азии, писал путевые заметки, но они главным образом проникнуты смятением чувств, грустью по давно исчезнувшей культуре, трепетом перед «божественным», легендами и суеверным ужасом перед тайнами жизни и смерти. То же мы находим и в его стихотворном дневнике. И разумеется, ни путевые заметки, ни стихи, в которых отражены его впечатления, не могут сравниться по глубине и по форме с двумя рассказами, о которых говорится выше. «Братья» и «Господин из Сан-Франциско» — лучшее из того, что создал писатель под впечатлением своих путешествий.



В годы первой мировой войны Бунин был одним из тех немногих писателей, кто не впадал в милитаристский тон, не писал барабанных ура-корреспонденций из действующей армии, не щеголял в форме «Земского союза» или «Союза городов». В конце войны, в 1916 году, в очерках из деревни «Последняя весна» и «Последняя осень», опубликованных уже после революции, он подмечает характерные штрихи времени, но не может осмыслить и предвидеть надвигающиеся грозные события. Как будто нет больших перемен в избе Пальчиковых: старик вяжет веревочные лапти, синеглазая Анюта работает с матерью за ткацким станком, на полу, на соломе, овцы с ягнятами, возле печки два поросенка — знакомая и как будто мирная картина, но разговор между господами и стариком не вяжется.

«— А ты бы вот лучше спросил своих хороших господ, когда война кончится?»

— А вот когда весь народ перебьют, тогда и кончится...» — «холодно и зло» отвечает мать и добавляет: «— Когда мы все с голоду помрем».

«Господа» пробуют возражать:

«—...Сроду никогда не жили так сыто. Сколько теперь денег в каждом дворе?»

И слышат горький упрек:

«— ...Это тебе хорошо, у тебя все есть».

И так всюду в деревне. Господа помогают мужику вытащить увязшие в колдобине розвальни, а мужик еще больше злится от непрошенной помощи:

«— Вы бы лучше на войну шли, чем тут без дела околачивать ся! — негромко и злобно сказал он нам сквозь зубы...»

И даже «благословенный» мужик нет-нет, да ехидно скажет:

«— Вот бы еще стражников туда, на фронт, согнать, они всю эту службу давно знают! А тут чего им сидеть!»

Кто-то в темноте уверенно говорит:

«— Нет, это все брешут. Ничего после этой войны не будет. Как же так? Если у господ землю отобрать, значит надо и у царя, а этого никогда не допустят».

А кто-то «резко» заметил:

«— Погоди, и до царя дойдут. Что ж он весь народ на эту войну обобрал? Вон опять надо на Красную горку рекрутов отправлять. Разве это дело? Вся Россия опустела, затихла!»

Бунин писал этот очерк весной 1916 года. Немного времени оставалось до конца февраля следующего года, когда «дошли» до царя.

Еще откровеннее и резче говорит солдат Мишка, приехавший на побывку с фронта осенью 1916 года:

«...Господам, говорят, хорошо: посиживают, говорят, себе дома!»

Похожий на Толстого мужик Петр Архипов рассуждает так:

«...Пускай их воюют. Воюйте на здоровье. Это, господа дворяне, ваше дело».

И он же говорит, «еще возвышая сквозь шум голос»:

«— Да. А то вон приехал на той неделе какой-то с грибами на плечах — сыновей ему давай, хлеба давай... всего давай! Раз наше дело не выходит — мировая и шабаш».

И дальше «дерзко и громко»:

«— ...Вы, барин, вы нам уж откровенно скажите, какая ваша задача: чтобы нас всех перебить, а скотину порезать да в окопах стравить?»

— Петр Архипыч, как тебе не стыдно? Ведь ты человек умный!»

Что ж отвечает умный Петр Архипыч?

«— Вам хорошо говорить. А у меня вон сын два месяца ни одного письма. Где он теперь, что он теперь? Мертвое тело?..»

Для того, чтобы так правдиво, так точно передать чувства и настроения деревни в то время, надо быть большим писателем. Разумеется, сам Бунин рассуждал совсем не так, как солдат Мишна, или «благолепный» мужик, или Петр Архипыч, но он не мог кривить душой, не мог солгать и в своих очерках описал деревню шестнадцатого года такой, какой ее видел.

А в рассказе «Старуха» с горечью нарисовал незабываемый скорбный образ, жанровую картину первой мировой войны:

«...по темной, снежной улице брел к дальнему фонарю, задуваемому вьюгой, оборванный караульщик, все сыновья которого, четыре молодых мужика, уже давно были убиты из пулеметов немцами... в неприглядных полях, по смрадным избам, укладывались спать бабы, старики, дети и овцы, а в далекой столице шло истинно разливанное море веселия».

Но вот случилось то, о чем говорил мужик: «дошли» до царя. Царя нет, и в то самое время, когда министры Временного правительства проповедуют войну до победного конца, писатель, как беспристрастный свидетель, передает нам разговор богатого мужика Лаврентия и восьмидесятилетнего старика-бедняка Сухоногого. Называется эта сценка «Брань», и это именно не рассказ, а сценка в деревне, диалог, написанный Буниным со всей присущей ему точностью крестьянского языка.

Это действительно яростная перебранка между кулаком, который купил землю Сухоногого, «оголодил» его, бедняка, того, кто землю свою «кровью облил».

Кулацкая, сытая наглость Лаврентия:

«— Я хозяин. Я слово свое судержу. Это ваш брат, нищebroды, хамы. Пускай теперь на осинке передо мной удавится, трынки не дам...»

«— ...у меня сына последнего забрали ваше народное правительство, глаза их закатысь!» — с ненавистью и отчаянием говорит Сухоногий.

И дальше в яростном споре Сухоногий предсказывает то, что случилось чуть позже:

«— ...Им бы и всем-то, солдатам, надо ружья покидать да домой!»

«— Ружья нельзя кидать, беспорядок будет», — назидательно говорит Лаврентий.

В этой острой и злой перебранке в уста Сухоногого вложено много темного, непонятного, путаного, но все же главное в его яростных речах — ненависть к мироеду Лаврентию, и еще ему ясно, что солдатам «надо ружья покидать да домой», ясно и то, что не «народное» правительство сидит в Петрограде и не его это правительство, а Лаврентия, «хозяина».

Из этого диалога видно, что деревенская беднота — Сухоногий — начинает разбираться в том, что происходит летом 1917 года в России.

Прочитав деревенские очерки семнадцатого года и крошечную сценку «Брань», убеждаешься в том, что большой писатель, откровенно и правдиво рассказавший о деревне того времени, не увидел справедливого возмездия старому миру в величайшей революции, происшедшей в октябре.

Бунин много писал о любви и главным образом — о несчастной, трагической любви. Об этом написаны «Лица», рассказ «Солнечный удар», в котором он сумел передать страсть, перевернувшую все в сознании молодого человека, «Ворон», напоминающий по сюжету «Первую любовь» Тургенева, «Темные аллеи», где тема несчастной любви переплетается с близкой писателю темой неравенства, бездны, которая разделяла дворянина, офицера, и любимую им крепостную девушку-красавицу.

Лирические страницы в этих рассказах о любви превосходны. Острое восприятие влечения друг к другу любящих существ, наслаждение близостью, связанное со всем окружающим, с весной, пробуждающейся природой, молодостью, — все это описывал Бунин сильно и чувственно.

Один из лучших его рассказов о любви повествует о мучительной, безграничной страсти пастуха Игната к распутной, развращенной господами дворовой девушке Любке.

Обманутое чувство первой любви — одна из любимейших тем писателя. В рассказе «При дороге» девочка Парашка полюбила первой любовью вора, и ужасно ее прозрение, когда она узнает, что нужна была любовнику только для того, чтобы обокрасть отца.

В другом рассказе, « Степа », « культурный » московский купец-меценат обманывает несчастную милую девочку и уезжает в Кисловодск, зная, что эту случайную его любовницу сживет со света злобный и безжалостный старик, ее отец.

Первая любовь — великая радость либо тяжкое испытание. Гибнет юноша Митя, обманутый любимой девушкой. В русской литературе не много таких сильных, обнажающих сокровенные чувства любви рассказов, как « Митина любовь ». Трагедия юноши происходит в чудесные весенние дни, когда вокруг все цветет и слышится « сладострастное жужжание несметных пчел ».

« — Ах, все равно, Катя, — прошептал он горько и нежно, желая сказать, что он простит ей все, лишь бы она попрежнему кинулась к нему, чтобы они вместе могли спастись, — спасти свою прекрасную любовь в том прекраснейшем весеннем мире, который еще недавно был подобен раю ».

Та же тема обманутой любви в рассказе « Сны Чанга », только здесь гибнет мужественный, зрелый человек. Самая форма этого рассказа удивительна и своеобразна, и сколько художественного вкуса, какое мастерство писателя нужно иметь, чтобы передать эту трагическую историю в смутных видениях Чанга, верной собаки-друга, которая особым чутьем понимает, что происходит с ее хозяином!

Сила воображения писателя рисовала ему сложные положения, столкновения характеров, подсаживала сюжеты произведений.

« В ночном море » на пароходе встречаются два человека, когда-то любившие умершую женщину. Их связывают страдания, муки ревности, даже ненависть двух соперников. Теперь все прошло, один одинок и несчастен, другой на пороге смерти. Была или не была встреча двух опустошенных людей? Вернее всего, она создана силой воображения, но как жизненна, как реальна эта встреча в ночном море! И самый ритм рассказа пленяет нас: в нем и движение корабля, и всплески волн, и стук машины; самая речь двух одиноких и несчастных людей звучит печально и отрывисто, точно ветер уносит слова в море...

« Дело корнета Елагина » вначале было задумано автором как авантюрный роман, как увлекательная уголовная история, которую

предполагали печатать с продолжениями в иллюстрированном заграничном журнале. Но получился не уголовный роман, а трагическая история двух влюбленных, повесть о том, как истинная любовь не может мириться с окружающей серой, обывательской действительностью. Елагин и его возлюбленная предпочли смерть, двойное самоубийство, но когда он исполнил просьбу возлюбленной и выстрелил в нее, то в ужасе от содеянного не мог сделать то же над собой. Здесь писатель поражает нас не только тонкостью психологического анализа, — Бунин рисует силу страсти, которая находится почти на грани безумия, достоверно и убедительно воссоздает обстановку, в которой происходит убийство. Невозможно предположить, что этот рассказ вначале задуман как авантюрный роман.

Не все одинаково талантливо в произведениях Бунина о любви, были у него срывы и неудачи, но лучшие его рассказы пленяют читателей глубоким чувством и поразительно тонким и верным описанием радостей и горестей любви, всего, что переживают люди, которые любят прекрасной и мучительной любовью. Рассказы эти имеют ценность еще и потому, что они не принижают это чувство, они говорят: любовь — не пустая интрижка, не пошлое похождение сластолюбца, а великое, светлое чувство, она должна быть прекрасной, — тогда это счастье.

Горько подумать, что многие талантливые произведения писателя печатались на страницах эмигрантских журналов, среди глупых и пошлых пустяков, смысл которых был только в смаковании воспоминаний об утраченной сытой и удобной жизни.

Это и была трагедия даровитого писателя, виновником которой был он сам.

За границей Бунин написал автобиографический роман «Жизнь Арсеньева», и в этом произведении сказались все сильные и слабые стороны творчества писателя. Чудесные, проникнутые свежим, теплым восприятием жизни страницы, великолепные описания, напоминающие «Степь» Чехова, чередуются с брюзжанием, вздохами о мнимо-патриархальном быте «мелкопоместных», жалобами дворянина, обиженного «простонародьем». Классовая ограниченность помешала большому художнику видеть, что на его глазах кончилась история старой России, которую он сам судил в своих произведениях, и началась новая история народа, перестроившего свою жизнь. Бунин не увидел, что мир стал иным, не хотел видеть благодетельных перемен, которые произошли у него на родине, хотя понимал, что старый мир рухнул и прошлое исчезло безвозвратно.

## 9

В дореволюционные годы критика довольно часто отмечала влияние Чехова на творчество Бунина.

В тепло и сердечно написанных воспоминаниях о Чехове Бунин рассказывает о встречах и беседах в Москве, Ялте, оставивших неизгладимый след в его памяти, о трогательном внимании к нему Чехова.

В тридцатых годах Бунин вновь вернулся к этим воспоминаниям и добавил некоторые интересные подробности.

Чехова подкупало обаяние таланта в молодом писателе. Кроме того, в повседневной жизни Бунин был общительным на людях собеседником, замечательным рассказчиком, имитатором с чисто актерскими способностями. Недаром его в доме Чехова звали «Букишон»: это выдуманное Чеховым имя сближало Бунина с комическими персонажами французского водевиля.

Внешне он был весел, неистощим на выдумки. В письме Марии Павловны Чеховой, сестры писателя, приведены такие забавные стишки:

Позабывши снег и вьюгу,  
Я помчалась прямо к югу.  
Здесь ужасно холодно,  
Целый день мы топим печки,  
Глядим с Буниным в окно  
И гуляем, как овечки.

«По-моему, последняя строчка глупа, — пишет М. П. Чехова, — но Бунин, который сочинил мне сейчас эти стихи, находит, что эта строчка самая лучшая! Напиши свое мнение. Бунин приехал и оставился у нас внизу».

Письмо было написано 28 декабря 1900 года в Ялте, и можно вообразить дружескую, шутливую атмосферу, которая влекла Бунина в дом Чеховых. Однако если вдуматься, то образ общительного, веселого, привлекательного человека не был подлинным образом Бунина, таким он казался и а людях, он сам сознавался в этом. Оставаясь наедине с собой, он часто предавался меланхолии, грустным размышлениям об обреченности всего земного. В автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева» читаем:

«...в Батурине у нас дочь лавочника уж потеряла надежду выйти замуж и живет только острой и злой наблюдательностью. Вот и я в этом роде».

Сердцевед Чехов вернее всего угадывал в Буине эти черты, он видел в Буине дворянина, барина и говорил ему об этом. Вероятно, Чехов чувствовал и замкнутость, отчужденность его характера. Но он не мог не ценить в молодом писателе большого художника с безошибочной памятью, умевшего подметить яркую жизненную подробность, видеть и наблюдать жизнь.

Бунина сблизило с Чеховым «выдумывание жизненных подробностей». Они часто говорили об этом, и действительно, в искусстве открытия таких находок Бунин достигает совершенства. Радостное изумление вызывают у него художественные подробности: «Мерин задрал голову и, разбив копытом луну в луже, тронул бодрой иноходью» («Последнее свидание»); «Пробежала собака в холодной тени под балконом, хрустя по сожженной морозом и точно солью осыпанной траве» («Суходол»); «Кусты шумели остро, сухо, как будто бежали вперед». И много таких художественных находок, напоминающих о том, что ты так часто видишь и мимо чего проходишь, не замечая, щедро рассыпано в произведениях Бунина.

Много лет спустя, подготавливая к изданию собрание сочинений, он безжалостно вычеркивал то, что ему казалось искусственным, надуманным, убирал и то, что казалось щегольством. Так он вычеркнул «бертолетовую соль морозного снега» и оставил просто «морозный снег», почти наново переписал «Лирника Родиона»; видимо, в прежнем варианте рассказ показался ему написанным слишком выпренок и нарядно.

Бунин учился у Чехова краткости, а в последний период творчества он увлекался формой коротких рассказов, художественных миниатюр, иногда размером в полстраницы. Он пишет «Первый класс», «Капитал», «Канун», «До победного конца», «Часовня». Для того, чтобы создавать такие рассказы, надо обладать неисчерпаемым запасом наблюдений, чувствовать разницу речи «простолюдина» и «барина», уметь буквально в одной фразе создать образ человека, в одной — двух строках нарисовать фон, обстановку. В некоторых из таких рассказов-миниатюр скрыта злая ирония, особенно когда речь идет



о господах, не теряющих наглой самоуверенности даже накануне революции. Не только сатирические детали, но и проникнутые искрометным юмором и даже едкой сатирой рассказы удавались Бунину. Один из таких рассказов, «Архивное дело» (ранее назывался «Святочный рассказ»), напоминает «Шинель» Гоголя, и герой его, архивариус Фисун, отчасти сходен с Акакием Акакиевичем Башмачкиным. Есть в этом рассказе и «значительное лицо» — либеральный барин Станкевич, златоуст, произносивший пламенные речи в девятьсот пятом году. Именно он виновник смерти бедного архивариуса, осмелившегося воспользоваться уборной начальства. Барин-либерал накричал на беднягу архивариуса и буквально напугал его до смерти. Конец Фисуна напоминает нам конец Башмачкина в «Шинели».

Бунин в автобиографических записях и в «Жизни Арсеньева» откровенно пишет о влиянии на него Гоголя, приводит близкие ему, особенно дорогие художественные подробности в «Страшной мести»: «...ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть среди ночи», старые древесные стволы, закрытые разросшимся орешником, похожие на «мохнатые лапы голубей», — и восклицает: «Да, вот это было мне нужно!» («Жизнь Арсеньева»).

О Гоголе следует здесь сказать для того, чтобы яснее было видно различие художественного метода Бунина и Чехова.

Остановимся хотя бы на описаниях грозы у того и другого писателя.

У Чехова в «Степи»:

«Вдруг над самой головой его с страшным, оглушительным треском разломалось небо... и внизу на земле вспыхнул и раз пять мигнул ослепительно-едкий свет. Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, трескучие, похожие на треск сухого дерева, звуки...»

У Бунина описание грозы в «Жизни Арсеньева»:

«...стало быстро и как-то неверно, тревожно темнеть от надвигающихся с востока туч, стало тяжело греметь, сотрясая все небо, и все шире пугать, озарять красными сполохами... Через полчаса наступила кромешная тьма, в которой со всех сторон рвало то горячим, то очень свежим ветром, слепило во все стороны метавшимися по черным полям розовыми и белыми молниями и поминутно оглушало чудовищными раскатами и ударами, с невероятным грохотом и сухим шипящим треском, раздражавшимся над самой нашей головой».

В описании грозы у Бунина, несомненно, чувствуется влияние Гоголя (вспомним описание бури на Днепре в «Страшной мести»).

Резче, суше описание грозы у Чехова — это как бы офорт, черные и белые тона. У Бунина живопись — чудесная картина, нарисованная масляными красками.

Еще убедительнее разница художественных приемов в описаниях заката в тропиках у Чехова в рассказе «Гусев» и у Бунина в рассказе «Сны Чанга».

Следует привести и эти два описания.

«...Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой середины неба; немного погодя рядом с этим ложится фиолетовый, рядом с этим золотой, потом розовый... Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке и назвать трудно» (Чехов «Гусев»).

А вот как описывает закат Бунин:

«...винно-красное, лишенное лучей солнце, которое, коснувшись мутного горизонта, вдруг вытянулось и стало похоже на темно-огнен-

ную митру... солнце спешило, спешило,— море точно стягивало его,— и все уменьшалось да уменьшалось, стало длинным раскаленным углем, задрожало и потухло, а как только потухло, сразу пала на весь мир тень какой-то печали...»

Сравнивая эти два описания, мы видим в словесной живописи Чехова пленительную простоту; так завершается грустный рассказ о смерти солдата Гусева, о его похоронах в море. Лирический, прекрасный пейзаж нужен Чехову как противопоставление, как завершение рассказа о печальной судьбе простого человека из народа, о безрадостной, короткой жизни его и смерти.

Бунин поражает нас ослепительными красками, солнце у него «темно-огненная митра», «длинный раскаленный уголь», цвет солнца «виново-красный», весь пейзаж нарисован декоративно, ослепляюще, и, когда он меркнет, возникает «какая-то неясная печаль» и только...

Можно ли говорить о холодном мастерстве Бунина после его проникнутых страстным ощущением жизни, любви, красоты произведений, после того, как прочитаешь то, что он писал, скажем, о русской народной песне! Это удивительно и притом своеобразно даже после рассказа «Певцы» Тургенева, после того, что писал о русской песне Горький.

Бунин говорит о прелести народной песни в ритмическом сочетании ее с трудом косарей:

«Прелесть была в том, что это было как будто и не пение, а именно только вздохи, подъемы молодой, здоровой, певучей груди. Пела одна грудь, как когда-то пелись песни только в России и с той непосредственностью, с той несравненной легкостью, естественностью, которая была свойственна в песне только русскому. Чувствовалось — человек так свеж, крепок, так наивен в неведении своих сил и талантлив и так полон песней, что ему нужно только легонько вздохнуть, чтобы отзывался весь лес на ту добрую и ласковую, а порой дерзкую и мощную звучность, которой наполняли его эти вздохи. И косцы подвигались, без малейшего усилия бросая вокруг себя косы, широкими полукругами обнажая перед собой поляны, окашивая, подбивая округ пней и кустов и без малейшего напряжения вздыхая, каждый по-своему, но в общем выражая одно, делая по наитию единое, совершенно цельное, необыкновенно прекрасное».

Самый ритм этих строк напоминает народный сказ, музыкальность его гармонирует с глубоким смыслом рассказа о песне, созданной народом.

Бунин умел понять, воспринять истинную красоту и потому был беспощаден, зол и резок, когда писал о том штампе, который сушит и губит искусство. Вот как он пишет о некоторых актерах:

«Все эти вечные свахи в шелковых повойниках лукового цвета и турецких шалях, с подобострастными ужимками и сладким говорком, изгибающиеся перед Тит Титычами, с неизменной гордой истовостью откидывающимися назад и непременно прикладывающими растопыренную левую руку к сердцу, к боковому карману длиннополого сюртука; эти свиноподобные городничие и вертлявые Хлестаковы, мрачно и чревно хрипящие Осипы, поганенькие Репетиловы, фатовски негодующие Чацкие, эти Фамусовы, играющие перстами и выпячивающие, точно сливы, жирные актерские губы; эти Гамлеты в плащах факельщиков, в шляпах с кудрявыми перьями, с развратнотомными, подведенными глазами, с черно-бархатными ляжками... все это приводило меня просто в содрогание...»

Иной раз критика, смущенная живопишностью образов, сравнений, своеобразием описаний, наконец, особенным, бунинским языком,

записывала его даже в декаденты, но это был писатель-реалист в полном смысле слова. Достаточно напомнить о его резко отрицательном, почти враждебном отношении к так называемому новаторству, к тому, что происходило в литературе в годы реакции:

«Мы пережили и декаданс, и символизм, и нео-натурализм, и порнографию, называющуюся разрешением «проблемы пола», и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и «пролеты в вечность», и «садизм», и снобизм, и «приятие мира», и «неприятие мира», и лубочные подделки под русский стиль, и адамизм, и акменизм — и дошли до самого плоского хулиганства, называемого нелепым словом «футуризм». Это ль не Вальпургиева ночь!»

Здесь Бунин уже вторгается в область поэзии и тех течений в поэзии, которые были в моде в годы, предшествовавшие первой мировой войне. Он мог рассуждать о них как поэт. О том, какое значительное явление представляют в русской поэзии стихи Бунина, следует сказать отдельно.

## 10

Признанный мастер прозы, Бунин долгие годы был верен поэзии.

Бунин, — несомненно, выдающийся поэт, но заслужил он свое почетное место в русской поэзии не своеобразием стихотворной формы. В стихотворении для Бунина всего важнее — мысль, не музыкальность стиха, не ритм, а именно мысль.

Если в прозе он стремится создавать музыкальный ритм (некоторые его рассказы называли своего рода рапсодиями, а другие — стихотворениями в прозе), то в стихах он был скорее всего прозаиком, мыслителем. Важнее всего в стихотворении для него было изречение, афоризм, закованный в стихотворный размер и рифму.

Перечитывая стихи Бунина разных лет, обращаешь внимание на преобладание, говоря его же словами, темы о «божественном». С одинаковым патетическим чувством Бунин сочиняет стихи о Саваофе, Магомете, Будде, Егове и богах античной древности.

Временами в душе поэта пробуждаются сомнения:

Не бог нас создал. Это мы  
Богов творили рабским сердцем...

В другом стихотворении, «В Архипелаге», он говорит:

Я жил во сне. Богов творил я сам.

В стихотворении, называемом «Саваоф», он так пишет о богослужении:

Мертво звучали древние слова.  
Весенний отблеск был на скольких плитах  
И грозная седая голова  
Текла меж звезд, туманами повитых.

Молитвы звучат «мертво», Бунина пленяет только то, что голова Саваофа изображена в «грубо-голубом» куполе; это восприятие ценителя древней иконописи, а не религиозное чувство. В другом стихотворении архангел Михаил — «дух гнева, возмездия, кары» — порождает у поэта почти еретические мысли:

Ребенок, я думал о боге,  
А видел лишь кудри до плеч,  
Да крупные бурые ноги,  
Да римские латы и меч...

Нет в этих мощных, полновесных стихах религиозного умиления, смирения, веры, здесь скорее всего чисто эстетическое восприятие. Так, в автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева» Бунин писал: «...ни святая София, ни старые церкви в русских Кремлях и донные несравнимы для меня с готическими соборами». Музыка органа в католическом соборе была ему ближе, чем мертво звучащие «древние слова» православных молитв, хотя бы потому, что это была просто музыка, искусство органиста и композитора, воспринимаемое как в концертном зале.

Стихи о странствиях у Бунина не всегда иллюстративны, это не поэтическое описание пейзажей, древностей, не путевые заметки. Лучшие из этих стихов проникнуты глубиной философской мыслью.

То было в полдень, в Нубии, на Ниле.  
Пробили вход, затеплили огни —  
И на полу преддверия, в тени,  
На голубом и тонком слое пыли,  
Нашли живой и четкий след ступни.

И возникает мысль о том, кто, прощаясь с умершим, пять тысяч лет назад оставил свой след под сводами древней гробницы, о миге прощания,

...когда в последний раз  
Вздохнул здесь тот, кто узкою стопою  
В атласный прах вдавил свой узкий след.

И с гордой радостью поэт восклицает:

Тот миг воскрес. И на пять тысяч лет  
Умножил жизнь, мне данную судьбою.

В этих стихах — вдохновенный полет мысли, глубокое поэтическое чувство, напоминающее нам стихи Тютчева.

Стремление Бунина выразить в стихах мысль, связанную с впечатлениями внешними — величественным явлением природы, пейзажем, — делает некоторые его стихотворения слухом умозрительными, даже сухими. Кажется, он, мастер прозы, мог бы выразить эту мысль шире, пространнее в рассказе или стихотворении в прозе, какими, в сущности, являются некоторые его рассказы. Но не одни только умозрительные стихи есть в поэтическом наследии Бунина. Он радуется нам и поистине пленительными лирическими стихотворениями; такие стихи Бунин писал на шестом десятке лет, сохраняя всю свежесть чувств. Вот восьмистишие, которому предшествует эпиграф из Брема о канарейке: «На родине она зеленая...»

Канарейку из-за моря  
Привезли, и вот она  
Золотая стала с горя,  
Тесной клеткой пленена.

Птицей вольной, изумрудной  
Уж не станешь, как ни пой  
Про далекий остров чудный  
Над трактирную толпой!

Как могло родиться на чужбине воспоминание о старом русском трактире, о канарейке в клетке, серебряных ее трелях, рассыпающихся над трактирным гомоном, в табачном дыму... Внезапно всплывшее воспоминание, строчка из Брема, и возникает грустное, прелестное восьмистишие.

Никогда не оставляя классических форм стиха, поэт иногда изумляет нас смелыми, живописными образами, сходными с чудесными находками художников, мастеров пейзажа:

В гелиотроповом свете молний летучих  
На небесах раскрывались дымные тучи...

Дальше следует одно из тех смелых и сильных описаний явлений природы, которыми не раз потрясает нас Бунин-прозаик, но здесь раскрывается нам его поэтический дар:

Молнии мраком топило, с грохотом грома  
Ливень свергался на крышу полночного дома —  
И металлически страшно, в дикой печали,  
Гуси из мрака кричали.

В поэтической палитре Бунина были разнообразнейшие краски, это позволяло ему тонкими, нежными тонами рисовать пейзажи русского подстепья, роскошную, пышную природу нашего юга и ослепительные пейзажи тропиков.

Одно из самых сильных, проникновенных стихотворений Бунина называется «Слово». В нем тоже всего восемь строк:

Молчат гробницы, мумии и кости, —  
Лишь слову жизнь дана:  
Из древней тьмы, на мировом погосте,  
Звучат лишь письма.  
И нет у нас иного достоянья!  
Умейте же беречь  
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,  
Наш дар бессмертный — речь.

Эти стихи были написаны в 1915 году, в год первой мировой войны. В них открывается все то, что было особенно дорогим для прозаика и поэта, — его неустанный труд над словом, над совершенством формы произведения.

На чужбине, в одиночестве, в тоске о том, что он сам по своей вине оставил, Бунин пишет полное скорби стихотворение «Сириус» — о звезде, которую любила его мать:

Где ты, звезда моя заветная,  
Венец небесной красоты?

Он оплакивает «надежды, думы непорочные», «радость вымыслов» своих и восклицает горестно и страстно:

Пылай, играй стоцветной силою,  
Неугасимая звезда,  
Над дальнею моей могилою,  
Забытой богом навсегда!

Как это далеко от ранних стихов поэта о том, что он так любил и чувствовал на родной земле:

О, красота, тишина и раздолье Днепра!

В стихах его находил отклик древнеславянский эпос, он писал народным сказом стихи о гробе богатыря Святогора и гранитном кресте над могилой Руслана, песни о корабельщиках и деве — «нагой красе» — жемчужине.

Всем сердцем он чувствовал украинский эпос, и одно из лучших его стихотворений — героическая баллада «Мушкет», навеянная преданиями о кровавых битвах сечевиков:



Видел сон Мушкет,  
Видел он Азовские подолья,  
На бурьяне, на татарках — алый цвет,  
А в бурьяне ржавых копий колья...

И он же мог создавать милые и трогательные стихи о любви простой девушки и рыбака.

В поэтическом наследии Бунина есть и стихи о великом гуманисте Джордано Бруно, светлая мысль о том, что «умерший в рабский век бессмертием венчается в свободном!», и двустипхи Саади:

Будь щедрым как пальма. А если не можешь то будь  
Стволом кипариса, прямым и простым — благородным.

Бунин перевел на русский язык ценнейшие произведения мировой литературы. «Каин», «Манфред» Байрона, «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, «Годива» Теннисона, «Крымские сонеты» Мицкевича замечательны не только как близкие к подлиннику переводы, но и как поэтические произведения, созданные Буниным-поэтом.

Справедливы не раз уже высказанные суждения о том, что, если бы не было Ивана Бунина-прозаика, в русской поэзии сохранились бы произведения Бунина-поэта.

## 11

Долгие годы большой русский писатель Иван Бунин прожил вдали от родины, с которой был связан лучшими своими произведениями, и умер на чужбине.

Перечитывая его сочинения, думая о его жизни, приходишь к заключению, что его судьба не является чем-то неожиданным, неорганичным для писателя. Всеми корнями, воспитанием, средой, кругом людей, среди которых он вырос, Бунин был связан с дворянством, и он разделит судьбу своего класса, оторванного от народа, обреченного на гибель. Он не мог не видеть вырождения и духовного ничтожества своего класса, но у него не было сил порвать со средой и людьми, которые, как ему казалось, были «солью земли». Он не порвал со своим классом, как это сделали Александр Блок, создавший поэму «Возмездие», Алексей Николаевич Толстой, написавший «Хождение по мукам». Невольно противопоставляешь судьбе Бунина судьбу поэта Блока, хотя бы в отношении восприятия событий 1905 года. Стихи о революции 1905 года, написанные Блоком, проникнуты глубоким сочувствием восставшему народу и ненавистью к царизму и буржуазии.

Бунин не понял и не увидел грядущей социалистической революции.

Не только «личными чувствами» можно объяснить многие ошибки Бунина.

«Во мне было самое разное смешение печали и радости, и личных чувств...» — писал он за много лет до конца своей долгой жизни. Эти «личные чувства», то хорошие, то дурные, сказывались на его отношении к тем литераторам, которые когда-то были его друзьями и, порицая его как бывшего соотечественника, как гражданина, признавали его талант, видели в нем одаренного художника слова.

Однажды, еще в 1909 году, Бунин писал Горькому:

«Еще раз и всем сердцем свидетельствую, что дороги Вы мне

по многим причинам, что всегда очень трогает и радует меня расположение тех, кого я люблю, и что следует им иногда извинять меня...»

В его характере было нечто такое, что могли ему прощать только люди, ценившие его большой талант.

Горький, понимая отчужденность Бунина, имел все основания осудить прежнего своего соратника по сборникам «Знание» и все же не раз советовал молодым писателям учиться у Бунина свежести и чистоте языка, к искусству наблюдать жизнь, подмечать характерные ее черты.

Даже в состоянии раздражения, подверженный злобным эмигрантским влияниям, Бунин писал о Горьком: «...лично ко мне он всегда выказывал большое расположение, внимание, даже нежность. Я не мог на это не отзываться... И расстались мы с ним дружески, — в Петербурге 17 года, — расцеловались на прощанье — навсегда, как оказалось...»

«Личные чувства» не раз обманывали Бунина. Несмотря на то, что он знал цену «дворянскому отродию», он, как уже сказано, не мог преодолеть враждебного отношения к Великой социалистической революции в октябре 1917 года.

Порой у Бунина возникала мысль о том, что книги его, в сущности, достойные немногих, избранных, что труд писателя не оценит народ. Одна из художественных миниатюр так и называется «Книга».

Знакомый крестьянин возвращается с погоста.

«— На своей девочке куст жасмину посадил! — бодро говорит он, проходя мимо меня. — Доброго здоровья. Все читаете, все книжки выдумывает?»

Это отношение к писателю, как к человеку, который «книжки выдумывает», то есть занимается чем-то ненужным, огорчало, обижало Бунина. Об этом, как бы мимоходом, сказано и в очерке 1916 года «Последняя весна».

«— ... Ходишь, гуляешь, — говорит бабка, — напился чаю и гуляй. Ай у тебя работа какая?»

Лучшее, что создано писателем, сейчас станет достоянием широких кругов читателей на его родине. Многотысячными тиражами будут выходить те его произведения, которые обогатили нашу литературу.

Трагедия даровитого писателя была в том, что пока он вникал в жизнь, наблюдал ее, описывал с поразительной достоверностью и точностью чистым, чудесным, ясным русским языком, он был поистине одним из замечательных русских писателей, понятных и близких читателю, — но он не сумел подняться выше классово-ограниченности «избранного общества», когда писал в стихах и прозе о «потустороннем», рассуждал о переселении душ (например, в рассказе «Цикады»), философствовал о «божественном» и сверхъестественном, рассуждал об обреченности всего земного. Эти произведения могли быть интересны для кучки потерявших родину, утративших понимание действительности «сверх-интеллигентов».

Мы ценим Бунина-реалиста, Бунина-художника слова, являющегося истинным украшением русской литературы.

Написанные Буниным в разное время публицистические статьи, очерки и некоторые его рассказы недостойны его таланта и часто не отличаются от злобных, злопыхательских писаний эмигрантских клеветников. Отчасти это объясняется характером Бунина, теми его «личными чувствами», о которых он сам писал в «автобиографических заметках».

До конца жизни Бунин тосковал о родине. Воображение перенесло его из номера парижской гостиницы на родину, он видел ее как

бы воочию, видел ее поля, леса, просторы, но не видел людей, не видел ее настоящего и будущего. В стихотворении, написанном в 1922 году, он с горечью писал:

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.  
Как горько было сердцу молодому,  
Когда я уходил с отцовского двора,  
Сказать прости родному дому!

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.  
Как бьется сердце горестно и громко.  
Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом  
С своей уж ветхой котомкой!

И это, конечно, не воспоминания юности, а тоска по тому родному дому, который был его родиной.

Вторая мировая война, разгром гитлеровских орд советским народом, несомненно, произвели огромное впечатление на Бунина. В одной из парижских эмигрантских газет он писал: «Горячо радуюсь победам России и союзников...»

Он приветствовал Указ Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции.

«Это решение Советского правительства является великодушным», — писал Бунин.

Бунин проявлял большой интерес к изданию своих произведений на родине, он писал старому своему другу и товарищу по кружку «Среда» писателю Н. Д. Телешову свои соображения по поводу издания его сочинений для советских читателей.

Скончался Бунин в Париже 8 ноября 1953 года восьмидесяти трех лет от роду.

Это был даровитейший художник слова, замечательный русский писатель, создавший суровые и правдивые картины ушедшей в прошлое русской жизни, русской деревни, галерею образов старой, дореволюционной России. Живопись слова, совершенство формы произведений Бунина обогатили сокровищницу русской литературы.

Отметая то, что было недостойно его таланта и ума, мы высоко ценим лучшие его произведения. Они принадлежат народу и стране, где родился, жил, творил в расцвете своего таланта большой русский писатель Иван Бунин.

*Л. НИКУЛИН*

# РАССКАЗЫ

1892 — 1909



## ПЕРЕВАЛ

Ночь давно, а я все еще бреду по горам к перевалу, бреду под ветром, среди холодного тумана, и безнадежно, но покорно идет за мной в поводу мокрая, усталая лошадь, звякая пустыми стремянами.

В сумерки, отдыхая у подножия сосновых лесов, за которыми начинается этот голый, пустынный подъем, я смотрел в необъятную глубину подо мною с тем особым чувством гордости и силы, с которым всегда смотришь с большой высоты. Еще можно было различить огоньки в темнеющей долине далеко внизу, на побережье тесного залива, который, уходя к востоку, все расширялся и, поднимаясь туманно-голубой стеной, обнимал полнеба. Но в горах уже наступала ночь. Темнело быстро, я шел, приближался к лесам — и горы вырастали все мрачней и величавее, а в пролеты между их отрогами с бурной стремительностью валился косыми, длинными облаками густой туман, гонимый бурей сверху. Он срывался с плоскогорья, которое окутывал гигантской рыхлой грядой, и своим падением как бы увеличивал хмурую глубину пропастей между горами. Он уже задымил лес, надвигаясь на меня вместе с глухим, глубоким и нелюдимым гулом сосен. Повеяло зимней свежестью, понесло снегом и ветром... Наступила ночь, и я долго шел под темными, гудящими в тумане сводами горного бора, склонив голову от ветра.

«Скоро перевал,— говорил я себе.— Скоро я буду в за-тишье, за горами, в светлом, людном доме...»

Но проходит полчаса, час... Каждую минуту мне кажется, что перевал в двух шагах от меня, а голый и каменный подъем не кончается. Уже давно остались внизу сосновые леса, давно прошли низкорослые, искривленные кустарники, и я начинаю уставать и дрогнуть. Мне вспоминается несколько могил среди

сосен недалеко от перевала, где похоронены какие-то дрово-секи, сброшенные с гор зимней бурей. Я чувствую, на какой дикой и безлюдной высоте я нахожусь, чувствую, что вокруг меня только туман, обрывы, и думаю: как пройду я мимо одиноких камней-памятников, когда они, как человеческие фигуры, зачернеют среди тумана? хватит ли у меня сил спуститься с гор, когда я уже и теперь теряю представление о времени и месте?

Впереди что-то смутно чернеет среди бегущего тумана... какие-то темные холмы, похожие на спящих медведей. Я пробираюсь по ним, с одного камня на другой, лошадь, срываясь и лязгая подковами по мокрым гольшам, с трудом влезает за мною, — и вдруг я замечаю, что дорога снова начинает медленно подниматься в гору! Тогда я останавливаюсь, и меня охватывает отчаяние. Я весь дрожу от напряжения и усталости, одежда моя вся промокла от снега, а ветер так и пронизывает ее насквозь. Не крикнуть ли? Но теперь даже чабаны забились в свои гомеровские хижины вместе с козами и овцами, — кто услышит меня? И я с ужасом озираюсь:

— Боже мой! Неужели я заблудился?

Поздно. Бор глухо и сонно гудит в отдалении. Ночь становится все таинственнее, и я чувствую это, хотя не знаю ни времени, ни места. Теперь погас последний огонек в глубоких долинах, и седой туман воцаряется над ними, зная, что пришел его час, долгий час, когда кажется, что все вымерло на земле и уже никогда не настанет утро, а будут только возрастать туманы, окутывая величавые в своей полночной страже горы, будут глухо гудеть леса по горам и все гуще лететь снег на пустынном перевале.

Закрываясь от ветра, я поворачиваюсь к лошади. Единственное живое существо, оставшееся со мною! Но лошадь не смотрит на меня. Мокрая, озябшая, сгорбившись под высоким седлом, которое неуклюже торчит на ее спине, она стоит, покорно опустив голову с прижатыми ушами. И я злобно дергаю повод и снова подставляю лицо мокрому снегу и ветру, и снова упорно иду навстречу им. Когда я пытаюсь разглядеть то, что окружает меня, я вижу только седую бегущую мглу, которая слепит снегом. Когда я вслушиваюсь, я различаю только свист ветра в уши и однообразное позвякивание за спиною: это стучат стремена, сталкиваясь друг с другом...

Но странно — мое отчаяние начинает укреплять меня! Я начинаю шагать смелее, и злобный укор кому-то за все, что я выношу, радует меня. Он уже переходит в ту мрачную и стойкую покорность всему, что надо вынести, при которой сладостна безнадежность...

Вот наконец и перевал. Но мне уже все равно. Я иду по ровной и плоской степи, ветер несет туман длинными космами



и валит меня с ног, но я не обращаю на него внимания. Уже по одному свисту ветра и по туману чувствуется, как глубоко овладела поздняя ночь горами,— уже давным-давно спят в долинах, в своих маленьких хижинах маленькие люди; но я не тороплюсь, я иду, стиснув зубы, и бормочу, обращаясь к лошади:

— Иди, иди. Будем брести, пока не свалимся. Сколько уже было в моей жизни этих трудных и одиноких перевалов! Как ночь, надвигались на меня горести, страдания, болезни, измены любимых и горькие обиды дружбы — и наступал час разлуки со всем, с чем сроднился. И, скрепивши сердце, опять брал я в руки свой страннический посох. А подъемы к новому счастью были высоки и трудны, ночь, туман и буря встречали меня на высоте, жуткое одиночество охватывало на перевалах... Но — идем, идем!

Спотыкаясь, я бреду, как во сне. До утра далеко. Целую ночь придется спускаться к долинам и только на заре удастся, может быть, уснуть где-нибудь мертвым сном,— сжаться и чувствовать только одно — сладость тепла после холода.

День опять обрадует меня людьми и солнцем и опять надолго обманет меня... Где-то упаду я и уже навсегда останусь среди ночи и выюги на голых и от века пустынных горах?

## ТАНЬКА

Таньке стало холодно, и она проснулась.

Высвободив руку из попонки, в которую она неловко закуталась ночью, Танька вытянулась, глубоко вздохнула и опять сжалась. Но все-таки было холодно. Она подкатилась под самую «голову» печи и прижала к ней Ваську. Тот открыл глаза и взглянул так светло, как смотрят со сна только здоровые дети. Потом повернулся на бок и затих. Танька тоже стала задремывать. Но в избе стукнула дверь: мать, шурша, протаскивала из сенец охапку соломы.

— Холодно, тетка? — спросил странник, лежа на конике.

— Нет, — ответила Марья, — туман. А собаки валяются, — беспреренно к метели.

Она искала спичек и гремела ухватами.

Странник спустил ноги с коника, зевал и обувался.

В окна брезжил синеватый холодный свет утра; под лавкой шипел и крикал проснувшийся хромой селезень. Теленок поднялся на слабые растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост и так глупо и отрывисто мякнул, что странник засмеялся и сказал:

— Сиротка! Корову-то прогусарили?

— Продали.

— И лошади нету?

— Продали.

Танька раскрыла глаза.

Продажа лошади особенно врезалась ей в память. «Когда еще картохи копали», в сухой, ветреный день, мать на поле полудновала, плакала и говорила, что ей «кусок в горло не идет», и Танька все смотрела на ее горло, не понимая, о чем толк.

Потом в большой крепкой телеге с высоким передком при-

езжали «анчихристы». Оба они были похожи друг на дружку — черны, засалены, подпоясаны по кострецам. За ними пришел еще один, еще чернее, с палкой в руке, что-то громко кричал и немного погодя вывел со двора лошадей и побегал с нею по выгону; за ним бежал отец, и Танька думала, что он погнался отнимать лошадь, догнал и опять увел ее во двор. Мать стояла на пороге избы и голосила. Глядя на нее, заревел во все горло и Васька... Потом «черный» опять вывел со двора лошадь, привязал ее к телеге и рысью поехал под гору... И отец уже не погнался...

«Анчихристы», лошадики-мещане, были, и правда, свирепы на вид, особенно последний — Талдыкин. Он пришел позднее, а до него два первые только цену сбивали. Они наперебой пытались лошадь, драли ей морду, били палками.

— Ну,— кричал один,— смотри сюда, получай с богом деньги!

— Не мои они, побереги, полцены брать не приходится,— уклончиво отвечал Корней.

— Да какая же это полцена, ежели, к примеру, кобыленке боле годов, чем нам с тобой? Молись богу!

— Что зря толковать,— рассеянно возражал Корней.

Тут-то и пришел Талдыкин, здоровый, толстый мещанин с физиономией мопса: блестящие, злые черные глаза, форма носа, скулы,— все напоминало в нем эту собачью породу.

— Что за шум, а драки нету? — сказал он, входя и улыбаясь, если только можно назвать улыбкой раздувание ноздрей.

Он подошел к лошади, остановился и долго равнодушно молчал, глядя на нее. Потом повернулся, небрежно сказал товарищам: «поскореейча, ехать время, я на выгоне дождю», и пошел к воротам.

Корней нерешительно окликнул:

— Что ж не глянул лошадь-то?

Талдыкин остановился.

— Долгого взгляда не стóит,— сказал он.

— Да ты поди, побалакаем...

Талдыкин подошел и сделал ленивые глаза.

— Ну?

Он внезапно ударил лошадь под брюхо, дернул ее за хвост, пощупал под лопатками, понюхал руку и отошел.

— Плоха? — стараясь шутить, спросил Корней.

Талдыкин хмыкнул:

— Долголетня?

— Лошадь не старая.

— Тэк. Значит, первая голова на плечах?

Корней смутился.

Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ лошади, взглянул

как бы мельком ей в зубы и, обтирая руку о полу, насмешливо и скороговоркой спросил:

— Так не стара? Твой дед не ездил венчаться на ней?.. Ну, да нам сойдет, получай одиннадцать желтеньких.

И, не дожидаясь ответа Корнея, достал деньги и взял лошадь за оброть.

— Молись богу да полбутылочки ставь.

— Что ты, что ты? — обиделся Корней. — Ты без креста, дядя!

— Что? — воскликнул Талдыкин грозно. — Обабурился? Денег не желаешь? Бери, пока дурак попадает, бери, говорят тебе!

— Да какие же это деньги?

— Такие, каких у тебя нету.

— Нет, уж лучше не надо...

— Ну, через некоторое число за семь отдашь, с удовольствием отдашь, — верь совести...

Корней отошел, взял топор и с деловым видом стал тесать подушку под телегу.

Потом пробовали лошадь на выгоне... И как ни хитрил Корней, как ни сдерживался, не отвоевал-таки!

Когда же пришел октябрь и в посиневшем от холода воздухе замелькали, повалили белые хлопья, заноса выгон, лазины и завалинку избы, Таньке каждый день пришлось удивляться на мать.

Бывало, с началом зимы, для всех ребятишек начинались истинные мучения, проистекавшие, с одной стороны, от желанная удрать из избы, пробежать по пояс в снегу через луг и, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, бить по нем палками и слушать, как он гулькает, а с другой стороны — от грозных окриков матери:

— Ты куда? Чичер, холод — а она, накося! С мальчишками на пруд! Сейчас лезь на печь, а то смотри у меня, демоненок!

Бывало, с грустью приходилось довольствоваться тем, что на печь протягивалась чашка с дымящимися рассыпчатыми картошками и ломоть пахнущего клетью, круто посоленного хлеба. Теперь же мать совсем не давала по утрам ни хлеба, ни картошек, на просьбы об этом отвечала:

— Иди, я тебя одену, ступай на пруд, деточка!

Прошлую зиму Танька и даже Васька ложились спать поздно и могли спокойно наслаждаться сиденьем на грубке печки хоть до полуночи. В избе стоял распаренный, густой воздух; на столе горела лампочка без стекла, и копоть темным, дрожащим фитилем достигала до самого потолка. Около стола сидел отец и шил полушубки; мать чинила рубахи или вязала варежки; наклоненное лицо ее было в это время кротко и ласко-

во. Тихим голосом пела она «старинные» песни, которые слышала еще в девичестве, и Таньке часто хотелось от них плакать. В темной избе, заваянной снежными вьюгами, вспоминалась Марье ее молодость, вспоминались жаркие сенокосы и вечерние зори, когда шла она в девичей толпе полевой дорогой с звонкими песнями, а за ржами опускалось солнце и золотой пылью сыпался сквозь колосья его догорающий отблеск... Песней говорила она дочери, что и у нее будут такие же зори, будет все, что проходит так скоро и надолго, надолго сменяется деревенским горем и заботою...

Когда же мать собирала ужинать, Танька в одной длинной рубашонке съезывала с печи и, часто перебирая босыми ножками, бежала на коник, к столу. Тут она, как зверок, садилась на корточки и быстро ловила в густой похлебке сальце и закусывала огурцами и картошками. Толстый Васька ел медленно и таращил глаза, стараясь всунуть в рот большую ложку... После ужина она с тугим животом так же быстро перебежала на печь, дралась из-за места с Васькой и, когда в темные оконца смотрела одна морозная ночная муть, засыпала сладким сном под молитвенный шопот матери: «Угодники божие, святителю Микола милосливый, столп-охранение людей, матушка пресвятая Пятница— молитте бога за нас! Хрест в головах, хрест у ногах, хрест от лукавого...»

Теперь мать рано укладывала спать, говорила, что ужинать нечего, и грозила «глаза выколоть», «слепым в сумку отдать», если она, Танька, спать не будет. Танька часто ревела и просила «хоть капуста», а спокойный насмешливый Васька лежал, драл ноги вверх и ругал мать.

— Вот домовой-то, — говорил он серьезно, — все спи да спи! Дай бати дождать!

Батя ушел еще с Казанской, был дома только раз, говорил, что везде «беда», — полушубков не шьют, больше помирают, — и он только чинит кое-где у богатых мужиков. Правда, в тот раз ели селедки, и даже «вот такой-то кусок» соленого судака батя принес в тряпочке: «на кстинах, говорит, был третьего дня, так вам, ребята, спрятал»... Но когда батя ушел, совсем почти есть перестали...

Странник обулся, умылся, помолился богу; широкая его спина в засаленном кафтане, похожем на подрясник, сгибалась только в поясице, крестился он широко. Потом расчесал бородку-клинушек и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закуски закурил цыгарку. Умытое лицо его было широко, желто и плотно, нос вздернут, глаза глядели остро и удивленно.

— Что ж, тетка,— сказал он,— даром солому-то жжешь, варева не ставишь?

— Что варить-то? — спросила Марья отрывисто.

— Как что? Ай нечего?

— Вот домовой-то... — пробормотал Васька.

Марья заглянула на печку:

— Ай проснулся?

Васька сопел спокойно и ровно.

Танька прижукнулась.

— Спят,— сказала Марья, села и опустила голову.

Странник исподлобья долго глядел на нее и сказал:

— Горевать, тетка, нечего.

Марья молчала.

— Нечего,— повторил странник.— Бог даст день, бог даст пищу. У меня, брат, ни крова, ни дома, пробираюсь бережками и лужками, рубежами и межами да по задворкам — и ничего себе... Эх, не ночевывала ты на снежку под ракитовым кустом — вот что!

— Не ночевывал и ты,— вдруг резко ответила Марья, и глаза ее заблестели,— с ребятишками с голодными, не слышал, как голоса они во сне с голоду! Вот, что я им суну сейчас, как встанут? Все дворы еще до рассвету обегала — Христом богом просила, одну краюшечку добыла... и то, спасибо, Козел дал... у самого, говорит, оборочки на лапти не осталось... А ведь ребят-то жалко — в отделку сморились...

Голос Марьи зазвенел.

— Я вон,— продолжала она, все более волнуясь,— гоню их каждый день на пруд... «Дай капуста, дай картошечек...» А что я дам? Ну, и гоню: «Иди, мол, поиграй, деточка, побегай по ледочку...»

Марья всхлипнула, но сейчас же дернула по глазам рукавом, поддала ногой котенка («У, погибели на тебя нету!..») и стала усиленно сгребать на полу солому.

Танька замерла. Сердце у нее стучало. Ей хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери, прижаться к ней... Но вдруг она придумала другое. Тихонько поползла она в угол печки, торопливо, оглядываясь, обулась, закутала голову платком, съерзнула с печки и шмыгнула в дверь.

«Я сама уйду на пруд, не буду просить картох, вот она и не будет голосить,— думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг.— Аж к вечеру приду...»

По дороге из города ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и влево, лёгкие «козырьки»; меренок шел в них ленивой рысцою. Около саней легонько бежал молодой мужик в но-

вом полушубке и одеревеневших от снега нагольных сапогах, господский работник. Дорога была раскатистая, и ему поминутно приходилось, завидев опасное место, соскакать с передка, бежать некоторое время и затем успеть задержаться собой на раскате сани и снова вскочить бочком на облучок.

В саних сидел седой старик, с нависшими бровями, барин Павел Антоныч. Уже часа четыре смотрел он в теплый, мутный воздух зимнего дня и на придорожные вешки в инее.

Давно ездил он по этой дороге... После Крымской кампании, проиграв в карты почти все состояние, Павел Антоныч навсегда поселился в деревне и стал самым усердным хозяином. Но и в деревне ему не посчастливилось. Умерла жена... Потом пришлось отпустить крепостных... Потом проводить в Сибирь сына-студента... И Павел Антоныч стал совсем затворником. Он втянулся в одиночество, в свое скупое хозяйство, и говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. А сегодня он был особенно угрюм.

Морозило, и за снежными полями, на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря.

— Погоняй, потрогивай, Егор,— сказал Павел Антоныч отрывисто.

Егор задергал вожжами.

Он потерял кнут и искоса оглядывался.

Чувствуя себя неловко, он сказал:

— Чтой-то бог даст нам на весну в саду: прививочки, кажись, все целы, ни одного, почитай, морозом не тронуло.

— Тронуло, да не морозом,— отрывисто сказал Павел Антоныч и шевельнул бровями.

— А как же?

— Объедены.

— Зайцы-то? Правда, провалиться им, объели кое-где.

— Не зайцы объели.

Егор робко оглянулся.

— А кто ж?

— Я объел.

Егор поглядел на барина в недоумении.

— Я объел,— повторил Павел Антоныч.— Кабы я тебе, дураку, приказал их как следует закутать и замазать, так были бы целы... Значит, я объел.

Егор растянул губы в неловкую улыбку.

— Чего оскалешься-то? Погоняй!

Егор, роясь в передке, в соломе, пробормотал:

— Кнут-то, кажись, соскочил, а кнутовище...

— А кнутовище? — строго и быстро спросил Павел Антоныч.

— Переломился...

И Егор, весь красный, достал надвое переломленное кнутовище. Павел Антоныч взял две палочки, посмотрел и сунул их Егору.

— На тебе два, дай мне один. А кнут — он, брат, ременный — вернись, найди.

— Да он, может... около городу.

— Тем лучше. В городе купишь... Ступай. Придешь пешком. Один доеду.

Егор хорошо знал Павла Антоныча. Он слез с передка и пошел назад по дороге.

А Танька, благодаря этому, ночевала в господском доме.

Да, в кабинете Павла Антоныча был придвинут к лежанке стол, и на нем тихо звенел самовар. На лежанке сидела Танька, около нее Павел Антоныч. Оба пили чай с молоком.

Танька запотела, глазки у нее блестели яркими звездочками, шелковистые беленькие ее волосики были причесаны на косой ряд, и она походила на мальчика. Сидя прямо, она пила чай отрывистыми глотками и сильно дула в блюдечко. Павел Антоныч ел крендели, и Танька тайком наблюдала, как у него двигаются низкие серые брови, шевелятся пожелтевшие от табаку усы и смешно, до самого виска ходят челюсти.

Будь с Павлом Антонычем работник, этого бы не случилось. Но Павел Антоныч ехал по деревне один. На горе катались мальчишки. Танька стояла в сторонке и, загнув в рот посиневшую руку, грела ее. Павел Антоныч остановился.

— Ты чья? — спросил он.

— Корнеева, — ответила Танька, повернулась и бросилась бежать.

— Постой, постой, — закричал Павел Антоныч, — я отца видел, гостинчика привез от него.

Танька остановилась.

Ласковой улыбкой и обещанием «прокатить» Павел Антоныч заманил ее в сани и повез. Дорогой Танька совсем было ушла. Она сидела у Павла Антоныча на коленях. Левой рукой он захватил ее вместе с шубой. Танька сидела, не двигаясь. Но у ворот усадьбы вдруг ерзула из шубы, даже заголилась вся, и ноги ее повисли за санями. Павел Антоныч успел подхватить ее подмышки и опять начал уговаривать. Все теплей становилось в его старческом сердце, когда он кутал в мех оборванного, голодного и иззябшего ребенка. Бог знает, что он думал, но брови его шевелились все живее.



В доме он водил Таньку по всем комнатам, заставляя для нее играть часы... Слушая их, Танька хохотала, а потом настораживалась и глядела удивленно: откуда эти тихие перезвоны и рулады идут? Потом Павел Антоныч накормил ее черносливом — Танька сперва не брала — «он чернищий, нукошь умрешь», дал ей несколько кусков сахара. Танька спрятала и думала: «Ваське не дам, а как мать заголосит, ей дам».

Павел Антоныч причесал ее, подпоясал голубеньким пояском. Танька тихо улыбалась, всташила поясок под самые мышки и находила это очень красивым. На расспросы она отвечала иногда очень поспешно, иногда молчала и мотала головой.

В кабинете было тепло. В дальних темных комнатах четко стучал маятник... Танька прислушивалась, но уже не могла одолеть себя. В голове у нее роились сотни смутных мыслей, но они уже облекались сонным туманом.

Вдруг на стене слабо дрогнула струна на гитаре и пошел тихий звук. Танька засмеялась.

— Опять? — сказала она, поднимая брови, соединяя часы и гитару в одно.

Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоныча, и давно уже не озарялось оно такую добротой, такую старчески-детскою радостью.

— Погоди, — шепнул он, снимая со стены гитару.

Сперва он сыграл «Качучу», потом «Марш на бегство Наполеона» и перешел на «Зореньку»:

Заря ль моя, зоренька,  
Заря ль моя ясная!

Он глядел на задремывающую Таньку, и ему стало казаться, что это она, уже молодой деревенской красавицей, поет вместе с ним песни:

По заре-зарю  
Играть хочется!

Деревенской красавицей! А что ждет ее? Что выйдет из ребенка, повстречавшегося лицом к лицу с голодною смертью?

Павел Антоныч нахмурил брови, крепко захватив струны...

Вот теперь его племянницы во Флоренции... Танька и Флоренция!..

Он встал, тихонько поцеловал Таньку в голову, пахнущую курной избой.

И пошел по комнате, шевеля бровями.

Он вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек, — и везде они томятся от голода!

Павел Антоныч все быстрее ходил по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына...

А Таньке снился сад, по которому она вечером ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах, опущенных, как белым мехом, инеем. Сквозь них роились, трепетали и потухали огоньки, голубые, зеленые — звезды... Кругом стояли как будто белые хоромы, иней сыпался на лицо и щекотал щеки, как холодный пушок... Снился ей Васька, часовые рулады, слышалось, как мать не то плачет, не то поет в темной дымной избе старинные песни...

1892

## КАСТРЮК

### I

Внезапно выскочив из-за крайней избы, с полевой дороги, во всю прыть маленьких лошадок, летели по деревенской улице барчуки из Залесного. Подпрыгивая и хватаясь за холки, они гнались вперегонки, и ветер пузырями надувал на их спинах ситцевые рубашки. Теленок шарахнулся от них в сенцы, куры и впереди них петух, приседая к земле, неслись куда глаза глядят. Но отчаяннее всех улепетывала по деревенской улице маленькая белоголовая девочка в одной рубашонке. Обезумев от страха, она вскочила на огороды, несколько раз с размаху упала по дороге и вдруг увидала в воротах риги дедушку. С звонким криком бросилась она в его колени.

— Что ты, что ты, дурочка? — закричал и дед, ловя ее за рубашку.

— Барчуки... на жеребцах! — захлебываясь от слез, едва могла выговорить внучка.

Дед усадил ее на колени, начал уговаривать.

Внучка скоро затихла и, изредка всхлипывая, обиженным вздрагивающим голосом начала рассказывать, как было дело.

Поглаживая ее по голове, дед задумчиво улыбался.

В риге было прохладно и уютно. В мягкую темноту ее из глубины ясного весеннего неба влетали ласточки и с чиликаньем садились на переметы, на сани, сложенные в угол риги. Все было ясно и мирно кругом — и на деревне, и в далеких зазеленевших полях. Утреннее солнце мягко пригрело землю, и повесенному дрожал вдали тонкий пар над ней. Там, в полях, подымалась пашня, блестящие черные грачи перелетали около сох. Здесь, на деревне, в холодке от изб, только девочки тоненькими голосками напевали песни, сидя на траве за коклюшками.

Кроме ребятишек и стариков, все были в поле — даже все Орелки, Буянки и Шарики.

Дед сегодня первый раз за всю жизнь остался дома на стариковском положении. Старуха померла мясоедом. Сам он пролежал всю раннюю весну и не видал, как деревня уехала на первые полевые работы. К концу Фоминой он стал выходить, но еще и теперь не поправился как следует. И вот, всеми обстоятельствами деревенской жизни, вынужден он проводить самое дорогое для работы утро дома.

— Ну, Кастрюк (деда все так звали на деревне, потому что, выпивши, он любил петь про Кастрюка старинные веселые прибаутки), ну, Кастрюк,— говорил ему на заре сын, выравнивая гужи на сохе, между тем как его баба зашпиливала веретье на возу с картошками,— не тужи тут, поглядывай обапол дому да за Дашкой-то... Кабы ее телушка не забрухала...

Дед, без шапки, засунув руки в рукава полушубка, стоял около него.

— Кому Кастрюк — тебе дяденька,— говорил он с рассеянной улыбкой.

Сын, не слушая, затягивал зубами веревку и продолжал деловым тоном:

— Твое дело, брат, теперь стариковское. Да и горевать-то, почесть, не по чем: оно только с виду сладко хрип-то гнуть.

— Да уж чего лучше,— отвечал дед машинально.

Когда сын уехал, он сходил за чем-то в пуньку, потом передвинул в тень водовозку — все искал себе дела. То он бережливо, согнув старую спину, сметал муку в закроме, то там и сям тюкал топором... В риге он сел и пристально чистил трубку медной капаушкой. Иногда ворчал:

— Долго ли пролежал,— глядь, уж везде беспорядок. А умри — и все прахом пойдет.

Иногда старался подбодрить себя. «Небось!» — говорил он кому-то с задором и значительно; иногда подергивал плечами и с ожесточением выговаривал: «Эх, мать твою не замать, отца твоего не трогать! Был конь, да уездился...» Но чаще опускал голову.

Закипели в колодезях воды,  
Заболело во молодце сердце,—

напевал он, и ему вспоминалось прежнее, мысли тянулись к тому времени, когда он сам был хозяином, работником, молодым и выносливым... Глядя внучку по голове, он с любовью перебирал в памяти, что в такой-то год, в эту пору он сеял, и с кем выходил в поле, и какая была у него тогда кобыла...

Внучка шопотом предложила пойти наломать веничков, про которые мать уже давно толковала. Дед легкомысленно забыл про пустую избу и, взяв за руку внучку, повел ее за деревню.

Идя по мягкой, давно неезженной полевой дороге, они незаметно отошли от деревни с версту и принялись ломать полынь.

Вдруг Дашка встрепенулась.

— Дедушка, глянь-ка! — заговорила она и быстро и нараспев, — глянь-ка! Ах, ма-а-тушки!

Дед глянул и увидал бегущий вдали поезд. Он торопливо подхватил внучку на руки и вынес ее на бугорок, а она тянулась у него с рук и радостно твердила:

— Дедушка! Рысью, рысью!

Поезд разрастался и под уклон работал все быстрее, весь блестя на солнце. Долго и напряженно глядела Дашка на бегущие вагоны.

— Должно, к завтраму приедет, — сказала она в раздумье.

Блестя трубой, цилиндрами, мелькающим поршнем, колесами, поезд тяжелым взмахом урагана пронесся мимо, завернул и, мелькнув задним вагоном, стал сокращаться и пропадать вдали...

Жаворонки пели в теплом воздухе... Весело и важно какакали грачи... Цвели цветы в траве около линии... Спутанный меренок, пофыркивая, щипал подорожник, и дед чувствовал, как даже мерину хорошо и привольно на весеннем корму в это ясное утро.

— Здорово, сударушка, — закричал он, увидев идущего по рельсам сторожа-солдата. — «Здравия желаем, ваше благородие!» — прибавил он, чтобы подделаться к солдату и поболтать немного.

— Здравствуй, — сказал солдат сухо, не вынимая изо рта трубки.

— Иди, сударушка, покурим, — продолжал дед, — поговорь с Кастрюком. Я, брат, ноне тоже замест часового приставлен.

— Я путь должён обревизовать к прибытию второго номера, — ответил сторож и, наклонившись, тюкнул молотком по рельсе и пошел дальше.

Дед застенчиво улыбнулся и крикнул солдату вдогонку:

— А то погодил бы!

Солдат не обернулся.

По дороге назад дед поболтал с пастухами и полюбовался на стадо.

— Дуже хороши ноне корма будут! — сказал он.

— Хороши, — ответил подпасок и вдруг, с криком: «азад, смёртние!» — бросился за свиньями.

Стадо привольно разбрелось по пару. Жеманно, на разные лады, тонкими голосками перекликались ягнята. Один, упав на колени, засовал мордочкой под пах матери и так торопливо, дрожа хвостиком и подталкивая ее, стал сосать, что дед засмеялся от удовольствия...

## II

Поспешно подходя к своей избе, он увидал, что по выгону, прямо к ней, едет молодой барин из Залесного, и бросился отгонять под гору соседскую кобылу: вороной барский жеребец весь заиграл и заплясал, выгибая шею.

Сдерживая его и сгибая своей тяжестью дрожки, барин въехал в тень избы и остановился. Дед почтительно стал у порога.

— Здравствуй, Кастрюк,— сказал барин ласково и, отирая красное лицо с рыжей бородой, достал папиросы.

— Жарко! — прибавил он и протянул папироску и деду.

— Непривычны, Миколай Петрович,— захихикал тот.— Трубочку вот, а то шкалик-другой красенького — это мы, старики, любим!

— А я было к вам по дельцу,— начал Николай Петрович, отдуваясь.— Ездил повещать на Мажаровку... надевай шапку-то, Семен!.. да вот, кстати, и к вам. Девоч своих не пошлете ли ко мне?

— Аль еще не сажали? — спросил дед участливо.

— Запоздали нынче... не я один.

— Запоздали, Миколай Петрович, запоздали...

— Я...— продолжал барин и вдруг так зычно гаркнул: «ба-луй», что дед со всех ног бросился держать жеребца.

— Немножко-то посадил,— опять начал барин,— а пора и совсем управиться. Девчонок-то своих и турили бы ко мне.

— Разя один совладаешь, Миколай Петрович?

— Да ты скажи своим-то...

— Солдатка-то дома, что ль? — спросил дед деловым тоном у подошедшей старухи и замялся.

— Кабы солдатка была, она бы сбила,— сказал он, как бы оправдываясь.— А я, сударушка, дома ноне сижу... Мне и отойти нельзя... Кабы прежнее мое дело, покоситься там али под паринку,— я бы единым духом.

— Жалко,— сказал барин задумчиво.— Видно, вечером заверну,— и взялся за вожжи.

Чтобы как-нибудь задержать его, дед вдруг сказал:

— Ты, сударушка, нанял бы меня в работники...

— Что ж, нанимайся,— сказал барин, рассеянно улыбаясь.

— А когда заступать?

Барин пристально поглядел на него и качнул головою.

— Заступать когда? Эка ты — шустрый какой!

— Я-то, сударушка? Да я их всех, молоденьких, за пояс заткну! Я еще жениться хочу! Да на свадьбе еще плясать буду!

— Да уж ты! — перебил барин, усмехаясь, ударил вожжой жеребца и покатил по выгону.

Дед постоял, подумал...

Все говорило ему, что он теперь отживший человек. Так только, для дому нужен, пока еще ноги ходят... «Ишь покатил!» — подумал он с сердцем, глядя вслед убегающим дрожкам, и пошел вынимать из печки похлебку.

Пообедав, внучка с ребятишками ушла в лужок за баранчиками. Все они так жалобно просились пустить их, что дед не мог устоять. Только сказал:

— Не найдете, ребята, разве снытку только...

В избе он от нечего делать снова принялся за еду. Он натер себе картошек, налил в них немного молока (боялся, что и за это сноха будет ругаться) и долго ел месиво.

В пустой избе стоял горячий, спертый воздух. Солнце сквозь маленькие, склеенные из кусочков, мутные стекла било жаркими лучами на покоробленную доску стола, которую, вместе с крошками хлеба и большой ложкой, черным роем облепили мухи.

Вдруг дед с радостью вспомнил, что есть еще дело — достать из-под крыши пачку листовой махорки, раскрошить ее и набить трубку. Влезая в сенцах по каменной стене под застреху, он едва не сорвался — голова у него закружилась, в спине заломило... Он опять с горечью подумал о своей старости и, уже лениво дотащившись до порога избы, на который еще падала тень, медленно занялся делом.

В полдень деревня вся точно вымерла. Тишина весеннего знойного дня очаровала ее...

Старухи-соседки долго «искались» под старой лозиной на выгоне, потом легли, накрыли головы занавесками и заснули. Самые маленькие ребятишки хлопотливо лепили из глины ульи, собравшись в размытом спуске около пруда. Изредка мычал теленок, привязанный за кол около спящих баб. Изредка доносился крик петуха и нагонял на деревню тихую дрему. А в полях попрежнему заливались жаворонки, зеленели всходы и по горизонтам, как расплавленное стекло, дрожал и струился пар.

Дед лег около пуньки, стараясь заснуть. Для этого он старался представить себе, как шумит лес, как ходит волнами рожь на буграх по ветру и шуршит, переливается, и слегка покачивался сам. Но сон не приходил.

Лежа с закрытыми глазами, дед все думал о своей старости.

Теперь, небось, Андрей крепко спит под телегою. Деду же, может быть, до самой смерти не придется больше заснуть в поле. В рабочую пору он будет проводить долгие знойные дни

наедине с внучкою... А ведь было время — лучше его не косил никто во всей округе. Бывало, когда всей деревней косили у барина, он всех вел за собою. Да никто не мог и выпить больше его, когда, вернувшись гурьбой с поля на господский двор, мужики усаживались около амбара за ведром водки и начиналась «веселая беседа».

Никогда, однако, не пропибал он ума и разума. Все у него было всегда в порядке: и изба каждую осень крылась новой соломой, и кобыла была всегда в теле («печка! — говорили мужики, — хоть спать ложись на спине!»), и свадьбу сына он справил всем на удивление. Вся деревня собралась смотреть, когда на первый, после княжего пира, престольный праздник Андрей поехал к тестю. Рядом со своей разряженной бабой сел он в новые «козырьки», покрытые цветной попоной, выставил за грядку одну ногу в валенке и покатил по выгону... Дед надеялся тогда, что под старость будет у него первая во всей деревне семья, что никому не позволит он ссориться, заводить де-лежи...

— Пирог ситные в обмочку, думал, буду есть, — пробормотал он.

Ан все вышло не по-гаданному.

Младший сын отделился, а старший хотя и остался с ним, да не много вышло проку... Главное же — старуха всех подрезала. Умерла в самое плохое, голодное время. Да ослабели и его ноженьки, и придется ему теперь до смерти сидеть с ребятишками, вроде караульщика.

«Ишь, ровесник-то мой, — подумал он с озлоблением, — Салтан-то — и то убег со двора!»

И чего он, дед, маялся на свете и на что надеялся — бог его знает!

«Ни почету не дождался, — думал дед, вспоминая сына, посадившего его караульщиком, — ни богатства — ничего! И помрешь вот-вот и ни один кобель по тебе не вззоет!»

### III

Долг этот день показался ему!

Дашка воротилась из лужка и присоединилась к ребятам, игравшим в спуске.

«Ай уж и мне пойтить к ним свистульки лепить?» — думал дед с горькой улыбкой и наконец не выдержал.

— Посмотри, сударушка, за избой, — сказал он старухе-соседке, которая около пуньки медленно скатывала холсты.

— Ай соскучился? — спросила та жалобно.



— Соскучился, сударушка! И как только это вы, бабы, дома сидите!

— А ты надолго, небось?

— Нет, я сейчас, в одну минутую...

До заката было еще далеко. Но Андрей должен был, по расчетам деда, управиться раньше вечера. Он поглядывал на солнце и решал, что осминник надо досадить именно к этой поре.

На выгоне он встретил возвращавшегося с поля Глебочку. Глебочка, высокий, худощавый мужик с веснушками на бледном лице и с опухшими красными веками, в старом полушубке, из лохматых дыр которого виднелась белая рубаха, покачивался, сидя боком на спине лошади; перевернутая соха тащилась сзади, дребезжа палицей о подвои.

— Ай, сударушка, рассохи-то пропил? — пошутил дед.

— Пропил,— с бледной улыбкой ответил Глебочка.

— А мой скоро?

— Должно, едут.

— Где ж девки-то твои?

— Девти идут,— ответил Глебочка картаво.

На валу, под молодыми лозинками, дед сел и, щурясь от низкого солнца, глядел в даль, по дороге.

Тишина кроткого весеннего вечера стояла в поле. На востоке чуть вырисовывалась гряда неподвижных нежно-розовых облаков. К закату собирались длинные перистые ткани тучек... Когда же солнце слегка задернулось одной из них, в поле, над широкой равниной, влажно зеленеющей всходами и пестреющей паром, тонко, нежно засинел воздух. Безмятежнее и еще слаще, чем днем, заливались жаворонки. С паров пахло свежестью, зацветающими травами, медовой пылью желтого донника... Дед закрывал глаза, прислушивался, убаюкиваясь.

«Эх, кабы теперь дождичка,— думал он,— то-то бы ржи-то поднялись! Да нет, опять солнышко чисто садится!»

Вспоминая, что и завтра предстоит ему стариковский день, он морщился, придумывал, как бы избавиться от него. Он досадливо качал головою, скреб спину, облеченную в длинную стариковскую рубаху... и наконец пришел к счастливой мысли.

— Ну, прикончил? — говорил он через полчаса заискивающим тоном, шагая рядом с сыном и держась за оглоблю сохи.

— Кончить-то кончил,— отвечал Андрей ласково,— а ты-то как? Небось, соскучился?

— И-и, не приведи бог! — воскликнул дед ото всего сердца.— Сослужил, брат, службу... не хуже какого-нибудь солдата старого на капусте!

И смеясь, не желая придавать своим словам просящего выражения, попросился в ночное.

— С ребятами... а? — сказал он, заглядывая сыну в глаза.

— Что ж, веди! — ответил Андрей. — Только не забудь на полях кобылу напоить.

Дед закашлялся, чтобы скрыть свою радость.

#### IV

На закате, после ужина, положил он на спину кобылы зипун и полушубок, взвалился на нее животом и рысцой тронул за ребятами.

— Эй, погоди старика, — кричал он им.

Ребята не слушали. Старостин сынишка обскакал его, растарашив босые ножки на спине кругленького и ёкающего селезенкой мерина. Легкая пыль стлалась по дороге. Топот небольшого табуна сливался с веселыми криками и смехом.

— Дед, — кричали некоторые тоненькими голосками, — давай на обгонки!

Дед легонько поталкивал лаптями под брюхо кобылы.

В лощинке, за версту от деревни, он завернул на пруд.

Отставив увязшую в тину ногу и нервно вздрагивая всей кожей от тонко поющих комаров, кобыла долго-долго однообразно сосала воду, и видно было, как вода волнисто шла по ее горлу. Перед концом питья она оторвалась на время от воды, подняла голову и медленно, тупо огляделась кругом. Дед ласково посвистал ей. Теплая вода капала с губ кобылы, а она не то задумалась, не то залюбовалась на тихую поверхность пруда. Глубоко-глубоко отражались в пруде и берег, и вечернее небо, и белые полоски облаков. Плавно качались части этой отраженной картины и сливались в одну от тихо раскатывающегося все шире и шире круга по воде... Потом кобыла сделала еще несколько глотков, глубоко вздохнула и, с чмоканием вытащив из тины одну за другою ноги, вскарабкалась на берег.

Позвякивая полуоторванной подковой, бодрой иноходью пошла она по темнеющей дороге. От долгого дня у деда осталось такое впечатление, словно он пролежал его в болезни и теперь выздоровел. Он весело покрикивал на кобылу, вдыхал полной грудью свежий вечерний воздух.

«Не забыть же подкову оторвать», — думал он.

В поле ребята курили донник, спорили, кому в какой черед дежурить.

— Будя, ребята, спорить-то, — сказал дед. — Карауль пока ты, Васька, — ведь, правда, твой черед-то. А вы, ребята, ложи-

тес. Только смотри, не ложись головой на межу — домовый отдавит!

А когда лошади спокойно вникли в корм и прекратилась возня улегшихся рядышком ребят, смех над коростелью, которая оттого так скрипит, что дерет нога об ногу, дед постлал себе у межи полушубок, зипун и с чистым сердцем, с благоговением стал на колени и долго молился на темное, звездное, прекрасное небо, на мерцающий Млечный Путь — святую дорогу ко граду Иерусалиму.

Наконец и он лег.

Темнота разливалась над безбрежной равниной. В свежести весенней степной ночи тонули поля. За ними, за ночным мраком, слабо, как одинокая мачта, на слабом фоне заката маячил силуэт далекой-далекой мельницы...

## НА ХУТОРЕ

Долго-долго погорала заря бледным румянцем. Неуловимый свет и неуловимый сумрак мешались над равнинами хлебов. Темнело и в деревне,— одни оконца изб на выгоне еще отсвечивали медным блеском. Вечер был молчалив и спокоен. Загнали скотину, пришли с работ, поужинали на камнях перед избами и затихли... Не играли песен, не кричали ребятишки...

Все задумалось вечерней думой,— задумался и Капитон Иваныч, сидя у поднятого окна.

Усадьба его стояла на горе; мелкорослый сад, состоявший из акаций и сирени, заглохший в лопухах и чернобыльнике, шел вниз, к ложине. Из окна, через кусты, было далеко видно.

Поле молчало, лежало в бледной темноте. Воздух был сухой и теплый. Звезды в небе трепетали скромно и таинственно. И одни только кузнечики неутомимо стрекотали под окнами в чернобыльнике, да в степи отчетливо выкрикивал «пять-пальвать» перепел.

Капитон Иваныч был один — как всегда.

Ему словно на роду было написано всю жизнь прожить одиноко. Мать и отец его, очень бедные, мелкопоместные дворяне, проживавшие у князей Ногайских, умерли, когда ему было меньше году от рождения. Детство и отрочество он провел в доме сумасшедшей тетки, старой девы, и в школе кантонистов. В юности он писал песни, подражая Дельвигу и Кольцову, называл *ее* в своих стансах Валентиной — на деле ее звали Анютой и была она дочь чиновника, служившего в комиссариате,— но взаимности не имел.

Имя у него было «как у дворецкого», наружность не обращающая на себя внимания; смуглый, худощавый и высокий,

он похож был, по отзывам приятелей, на семинариста даже тогда, когда, по протекции князя (недаром говорили, что князь — отец Капитона Ивановича), добился офицерского чина. Тут ему досталось именище от тетки, и он вышел в отставку. Он еще воображал себя порою то героем из какого-нибудь романа Марлинского, то даже Печориным, стригся по новейшей моде — «а ля полька»... Но ничего не вышло из этого. «Валентина» поехала гостить к подруге и вышла замуж. А он «до гробовой доски» запер стихи в шифоньерке.

Он стал хозяйствовать; думал служить в только что открывшемся земстве, но и в земстве ему не повезло: предводитель, закусывая однажды в буфете дворянского собрания, сказал, что Капитон Иваныч «добряк, но фантазер... старый фантазер... отживающий свое время тип...» Капитон Иваныч перезнакомился с соседями мелкопоместными и увлекся охотой, приобретя себе незаменимого друга в легавой Джальме. И дни пошли за днями и стали слагаться в годы... Он стал настоящим мелкопоместным, носил «тужурку» и длинные черные усы; забыл даже думать о своей наружности и, вероятно, не знал, что его смуглое, немного рябое лицо очень привлекательно своей спокойной доброю...

Нынче он грустил. Утром зашла богомолка Агафья, бывшая дворовая Капитона Иваныча, и, между прочим, сказала:

— А помните, сударь, Анну Григорьевну!

— Помню,— сказал Капитон Иваныч.

— Умерла-с. Великим постом схоронили.

Целый день потом Капитон Иваныч неопределенно улыбался. А вечером... Вечер настал такой тихий и грустный!

Капитон Иваныч не стал ужинать, не лег спать рано, как ложился обыкновенно. Он свернул толстую папиросу из черного крепкого табаку и все сидел у окна, поджав под себя одну ногу.

Ему хотелось куда-то пойти. Как человек, привыкший все спокойно обдумывать, он спрашивал себя: «куда?» Разве перепелов ловить? Но заря уже прошла, да и идти не с кем. Семен нынче в ночном... Да и что перепела!

Он вздыхал и почесывал свой давно не бритый подбородок.

Как, в сущности, коротка и бедна человеческая жизнь! Давно ли был он мальчиком, юношей? Школа кантонистов — хорошо, что теперь их нет более! — холод, голод, поездки к тетке... Вот был человек! Он отлично помнил ее, старую худую деву с растрепанными, сухими черными волосами, с безумными глазами,— говорили, от несчастной любви сошла с ума,— помнил, как она, по старой институтской привычке, твердила наизусть французские басни, закатывая глаза и делая блажен-

ную; важную физиономию; помнил и «Полонез Огинского»... Страстно и необычно звучал он, потому что с безумной страстью играла его старая дева... Ах, этот полонез! И она играла его...

Звезды в небе светят так скромно и загадочно; сухо трещат кузнечики, и убаюкивает и волнует этот шопот-треск... В зале стоят старинные фортепианы. Там открыты окна... Если бы туда вошла теперь она, легкая, как привидение, и заиграла, тронула старые звонко-отзывчивые клавиши! А потом они вышли бы из дома и пошли рядом полевой дорожкой, между ржами, прямо туда, где далеко-далеко брезжит свет запада...

Капитон Иваныч поймал себя и усмехнулся.

— Расфанта-зировался...— протянул он вслух.

Трещали кузнечики в тихом вечернем воздухе и из сада пахло лопухами, бледной, высокой «зарей» и крапивой. И этот запах напоминал — вечера, когда он приезжал домой, из города, и сладко было ему думать о ней, обманывать себя надеждами на счастье.

Ни одного огонька не светилось на деревне, когда он поднимался в гору. Все спало под открытым звездным небом. Темны и теплы были апрельские ночи; мягко благоухали сады черемухой, лягушки заводили в прудах дремотную, чуть звнящую музыку, которая так идет к ранней весне... И долго не спалось ему тогда на соломе, в садовом шалаше! По часам следил он за каждым огоньком, что мерцал и пропадал в мутно-молочном тумане дальних лощин; если оттуда с забытого пруда долетал иногда крик цапли — таинственным казался этот крик и таинственно стояла темнота в аллеях... А когда перед зарею, охваченный сочной свежестью сада, он открывал глаза — сквозь полураскрытую крышу шалаша на него глядели целомудренные предутренние звезды...

Капитон Иваныч встал и пошел по дому. Шаги его отдавались по комнатам, полы кое-где гнулись и скрипели.

«Восемьдесят лет домику! — думал Капитон Иваныч.— Вот осенью надо звать плотников, а то холод зимою будет ужасный!»

Шагая по зале, он чувствовал себя как-то неловко. Высокий, худой, немного сгорбленный, в длинных старых сапогах и расстегнутой тужурке, из-под которой виднелась ситцевая косоворотка, он бродил по залу и, поднимая брови, покачивая головою, напевал «Полонез». Он чувствовал, что он сам следит за своею походкою и фигурою, представляет себя как другого человека, шагающего в полусвете старинной залы, человека, который бродит один-одинешенек, которому гру-

стно и которого ему до боли жаль... Он взял картуз и вышел из дому.

На дворе было светлее. Свет зари, погасающей за деревней, еще слабо разливался по двору.

— Михайла! — тихонько позвал Капитон Иваныч старого пастуха. Никто не откликнулся. Михайла ушел «ко двору, рубаху сменить».

Стараясь придумать себе дело, он направился по двору к варку: накосил ли Митька травы коровам? Но, думая совсем о другом, Капитон Иваныч только постоял у варка.

— Митька! — позвал он.

Опять никто не отозвался. Только за воротами тяжело-тяжело вздохнула корова и завозились и затрепыхали крыльями на насесте куры.

«Да и на что они мне нужны?» — подумал Капитон Иваныч и не спеша пошел за каретный сарай, туда, где начинались на косогоре ржи. Шурша, пробрался он по глухой крапиве на бугор, закурил и сел.

Широкая равнина лежала внизу в бледной темноте. С косогора была далеко видна молчаливо утонувшая в сумраке окрестность.

«Сижу, как сыч на бугре,— подумал Капитон Иваныч.— Вот, скажет народ, делать нечего старику!»

«А ведь правда — старик я,— продолжал он размышлять.— Умирать скоро... Вот и Анна Григорьевна померла... Где же это все девалось, все прежнее?»

Он долго смотрел в далекое поле, долго прислушивался к вечерней тишине...

— Как же это так? — сказал он вслух.— Будет все попрежнему, будет садиться солнце, будут мужики с перевернутыми сохами ехать с поля... будут зори в рабочую пору, а я ничего этого не увижу, да не только не увижу — меня совсем не будет! И хоть тысяча лет пройдет — я никогда не появлюсь на свете, никогда не приду и не сяду на этом бугре! Где же я буду?

Сгорбившись, закрывши глаза и потягивая левою рукой черный, седеющий ус, он сидел, покачивался...

Сколько лет представлялось, что вот там-то, впереди, будет что-то значительное, главное... Был когда-то мальчиком, был молод... Потом... в жаркий день на выборы на дрожках ехал по большой дороге! — И Капитон Иваныч сам усмехнулся на такой скачок своих мыслей...

Но и это уже давно было. И вот доходишь до такой поры, в которой, говорят, все кончается; семьдесят, восемьдесят лет... а дальше уже и считать не принято! Что же наконец, долга или коротка жизнь?

«Долга! — подумал Капитон Иваныч.— Да, все-таки долга!»

В темном небе вспыхнула и прокатилась звезда. Он поднял кверху старческие грустные глаза и долго смотрел в небо. И от этой глубины, мягкой темноты звездной бесконечности ему стало легче. «Ну, так что же! Тихо прожил, тихо и умру, как в свое время высохнет и свалится лист вот с этого кустика...» Очертания полей едва-едва обозначались теперь в ночном сумраке. Сумрак стал гуще, и звезды, казалось, сияли выше. Отчетливее слышался редкий крик перепелов. Свежее пахло травой... Он легко, свободно вздохнул полной грудью. Как живо чувствовал он свое кровное родство с этой безмолвной природой!



## ВЕСТИ С РОДИНЫ

«А право,— с улыбкой подумал Волков, сидя вечером в собрании сельскохозяйственного общества,— нигде так не развиваются способности к живописи, как на заседаниях! Ишь, как старательно выводят!»

Головы сидящих за зеленым освещенным столом были наклонены; все рисовали — вензеля, монограммы, необыкновенные профили. Чай, бесшумно разносимый сторожами, изредка прерывал эти занятия. Спор вице-президента с одним из членов общества на время оживил всех; но доклад, который монотонно начал читать секретарь, снова заставил всех взяться за карандаши. Рассеянно глядя на белую руку президента, в которой дымилась папироса, Волков почувствовал, что его трогают за рукав: перед ним стоял его товарищ по агрономическому институту и сожитель по меблированным комнатам, поляк Свиды, высокий, худой и угловатый в своем старом мундире.

— Здравствуйте,— сказал он шопотом,— о чем речь?

— Доклад Толвинского: «Из практики сохранения кормовой свекловицы».

Свиды сел и, протирая снятые очки, утомленными глазами посмотрел на Волкова.

— Там вам телеграмму принесли,— сказал он и поднял очки, разглядывая их на свет.

— Из института? — быстро спросил Волков.

— Не могу знать.

— Из института, верно,— сказал Волков.

И, поднявшись торопливо на цыпочках, пошел из залы. В швейцарской, где уже не надо было держать себя напряженно, он вздохнул свободнее, быстро надел шинель и вышел на улицу.

Дул сырой мартовский ветер. Темное небо над освещенной улицей казалось черным, тяжелым пологом. Около колеблющихся в фонарях газовых рожков видно было, как из этой непроглядной темноты одна за другой неслись белые снежинки. Волков поднял воротник и быстро пошел по мокрому и блестящим асфальтовым панелям, засовывая руки в карманы.

«И чего только не рисуют,— думал он.— И как старательно!»

Темнота, сырой ветер, треск проносащихся экипажей не мешали его спокойному и бодрому настроению. Телеграмма, верно, из института... Да она теперь и не нужна. Он уже знал, что через полмесяца будет помощником директора опытного поля; перевезет туда все свои книги, гербарии, коллекции, образцы почв... Все это надо будет уставить, разложить (он уже ясно представлял себе свою комнату и себя самого за столом, в блузе), а затем начать работать серьезно — и практически и по части диссертации...

— «Восста-аньте из гробов!» — пропел он с веселым пафосом, заворачивая за угол, и столкнулся с невысоким господином, у которого из-под шапки блеснули очки.

— Иван Трофимыч?

Иван Трофимыч живо вскинул кверху бородку и, улыбаясь, стиснул руку Волкова своею холодною и мокрою маленькой рукою.

— Вы откуда?

— Из сельскохозяйственного,— ответил Волков.

— Что же так рано?

— «По домашним обстоятельствам». А вы?

— Из конторы. Работаем, батенька...

— У вас, значит, и вечерние занятия?

— Да, то есть нет, только весною — к отчету подгоняем... Да скверно, знаете... Даже не скверно, собственно говоря, а прямо-таки — подло... Бессмыслица...

Иван Трофимыч запустил руки в карманы и съезжился в своем пальтишке с небольшим, потешным воротником из старого меха.

— Почему? — спросил Волков.

Иван Трофимыч встрепнулся.

— То есть как почему? Да на кой чорт кому нужна эта работа? Какой смысл, позвольте спросить, в этих пудо-верстах, осе-верстах, пробегах и во всяких этих столах переборов и всяческих ахинеях?

— Ну, положим, смысл-то есть...

— Белиберда! — воскликнул Иван Трофимыч с сердцем. Волков снисходительно улыбнулся.

— Ну, идите куда-нибудь еще,— сказал он спокойно.

- То есть куда это?
- Да у вас ведь имеется диплом?
- Самый форменный.
- Ну, и что же?

— Ну и что же? — повторил Иван Трофимыч, поднимая брови и сверкая очками. — Вы думаете, я не ушел бы? Да ради бога — куда угодно! Вы подумайте только, — начал он с напряжением, отчетливо, беря Волкова за борт пальто, но Волков перебил его:

- Отчего же не идете?
- Вам сколько лет? — вдруг спросил Иван Трофимыч.
- Двадцать четыре года, пять месяцев. А что?

— Ну, вот видите! А мне сорок... И, главное, никуда, то есть так-таки никуда меня не пустят. Я ведь якутский человек. Понимаете? Вот теперь люди мрут от голода, есть живое, святое дело... Понимаете? Святое! А разве нас с вами пустят туда?

— Я занимаюсь наукой и работаю, могу сказать, серьезно, — сказал Волков.

— И пудо-верстами вы бы занялись так же серьезно?

— Пожалуй, и пудо-верстами... Я, право, не понимаю, господа...

— Прекрасно, — почти закричал Иван Трофимыч, — я отлично знаю, что вы, господа, многого действительно не понимаете! Только вот что, батенька, — утешаю себя недоверием, понимаете, утешаю себя тем, что многие из вас только играют в эту трезвость! Разумеется, уже сама по себе эта игра...

— Именно играть-то мы и не хотим, — перебил Волков. — Вы говорите: идите, помогайте. А мы будем помогать наукой, а не «хорошими» словами.

Иван Трофимыч махнул рукой.

— Мы, знаете, так раскричались с вами, — сказал он с улыбкой и крепко пожал руку Волкова, — будьте здоровы!

И, повернувшись, съежился и скрылся за углом.

Волков постоял, подумал... И, мгновенно забыв об Иване Трофимыче, зашагал еще быстрее.

Он торопливо пробежал лестницу своих меблированных комнат, отпер номер и при спичке разорвал телеграмму.

«Посылаются пятницу девятнадцатого», — стояло в ней.

На столе, кроме телеграммы, лежали два письма. Адрес на одном из них написан был рукой зятя. Волков зажег свечи, сел на диван и с улыбкой принялся за письмо.

«Любезный брат Дмитрий, — читал он, — мы, разумеется, все живы и здоровы, про тебя, конечно, ничего не знаем: как

уехал, прислал два слова; пиши, брат, пожалуйста, поскорее, приедешь ли ты хоть к святой неделе. Отвечай поскорее, а то вот-вот полая вода и на станцию не будет ни проходу ни проезду...»

Волков перевернул страницу и стал просматривать конец письма:

«Невозможно проехать в город, все метели, а голодают у нас здорово. Впрочем, я тебе не писал со святок, и ты не знаешь, что в Двориках умерло несколько человек. Умерла, брат, наша Федора, кривой солдат воргольский и Мишка Шмыренко. У Мишки прежде умер ребенок, а на первой неделе и сам он — от голодного тифа...»

Волков вдруг опустил письмо... переставил подсвечник и снова с ужасом и напряжением перечитал эти две строки:

«...Умерла Федора, кривой солдат воргольский и Мишка Шмыренко...»

— Не может быть! — сказал он громко, поднимаясь, — не может быть! Мишка, друг детства... головастика вместе ловили... от голода!

Волков опять сел, криво улыбнулся, снова вскочил и торопливо пошел к дверям. Но от двери он круто повернулся и зашагал по комнате, быстро пощелкивая пальцами и ловя разлетевшиеся мысли...

Он читал в газетах, что там-то и там-то люди пухнут от голода, уходят целыми деревнями побираться, покупал сборники и всякие книжки в пользу голодающих или, как на них печаталось, «в пользу пострадавших от неурожая». Но те, пухнувшие от голода, казанские мужики не отделялись от газетных строк; а это не казанские мужики, это истомился и свалился с ног и скончался на холодной печке Мишка Шмыренко, с которым он когда-то, как с родным братом, спал на своей детской кроватке, звонко перекликался, купаясь в пруде, ловил головастика. И вот он умер, и в распутицу для него ездили в село за тесом на гроб. Максим, колесник, сколотил этот гроб, и в него положили детски-худое тело Мишки. У него и прежде были узкие плечи, худощавое лицо... Но еще худее стал он, когда его, в белой новой рубахе, клали в гроб. И наутро этот гроб поставили на розвальни и повезли по весенним полям в село...

Наклонившись под кровать, Волков вытащил оттуда большой деревянный ящик. В ящике лежало несколько ветхих детских учебников, и на исподней стороне их переплетов Волков увидел рисунки Мишки: кривой дом с зигзагообразным дымом из трубы, удивительно изогнувшийся конь с хвостом, похожим на этот дым, и разъехавшиеся в разные стороны каракули: «Михаил Колесов»...

Еще до сих пор от этих книг пахло курной избой. Вместе с Мишкой бегал он в Дворики учиться по ним у солдата Савелия. Там, при тусклом свете копящей лампочки, за столом сидела толпа ребятишек. Поминутно чмокала отворявшаяся дверь и словно врывались в волнах пара новые ученики. Шумно усаживались они за стол и, положив на него локти и болтая под лавкой ногами, наперебой начинали долбить уроки.

— «Богородица-диво-радуйся... Богородица-диво-радуйся...» — тоненьким голоском заливался Мишка.

— «А ну-ка, Бишка, почитай, что в книжке...» — сосредоточенно бубнил старостин сын Никитка, толстый малый, который всегда сидел без полушубка, но в шарфе.

Сам Догадун, староста, коренастый мужик с румяным лицом и сивыми кудрями, расчесанными на прямой ряд, стоял против стола, опершись на сажень, с которой не расставался.

— Никит,— перебивал он иногда важно,— ты что учишь?

Никитка решительно откашливался, краснел и отвечал сильным шопотом.

— Выучил?

— Нет еще.

— Ну, так стой, погоди, ребята,— продолжал Догадун,— разгадай задачу... А вы все, ребята, тоже не дреми!

И он начинал:

— Шли пять стариц и несли они, ребята, по пяти костылей. На каждом костылю — по пяти суков, на каждом суку — по пяти кошелей, у каждом кошеле — по пяти пирогов, у каждом пирогу... к примеру сказать, по пяти воробьев. Сколько это воробьев выходит?.. Ну-ка, барчук?

И с каким удовольствием барчук забивался тогда с Мишкой в угол и каким торопливым шопотом начинал считать воробьев, пока явившаяся за ним кухарка не увозила их обоих на розвальнях домой!

Мать Мишки жила тогда у Волковых. Теперешний помощник директора опытного поля ревел тогда по целым вечерам, если к нему не пускали Мишку. У Мишки болели с лета губы от лопухов и козельчиков, и боялись, что это пристанет к барчуку. Но Мишка успевал-таки иногда удрать в хоромы. Вечером он внезапно влетал в детскую.

— Насилушка убёг,— говорил он, запыхавшись, и его глазки сверкали радостью.

От него пахло снегом, зимней свежестью; он летел по сугробам босой, в изорванной на животе рубашонке и коротеньких портчонках. Нянька с неудовольствием поглядывала на него, грязного от сажки, оборванного и взлохмаченного. Но Митя испускал при его появлении звонкий крик, настаивал, чтобы

Мишка непременно остался с ним в детской на ночь. Весь вечер они строили на постели «кутки», были «нарочно разбойники», разглядывали и вырезывали картинки...

«Как же так случилось,— думал Волков,— как могло это случиться — эта голодная смерть?»

Его повезли в летний день в тарантасе в город в гимназию. Мишка только за гумном успел увидать его. Он с утра сидел в коноплянике, желая проститься с ним. В дом, где была суета, его не пускала мать... И когда Митя довольно холодно попрощался с ним, он повернулся, заплакал и тихо пошел по меже к деревне, поддерживая одной рукой штанишки и ступая босыми ножками по горячей пыли... Митя же глядел вперед, все мысли его заняты были только новым кепи...

В гимназии он стоял на актах и ждал книжки с золоченым переплетом, а Мишка в это время стоял с плетушкой колоса около риги... Надвигались зимние сумерки... все было серо, тихо в деревушке, приютившейся около лощинки, среди снежных полей, слившихся с темным небом... слышались голоса баб, скликавших выпущенных овец — «вычь, вычь, вычь!..» Покачивая бадьей, его мать шла в лощину за снеговой водою...

Митя в бессознательном веселье напивался на первых студенческих вечеринках, а Мишка был в это время уже хозяин, мужик, обремененный горем и семьею. В те зимние ночи, когда Митя, среди говора, дыма и хлопанья пивных пробок, до хрипоты спорил или пел: «Из страны, страны далекой...», Мишка шел с обозом в город... В поле бушевала вьюга... В темноте брели по пояс в снегу мужики, не присаживаясь до самого рассвета: на санях были навалены бочки с винокуренного завода. Иногда весь обоз останавливался... Сквозь вьюгу и ветер слышалась переключка, ругань... Мишке приходилось лазить по сугробам, отыскивая дорогу, или одеревеневшими пальцами и зубами затягивать оборвавшуюся завертку...

Когда Митя приезжал гимназистом на каникулы, он еще был близок с Мишкой. Он просил его говорить ему «ты», они ходили с ним ловить перепелов, вели задушевные беседы, лежа по ночам на межах, среди ржей. Но потом...

Волков закрыл лицо руками. Он вспомнил свою последнюю встречу с Мишкой,— месяца три тому назад, на рождестве:

Волков был в деревне. На хутор съехалось много гостей. На другой день Нового года задумали ехать в город, в театр, и ночью поехали на тройках на станцию.

Ночь была страшно морозная и ветреная; сухой, мерзлый снег визжал и скрипел под санями; за необозримым мертвым полем всходил красный огромный месяц, и в его низком свете видно было, как задирали и дымилась поземка. Волков, от-

вернувшись от колючего ветра, слушал визг саней и курил папиросу; ветер разносил красные искры и доносил до него отрывки разговоров, смех, звон бубенчиков на другой тройке... Кто-то крикнул: «пошел», лошади рванулись, ветер стал кидать снегом в лицо и размахивать и отбрасывать обмерзший воротник. Волков приподнялся, чтобы поправить шубу... Чья-то пешая, занесенная снегом фигура мелькнула перед ним.

На станции пришлось ждать долго, и когда Волков пошел перед приходом поезда в залу третьего класса за билетом, то увидал эту фигуру около дверей.

— Мишка! Ты? — воскликнул Волков.

И вдруг случилось то, от чего теперь у него облилось сердце кровью: Мишка, прежде веселый, бойкий, торопливо сдернул шапочку и ответил испуганно и покорно:

— Я-с, Дмитрий Петрович...

— Ты зачем здесь? — спросил Волков, подавая ему руку.

Он был в растрепанных лаптях, и углы воротника его рваного зипуна торчали по-нищенски, закрывая исхудалое, больное лицо.

— Попроситься в город, — отвечал Мишка простуженным голосом.

— Как попроситься?

— На машину...

— Да как попроситься?

Мишка слабо улыбнулся.

— Даром не проедешь, — сказал он тихо.

Волков купил ему билет, всунул его в руку ему. Мишка, стоя без шапки, долго и безучастно глядел на билет.

В поезде Волков вспомнил про Мишку снова и пошел искать его. В промерзлом, трещащем на ходу вагоне он увидел его около красной, раскаленной печки.

— Ты зачем в город-то?

— Беда! — заговорил Мишка монотонно. — Може, в городе что найду... Совсем обезживотел...

— Не может быть! — воскликнул опять Волков. — Не может этого быть!.. Коллекции, гербарии... «Кормовая свекловица»... Какая галиматья!

И, стискивая пальцы, стал хохотать и качаться, как от зубной боли.

## НА ЧУЖОЙ СТОРОНЕ

На вокзале не было обычной суматохи: наступала святая ночь. Когда прошел курьерский девятичасовой поезд, все поспешили закончить только самые неотложные дела, чтобы поскорее разойтись по квартирам, вымыться, надеть все чистое и в семье, с облегченным сердцем, дождаться праздника, отдохнуть хотя ненадолго от беспорядочной жизни.

Полутемная зала третьего класса, всегда переполненная людьми, гулом нестройного говора, тяжелым теплым воздухом, теперь была пуста и прибрана. В отворенные окна и двери веяло свежестью южной ночи. В углу восковые свечи слабо озаряли аналой и золотые иконы, и среди них грустно глядел темный лик спасителя. Лампада красного стекла тихо покачивалась перед ним, по золотому окладу двигались полосы сумрака и света...

Проезжим мужикам из голодающей губернии некуда было пойти приготовиться к празднику. Они сидели в темноте, на конце длинной платформы.

Они чувствовали себя где-то страшно далеко от родных мест, среди чужих людей, под чужим небом. Первый раз в жизни им пришлось двинуться на «низы», на дальние заработки. Они всего боялись и даже перед носильщиками неловко и торопливо сдергивали свои растрепанные шапки. Уже второй день томилась скукой, ожидая, пока к ним выйдет тщедушная и горделивая фигурка помощника начальника станции (они уже успели прозвать его «кочетком») и строго объявит, когда и какой товарный поезд потянет их на Харцызскую. Со скуки они весь день проспали.

Надвигались тучи. Изредка обдавал теплый благовонный ветер, запах распускающихся тополей. Не смолкая ни на минуту, неся с ближнего болота злорадный хохот лягушек и, как



всякий непрерывный звук, не нарушал тишины. Направо едва-едва светил закат; тускло поблескивая, убегали туда рельсы. Налево уже стояла синяя темнота. Огонек диска висел в воздухе одинокой зеленовато-бледной звездочкой. Оттуда, с неизвестных степных мест, шла ночь...

— Ох, должно, не скоро еще! — шопотом сказал один, полулежавший около вокзальных ведер, и протяжно зевнул.

— Служба-то? — отозвался другой. — Должно, не скоро. Теперь не более семи.

— А то и всех восемь наберется, — добавил третий.

Всем было тяжело. Только один не хотел сознаться в этом.

— Ай соскучился? «А-а-а...» — зевнул он, передразнивая первого говорившего. — Гляди, ребята, заревет еще, пожалуй!

— Будя, Кирюх, буровить-то, — серьезно ответил первый и деловым тоном обратился к соседу: — Парменыч, поди глянь на часы, ты письмённый.

Парменыч отозвался добрым слабым голосом:

— Не уразуめю, малый, по тутошним, все сбиваюсь: целых три стрелки.

— Да ай не все равно? — опять заметил Кирилл насмешливо. — Хушь смотри, хушь не смотри — одна честь...

Долго молчали. Тучи надвинулись, густая темнота теплой ночи мягко обнимала все. Старик открыл трубку, помял пальцем красневший в ней огонь и на время так жарко раскурил ее, что смутно осветил свои седые солдатские усы и ворот зипуна. На мгновение выступили из мрака и белая рубаха лежащего на животе Кирилла, и заскорузлые, изорванные полущубки двух других пожилых мужиков. Потом он закрыл трубку, попыттел и покосился влево, на своего племянника. Тот дремал. Длинные худые ноги его, завернутые в белые суконные портянки, лежали без движения; по очертаниям худощавого тела было видно, что это совсем еще мальчик, истомленный и до времени вытянувшийся на работе.

— Федор, спишь? — тихо окликнул его старик.

— Н-нет, — ответил тот сильным голосом.

Старик ласково наклонился к нему и, улыбаясь, шопотом спросил:

— Ай соскучился?

Ответ последовал не сразу:

— Чего ж мне скучать?

— Да ну! Ты скажи, не бойся.

— Я и так не боюсь.

— То-то, мол, не таись...

Федька молчал. Старик поглядел на его худенькие плечи... потом тихонько отвернулся.

Уже и на закате стемнело. Контуров вокзальных крыш едва

рисовались на фоне ночного неба. Там, где оно сливалось с темнотою земли, перекрещивались и мигали зеленые, синие и красные огоньки. Осторожно лязгая колесами, прокатился мимо платформы паровоз, осветил ее красным отблеском растопленной печки, около которой, как в тесном уголке ада, копошились какие-то черные люди, и все опять потонуло в темноте. Мужики долго прислушивались, как он где-то в стороне шипел горячим паром.

Потом издалека гнусаво запел рожок. Из темноты и из-за разноцветных огней выделился треугольник огненных глаз. Он разгорался и приближался медленно-медленно, а за ним тянулся длинный, бесконечно длинный товарный поезд; подвигаясь все слабее, он остановился и затих. Через минуту что-то завизжало, заскрипело, вагоны дрогнули, подались назад — и замерли. Раздались чьи-то громкие голоса и тоже смолкли. Кто-то невидимый нес фонарь, и светлый круг, колеблясь, двигался по земле, под стеной вагонов.

— Тридцать четыре, — сказал один из мужиков.

— Кого? Вагонов-то? Боле будя.

— А может, и боле...

Федька облокотился на руку и долго глядел на темную массу паровоза, смутно освещенную посередине, слушал, как что-то клокотало и замирало в нем, как потом он отделился от поезда и, облегченно и тяжело дохнув несколько раз, ушел в темноту, отрывистыми свистками требуя пути... Ничто, ничто не напоминало тут праздника!

— Я думал, они хушь в праздник-то не ходят, — сказал Федька.

— Ну да, не ходят! Им нельзя не ходить...

И слышались несмелые предположения, что, может быть, с этим-то поездом их и отправят. Тяжело в такую ночь сидеть в темноте товарных вагонов, да уж все одно, лучше бы отравили!

Старик заговорил о Харцызской. Но впереди была полная неизвестность: и где эта Харцызская, и когда они приедут туда, и какая будет работа, да и будет ли еще? Вот, если бы земляков встретить, которые направили бы на хорошее место! А то, пожалуй, опять придется сидеть где-нибудь в томительном ожидании, запивать сухой хлеб теплой водой из вокзальной кадки. И тоска, тревога снова овладела всеми. Даже Кирилл заворочался, спокойно зачесался, сел и опустил голову...

— И чего тут остались? — слышался один неуверенный голос. — Хушь бы в город пошли — авось, всего версты четыре...

— А ну как сейчас велят садиться? — угрюмо ответил Кирилл. — Его пропустишь, а там и сиди опять десять дён.

— Надо пойтить спросить...  
— Спросить? У кого?  
— Да у начальника...  
— И правда, пожалуй...  
— Да его теперь, небось, нету...  
— Ну, кто-нибудь за него...  
— Служба-то и тут такая же будет,— проговорил Кирилл попрежнему угрюмо.

— Не такая же, короткая, сказывали, будет... И разговеться тоже нечем...

— А как совсем пойдешь Христа ради?

И все с тоской поглядели на вокзальные постройки, где светились окна, где в каждой семье шли приготовления к празднику.

— Дни-то, дни-то какие! — со вздохом, слабым задушевым голосом сказал старик.— А мы, как татары какие, и в церкви ни разу не были!

— Ты бы теперь уж на клиросе читал, дедушка...

Но старик не слышал этих мягко и грустно сказанных слов. Он сидел и бормотал в раздумье:

«Предходят сему лица ангельстии со всяким началом и властью... лице закрывающе и вопиюще песнь аллилуия...»

И, помолчав, прибавил увереннее, глядя в одну точку перед собою:

«Воскресни, боже, суди земли, яко ты наследииши во всех языцех...»

Все упорно молчали.

Все думали об одном, всех соединяла одна грусть, одни воспоминания. Вот наступает вечер, наступает сдержанная суматоха последних приготовлений к церкви. На дворах запрягают лошадей, ходят мужики в новых сапогах и еще распоясанных рубахах, с мокрыми расчесанными волосами; полунаряженные девки и бабы то и дело перебегают от изб к пунькам, в избах завязывают в платки куличи и пасхи... Потом деревня остается пустою и тихою... Над темной чертой горизонта, на фоне заката, видны силуэты идущих и едущих на село... На селе, около церкви, поскрипывают в темноте подъезжающие телеги; церковь освещается... В церкви уже идет чтение, уже теснота и легкая толкотня, пахнет восковыми свечами, новыми полшубками и свежими ситцами... А на паперти и на могилах, с другой стороны церкви, темнеют кучки народа, слышатся голоса...

Вдруг где-то далеко ударили в колокол. Мужики зашевелились, разом поднялись и, крестясь, с обнаженными головами, до земли поклонились на восток.

— Федор! Вставай! — взволнованно пробормотал старик.

Мальчик вскочил и закрестился быстро и нервно. Засуетились и прочие, торопливо накидывая на плечи котомки.

В окнах вокзала уже трепетали огни восковых свечей. Золотые иконы сливались с золотым их блеском. Зала третьего класса наполнялась служащими, рабочими. Мужики стали на платформе, у дверей, не смея войти в них.

Поспешно прошел молодой священник с причтом и стал облачаться в светлые ризы, шуршащие глазетом; он что-то говорил и зорко вглядывался в полусумрак наполнявшейся народом залы. Зажигаемые свечи осторожно потрескивали, ветерок колебал их огни. А издалека, под темным ночным небом, лился густой звон.

«Воскресение твое, Христе спасе, ангели поют на небеси...» — торопясь, начал священник звонким тенором.

И как только он сказал это, вся толпа заволновалась, задвигалась, крестясь и кланяясь, и сразу стало светлее в зале, на всех лицах засиял теплый отблеск восковых свечей, загоревшихся во всех руках.

Одни мужики стояли в темноте. Они опустили на колени и торопливо крестились, то надолго припадая лбами к порогу, то жадно и скорбно смотря в глубину освещенной залы, на огни и иконы, подняв свои худые лица с пепельными губами, свои голодные глаза....

— Воскресни, боже, суди земли!

## НА КРАЙ СВЕТА

### I

То, что так долго всех волновало и тревожило, наконец разрешилось: Великий Перевоз сразу опустел наполовину.

Много белых и голубых хат осиротело в этот летний вечер. Много народу навек покинуло родимое село — его зеленые переулки между садами, пыльный базарный выгон, где так весело в солнечное воскресное утро, когда кругом стоит говор, гудит бранью и спорами корчма, выкрикивают торговки, поют нищие, пиликает скрипка, меланхолично жужжит лира, а важные волы, прикрывая от солнца глаза, сонно жуют сено под эти нестройные звуки; покинуло разноцветные огороды и густые верболозы с матово-бледной длинной листвой над криницею, при спуске к затону реки, где в тихие вечера в воде что-то стонет глухо и однотонно, словно дует в пустую бочку; навсегда покинуло родину для далеких уссурийских земель и ушло «на край света»...

Когда на село, расположенное в долине, легла широкая прохладная тень от горы, закрывающей запад, а в долине, к горизонту, все зарумянилось отблеском заката, зарделись рощи, вспыхнули алым глянцем изгибы реки, и за рекой как золото засверкали равнины песков, народ, пестреющий яркими, праздничными нарядами, собрался на зеленую леваду, к белой старинной церковке, где молились еще казаки и чумаки перед своими далекими походами.

Там, под открытым небом, между нагруженных телег, начался молебен, и в толпе воцарилась мертвая тишина. Голос священника звучал внятно и раздельно, и каждое слово молитвы проникало до глубины каждого сердца...

Много слез упало на этом месте и в былые дни. Стояли

здесь когда-то снаряженные в далекий путь «лыцари». Они тоже прощались, как перед кончиной, и с детьми и с женами, и не в одном сердце заранее звучала тогда величаво-грустная «дума» о том, «як на Чорному морі, на білому камені сидить ясен сокіл-білозірець, жалібненько квилить-проквиліє...» Многих из них ожидали «кайдани турецькії, которга бусурманська», и «сиві тумани» в дороге, и одинокая смерть под степным курганом, и стаи орлов сизокрылых, что будут «на чорніі кудрі наступати, з лоба очі козацькії видирати...» Но тогда надо всем витала гордая казацкая воля. А теперь стоит серая толпа, которую навсегда выгоняет на край света не прихоть казацкая, а нищета, эти желтые пески, что сверкают за рекою. И как на великой панихиде, заказанной по самом себе, тихо стоял народ на молебне с поникшими, обнаженными головами. Только ласточки звонко щебетали над ними, проносясь и утопая в вечернем воздухе, в голубом глубоком небе...

А потом поднялись вопли. И среди гортанного говора, плача и криков двинулся обоз по дороге в гору. В последний раз показался Великий Перевоз в родной долине — и скрылся... И сам обоз скрылся наконец за хлебами, в полях, в блеске низкого вечернего солнца...

## II

Провожавшие возвращались домой.

Народ толпами валил под гору, к хатам. Были и такие, что только вздохнули и пошли домой торопливо и беспечно. Но таких было мало.

Молча, покорно согнувшись, шли старики и старухи; хмурились суровые хозяйственные мужики; плакали дети, которых тащили за маленькие ручки отцы и матери; громко кричали молодые бабы и дивчата.

Вот две спускаются под гору, по каменистой дороге. Одна, крепкая, невысокая, хмурит брови и рассеянно смотрит своими черными серьезными глазами куда-то вдаль, по долине. Другая, высокая, худенькая, плачет... Обе наряжены по-праздничному, но как горько плачет одна, прижимая к глазам рукава сорочки! Спотыкаются сафьяновые сапоги, на которые так красиво падает из-под плахты белоснежный подол... Звонко, с неудержимой радостью пела она до глубокой ночи, бегая на реку с ведрами, когда отец Юхыма твердо сказал, что не пойдет на новые места! А потом...

— Прокинулись сю ніч,— говорил Юхым растерянно,— прокинулись вони, Зинька, та й кажуть: «Ідемо на переселення!» — «Як же так, тату, вы ж казали...» — «Ні, кажуть, я сон бачив...»

А вот на горе, около мельниц, стоит в толпе стариков старый Василь Шкуть. Он высок, широкоплеч и сутул. От всей фигуры его еще веет степной мощью, но какое у него скорбное лицо! Ему вот-вот собираться в могилу, а он уже никогда больше не услышит родного слова и помрет в чужой хате, и некому будет ему глаза закрыть. Перед смертью оторвали его от семьи, от детей и внучат. Он бы дошел, он еще крепок, но где же взять эти семьдесят рублей, которых не хватило для разрешения идти на новые земли?

Старики, рассеянно переговариваясь, каждый со своей душой, стоят на горе. Они все глядят в ту сторону, куда отбыли земляки.

Уже давно не стало видно и последней телеги. Опустела степь. Весело и кротко распевают, сыплют трели жаворонки. Мирно и спокойно догорает ясный день. Привольно зеленеют кругом хлеба и травы, далеко-далеко темнеют курганы; а за курганами необъятным полукругом простерся горизонт, между землей и небом охватывает степь полоса голубоватой воздушной бездны, как полоса далекого моря.

«Що воно таке, сей Уссурійський край?» — думают старики, прикрывая глаза от солнца, и напрягают воображение представить себе эту сказочную страну на конце света и то громадное пространство, что залегает между ней и Великим Перевозом, мысленно увидеть, как тянется длинный обоз, нагруженный добром, бабами и детьми, медленно скрипят колеса, бегут собаки и шагают за обозом по мягкой пыльной дороге, пригретой догорающим солнцем, «дядьки» в широких шароварах.

Небось, и они все глядят в эту загадочную голубоватую даль:

«Що воно таке, сей Уссурійський край?»

А старый Шкуть, опершись на палку, надвинув на лоб шапку, представляет себе воз сына и с покорной улыбкой бормочет:

— Я йому, бачите, і пилу і фуганок дав... і як хату строїть він тепер знає... Не пропаде!

— Багато людей загинуло! — говорят, не слушая его, другие. — Багато, багато!

### III

Темнеет — и странная тишина царит в селе.

Теплые южные сумерки неясной дымкой смягчают вечернюю синеву глубокой долины, затушевывают эту огромную картину широкой низменности с темными кущами прибрежных рощ, с тускло блестящими изгибами речки, с одинокими топо-

лями, что чернеют над долиной. Старинный Великий Перевоз сереет своими скученными хатами в котловине у подошвы каменной горы. Смутно, как полосы спелых ржей, желтеют за рекой пески. За песками, уже совсем неясно, темнеют леса. И даль становится дымчато-лиловой и сливается с сумеречными небесами.

Все как всегда бывало в этой мирной долине в летние сумерки... Но нет, не все! Много стоит хат темных, забитых и немых...

Уже почти все разбрелись по домам. Пустеет дорога. Медленно бредет по ней несколько человек, провожавших переселенцев до ближнего перекрестка.

Они чувствуют ту внезапную пустоту в сердце и непонятную тишину вокруг себя, которая всегда охватывает человека после тревоги проводов, при возвращении в опустевший дом. Спускаясь под гору, они глядят на село другими глазами, чем прежде,— точно после долгой отлучки...

Вот разстилается пахучий дымок над чьей-то хатой... покойно и буднично...

Вот красной звездочкой, среди темных садов, среди скученных дворов, загорелся огонек...

Глядя на огоньки и в долину, медленно расходятся старики, и на горе, близ дороги, остаются одни темные ветряки с неподвижно распростертыми крыльями.

Молча идет под гору, улыбаясь своей странной улыбкой старческого горя, Василь Шкуть. Медленно отложил он калитку, медленно прошел через дворик и скрылся в хате.

Хата родная. Но Шкуть в ней больше не хозяин. Ее купили чужие люди и позволили ему только «дожить» в ней. Это надо сделать поскорее.

В теплом и душном мраке хаты выжидательно трюкает сверчок из-за печки... словно прислушивается... Сонные мухи гудят по потолку... Старик, согнувшись, сидит в темноте и безмолвii.

Что-то он думает? Может быть, про то, как где-то там, по смутно белеющей дороге, тихо поскрипывает обоз? — Э, да что про то и думать!

Звонкий девический голос замирает за рекою:

Ой, зійди, зійди,  
Ясен місяцю!

Глубокое молчание. Южное ночное небо в крупных жемчужных звездах. Темный силуэт неподвижного тополя рисуется на фоне ночного неба. Под ним чернеет крыша, белеют стены хаты. Звезды сияют сквозь листья и ветви...



#### IV

А они еще недалеко.

Они ночуют в степи, под родным небом, но им уже кажется, что они за тысячу верст ото всего привычного, родного.

Как цыганский табор, расположились они у дороги. Распрягли лошадей, сварили ужин; то вели беспокойные разговоры, то угрюмо молчали и сторонились друг друга...

Наконец все стихло.

В звездном свете темнели беспорядочно скученные вozy, виднелись фигуры лежащих людей и наклоненных к траве лошадей. Сторожевые, с кнутами в руках, сонно ежились возле телег, зевали и с тоской глядели в темную степь...

Но с какой радостью встрепенулись они, когда услышали скрип проезжей телеги! Земляк! Они окружили его, улыбались и жали ему руку, словно не видались много-много лет.

Разбуженные говором, подымались с земли и другие и, застенчиво скрывая свою радость, тоже толпились у телеги проезжего, закуривали трубки и были готовы говорить хоть до самого света...

Потом опять все затихло.

Взволнованные встречей, засыпали они, закрывая головы свитками, и все думали об одном,— о далекой неизвестной стране на краю света, о дорогах и больших реках в пути, о родном покинутом селе...

Холоднело. Все спало крепким сном — и люди, и дороги, и межи, и росистые хлеба.

С отдаленного хутора чуть слышно донесся крик петуха. Серп месяца, мутно-красный и понижший на сторону, показался на краю неба. Он почти не светил. Только небо около него приняло зеленоватый оттенок, почернела степь от горизонта, да на горизонте выступило что-то темное. Это были курганы. И только звезды и курганы слушали мертвую тишину на степи и дыхание людей, позабывших во сне свое горе и далекие дороги.

Но что им, этим вековым молчаливым курганам, до горя или радости каких-то существ, которые проживут мгновение и уступят место другим таким же — снова волноваться и радоваться и так же бесследно исчезнуть с лица земли? Много ночевавших в степи обозов и станом, много людей, много горя и радости видели эти курганы.

Одни звезды, может быть, знают, как свято человеческое горе!

## УЧИТЕЛЬ

### I

Накануне сочельника учитель земской школы в Можаровке, Николай Нилыч Турбин, занимался очень неохотно. Класс был наполовину пуст. Турбин с усилием дотягивал занятия до половины второго. За последнее время во многих неприятностях и в утомительной работе он подкреплял себя напряженным ожиданием праздника и надеждой съездить домой. Но ехать оказалось не на что. Турбин давно уже понял, что никуда не поедет, но сказать себе это определенно все оттягивал. Теперь больше всего хотелось остаться одному. «Обсудим, обсудим!» — думал он беспокойно, прикрывая глаза, и ребята думали, что он или сердит, или нездоров. И правда, к концу занятий у него начало ломить в левой стороне головы.

Когда же школа опустела, Турбин со злобой прихлопнул дверь в передней и быстро пошел в свою комнату.

— Пусть будет так! — сказал он и, хмурясь, скинул с себя пиджак. Повесив его под простыню на стену, он накинул на себя длинный тулуп, крытый казинетом, и лег на кровать. «Ночной зефир струит эфир...» — напевал он мысленно. В голове стояло одно и то же: «Пусть будет так! — чорт его побери, не ехать, так не ехать... эка важность!» Тащиться к дьячку обедать не хотелось. Левая сторона головы продолжала болеть. Он обмял плечом подушку поудобнее и старался не шевелиться.

Сквозь дремоту он слышал, как приходил сторож Павел, обивал от снега лапти, кряжал с мороза, сморкался и гремел ведрами; видел сквозь полузакрытые веки, что в комнате разливается отсвет заката, и чувствовал, что от холода стынут ноги и кончик носа...

## II

Турбину шел двадцать четвертый год. Был он белокур, очень высок ростом, худ и от застенчивости очень неловок. Был он сын сельского дьякона, учился в семинарии, но курса не кончил: по бедности пришлось вернуться домой; дома он все выписывал программы, думая приготовиться то в юнкерскую, то в межевую школу. Кончил, однако, экзаменом на сельского учителя и рад был этому. Жить дома было тяжело. Матери он не помнил, а дьякон отличался болезненно-угрюмым характером; лицо у него было как на старинных иконах у схимников, — темное, деревянное, фигура сухая, сутулая; говорил он глухим басом и все кашлял, заправляя за ухо длинные косицы седых волос. Даже тон его был всегда один — такой, словно он старался вразумить, растолковать, образумить.

Однако, проживши год одиноко, Турбин стал вспоминать об отце с тоской и нежностью, дни и ночи мечтал о поездке домой. Он все обманывал себя надеждами на будущее: вот, мол, дай только это время пережить, а там... все пойдет прекрасно. Лето он пробыл на кондичии — из-за одного содержания — у богатого лесорубщика и думал отправиться домой в августе, хотя недельки на две. Но нужно было справиться к зиме тулуп. Осенью он надеялся на святки. Со всеми подробностями представлял он себе, как приедет домой... долго будет сидеть с отцом в первый вечер за самоваром, в знакомой чистой и теплой хате, задушевно будет говорить с ним до поздней ночи. А потом поедет в большое торговое село к двоюродной сестре; у сестры будут каждый вечер гости, барышни и молодые люди с фабрики. «Надо будет захватить с собою гитару», — думал Турбин.

Чтобы скопить денег, он от священника перешел обедать и ужинать к дьячку. Но в ноябре отец написал ему, что он должен ехать в губернский город лечиться, и просил денег. Чтобы предупредить отказ, письмо было строго и властно. Внизу же была приписка: «А последнее мое слово: имей бога и сознание, пожалей мою старость». И учитель отослал все свое сбережение. Осталась надежда заработать корреспонденциями. Он стал почти ежедневно посылать в губернский город статейки под заглавием: «Родные отголоски» и за подписью «Ариель». Но из них взяли только пару заметок — о дождях и о несчастном случае на винокуренном заводе.

## III

Школа стояла одиночкой, на горе. Слева были церковь и кладбище, походившее на запущенный сад, справа — косогор. Дорога шла из полей мимо училища влево под гору. Под го-

рой, ниже кладбища, жили духовные; против них, через дорогу, стояли лавка и кабаk Грибакина. На той стороне, за речкой, была усадьба Линтварева с белыми хоромами и скучно-синиющими рядами елей перед ними. Винокуренный завод вечно дымился в стороне от нее, над речкой. Подле него находились неуклюжие заводские строения — очистные, подвальные — и домики на манер железнодорожных — для служащих.

С завода приходили к Грибакину гости — старый барский повар, всеми уважаемый за его поездку в Иерусалим, о которой он постоянно со смирением и важностью рассказывал, и за его близкое знакомство с интимной жизнью господ, конторщики, подвальные, дистиллятор, медник. Это был народ лавочнику нужный; по вечерам они забавлялись у него стуколкой. Турбин избегал попадать на такие вечера: его усаживали за карты, а он не любил проигрываться. Да и Грибакин обходился с ним учтиво, но холодно. Весной он заметил, что у его жены, нахально-красивой молодой женщины, стали завязываться с учителем какие-то особенные разговоры, заметил и не подал вида, выжидая, что дальше будет: такой он был благообразный и вежливый старичок в опрятной серой поддевочке. И правда, учитель нравился лавочнице. Но он старался отделяться от нее шуточками. Она сперва покрикивала на него — «это еще что за новости?» — а потом начала звать гулять на кладбище и все чаще напевать сдержанно-страстно, прикрывая, как бы в изнеможении, глаза:

Вот скоро, скоро я уеду,  
Забудь мой рост, мои черты!

Тогда Турбин стал пропадать по вечерам в поле. «Пойдут сплетни, — думал он, — различные неприятности... нелегко!» И лавочница стала говорить ему при встречах дерзости.

— Ага, — думал Грибакин, — перековала язычок!

В гостях на заводской стороне учитель бывал у дистиллятора Таубкина. Таубкин, молодой еврей, рыжий и золотушный, в золотых очках для близоруких, был человек очень радушный, и у него собиралась большая компания. Но между нею и учителем отношения тоже как-то не завязывались. Учитель дичился, а заводские все были друг с другом за панибрата, — все жили дружно, одними интересами, часто бывали друг у друга, пили портвейн и закусывали сардинами, танцевали под аристон, а после играли в «шестьдесят шесть». Старшие рабочие на заводе из очистной, здоровые мужики в фартуках, отличались во всем грубой решительностью и собственным достоинством. Учитель некоторых из них побаивался даже, — например, посыльного на почту: говорил ему «вы», давал на водку, но посыльный все-таки поражал его своим презрительным спокойствием.

## IV

Осень началась солнечными днями.

По воскресеньям Турбин с утра уходил в поле, туда, где видны были на горизонте станция и один за другим уходящие в даль телеграфные столбы. Его тянуло туда, потому что в ту сторону поезд должен был унести его на родину.

С утра было светло и тихо. Низкое солнце блестело ослепительно. Белый, холодный туман затоплял реку. Белый дом таял в солнечных лучах над крышами изб и уходил в бирюзовое небо. В барском парке, прохваченном ночью сыростью, на низах стояли холодные синие тени и пахло прелым листом и яблоками; на полянах, в солнечном блеске, сверкали паутины и неподвижно рдели светло-золотые клены. Резкий крик дроздов иногда нарушал тишину. Листья, пригретые солнцем, слабо колеблясь, падали на темные, сырые дорожки. Сад пустел и дичал; далеко виден был в нем полураскрытый, покинутый шалаш садовника.

Не спеша, учитель всходил на гору. Село лежало в широкой котловине. Ровно тянулся ввысь дым завода; в ясном небе кружили и сверкали белые голуби. На деревне всюду резко желтела новая солома, слышался говор, с громом неслись через мост порожные телеги... А в открытом поле — под солнцем, к югу — все блестело; к северу горизонт был темен и тяжел и резко отделялся грифельным цветом от желтой скатерти жнивья. Издалека можно было различить фигуры женщин, работающих на картофельных полосах, медленно едущего по полю мужика. Золотистыми кострами пылали в лощинах лесочки. Кирпично краснели крыши помещичьих хуторов. Учитель напряженно смотрел на них. Им овладевало беспокойство одиночества, тянуло в эту неизвестную ему среду, в новую обстановку, где жизнь, как ему казалось, проходит свободно, легко, весело. И за думами о помещичьей жизни он совсем не видел простора, красоты, которая была вокруг.

На месте срубленного леса белела щепка, среди обрубленных сучьев и поблекших листьев возвышались три длинные, тонкие березки с уцелевшими макушками. Их очертания так хорошо гармонировали с открытыми далями. А Турбин, при виде этих березок, всегда вспоминал, что здесь он встретил жену Линтварева. С Линтваревыми он познакомился и встречался несколько раз на станции. Они держали себя с ним просто и даже ласково. Про Линтварева было слышно, что он окончил курс в университете, увлечен земскими делами, профессиональным образованием. Все это, с придачей богатства и знатности, внушило Турбину большое уважение к Линтваревым. При встрече с ним жена Линтварева так ласково улыбнулась ему и

показалась так изящна и аристократична, что учитель покраснел от радости и тут же решил непременно побывать у них в гостях, завязать прочное знакомство. Он долго глядел вслед ее английскому шарабану. Он не видел, куда идет, мечтая о том, как он будет сидеть у Линтварева на балконе, вести интересный, живой разговор, пить прекрасный чай и курить дорогую сигару...

## V

В конце сентября, в октябре дожди лили с утра до ночи. Линтваревы уехали. Сад их почернел, стал как будто ниже и меньше. Деревня приняла темный, жалкий вид. Холодный ветер затягивал окрестности туманной сеткой дождя. В училище запахло кислой печной сыростью, стало холодно, темно и неуютно.

Турбин вставал еще при огне, в ту неприязненную пору, когда, после мрачной дождливой ночи, над грязными полями, над колеями дорог, полными водою, недовольно начинал дымиться бледный рассвет. Будил стук дверей. Ребята натаскивали на лаптях в переднюю грязь, возились, топали и кричали. В двери несло ледяной сыростью. С дрожью подходил учитель к умывальнику. Потом спешно пил горячий жидкий чай в прикуску и тушил лампочку. После ее желтого света в комнате синел холодный утренний сумрак. В этом сумраке учитель входил в класс и, завернувшись в тулуп, натягивая его на холодеющие колени, садился за свой стол. Начиналась упорная работа. Сперва он горячился, напрягал все усилия говорить понятнее и сдержаннее, потом только смотрел, как сечет в окна косою дождь и тянутся обозы к заводу; мужики шлепали по грязи, накрывшись рогожами; от потных, потемневших лошадей валил пар. И все представлял учитель самого себя едущим на вокзал в телеге: телега медленно качается, хлюпает по дороге, и заливаётся-стонет ветер, гнет в поле одинокую голую березку...

Оживлялся он при говоре и толкотне уходивших учеников.

— Здорово льет? — спрашивал он Павла, засовывая ноги в старые большие калоши.

— Кажись, перестает, — каждый день отвечал на это Павел.

— По морю, яко по суху, — каждый день говорил лавочник, стоя под навесом кабака, и снисходительно смеялся.

Турбин, всегда в этот момент перебиравшийся на другую, менее грязную сторону дороги, махал с ответным смехом рукой и вдруг делал со всех своих длинных ног гигантский, отчаянный шаг. Шлепнув калошей в лужу и видя, что над этим прыжком покатывается со смеху сидящая за шитьем под окном лавочни-

ца, он, с кривой улыбкой, неловко пробирался под плетнем дальше.

— Писем, Иван Филимонович, нету? — кричал он издали лавочнику. — Вы, говорят, на станции были?

— Пишут-с!

— То-то несуразный-то! — говорила лавочница, как бы с сожалением, качая головою и откусывая нитку.

Дьячок Скрябин был самый убогий человек в селе. Унылый, поблекший нос, жидкая коса, слезящиеся глаза, — все в нем напоминало старуху. Тяжело было глядеть, как он весной, в полую воду, или осенью, под дождем, брел к выгону в огромных растрепанных валенках, внутри которых была солома. На клиросе он читал и подпевал разбитым голосом так, словно он был выпивши или бредил. В избе у него, как и у большинства духовных, было довольно чисто и уютно, но толкось семь человек детей. Никто не обращал на них внимания. И сам Скрябин и жена его только и думали с утра до ночи, что об еде. Скрябин ел походя: то лазил в печку за картофелем, то пек яйца, то наливал через полчаса после обеда чашку похлебки, то жевал хлеб. Раза три или четыре в день он возился с самоваром, собирал щепки, раздувал его то губами, то старым голенищем. У жены Скрябина было приветливое, открытое и покорное лицо. Когда в октябре она умерла перед концом беременности, Турбин долго не мог без содрогания видеть ее хибарки.

Чаще всего после обеда он бывал в гостях у священника о. Федора Рокотова. Священник выходил заспанный, с светлыми слезящимися глазами и красными полосами на виске от рубцов подушки. Он улыбался и говорил с благодушным снисхождением к своей слабости:

— А я прилег на минуту да и задремал, как сурок...

Вечером затевалась игра в преферанс на орехи. Иногда Турбин играл с поповной на двух гитарах «В глубокой теснине Дарьяла», «Раздумье Вольтера» или на мотив малороссийского казачка «Прибежали в избу дети»... Томной меланхолией звучали струны гитар. Священник острил насчет худобы и роста Турбина. И Турбин всегда при этом смеялся, прикрывая, по своей манере, рот рукою.

## VI

Деревня тонула в сырых сумерках, зажигались на заводе огни и тянуло дымом самоваров, а он скользил по липкой грязи, мучился медленным восхождением на гору. Темь, холод, запах угарной печки и одиночество встречали его в безмолвном училище. Но первое время это не смущало его. Первый год в школе прошел как-то удивительно быстро. Турбин мечтал. Молодым скрытным семинаром он мечтал о многом — думал

стать миссионером, городским священником. Представлял он себя в губернском городе, о. Николаем в шелковой лиловой рясе, на которую падают выхоленные кудри, даже почему-то в золотых очках, как протоиерей в Вознесенском соборе. Мечтал о жизни с достатком, думал вести хорошее знакомство, быть человеком просвещенным, следящим за наукой, за политикой. Эти мечты погибли. Едучи в школу, он весь был переполнен рвением поскорее начать работать, сразу сделать свою школу образцовой, пописывать статейки по народному образованию, приняться за составление учебников. День за днем тускнели эти мечты. В Можаровке близость завода наводила его на мысль попасть на службу по акцизу, да так, чтобы годиков через пять получать тысячи три, а то и четыре,— бывали примеры.

Но прежде всего необходимо заняться самообразованием,— решал он,— это прежде всего; завести знакомство, почувствовать себя человеком. Вот только дай пройдет эта осень! Съезжу домой, а вернусь — буду ходить к Линтвареву, буду, бог даст, с живыми, настоящими людьми общаться...

И, волнуясь, он расхаживал по своей комнате. Потом брал выпрошенную еще в семинарии у товарища книжку журнала и принимался за статью: «Взгляд на русское судоустройство и судопроизводство». Но статья была невеселая. Осилив несколько страниц, Турбин опускал книгу, закрывал глаза и опять отдавался думам... Иногда, поздней ночью, растроганный нежностью к отцу, Турбин писал к нему длинные письма; но наутро они казались ему витиеватыми и невыразительными, и он не посылал их...

Когда обнаружилось, что ехать не на что, вечера изменились. Он стал проводить их в беспокойной тоске и бесплодных придумываниях, как устроить эту поездку. Иногда он решался даже на последнее средство — занять денег. Но тотчас же отказывался от него. «Немыслимо! Долги — гибель!» Проклиная в душе и себя, и темноту, и училище, он шагал к дьячку ужинать. Возвратясь, тотчас же заворачивался в тулуп и ложился в постель. Вся тоска осенних дней охватывала его тогда. Черная ночь глядела в окна. На деревне во мраке зиял огнями завод; огненными искрами роились его высокие трубы; когда тяжелым взмахом налетал ветер, чаще и гуще стрекал косою дождь в стекла окон и еще жалобнее завывало в печке... А на рассвете отдаленными-отдаленными, протяжными стонами доносились перекличка пегухов; медленно-медленно пробуждалась после долгой ночи жизнь. Дождь стихал; холодело; ветер гнал в холодном небе белесые космы туч. Над деревней, над голыми полями занимался новый скучный день...

А потом пошли метели, засыпая снегом избы, слепя окна.



Побелевшая деревня еще более опустела и затихла — даже собаки забивались в сенцы.

С утра до ночи неслась над ней вьюга и стояли мутные сумерки. В белой пыли тонули и завод и церковь. Ветер по ночам жалобно перезванивал на колокольне...

## VII

Часов около шести Павел с громом уронил на пол вьюшку. Чтобы загладить свою неловкость, он закричал и чмокнул губами:

— Ну и студено же на дворе! Вызвездило — страсть!

— А ты плешивых посчитай! — раздался из темноты спокойный голос учителя.

— Ай проснулись!

— Подремал, — отвечал учитель, зевая.

На душе у него было пусто. Он спустил длинные ноги с кровати и соображал, идти или нет к дьячку. Есть хотелось, — надо было идти.

На селе было темно и тихо. Морозило; на черном небе сверкали крупные звезды. Лай собачонки с того боку деревни звонко отдавался в чистом воздухе... Свежесть зимней ночи ободрила Турбина.

— Отцу Алексею — почтение! — сказал он шутливо-громко и с ударением на «о», нагибаясь и входя в избушку дьячка. — С преддверием!

Дьячок чинил хомут, сидя на лавке около коптившей лампочки. Он медленно поднял голову и, приложив большой палец к носу, сильно дунул носом в сторону. И опять посмотрел на Турбина сквозь висевшие на кончике носа очки.

— Не на званом ли обеде были? — спросил он, слабо улыбаясь и утирая нос полою.

— На званом, отец Алексей, на званом.

Старшая дочка дьячка, косенькая, миловидная и тихая девочка лет шести, шлепая босыми ножками по полу, собрала на стол. Турбин молча принялся хлебать щи.

— Попробую и я с вами... — сказал дьячок, откладывая хомут в сторону, подошел к лейке над лоханью, плеснул водой на руки и взялся за ложку.

Косенькая девочка молча стояла у печки. Дьячок посмотрел на нее, опустил голову и сказал:

— Еже во плоти рождество господа нашего Иисуса Христа... Да... воспоминание избавления церкви и державы... А там и отдание праздника, и Новый год... Что-то я забыл, когда восход солнца? Заход знаю, а вот восход? Вы не помните?

Турбин захохотал, откинувшись к стене и закрыв рот рукою.

— А на что он вам, отец Алексей?

Девочка подошла к столу и серьезно стала убирать ложки. Турбин смолк и поскорее выбрался на улицу.

— Эхе-хе-хе-хе! — говорил он, шагая в гору и качая головой.

На полугоре он остановился и глубоко вздохнул свежим воздухом...

«Какой же, собственно, смысл в тоске? — подумал он. — Живут и хуже моего!»

К удивлению его, в училище светился огонь. Не отец ли приехал? Или кто-нибудь из забытых товарищей? Но тогда у крыльца были бы лошади... «Наверно, Слепушкин или Кондрат Семеныч».

## VIII

Кондрат Семеныч был сын обедневшего помещика, учился в гимназии, но дотянул только до пятого класса. Этому, впрочем, помогло и то, что на охоте с борзыми он сломал себе ногу. От отца Кондрату Семенычу осталось только тридцать десятин земли, небольшая флигелек на выезде Можаровки, шитье с дворянского мундира, портрет Николая I, два бронзовые шандала и дорожный ларчик красного дерева, из затейливых ящичков которого пахло старинными кислыми духами. Кондрат Семеныч сдал исполу мужикам землю, нанял кучера, записного охотника и пьяницу Ваську, и уже не разлучался с ним.

Кондрат Семеныч был широкоплеч, небольшого роста, особенно тогда, когда оседал на левый бок, на хромую ногу; черные волосы его кудрявились, а загорелое, кирпичного цвета лицо оживлялось маленькими веселыми глазками; нижняя челюсть выдавалась у него, но это придавало ему только добродушное выражение; концы черных усиков на короткой верхней губе лихо завивались кверху.

Душа у Кондрата Семеныча была добрая, открытая. Пил он и в кабаках, и в гостях, и на охоте, лгал, хвастался отчаянно и не скрывал этого: — «А я тебе, брат, чертовски брехал вчера», — сплетничал без всякой предвзятой цели — просто под влиянием расположения к другу, а друзьями у него на селе были почти все. Колтыхая по деревенской улице, он так же дружески встречался и с помещиком, как и ставил ногу на втулку колеса к мужику, насыпая из его кисета цыгарку махоркой. Носил, как все мелкопоместные, длинные сапоги, шаровары, картуз и поддевку, которая издавала какой-то особенный запах — запах пороха и лошади; как и они, любил хвастнуть своей рыженькой троечкой.

Турбин был у него раза два. Он надеялся через Кондрата

Семеныча познакомиться со многими помещиками. Но тот только силился напоить его. К тому же и обстановка у него была не такая, какую думал встретить Турбин: крыльцо перед домом было разрушено; в прихожей пол был как в свиной закуте — так он был унавожен жившими здесь и зиму и лето турманами, которые при входе людей поднимались тучей, с шумом и свистом крыльев, и совсем затемняли свет, проникавший сквозь радужные от времени стекла. В углу залы был насыпан ворох овса; тут же на соломе повизгивали, ползали и тыкались слепыми мордами гончие щенята; большая красивая сука, спавшая возле них, подняла голову с лап и наполнила всю залу музыкальным лаем. Голые стены кабинета были темны от табаку и мух; над турецким диваном висели нагайки, кинжалы и желтые шкурки лисиц. Под окном, на письменном столе, кучей была насыпана махорка, стояла коробка колесной мази, лежала шляя; из-под стола зеленела четверть водки. Турбин чувствовал себя неприятно. Не нравилось ему и то, что Кондрат Семеныч говорил ему «ты» и называл его циркулем.

Слепушкин служил на заводе подкурщиком; лицо у него было толстое, обрюзгое и темное, как у заправского алкоголика, голос тяжелый, фигура медведя. Пил Слепушкин водку, смешанную с пивом: такой состав назывался «ершом», по трудности проглотить его сразу. В гостях у Турбина он засиживался до трех часов ночи и часто просил писать к лавочнику записки, чтобы тот прислал «дюжину».

— Не понимаю,— говорил он сонно, облокотясь на стол и глядя на учителя свинцовыми глазами,— не понимаю этих нежностей: ведь мне он не поверит... а я, надеюсь, в состоянии заплатить вам этот несчастный целковый.

— Само собой,— говорил Турбин, расхаживая по комнате,— я не сомневаюсь, но право же...

— Само собой, само собой! — дразнил Слепушкин.

— Пусть будет так...— начинал Турбин,— но главная вещь...

Тогда Слепушкин подымался.

— А уж этого «пусть будет так» я совсем не выношу! — говорил он с искренним презрением.— Вероятно, мы теперь не скоро увидимся.

## IX

С неудовольствием вспоминая все это, Турбин подошел к училищу и заглянул в окно.

Кондрат Семеныч лежал на кровати. Таубкин, выгнув сутулую спину и запустив руки в карманы модных узких брюк, сверкал очками. Слепушкин сосредоточенно играл на гитаре,

опустив голову и покачиваясь. Ему вторил на гармонике один из подвальных, Митька Лызлов, белобрысый и безусый. Он играл и с блаженной усмешкой тянул фальцетом:

А всем барышням-модисткам  
По поклончику по низко!

Но кто-то был еще, какой-то благообразный господин с лысиной во всю голову, с длинными черными баками. Осторожно Турбин пробрался к противоположному окну, и даже руки у него похолодели: это был Прохор Матвеич, линтваревский лакей.

«Значит, Линтварев приехал,— думал Турбин.— Но какова это будет штука, если я пойду к нему, буду сидеть в зале — и вдруг входит Прохор Матвеевич?»

Стук двери и голоса послышались на крыльце. Турбин прижался за угол. По снегу заскрипели шаги, Лызлов звонко заиграл на гармонике. Турбин осторожно пробрался в школу. Дверь на крыльцо осталась открытой; в комнате пахло табаком и свежестью морозного воздуха. Турбин поморщился. Но вдруг взгляда его упал на стол: конверт из плотной бумаги! Турбин смешался, покраснел, неловко рванул его...

«Многоуважаемый Николай Нилыч,— стояло в письме,— простите за поздний ответ. В тот приезд, как получил ваше письмо, я не успел ответить, а теперь хотелось бы поговорить с вами лично по поводу вашей просьбы, почему надеюсь, что вы не откажете мне в удовольствии видеть вас у себя на второй день праздника вечером. Преданный вам Линтварев».

Это был ответ на просьбу Турбина помочь школе учебниками. Но теперь Турбину было не до учебников; он ходил по комнате и бормотал с сияющим лицом:

— Преданный! Гм... Вот, ей-богу, чудак!..

И внутри у него все дрожало от радости.

## Х

К утру сочельника комната его сильно настудилась. Вода в умывальнике замерзла. Стекла окон были сверху донизу запушены инеем и зарисованы серебряными пальмовыми листьями, узорчатыми папоротниками. Турбин спал крепко, а проснулся с ощущением какой-то хорошей цели. Он вскочил и отдернул примерзшую форточку. Резкий скрип саней стоял над всем выгоном: из-под горы тянулся длинный обоз, весь завейанный ночной поземкой; морды лошадей были в кудрявом инее. Все тонуло в ярких, но удивительно нежных и чистых красках северного утра. Выгоны, лозины, избы — все казалось снеговы-

ми изваяниями. И на всем уже сиял огнистый блеск восходящего солнца. Турбин заглянул из форточки влево и увидел его за церковью во всем ослепительном великолепии, в морозном кольце с двумя другими, отраженными солнцами.

— Поразительно! — воскликнул он и, торопливо захлопнув форточку, юркнул под одеяло.

— Уши! — сказал он громко и засмеялся, вспомнив, что мужики называют эти отражения солнца «ушами».

Передняя, куда он вышел умываться, вся была озарена солнцем. Он долго и особенно тщательно мылся, потом заглянул в классную; и там было теперь весело от солнца и тишины предпраздничного утра. «Не шуми ты, рожь...» — затыкнул он во все горло... Голос гулко отдался в пустой комнате, и это напомнило ему его одиночество. Он замолк и пошел в переднюю пить чай на окне, при солнце. Сообразивши, что идти к обедне уже поздно, он даже обрадовался. Его тянуло обдумать, лучше обдумать что-то. Но, подавляя внутреннюю торопливость, он убрал чашки и самовар, надел новое пальто и медленно вышел.

Шурясь от ослепительного сверканья на парче снега, от блестящих, отшлифованных, как слоновая кость, ухабов дороги, глубоко дыша холодным воздухом, он шел и все любовался деревней, синими резкими тенями около строений и горизонтом зеленоватого неба над далеким лесочком в снежном поле: туда, к горизонту, небо было особенно нежно и ясно. Иней приятно садился на веки, пар шел от дыхания, солнце пригревало щеку... Хорошо бы теперь откинуться в задок барских саней, полузакрывать глаза и только покачиваться, слушая, как заливаются колокольчик над тройкой, запряженной впротяхку!

«Ну, так как же? Иду, значит? Или нет — не стоит?» — думал Турбин, шагая.

В душе он еще вчера решил, что пойдет. «Да, так лучше, — говорил он себе, — пойду на третий день, утром, по делу, ненадолго. Немыслимо сразу в гости прийти... это он для приличия... Поговорю и уйду. А там, на Новый год, примерно, уж и вечером можно».

Незаметно он уходил все дальше и, говоря одно, повторял в то же время другое: «Ну, так как же?..» Представив себе все неприятности этого посещения, он тотчас же начинал разубеждать себя в этом, говорил, что «глупо рисовать все в дурном смысле», что он не хуже других... В конце концов эта путаница мысли испортила ему настроение, утомила, стала мучить. Он поспешно пошел обедать.

Вернувшись и увидя свою бедную комнатку вымытой и прибранной к празднику, он почувствовал себя совсем одиноким и стал думать спокойнее и серьезнее.

## XI

Наступил праздник.

Турбин чувствовал себя как-то особенно, как привык чувствовать себя с детства в большие праздники, чинно стоял в церкви, чинно разговлялся у бабушки. Дома, не зная за что приняться, он бесцельно походил по классу, заглянул в окно... В безлюдье села чувствовалось: все дождалось чего-то, оделись получше и не знают, что делать. С утра было серо и ветрено. После полудня воздух прояснился, облачное небо посинело, бледножелтым пятном обозначилось солнце, снег стал ярче и желтее, поземка струйками закурилась на гребнях сугробов, подхватываясь и развеиваясь белой пылью, криво понеслись по ветру галки. Проезжий мужик повязал уши платком, стал на колени и погнал лошадь. Розвальни бежали, разрывая переносы сухого снега на обмерзлой дороге, постукивая и раскатываясь...

Скука с новой силой охватила Турбина.

Но вечером, когда он пошел на заводскую сторону, он неожиданно столкнулся с Линтваревым и совершенно потерялся от смущения.

— С праздником! — сказал он не то галантно, не то в шутку, неестественно изгибаясь.

Линтварев был среднего роста, с простым приятным лицом, с русою бородкой и ласковыми глазами. На нем был полушубок и валенки, на голове — барашковая шапка.

— Ах, Николай Нилыч! — сказал он, встрепенувшись, как будто даже заискивающе. — Здравствуйте, здравствуйте!.. Благодарю вас... Ну, что, как вы, — не соскучились?

— Пока еще нет, — ответил Турбин, краснея и силясь вложить в каждое слово не то что-то особенное, не то ироническое.

— Да, да...

Постояли, помялись.

— Ну, так увидимся? До завтра?

Турбин опять не то галантно, не то комически раскланялся.

Домой он шел очень быстро. Как быть, где взять крахмальную рубашку? В вышитой положительно невозможно!

## XII

Вечером он долго, с великим трудом зашивал задник сапога нитками и замазывал их чернилами.

Все утро он ходил по комнатам в одном белье, умывался, несколько раз принимался чистить сапоги, пачкал и опять мыл руки и все думал о рубашке.

— Ничего не придумаешь! — говорил он, останавливаясь

среди комнаты.— Послать к Слепушкину? Немыслимо! Начнут судить, рядить... дойдет до Линтварева... Гадость!

Но нечто подобное случилось.

Около полудня к крыльцу школы подлетела тройка Кондрата Семеныча. С мороза его лицо было особенно свежо и темно-красно. Подбородок был выбрит, усы чернели ярко и лихо. На нем была сюртучная пара; в передней он сбросил енотовую шубу. Коренастый, приземистый,— об дорогу не расшибешь, что называется,— бойко прихрамывая, он быстро вошел к Турбину, крепко поцеловался с ним, причем на Турбина пахнуло морозной свежестью и запахом закуски, и тотчас принял живейшее участие в заботах о его наряде.

— Валяй, брат, валяй смелей!

Турбин, хотя и относился к Кондрату Семенычу, как к человеку пустому, однако знал, что Кондрат Семеныч «бывал в обществе» и может подать совет.

— Как валять-то? — говорил он, сдерживая улыбку.— Тут такая неприятная история! Рубашки крахмальной нет!

Кондрат Семеныч качнул головой.

— Это, брат, скверно. В вышитой явиться в первый раз в дом — нахальство!

— Ну, так как же? — говорил Турбин растерянно.

— Ни черта,— сказал Кондрат Семеныч.— Не робей!

И, отворив форточку, он своим хриплым охотничьим голосом гаркнул:

— Васька! Домой валяй! Духом доставь рубашку крахмальную... в сундуке, под летней поддевкой...

Пока Василий ездил за рубашкой, Кондрат Семеныч рассказал, где он успел уже побывать, и с улыбкой сатира, от которой заблестели его маленькие карие глаза, вытащил из рукава шубы бутылку водки.

— Хвати для храбрости! Хочешь? — говорил он, обивая сургуч с горлышка.

— Ну уж нет!

— Что, думаешь, пахнуть будет? Ни капельки. Только чаем зажуй. А впрочем, чорт с тобой. Нет ли чашечки?

Выпив и закусив кренделем, Кондрат Семеныч заговорил серьезно:

— Ты, брат, себя поразвязней держи, посвободнее. А то ведь будешь сидеть, как кнут проглотил.

— А как брюки — ничего? — спрашивал Турбин.

Кондрат Семеныч оглядел их с полной добросовестностью и подумал.

— Сойдет! — сказал он решительно,— за милую душу сойдет. Только вот смяты немного. Снимай, давай разгладим.

— Нет, нет, пустяки,— пробормотал Турбин, густо краснея.

— Ну, как знаешь.

Кондрат Семеныч лег на постель и вполголоса запел:

Вода — для рыбы, раков,  
А мы, герои, водку пьем!

В это время Васька внес рубашку. Но едва Турбин надел ее, Кондрат Семеныч так и покатился со смеху.

— Нет... Не срамись! — хрипел он, задирая ее на голову Турбина, — не годится!

Правда, рубашка не годилась. Накрахмалена она была от-вратительно — вся была грязносиняя, ворот ее был непомерно широк.

— Декольте! — повторял Кондрат Семеныч сквозь смех.

Турбин снова покраснел и даже запотел от злости.

— Я вам не шут гороховый! — крикнул он бешено.

— Да за что ж сердчаешь-то? — заговорил Кондрат Семеныч растерянно. — Сам тонок, как шест, хоть грачей доставать, а на меня сердчает... Ну, хочешь, достану?

— Не понимаю — где? — глядя в сторону, пробормотал Турбин.

— Да уж это мое дело. Ну, хочешь?

И, не дожидаясь ответа, хлопнул дверью, накинул на себя шубу и выскочил на крыльцо. Рыженькая троечка подхватила под гору. Турбин бросился к дверям:

— Кондрат Семеныч! Кондрат Семеныч!

Но Кондрат Семеныч только рукой махнул.

— Это бог знает что такое! — сказал Турбин, чуть не плача. — Это значит, всему заводу будет известно!..

Однако, когда Кондрат Семеныч через десять минут явился обратно и привез с собой Таубкина и его крахмальную рубашку, когда Таубкин самым задушевным тоном стал просить «не беспокоиться» и когда рубашка оказалась как раз впору, Турбин, весь красный от волнения, начал улыбаться.

— Что вы беспокоитесь? — говорил Таубкин фальцетом. — Что такое? Разве я не понимаю? Конечно, это останется между нами. Хотите мои часы?

Турбин отказывался. Кондрат Семеныч преувеличенно расхваливал его костюм.

Наконец Турбин был готов. Он повеселел, хотя и чувствовал себя наряженным и точно связанным. Он сел на один, то на другой стул.

— Вы к нему по делу? — вдруг спросил Таубкин, как будто вскользь.

— Да, то есть так... по делу отчасти.

— Так вам, пожалуй, пора.

Турбин уже давно думал про это. «Пожалуй, что и правда



пора,— соображал он,— что же, к шапочному разбору-то прийти? Только хозяев в неловкое положение поставишь...»

— А который час?

— Четверть восьмого.

— Вали, брат, вали,— сказал Кондрат Семеныч.

— Пожалуй,— согласился Турбин, медленно подымаясь.

Напевая, Кондрат Семеныч накинул на себя шубу, осмотрел пальто Турбина.

— Молодец! — сказал он, смеясь глазами.— Хочешь, подвезу?

Турбин заторопился отказаться.

— Ну, черт с тобой! Едем.

Он сунулся лицом к лицу Турбина для поцелуя, ввалился в сани рядом с Таубкиным и крикнул:

— Обрати посерьезнее внимание на Линтвариху. Хороша, анафема!

### XIII

Уже подходя к аллее перед линтваревским домом, Турбин вдруг оробел, оглянулся и поспешно зашагал опять под гору. «Рано, рано, невысказано так рано!..»

Волнуясь, он дошел до моста и опять оглянулся. Вот будет скверно, если видели, что он приходил! Но никого не было кругом. Только на деревне горланили на «улице» девки. Из дома через аллею загадочно светились окна. Что там, в доме? Начался вечер или нет? И кто там, и что делают? А обстановка? «Небось, люстры, паркет, бархат, фамильные портреты... Вот отсчитаю сто... нет, двести, и тогда пойду».

Вдруг на мосту послышался скрип шагов. Турбин быстро повернулся и, не оглядываясь, почти побежал по аллее. Не думая, он быстро растворил дверь, шагнул через три ступеньки в сенях и стал шарить по притолке звонка. В дверях щелкнул замок, и нарядная горничная появилась на пороге.

— Павел Андреевич дома?

— Пожалуйте-с.

Горничная помогла ему снять пальто. Как в тумане, увидел он большую светлую залу, открытый блестящий рояль, тонкие стулья, тропические растения... Поразили его только ширмочки около них из матового стекла; все остальное показалось ему чересчур просто. Цапаясь когтями по паркету, из столовой выбежала щеголеватая тонкая черная собачка, а за нею быстро вышел Линтварев.

— Имею честь поздравить! — сказал Турбин и в смущении вынул носовой платок.

Предупредительно-ласково Линтварев пожал ему руку.

— Милости просим, милости просим!

И, пропуская Турбина вперед, повел его в столовую.

— А, Николай Нилыч! — сказала Надежда Константиновна так, словно давно ждала его.

Турбин расшаркался, оглянулся.

— Николай Нилыч Турбин... Господин Турбин... — поспешно говорил хозяин.

Молодой, свежий, красивый флотский офицер встал быстро и поклонился с преувеличенной вежливостью. Невысокий, худощаво-широкоплечий, с обветренным, инородческого типа лицом доктор пожал ему руку просто и без улыбки. Пожилой, солидный господин, не вставая, сдержанно-вежливо наклонил голову.

— Присаживайтесь-ка! — сказала хозяйка опять так, словно хотела сказать: «Ну, наконец-то, вот теперь все пойдет прекрасно».

Турбин сел, вытер платком лоб, все еще глядя словно через воду. То, что один из гостей не подал ему руки, заставило его ощутить почти физическую боль в сердце.

— Николай Нилыч, вам сколько кусков сахара? — обратилась к нему хозяйка с улыбкой.

Турбин встрепенулся.

— Я бы попросил без сахара, — сказал он.

И он взял стакан, замирая от страха повалить его на скатерть или прикоснуться руками к рукам Надежды Константиновны. Так как общий разговор на минуту прервался, то она продолжала:

— Ну что, как ваша школа?

— Ничего, прекрасно, — ответил Турбин, и его голос ему показался чужим и слишком громким.

— А в Можаровке вы на все святки остались? — заботливо прибавил хозяин.

— Да, уж нынешний год, думаю... решил так, что не ездить лучше.

— Да?

Линтварев наклонил голову, словно приятно изумился. Затем торопливо, с виноватой улыбкой — по необходимости, мол — обернулся к соседу.

Стараясь держаться свободнее, Турбин стал осматриваться.

#### XIV

Тот, что не подал руки Турбину, Беклемишев, был богатый помещик и видный человек в земстве. Он был плотен, родовит, с матовым цветом млажавого лица, сед. Держался с удивив-

тельным хладнокровием. И Турбин старался не глядеть на него.

Земский доктор держался строго, но просто, и его черемисское лицо и взгляды сквозь очки между быстрыми глотками чая не пугали. Родственницы хозяйки, княжны Трипольские, часто вставляли свои замечания в рассказ Беклемишева о его поездке к министру Ермолову ленивым тоном, гримасничая, когда улыбались. Их Турбин уже видел несколько раз осенью, когда они амазонками проезжали по селу кататься. И у священника и у лавочника велись тогда бесконечные разговоры о них. От старого повара все знали, что княжны очень богаты, живут то в Петербурге, то в своем имении, то гостят у Линтварева, а больше всего — за границей.

— Что ж им? Катайся в свое удовольствие да и только! — говорил лавочник с умилением.

Когда о Турбине забыли, он успокоился и только чувствовал себя как-то странно-хорошо в этой новой обстановке, среди легко развивающегося разговора, сидя около хозяйки, похожей на английскую леди: таких изящных черт лица, такой чистоты и нежности кожи он еще никогда не видывал. А когда он вставал, так было легко и приятно отодвигать тонкий красивый стул, ходить по паркету в этой просторной столовой, ярко озаренной большой лампой над столом, видеть блеск серебряного самовара и посуды из тончайшего стекла. Было, правда, одно очень неприятное обстоятельство: во время рассказа Беклемишева Турбин, не зная, что делать, наклонился и поймал собачку; но та, как стальная, выскочила из рук и при этом так пронзительно взвизгнула, что хозяйка схватилась за висок и все встrepенулись, обратили на него глаза, и Турбин готов был провалиться сквозь землю от смущения. Но сама же хозяйка и сумела замять эту историю: так непринужденно, словно ничего и не было, обратилась к нему: «Николай Нилыч, вы позволите еще чаю?» — что он ободрился и смог очень ловко ответить: «Нет, терсі... достаточно уже».

Он выпил два стакана, наслаждаясь ароматом рома, который с тихой лаской подливал ему в чай хозяин, и от рома оживился, почувствовал смелость и верную упругость в ногах. Он даже не смутился, когда приехало еще несколько человек гостей: красивая, полная вдова-помещица, завитая, с горящими от мороза ушками, старик-помещик, который немножко рисовал простотой, но которого все любили за эту простоту и тотчас окружили с веселыми улыбками, еврей-инженер, сухой, черненький, подвижной, вроде той собачки, которую поймал Турбин, и наконец член суда, такой чистый, как все судейские, свободный и веселый остряк, делавший умные, насмешливые глаза.

Говорили о театре. Трипольские с восторгом рассказывали об игре Заньковецкой в Петербурге, бранили Мазини, хвалили Фигнера... рассказывали про своих знакомых, про поэта Надсона. Как будто желая описать, какой он милый и большой человек, княжны рассказывали, что он у них был в гостях, а потом они его навестили в Ницце. Член суда декламировал пародии Буренина на надсоновские стихи. Потом разговор разбился — в одном месте слышались имена земцев, в другом все еще Мазини и Фигнера. Учитель, изгибаясь и покачиваясь, подходил то к одной, то к другой группе и все время был в напряженном состоянии от желания хоть что-нибудь сказать. Но весь разговор шел о неизвестном, и он молчал или смеялся сдержанно и неискренно, когда смеялись другие.

— А вы все о своем профессиональном образовании? — сказал он наконец, подходя к Линтвареву и Беклемишеву.

Беклемишев тихо поднял на него глаза.

— Нет, почему же... — сказал Линтварев, улыбаясь.

Турбин, тоже улыбаясь, продолжал:

— Вы хотите, как я слышал, так серьезно им заняться?

От неловкости Турбин подчеркивал слова, и их можно было принять за насмешку. Особенно нехорошо ему было от пристального и спокойного взгляда Беклемишева. Но все-таки он присел к столу, предварительно посмотрев на стул и раздвинув полы сюртука, расставил острыми углами свои тонкие ноги и, поставив локоть на колено, стал пощипывать кончики своих жидких белесых усов.

— Меня, по правде сказать, очень интересуется этот вопрос, — сказал он, помолчав, как-то внезапно. — Я, конечно, говорю искренно...

— С какой же именно стороны вас интересуется? — спросил Беклемишев.

— То есть как с какой стороны? Вообще... в применении его в жизни.

Беклемишев, поставив руки на стол и соединяя ладони, смотрел, ровно ли приходятся пальцы один к другому. Линтварев старательно набивал машинкой папиросы.

— Я читал, — продолжал Турбин уже с усилием, — недавно в одной газетке про книжицу какого-то Весселя о профессиональном образовании... Меня, собственно, удивило, что к его мыслям, очевидно, многие относятся враждебно: например, директор ремесленного училища цесаревича Николая... Мне кажется, что тут есть несправедливость... Он говорит, например, что школа, собственно, несовместима с мастерской...

— То есть это, — мягко перебил Линтварев, — Песталоцци мнение, а Вессель, хотя и...

— Ну да, и Песталоцци,— перебил в свою очередь Турбин, и в нем уже загорелось желание спора.— Только, по моему мнению, это и понятно... Когда мне, позвольте спросить, обучать своего какого-либо мальчика мастерить разные безделушки, когда он сам, в своем быту, так сказать...

— Зачем же непременно безделушки?

Турбин развел руками.

— Мне, собственно, это все представляется как бы игрушками... Мне трудно это объяснить, но все эти затеи... Говорят, подспорье хозяйству... но ведь смешно подпирать то, что разваливается окончательно... да и не соответствует все это духу нашего народа, истого земледельца... А учить его, например, делать плетушки...

— Ну да, ученого учить только портить,— насмешливо сказал Беклемишев.

Турбин хотел продолжать, сказать, что он думает, более ясно и связно. Но Беклемишев, как бы забыв о его присутствии, тихо и спокойно промолвил Линтвареву:

— Да, так я думаю, что это еще гадательно: князь слишком глуп для этого, а Гарницкий — юн.

Линтварев виновато посмотрел на Турбина. Турбин смолк. Теперь ему хотелось одного — поскорее уйти из столовой. Но встать сразу было неловко.

— А я все хотел попросить у вас какой-либо книжицы из вашей библиотеки,— сказал он наконец, подымаясь.

— С величайшим удовольствием,— поспешил ответить Линтварев.

Турбин встал и медленно прошелся по столовой. Он долго стоял перед камином, рассматривал большой портрет Толстого, писанный масляными красками. Но ему уже было не по себе. Музыка в зале ударила ему по сердцу как-то болезненно. И, под предлогом, что он идет слушать, он вышел в залу.

## XV

Играл член суда.

— Что это? — спросил сидевший около него старик-помещик, обращаясь к хозяйке.

— Соната Грига. Вы не знаете?

— Десять лет не играл,— сказал помещик со вздохом,— а хорошо!

— Чудо! — подтвердила хозяйка.

Музыка Грига решительно не нравилась Турбину. Звуки лились вычурно, быстро и не трогали его сердца. Он чувствовал, что она так же чужда ему, как все общество, окружавшее его. В начале вечера он все ждал, что будет что-то хоро-

шее. Теперь это чувство ослабело. Он думал, что надо идти домой, что никому он не нужен. Никто даже не поинтересовался им, не поговорил, чтобы узнать, что он за человек. Даже хозяин только предупредительно, беспокойно вежлив с ним...

Музыка смолкла. «Посижу еще, послушаю немного и уйду»,— решил Турбин. Но поднялся разговор о Григе. Старик-помещик добродушно-насмешливо покачивал головой. «Хорошо, а не забирачивает»,— говорил он. Член суда горячился, доказывая, что «Григ великолепен».

И, покачивая головою, тихо начал «Белые ночи» Чайковского:

Какая ночь! На всем какая негаль!

Турбин не знал ни этих слов, ни Чайковского; но при первых же чистых звуках мелодии у него дрогнуло сердце: что-то нежно-призывающее было в них; а когда эти зовущие звуки определились в томительно-грустные, Турбину захотелось плакать.

Но рояль стих. Турбин встал: ему хотелось еще музыки, но он не знал, что назвать. Он подумал о «Молитве девы»... но это было как-то неловко сказать.

— Будьте добры, сыграйте еще что-нибудь,— обратился он к члену суда.

— Что же? — спросил тот, перебирая ноты.

— Что-нибудь Бетховена.

Член суда посмотрел на него внимательно.

— Сонату? — спросил он.

Турбин в смущении качнул станом.

— Да, сонату...

— Какую же?

— Все равно...— пробормотал Турбин, чувствуя, что над ним смеются.

Но тут позвали к столу. Турбин настроил себя чинно и шел медленнее всех.

Хозяин особенно хвалил и предлагал селедку. Член суда, с видом знатока, попробовал ее и нашел «гениальной».

— Николай Нилыч! Водки? — сказал хозяин.

— Можно! — ответил Турбин.

— Хинной или простой?

— Хинной, так хинной.

— Так будьте добры — распоряжайтесь сами.

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, пожалуйста!

Около стола теснились, оживленно переговаривались. С тарелкою в руках Турбин долго стоял в конце всех. Он не обедал и с особенным удовольствием выпил рюмку водки, погонялся вилкой за ускользящим грибком и ограничился на первое время пирогом. После первой же рюмки он почувствовал лег-

кий хмель, очень захотел есть и долго, поглядывая искоса и стараясь не торопиться, ел одних омаров. Член суда уже дружески предлагал ему выпить с ним, и Турбин выпил еще рюмку простой водки. И водка и дружеский тон члена суда совсем смягчили его.

Первые минуты опьянения он чувствовал себя так же, как в самом начале вечера: как сквозь воду видел блеск огней и посуды, лица гостей, слышал говор и смех, чувствовал, что теряет способность управлять своими словами и движениями, хотя сознавал еще все ясно. Раскрасневшееся, потное лицо затягивало паутиной; в голове слегка шумело. Но все-таки он старался оглядываться смело и весело своими томными глазами. Ему было жарко. Когда же Линтварев (Турбину казалось, что и Линтварев запьянел) взял его под руку и повел к столу ужинать, он почувствовал себя очень большим и неловким.

— Не выпьем ли еще по единой? — сказал член суда.

— Блаженный Теодорит велит повторить, — отвечал Турбин со смехом.

— *Repetitio est mater studiorum*<sup>1</sup>. Не так ли? — промолвил с другого конца флотский офицер, явно подделываясь под семинарскую речь.

Турбин понял это и вызывающе поглядел на офицера. — «Ну, и черт с тобой!» — подумал он и, усмехаясь, крикнул: — *Optime!*<sup>2</sup>

Член суда поспешил налить. Хозяйка как будто вскользь, но значительно поглядела на него. И это Турбин заметил, но никак не мог обидеться: так просто и тепло стало у него на душе.

— Да и последняя! — сказал он, выпивая и махая рукой. — Я и так мокрый, как мышь.

Удерживаясь от смеха, младшая княжна зажала рот платком.

Ужин, как показалось, прошел чрезвычайно быстро. Турбин запомнил только, что ел горячий ростбиф, что сои огнем охватили ему рот, что он пил мадеру, лафит и плохо соображал, о чем идет говор.

Когда подали шампанское (был день рождения хозяйки), Турбин быстро встал и оглушительно крикнул «ура!» Но за оживлением на это не обратили особенного внимания. Все столпились в кучу, поздравляя хозяйку и самого Линтварева. Линтварев, с бокалом в одной руке, прижимал другую к сердцу и старался казаться и тронутым и шутливым.

---

<sup>1</sup> Повторение — мать учения (*лат.*).

<sup>2</sup> Превосходно! (*лат.*)

— Ура! — крикнул еще раз Турбин, но уже потише и улыбнулся слабой, жалкой улыбкой.

— Не стóит! — шепнул доктор, сжимая ему локоть.

— Ну, не надо...

И, улыбаясь, Турбин медленно пошел в залу. Теперь он уже освоился с тем, что не может управлять собою.

## XVI

В зале Прохор Матвевич разносил чай, снова предложенный хозяином. «Люблю, грешный человек! — говорил он. — Господа, кто желает китайского зелья?» Все приняли это предложение с шумными одобрениями, как на земских собраниях: «Просим, просим!..»

— Сергей Львович, сыграть просим! — крикнул хозяин.

— Благодарю, господа, я чувствую себя слишком утомленным, — отнекивался Сергей Львович, продолжая пародировать гласных. Но тут поднялся такой шум и крик, что отказываться стало невозможно.

— Просим! — крикнул Турбин уже после всех.

— Давненько я не брал в руки шашек, — говорил Сергей Львович, кряхтя и усаживаясь за рояль.

— Сергей Львович! Вебера! — крикнул член суда.

Сергей Львович поднял брови и подумал.

— Нет, — сказал он с улыбкой, — попробуем блеснуть техникой. Ну-ка...

— Тарантелла... — шепнул флотский офицер. — Николая Рубинштейна.

Член суда утвердительно кивнул головой.

Из медленных, в которых сказывалась хитрая, сдержанная удаль, звуки быстро превратились в шумные, быстрые и затрепетали в каком-то диком восторге. Возгласы одобрения поминутно заглушали их. Казалось, что если бы танец не кончился, можно было бы задохнуться от напряжения... Турбин хохотал нервным смехом.

— Вот это так так, — бормотал он в восторге.

— А теперь, — крикнул Линтварев, — грóсс-фатер!

Под церемонные звуки старинной музыки дамы во главе с хозяином и членом суда начали комически двигаться, раскланиваться, но спутались, перемешались и со смехом остановились.

— Ну, лянсье! — зывал хозяин.

— Не выйдет!

— Выйдет!

Турбин тоже порывался танцевать и быстро оглядывался кругом.



— Сергей Львович! — вдруг завопил он. — Пожалуйста!.. ту, веселую...

— Тарантеллу?

— Да, да!

Сергей Львович мельком взглянул на него и ударил по клавишам. И не успели опомниться гости и хозяин, как произошло нечто дикое: не слушая музыки, без всякого такта, Турбин вдруг зашаркал ногами, потом все быстрее, быстрее пошел мелкой дробью и вдруг стукнул в паркет, подпрыгнул и пустил руки между ногами, словно разрубил что-то со всего размаха.

— Bravo! — крикнул кто-то насмешливо. — Бис!

И под разрастающиеся звуки Турбин охотно побегал назад, заплетая и размахивая ногами как веслами, хотел еще раз стукнуть в пол — и вдруг замер: в двух шагах от него стоял отец Линтварева! Шаркая и подаваясь вперед, он поторопился из маленькой гостиной, где играл в карты, на шум в зале. Увидев пляску, он с изумлением поднял свою седую большую голову и, приложив к переносице пенсне, глядел прямо в лицо Турбину остановившимися глазами.

Турбин качнулся в сторону и с жалкой улыбкой махнул рукой. Доктор быстро подошел к нему.

— Пойдемте, батенька, домой, — сказал он ему строго.

— Нет, чего же? — ответил Турбин. — Я еще не хочу.

Лицо его было бледно, холодный пот крупными каплями покрывал лоб.

— Нельзя, нельзя, — повторил доктор еще строже и, взяв его под руку, повел в переднюю.

Турбин, приплясывая, покорно пошел...

## XVII

Спал или не спал он, добравшись домой? До головокружения живы и беспокойны были сновидения. Казалось, что он все еще в гостях: люди двигались, перетасовывались, проходили перед ним как в пантомиме, и он сам во всем участвовал и чувствовал, что все выходит хорошо и ловко, хотя и беспокоит что-то, спутывает все. Турбин старался вспомнить, что же это мешает, и никак не мог, и мучился, осаждаемый сновидениями. Истомленный до последней степени, он наконец открыл глаза. Дневной свет сразу отрезвил его, — стыд, жгучий стыд до слез, до физической боли пронзил его душу. Он стиснул зубы, крепко прижал голову к подушке.

Вдруг он вскочил. Он решился переломить себя, задавить все эти воспоминания. Он поспешно одевался, убирал комнату. В ногах была слабость, но голова не болела. Он старался де-

лать все как можно правильнее и серьезнее. И в то же время спокойно выискивал оправдания себе...

Отворилась дверь.

— Самовар-то ставить, что ль? — спросил Павел.

— А почему же не ставить? — хрипло крикнул Турбин.

— Да то-то, мол, надо ли?

Турбин отвернулся и еще крепче стиснул зубы. Павел помолчал, потом вдруг лукаво заглянул Турбину в глаза и, с проснявшим лицом, быстрым шопотом спросил:

— Ай слетать к Ивану Филимонычу?

— Это зачем?

— За похмелочкой? А?

— Убирайся ты от меня к шуту со своими бессмысленными глупостями! — закричал Турбин, багровея от злости.

После чая он лежал на кровати и с глухой яростью придумывал самые оскорбительные фразы, которые, вероятно, посыпались по его адресу, как только он вышел, в доме Линтварева. А на селе! С какими глазами показаться теперь на село?

Однако он заставил себя одеться и пошел к дьячку обедать. «Знают или нет?» — думал он, боязливо глядя на заводскую сторону.

Около лавки он постарался идти как можно медленнее.

— С праздником, Иван Филимоныч! — сказал он, увидя лавочника, стоявшего около саней с ящиком водки.

Лавочник считал бутылки, передавая их в лавку мальчику, и ответил учтиво и поспешно:

— И вас также! Милости просим.

— Постараюсь.

— Николай Нилыч теперь загордел, — вдруг раздался голос лавочницы с крыльца.

Она смотрела на Турбина насмешливо-пристально. Лавочник вдруг обернулся к ней с строгим взглядом, и по одному этому взгляду Турбин понял, что все известно, все... и с замирающим сердцем поспешил скрыться в избе дьячка.

Обед прошел спокойно. Но, когда Турбин уже поднялся из-за стола, дьячок, глядя в сторону, сказал так, словно продолжал давно начатый разговор:

— И совсем не стоило туда ходить. И батюшка то же говорит, и Иван Филимоныч.

Турбина словно ударили по голове.

— Куда это? — через силу спросил он.

— Если, гырт, — продолжал дьячок уныло-невозмутимым тоном, — если, гырт, съешь-спить, так и у меня был бы сыт, не попрекнул бы куском... Да и правда: не нам с вами бывать у таких персон!

— Ну, да я... я, отец Алексей, кажется, сам не маленький...

Дьячок только вздохнул. Дрожащими руками Турбин нашел скобку и хлопнул дверью.

— И прекрасно! И прекрасно! — с злобной радостью похаживал он, почти бегом взбираясь на гору.

## XVIII

— Дома? — раздался в передней голос Слепушкина, как только Турбин вошел к себе и, скинув пальто, упал на постель. Павел отвечал что-то торопливым шопотом.

— Ну, ну, не надо; не буди... бог с ним.

Дверь хлопнула, все стихло. Турбин лежал без движения...

— Поздравляю! — раздался вдруг крик Кондрата Семеныча, со смехом ввалившегося в комнату.— Ты, говорят, чорт знает каких штук там натворил? Какой это ты танец своего изобретения плясал?

— Оставьте, пожалуйста, меня в покое! — тихо ответил Турбин.

— Да нет, как же, брат, ты, говорят, вдребезги насадился?

Ухмыляясь, Кондрат Семеныч присел на кровать и продолжал уже с искренним участием, обращаясь к Турбину, как к заведомому пьянице:

— Гм, пожалуй, правда, свинство! Ты бы хоть на первый-то раз поддержался немного... Надо сходить извиниться. Еще, пожалуй, с места попрут...

А через полчаса на столе стояла бутылка водки. Турбин, уже захмелевший, облокотившись на стол и положив голову на руки, сидел молча.

— Чорт знает что! — говорил Кондрат Семеныч,— говорят, тебя за крыльцо выкинули?

— Кто это?

— Что?

— Говорит-то?

— Слепушкин.

Турбин злорадно захохотал.

А Кондрат Семеныч с серьезным лицом грустно продолжал:

— Он, брат, Линтварев-то этот, глумился над тобой. Оплевать, воспользоваться твоей необразованностью! Подло, брат! Мне тебя от души жаль.

Турбин вдруг сморщился, захлюпал, хотел что-то сказать, но захлебнулся слезами и только зубами скрипнул.

— Ну, вот, опять готов! — сказал Кондрат Семеныч с сожалением.— Тебе, брат, стоит бросить пить.

— Да не пьян я! — закричал Турбин бешено, с красными полными слез глазами, и треснул кулаком по столу.

## XIX

— Э-эй, держись! — крикнул Васька, когда рыженькая троечка что есть духу разнеслась в темноте под гору и толпа ребят и девок, как стадо овец, шараясь в сторону.

Взрыв хохота и криков на время покрыл звон колокольчиков... Мелькнули огни кабака... Турбина охватило отчаянное чувство смелости и веселья.

— Делай! — крикнул он Ваське.

Сани налетели на водовозку, сбили ее в сторону. Около завода какая-то фигура вынырнула из темноты и упала на ноги Турбина.

— Митька? Ты? — крикнул Кондрат Семеныч.

— Ребята гнались, — молчи!

И на повороте в село фигура выпрыгнула из саней и опять скрылась в темноте.

В избах светились огни, чернели кучки народа на улице, шум и гам покрывали горластые песни, толкотня, пляска, гармоника. Стоном стояла и разливалась протяжная «страдательная», ее заглушал азартный трепак, топот ног и взвизгивания...

Сперва попали в какую-то избу, битком набитую народом. С непривычки Турбину показалось даже страшно в ней: так было жарко, низко и людно... Шла игра в «короли». Неиграющие, ложась друг другу на плечи и почти доставая головами до потолка, покрытого от черной топки словно черным густым лаком, теснились к столу. За столом сидели ребята в расстегнутых полушубках и чистых рубахах, девки в красных ситцах, сильно пахнущих краскою. У всех были сжаты корабликом карты в руках и напряженно-веселы лица. Ребятишки шмыгали по ногам, лезли из сенец в избу. «Выстудили избу, окаяные!» — кричала на них хозяйка и громко спрашивала Кондрата Семеныча:

— А это чей же будет?

— Свой, тетка! — ответил Турбин с хохотом и, севши на лавку, не удержался, завалился за сидящих и задрал ноги.

А через минуту он был опять в снях.

Кондрат Семеныч втащил в них какую-то хохочущую солдатку и, стоя, крикнул Ваське:

— К печнику!

— Попала шлея под хвост! — подхватил Турбин.

## XX

От посещения печника более всего осталось в памяти его пение. И сам печник, волосатый, пожилой мужик, и жена его, всегда веселая и разбитная баба, больше всего на свете люби-

ли водку и песни. Гости за посещение их избы напивали их, и беспутные супруги бывали очень довольны такими вечерами. И теперь тотчас же в печке запылал огонь, зашипела и затрещала яичница с ветчиной, загудела труба на самоваре. Запьяневшая, раскрасневшаяся хозяйка поддувала пламя под таганчиком и с ласковой улыбкой останавливалась, рассматривая Турбина. Затем начался пир. За каждым куском следовала водка; ошалевший Турбин не отставал от других, хотя уже чувствовал, что с великим трудом слышит говор и песни вокруг себя. Песни начал печник. Положив голову на руку, он что ни есть мочи разливался таким неистовым криком, что на шее у него вздувались синие жилы.

— Ешьте, что ль, ветчину-то! — кричала хозяйка.

Турбин машинально, кусок за куском, ел страшно соленую ветчину, и челюсти у него ломило от бесплодных усилий разжевать эти жареные брусочки.

На печника уже не обращал никто внимания. Перебивая его песни, Кондрат Семеныч с Васькой лихо играли на двух гармониках «Барыню», а бабы, с прибаутками, с серьезными, неподвижными лицами выхаживали друг перед другом, постукивая каблуками:

Посылала меня мать  
Караулить гусака —

вычитывала хозяйка.

Уж я ее кнутом,  
И кнутом, и прutom —

бойко покрикивала в ответ солдатка, то прихлопывая в ладоши, то упирая руки в бока.

— Делай! — повторял Васька, потрясая гармоникой над головою и пускаясь в самые отчаянные варьяции «Барыни». В чаду беспричинной напряженной веселости сознание учителя иногда прояснялось. «Где это я? Что такое?» — спрашивал он себя, но тотчас начинал хлопать в ладоши и в такт «Барыни» стучать сапогами в пол.

А за окном, которое завесили попоной, галдел народ, порываясь в избу. Горький пьяница, рабочий с завода, «Бубен», огромный худой мужик, с лошадиным лицом, с растрепанными пьяными губами, несколько раз отворял дверь.

— Не пускай, ну его к чорту! — говорил Кондрат Семеныч.

— Ну, что ты? Кого тебе? — спрашивала хозяйка, загораживая порог.

Улыбаясь и качаясь, «Бубен» придерживался за притолку и говорил:

— Да чего? Да ничего! Зайтить закурить только.

— Никого тут нетути. Иди.

— Бude, бude толковать-то!

— Тури его в шею! — кричал Кондрат Семеныч.

У Турбина нестерпимо ломило в темени от жары и водки. Но он все еще не отставал от других и, когда раздался крик, что с лошадей сняли вожжи и чересседельник, он даже выскочил вместе с Васькой на улицу, готовый на отчаянную драку. На морозе водка еще более разобрала его, и с этого момента воспоминания его совершенно путаются.

Запомнил он только то, что долго бродил по сенцам, а когда Кондрат Семеныч выпихнул к нему какую-то бабу, он потащил ее на скотный двор, и она вырывалась и торопливо шептала:

— Что ты, что ты? Ай подеялось?.. Ай очумел?.. Ох, ба-тюшки, пусти, пусти-и... Тут погребница!..

И ошалевший Турбин опять с трудом отыскал дверь в избу и очутился в полном мраке, и эта темнота, шопот, возня на соломе еще более взбудоражили его кровь. Он долго шарил по соломе трясущимися руками, наткнулся на печника, который сидел на полу и бормотал что-то, повалил кочергу... потом потерял всякое представление о том, где он...

Чувствовал только во сне, что откуда-то по ногам несет холодом. Он тщетно прятал их под солому. Потом началась страшная жажда. Все внутри у него горело, и он чувствовал это сквозь сон и никак не мог проснуться, и все шептал горячечным шопотом:

— Пить... Бога ради пить!..

Казалось, что какая-то толпа растет вокруг него, а он пляшет под «Тарантеллу», пляшет, пляшет без конца и вдруг слышит над собой головой рукоплескания и крики, отчаянный крик. Он вскочил: петух еще раз крикнул на всю избу и затрепыхал крыльями.

Холод плыл по ногам. Еле-еле светало. В смутном сумраке было видно несколько человек, спящих на соломе. Шатаясь, Турбин начал шарить по печуркам спичек; в печурках были какие-то сырые теплые перья; на грубке лежала деревянная спичечница, но она была пуста. Турбин задыхался от жажды.

— Бога ради, напиться! — сказал он громко.

— Ох, чтоб тебе совсем! Вот напужал-то!

Солдатка вскочила и, заспанная, торопливо и неловко стала завязывать юбку и завертывать под платок сбитые волосы.

— Пить нет ли? Душа запеклась!

— Посмотри в угле, в шербатом чугуниче.

Турбин с жадностью припал к чугунику. Но квас был так кисел и холоден, что Турбина с первых глотков подхватила лихорадка, и, не попадая зуб на зуб, он бросился по нарам, че-

рез Кондрата Семеныча, на печку; Кондрат Семеныч замычал и заскрипел во сне зубами.

Какой-то тяжелый запах и тепло охватили Турбина, и он заснул, как убитый. Но и этот сон продолжался как будто мгновение. Затопили печку по-черному, и дым, пеленой потянувшийся под потолком в дверь, завешенную попоной, стал душить Турбина. Он зарывал голову в солому и сор, но ничто не помогало. Тогда он свесил голову с печки, кое-как приладил ее к кирпичам и так и проспал до самых завтраков.

В завтраки Кондрат Семеныч, с опухшим лицом, но уже в спокойном, будничном настроении, сидел за столом против печника, похмелялся и, вертя цыгарку, поглядывал на сонное лицо Турбина. Оно было как мертвое: истомленное, страдальческое и кроткое.

— Вот-те и педагог! — сказал он с сожалением.— Пропал малый!

— Сирота, небось! — задумчиво произнес печник.

## В ПОЛЕ

### I

Темнеет, к ночи поднимается вьюга...

Завтра рождество, большой веселый праздник, и от этого еще грустнее кажутся непогожие сумерки, бесконечная глухая дорога и поле, утопающее во мгле поземки. Небо все ниже нависает над ним; слабо брезжит синевато-свинцовый свет угасающего дня, и в туманной дали уже начинают появляться те бледные неуловимые огоньки, которые всегда мелькают перед напряженными глазами путника в зимние степные ночи...

Кроме этих зловещих таинственных огоньков, в полуверсте ничего не видно впереди. Хорошо еще, что морозно, и ветер легко сдувает с дороги жесткий снег. Но зато он бьет им в лицо, засыпает с шипеньем придорожные дубовые вешки, отрывает и уносит в дыму поземки их почерневшие, сухие листья, и, глядя на них, чувствуешь себя затерянным в пустыне, среди вечных северных сумерек...

В поле, далеко от больших проезжих путей, далеко от больших городов и железных дорог, стоит хутор. Даже деревушка, которая когда-то была возле самого хутора, гнездится теперь в верстах в пяти от него. Хутор этот господа Баскаковы много лет тому назад наименовали Лучезаровкой, а деревушку — Лучезаровскими Двориками.

Лучезаровка! Шумит, как море, ветер вокруг нее, и на дворе, по высоким белым сугробам, как по могильным холмам, курится поземка. Эти сугробы окружены далеко друг от друга разбросанными постройками: господским домом, «каретным» сараем и «людской» избой. Все постройки на старинный лад — низкие и длинные. Дом обшит тесом; передний фа-



сад его глядит во двор только тремя маленькими окнами; крыльца — с навесами на столбах; большая соломенная крыша почернела от времени. Была такая же и на людской, но теперь остался только скелет этой крыши и узкая, кирпичная труба возвышается над ним, как длинная шея...

И кажется, что усадьба вымерла: никаких признаков человеческого жилья, кроме начатого омета возле сарая, ни одного следа на дворе, ни одного звука людской речи! Все забито снегом, все спит безжизненным сном под напевы степного ветра, среди зимних полей. Волки бродят по ночам около дома, приходят из лугов по саду к самому балкону.

Когда-то... Впрочем, кто не знает, что было «когда-то»! Теперь числится при Лучезаровке уже всего-навсего двадцать восемь десятин распахной и четыре десятины усадебной земли. В город переселилась семья Якова Петровича Баскакова: Глафира Яковлевна замужем за землемером, и почти круглый год живет у нее и Софья Павловна. Но Яков Петрович — старый степняк. Он на своем веку прогулял в городе несколько имений, но не пожелал кончать там «последнюю треть жизни», как выражался он о человеческой старости. При нем живет его бывшая крепостная, говорливая и крепкая старуха Дарья; она нянчила всех детей Якова Петровича и навсегда осталась при баскаковском доме. Кроме нее, Яков Петрович держит еще работника, заменяющего кухарку: кухарки не живут в Лучезаровке больше двух-трех недель.

— Тот-то у него будет жить! — говорят они. — Там от одной тоски сердце изноет!

Поэтому-то и заменяет их Судак, мужик из Двориков. Он человек ленивый и неуживчивый, но тут ужился. Вozить воду с пруда, топить печи, варить «хлебово», месить резку белому мерину и курить по вечерам с барином махорку — невелик труд.

Землю Яков Петрович всю сдает мужикам, домашнее хозяйство его чрезвычайно несложно. Прежде, когда в усадьбе стояли амбары, скотный двор и рига, усадьба еще походила на человеческое жилье. Но на что нужны амбары, рига и скотные дворы при двадцати восьми десятинах, заложенных, перезаложенных в банке? Благоразумнее было их продать и хоть некоторое время пожить на них веселее, чем обыкновенно. И Яков Петрович продал сперва ригу, потом амбары, а когда употребил на топку весь верх со скотного двора, продал и каменные стены его. И неуютно стало в Лучезаровке! Жутко было бы среди этого разоренного гнезда даже Якову Петровичу, так как от голода и холода Дарья имела обыкновение на все большие зимние праздники уезжать в село к племяннику,

сапожнику, но к зиме Якова Петровича выручал его другой, более верный друг.

— Селям алекюм! — раздавался старческий голос в какой-нибудь хмурый день в «девичьей» лучезаровского дома.

Как оживлялся при этом, знакомом с самой Крымской кампании, татарском приветствии Яков Петрович! У порога почтительно стоял и, улыбаясь, раскланивался маленький седой человек, уже разбитый, хилый, но всегда бодрящийся, как все бывшие дворовые люди. Это прежний денщик Якова Петровича, Ковалев. Сорок лет прошло со времени Крымской кампании, но каждый год он является перед Яковым Петровичем и приветствует его теми словами, которые напоминают им обоим Крым, охоты на фазанов, ночевки в татарских саклях...

— Алекюм селям! — весело восклицал и Яков Петрович. — Жив?

— Да ведь севастопольский герой-то, — отвечал Ковалев.

Яков Петрович с улыбкой осматривал его тулуп, крытый солдатским сукном, старенькую поддевочку, в которой Ковалев казался седеньким мальчиком, поярковые валенки, которыми он так любил похвастать, потому что они поярковые...

— Как вас бог милует? — спрашивал Ковалев.

Яков Петрович осматривал и себя. И он все такой же: плотная фигура, седая, стриженная голова, седые усы, добродушное, беспечное лицо с маленькими глазами и «польским» бритым подбородком, эспаньолка...

— Байбак еще, — шутил в ответ Яков Петрович. — Ну, раздевайся, раздевайся! Где пропадал? Удил, огородничал?

— Удил, Яков Петрович. Там посуду полой водой унесло нынешний год — и не приведи господи!

— Значит, опять в блиндажах сидел?

— В блиндажах, в блиндажах...

— А табак есть?

— Есть маленько.

— Ну, садись, давай заворачивать.

— Как Софья Павловна?

— В городе. Я был у ней недавно, да удрал скоро. Тут скука смертная, а там еще хуже. Да и зятек мой любезный... Ты знаешь, какой человек! Ужаснейший холоп, интересан!

— Из хама не сделаешь пана!

— Не сделаешь, брат... Ну да чорт с ним!

— Как ваша охота?

— Да все пороху, дроби нету. На днях разжился, пошел, пришиб одного кособокого...

— Их нынешний год страсть!

- Про то и толк-то. Завтра чем свет зальемся.
- Обязательно.
- Я тебе, ей-богу, от души рад!
- Ковалев усмехался.
- А шашки целы? — спрашивал он, свернув цыгарку и подавая Якову Петровичу.
- Целы, целы. Вот давай обедать и срежемся!

## II

Темнеет. Наступает предпраздничный вечер.

Разыгрывается на дворе метель, все больше заносит снегом окошко, все холоднее и сумрачнее становится в «девичьей». Это старинная комнатка с низким потолком, с бревенчатыми, черными от времени стенами и почти пустая: под окном длинная лавка, около лавки простой деревянный стол, у стены комод, в верхнем ящике которого стоят тарелки. Девичьей по справедливости она называлась уже давным-давно, лет сорок-пятьдесят тому назад, когда тут сидели и плели кружева дворовые девки. Теперь девичья — одна из жилых комнат самого Якова Петровича. Одна половина дома, окнами на двор, состоит из девичьей, лакейской и кабинета среди них; другая, окнами в вишневый сад, — из гостиной и зала. Но зимой лакейская, гостиная и зала не топятя, и там так холодно, что насквозь промерзает и ломберный стол и портрет Николая I.

В этот нелогожий предпраздничный вечер в девичьей особенно неуютно. Яков Петрович сидит на лавке и курит. Ковалев стоит у печки, склонив голову. Оба в шапках, валенках и шубах; баранье пальто Якова Петровича надето прямо на белье и подпоясано полотенцем. Смутно виден в сумраке плавающий синеватый дым махорки. Слышно, как дребезжат от ветра разбитые стекла в окнах гостиной. Метель бушует кругом дома и часто прерывает разговор его обитателей: все кажется, что кто-то подъехал.

— Постой! — вдруг останавливает Ковалева Яков Петрович. — Должно быть, это он.

Ковалев смолкает. И ему почудился скрип саней у крыльца, чей-то голос, невнятно донесшийся сквозь шум метели...

— Поди-ка, посмотри, — должно быть, приехал.

Но Ковалеву вовсе не хочется выбегать на мороз, хотя и он с большим нетерпением ожидает возвращения Судака из села с покупками. Он прислушивается очень внимательно и решительно возражает:

— Нет, это ветер.

— Да что тебе, трудно посмотреть-то?

— Да что ж смотреть, когда никого нет?

Яков Петрович вздергивает плечами; он начинает раздражаться...

Так было все хорошо складывалось... Приезжал богатый мужик из Калиновки с просьбой написать прошение к земскому начальнику (Яков Петрович славится в околотке как сочинитель прошений) и привез за это курицу, бутылку водки и рубль денег. Правда, водка была выпита при самом сочинении и чтении прошения, курица в тот же день зарезана и съедена, но рубль остался цел,— Яков Петрович приберег его к празднику... Потом вчера утром внезапно явился Ковалев и принес с собой кренделей, полтора десятка яиц, да еще и шестьдесят копеек. И старики были веселы и долго обсуждали, что купить. В конце концов развели в чашке сажи из печки, заострили спичку и жирными, крупными буквами написали в село к лавочнику: «В харчевню Николай Иванова. Отпусти 1 ф. махорки полуотборной, 1,000 спичек, 5 сельдей маринованных, 2 ф. масла конопляного, 2 осьмушки фруктового чаю, 1 ф. сахару и 1½ ф. жамок мятных».

Но Судака нет с самого утра. А это влечет за собой то, что предпраздничный вечер пройдет вовсе не так, как думалось, и, главное, придется самим идти за соломой в омет; от вчерашнего дня соломы осталось в сенцах чуть. И Яков Петрович раздражается, и все начинает рисоваться ему в мрачных красках.

Мысли и воспоминания идут в голову самые невеселые... Вот уж около полугода он не видал ни жены, ни дочери... Жить на хуторе становится с каждым днем все хуже и скучнее...

— А, да черт его побери совсем! — говорит Яков Петрович свою любимую успокаивающую фразу.

Но сегодня она не успокаивает...

— Ну, и холода же завернули! — говорит Ковалев.

— Ужаснейший холод! — подхватывает Яков Петрович. — Ведь тут хоть волков морозы! Смотри... Хх! Пар от дыхания видно!

— Да,— продолжает Ковалев монотонно.— А ведь, помните, мы под Новый год когда-то цветочки рвали в одних мундирчиках! Под Балаклавой-то...

И опускает голову.

— А он, видимое дело, не приедет,— говорит Яков Петрович, не слушая.— Мы в дурацкой ажитации, ни больше ни меньше!

— Не ночевать же он останется в харчевне!

— А ты что думаешь? Ему очень нужно!

— Положим, здорово метет...

— Ничего там не метет. Обыкновенно, не лето...

— Да ведь трус государственный! Замерзнуть боится...  
— Да как же это замерзнуть? День, дорога табельная...  
— Постойте! — перебивает Ковалев. — Кажется, подъехал...  
— Я говорю тебе, выйди, посмотри! Ты, ей-богу, совсем отетеревел нынче! Надо же самовар ставить и соломы надергать.

— Да ведь, конечно, надо. А то что ж там сделаешь ночью? Ковалев соглашается, что идти за соломой необходимо, но ограничивается приготовлениями к топке: он подставляет к печке стул, взлезает на него, отворяет заслонку и вынимает вьюшки. В трубе начинает завывать на разные голоса ветер.

— Впусти хоть собаку-то! — говорит Яков Петрович.

— Какую собаку? — спрашивает Ковалев, кряхтя и слезая со стула.

— Да что ты дураком-то прикидываешься? Флембо, конечно, — слышишь, визжит.

Правда, Флембо, старая сука, жалобно повизгивает в сенцах.

— Надо бога иметь! — прибавляет Яков Петрович. — Ведь она замерзнет... А еще охотник! Лодырь ты, брат, как я погляжу! Уж правда байбак.

— Да оно и вы-то, должно быть, из той же породы, — улыбается Ковалев, отворяет дверь в сенцы и выпускает в девичью Флембо.

— Затворяй, затворяй, пожалуйста! — кричит Яков Петрович. — Так и понесло по ногам холодом... Куш тут! — грозно обращается он к Флембо, указывая пальцем под лавку.

Ковалев же, прихлопывая дверь, бормочет:

— Там несет — свету божьего не видно!.. А, должно быть, скоро нас потащут в Богословское! Вот-вот отец Василий припожалует за нами. Я уж вижу. Всё мы ссоримся. Это перед смертью.

— Ну, уж это обрекай себя одного, пожалуйста, — возражает Яков Петрович задумчиво.

И опять выражает свои мысли вслух:

— Нет, я уж больше не буду сидеть в этом тырле сторожем! Кажется, скоро-скоро затрещит эта проклятая Лучезаровка...

Он развертывает кисет, насыпает цыгарку махоркой и продолжает:

— Дошло до того, что завяжи глаза да беги со двора долой! А все моя доверчивость дурацкая да друзья-приятели! Я всю жизнь был честен, как булат, я никому ни в чем не отказывал... А теперь что прикажете делать? На мосту с чашкой стоять? Пулю в лоб пустить? «Жизнь игрока» разыграть? Вон у племянничка, Арсентия Михалыча, тысяча десятин, да разве

у них есть догадочка помочь старику? А уж сам я по чужим людям не пойду кланяться! Я самолюбив, как порох!

И, окончательно раздраженный, Яков Петрович совсем зло прибавляет:

— Однако телиться нечего, надо за соломой отправляться!

Ковалев еще больше сгорбливается и запускает руки в рукава тулупа. Ему так холодно, что у него стынет кончик носа, но он все еще надеется, что как-нибудь «обойдется»... может быть, Судак подъедет... Он отлично понимает, что Яков Петрович ему одному предлагает отправляться за соломой.

— Да ведь телиться! — говорит он. — Ветер-то с ног сшибает...

— Ну, барствовать теперь не приходится!

— Побарствуешь, когда поясницу не разогнешь. Не молоденькие тоже! Слава богу, двум-то нам под сто сорок будет.

— Уж, пожалуйста, не прикидывайся мерзлым бараном!

Яков Петрович тоже отлично понимает, что один Ковалев ничего не поделает в занесенном снегом омсте. Но и он надеется, что как-нибудь обойдется без него...

Между тем в девичьей становится уже совсем темно, и Ковалев наконец решается посмотреть, не едет ли Судак. Шаркая разбитыми ногами, идет он к двери...

Яков Петрович пускает через усы дым, и так как ему уже очень хочется чаю, то мысли его принимают несколько иное направление.

— Гм! — бормочет он. — Как вам это покажется? Хорош праздничек! Лопать, как собаке, хочется. Ведь неедалого царства нету... Прежде хоть венгерцы ездили!.. Ну, погоди же, Судак!

Двери в сенцах хлопают, вбегает Ковалев.

— Нету! — восклицает он. — Как провалился! Что ж теперь делать? В сенцах соломы чуть!

В снегу, в тяжелом тулупе, маленький и сгорбленный, он так жалок и беспомошен.

Яков Петрович вдруг подымается.

— А вот я знаю что делать! — говорит он, осененный какой-то хорошей мыслью, — наклоняется и достает из-под лавки топор.

— Эта задача очень просто разрешается, — прибавляет он, опрокидывая стул, стоящий около стола, и взмахивает топором. — Таскай пока солому-то! Чорт его поberi совсем, мне свое здоровье дороже стула!

Ковалев, тоже сразу оживившийся, с любопытством смотрит, как летят щепки из-под топора.

— Ведь там, небось, еще на потолке много? — подхватывает он.

— Валяй на чердак да самовар вытрясай!

В растворенную дверь несет холодом, пахнет снегом... Ковалев, спотыкаясь, таскает в девичью солому, ручки старых кресел с чердака...

— За милую душу истопим,— твердит он.— Крендели еще есть... Яиц бы напечь!

— Тащи их на кон. А то сидим плакучими ивами!

### III

Медленно протекает зимний вечер. Не смолкая бушует метель за окнами...

Но теперь старики уже не прислушиваются к ее шуму. Поставили в сенцах самовар, затопили в кабинете печку и оба сели около нее на корточки.

Славно охватывает тело теплом! Иногда, когда Ковалев захивал в печку большую охапку холодной соломы, глаза Флембо, которая тоже пришла погреться к двери кабинета, как два изумрудные камня, сверкали в темноте. А в печке глухо гудело; просвечивая то тут, то там сквозь солому и бросая на потолок кабинета мутнокрасные, дрожащие полосы света, медленно разрасталось и приближалось гудящее пламя к устью, прыскали, с треском лопаясь, хлебные зерна... Мало-помалу озарялась вся комната. Пламя совсем овладевало соломой, и, когда от нее оставалась только дрожащая грудка «жара», словно раскаленных, золотисто-огненных проволок, когда эта грудка опала, блекла, Яков Петрович скидывал с себя пальто, садился задом к печке и поднимал на спине рубаху.

— Аа, аа,— говорил он.— Славно спину-то нажарить!

И, когда его толстая спина становилась багровой, отскакивал от печки и накидывал тулуп.

— Вот так пробрало! А то ведь беда без бани... Ну да уж нынешний год обязательно поставлю!

Это «обязательно» Ковалев слышит каждый год, но каждый год с восторгом принимает мысль о бане.

— Добро милое! Беда без бани,— соглашается он, нагревая у печки и свою худощавую спину.

Когда дрова и солома прогорели, Ковалев поджаривал в печке крендели, отклоняя от жара пылающее лицо. В темноте, озаренный красноватым жерлом печки, он казался бронзовым. Яков Петрович хлопотал около самовара. Вот он налил себе в кружку чаю, поставил ее около себя на лежанке, закурил и, немного помолчав, вдруг спросил:

— А что-то теперь поделывает премилая сова?

Какая сова? Ковалев хорошо знает, какая сова! Лет двадцать пять тому назад он подстрелил сову и где-то на ночлеге

сказал эту фразу, но фраза эта почему-то не забылась и, как десятки других, повторяется Яковом Петровичем. Сама по себе она, конечно, не имеет смысла, но от долгого употребления стала смешной и, как другие, подобные ей, влечет за собой много воспоминаний.

Очевидно, Яков Петрович совсем повеселел и приступает к мирным разговорам о былом. И Ковалев слушает с задумчивой улыбкой.

— А помните, Яков Петрович? — начинает он...

Медленно протекает вечер, тепло и светло в маленьком кабинете. Все в нем так просто, незатейливо, по-старинному: желтенькие обои на стенах, украшенных выцветшими фотографиями, вышитыми шерстью картинами (собака, швейцарский вид), низкий потолок оклеен «Сыном отечества»; перед окном дубовый письменный стол и старое, высокое и глубокое кресло; у стены большая кровать красного дерева с ящиками, над кроватью рог, ружье, пороховница; в углу образничка с темными иконами... И все это родное, давно-давно знакомое!

Старики сыты и согрелись. Яков Петрович сидит в валенках и в одном белье, Ковалев — в валенках и поддевочке. Долго играли в шашки, долго занимались своим любимым делом — осматривали одежду — нельзя ли как-нибудь вывернуть? — искроили на шапку старую «тужурку»; долго стояли у стола, мерили, чертили мелом...

Настроение у Якова Петровича самое благодушное. Только в глубине души шевелится какое-то грустное чувство. Завтра праздник, он один... Спасибо Ковалеву, хоть он не забыл!

— Ну,— говорит Яков Петрович,— возьми эту шапку себе.

— А вы-то как же? — спрашивает Ковалев.

— У меня есть.

— Да ведь одна вязаная?

— Так что ж? Бесподобная шапка!

— Ну, покорнейше благодарим.

У Якова Петровича страсть делать подарки. Да и не хочется ему шить...

— Который-то теперь час? — размышляет он вслух.

— Теперь? — спрашивал Ковалев. — Теперь десять. Верно, как в аптеке. Я уж знаю. Бывало, в Петербурге, по двое серебряных часов нашивал...

— Да и брешешь же ты, брат! — замечает Яков Петрович ласково.

— Да нет, вы позвольте, не фрапируйте сразу-то!

Яков Петрович рассеянно улыбается.

— То-то, должно быть, в городе-то теперь! — говорит он, усаживаясь на лежанку с гитарой. — Оживление, блеск, суета! Везде собрания, маскарады!



И начинаются воспоминания о клубах, о том, сколько когда выиграл и проиграл Яков Петрович, как иногда Ковалев во время уговаривал его уехать из клуба. Идет оживленный разговор о прежнем благосостоянии Якова Петровича. Он говорит:

— Да, я много наделал ошибок в своей жизни. Мне не на кого пенять. А судить меня будет уж, видно, бог, а не Глафира Яковлевна и не зятек миленький. Что ж, я бы рубашку им отдал, да у меня и рубашек-то нету... Вот я ни на кого никогда не имел злобы... Ну, да все прошло, пролетело... Сколько было родных, знакомых, сколько друзей-приятелей — и все это в могиле!

Лицо Якова Петровича задумчиво. Он играет на гитаре и поет старинный, печальный романс:

Что ты замолк и сидишь одиноко? —

поет он в раздумье:

Дума лежит на угрюмом челе...  
Иль ты не видишь бокал на столе?

И повторяет с особенной задумчивостью:

Иль ты не видишь бокал на столе?

Медленно вступает Ковалев:

Долго на свете не знал я приюту —

разбитым голосом затягивает он, сгорбившись в старом кресле и глядя в одну точку перед собою.

Долго на свете не знал я приюту —

вторит Яков Петрович под гитару:

Долго носила земля сироту,  
Долго имел я в душе пустоту...

Ветер бушует и рвет крышу. Шум у крыльца... Эх, если бы хоть кто-нибудь приехал! Даже старый друг, Софья Павловна, забыла...

И, покачивая головой, Яков Петрович продолжает:

Раз в незабвенную жизни минуту,  
Раз я увидел созданье одно,  
В коем все сердце мое вмещено...  
В коем все сердце мое вмещено...

Все прошло, пролетело... Грустные думы клонят голову... Но печальной удалью звучит песня:

Что ж ты замолк и сидишь одиноко?  
Стукнем бокал о бокал и запьем  
Грустную думу веселым вином!

— Не приехала бы барыня, — говорит Яков Петрович, держа струны гитары и кладя ее на лежанку. И старается не глядеть на Ковалева.

— Кого! — отзывался Ковалев. — Очень просто.

— Избавь бог, плурует... В рог бы потрубить... на всякий случай... Может быть, Судак едет. Ведь замерзнуть-то недолго. По человечеству надо судить...

Через минуту старики стоят на крыльце. Ветер рвет с них одежду. Дико и гулко заливается старый звонкий рог на разные голоса. Ветер подхватывает звуки и несет в непроглядную степь, в темноту бурной ночи.

— Гоп-гоп! — кричит Яков Петрович.

— Гоп-гоп! — вторит Ковалев.

И долго потом, настроенные на героический лад, не умирают старики. Только и слышится:

— Понимаешь? Они тысячами с болота на овсяное поле! Шапки сбивают!.. Да все матерые, кряковые! Как ни дам — просто каши наварю!

Или:

— Вот, понимаешь, я и стал за сосной. А ночь месячная — хоть деньги считай! И вдруг прет... Лобище вот этакий... Как я его брызну!

Потом идут случаи замерзания, неожиданного спасения... Потом восхваление Лучезаровки.

— До смерти не расстанусь! — говорит Яков Петрович. — Я все-таки тут сам себе голова. Имение, надо правду сказать, золотое дно. Если бы немножко мне перевернуться! Сейчас все двадцать восемь десятин — картофелем, банк — долой, и опять я кум королю!

#### IV

Всю долгую ночь бушевала в темных полях вьюга.

Старикам казалось, что они легли спать очень поздно, но что-то не спится им. Ковалев глухо кашляет, с головой закрытый тулупом; Яков Петрович ворочается и отдувается; ему жарко. Да и слишком уж грозно буря потрясает стены, слепит и засыпает снегом окна! Слишком неприятно дребезжат разбитые стекла в гостиной! Жутко там теперь, в этой холодной, необитаемой гостиной! Она пустая, мрачная, — потолки в ней низки, амбразуры маленьких окон глубоки. Ночь же такая темная! Смутно отсвечивают свинцовым блеском стекла. Если даже прильнешь к ним, то разве едва-едва различишь забитый, занесенный сугробами сад... А дальше мрак и метель, метель...

И старики сквозь сон чувствуют, как одинок и беспомощен их хуторок в этом бушующем море степных снегов.

— Ах ты, господи, господи! — слышится порою бормотанье Ковалева.

Но опять странной дремотой обвеивает его шум метели. Он кашляет все тише и реже, медленно задремывает, словно погружается в какое-то бесконечное пространство... И опять чувствует сквозь сон что-то зловещее... Он слышит... Да, шаги! Тяжелые шаги наверху где-то... По потолку кто-то ходит... Ковалев быстро приходит в сознание, но тяжелые шаги ясно слышны и теперь... Скрипит матица...

— Яков Петрович! — говорит он.— Яков Петрович!

— А? Что? — спрашивает Яков Петрович.

— А ведь по потолку-то кто-то ходит.

— Кто ходит?

— А вы послушайте-ка!

Яков Петрович слушает: ходит!

— Да нет, это всегда так, — ветер, — говорит он наконец, зевая.— Да и трус же ты, брат! Давай-ка лучше спать.

И правда, сколько уже было толков про эти шаги на потолке. Каждую непогожую ночь!

Но все-таки Ковалев, задремывая, шепчет с глубоким чувством:

— Живый в помощи вышняго, в крове бога небеснаго... Не убоишися от страха ночнаго, от стрелы, летящая в дни... На асида и василиска наступиши и попрещи льва и змия...

И Якова Петровича что-то беспокоит во сне. Под шум метели мерещится ему то гул векового бора, то звон отдаленного колокола; слышится невнятный лай собак где-то в степи, крик работника Судака... Вот шуршат у крыльца сани, скрипят чьи-то лапти по мерзлому снегу в сенцах... И сердце Якова Петровича сжимается от боли и ожидания: это его сани, а в санях— Софья Павловна, Глаша... подъезжают они медленно, забитые снегом, еле видные в темноте бурной ночи... едут, едут, но почему-то мимо дома, все дальше, дальше... Их увлекает метель, засыпает их снегом, и Яков Петрович торопливо ищет рога, хочет трубить, звать их...

— Чорт знает, что такое! — бормочет он, очнувшись и отдуваясь.

— Что это вы, Яков Петрович?

— Не спится, брат! А ночь давно, должно быть!

— Да, давненько!

— Зажигай-ка свечку-то да закуривай!

Кабинет озаряется. Шурясь от свечки, пламя которой колеблется перед заспанными глазами, как лучистая, мутнокрасная звезда, старики сидят, курят, с наслаждением чешутся и отдыхают от сновидений... Хорошо проснуться в долгую зим-

нюю ночь в теплой, родной комнате, покурить, поговорить, разогнать жуткие ощущения веселым огоньком!

— А я,— говорит Яков Петрович, сладко зевая,— а я сейчас вижу во сне, как ты думаешь, что?.. Ведь приснится же!.. Будто я в гостях у турецкого султана!

Ковалев сидит на полу, сгорбившись (какой он старенький и маленький без поддевички и со сна!), в раздумье отвечает:

— Нет, это что — у турецкого султана! Вот я сейчас видел... Верите ли? Один за одним, один за одним... с рожками, в пиджачках... мал-мала меньше... Да ведь какого транташа около меня разделявают!

Оба врут. Они видели эти сны, даже не раз видели, но совсем не в эту ночь, и слишком часто рассказывают их они друг другу, так что давно друг другу не верят. И все-таки рассказывают. И, наговорившись, в том же благодушном настроении, тушат свечу, укладываются, одеваются потеплей, надвигают на лоб шапки и засыпают сном праведника...

Медленно наступает день. Темно, угрюмо, буря не унимается. Сугробы под окнами почти прилегают к стеклам и возвышаются до самой крыши. От этого в кабинете стоит какой-то странный, бледный сумрак...

Вдруг с шумом летят кирпичи с крыши. Ветер повалил трубу...

Это плохой знак: скоро, скоро, должно быть, и следа не останется от Лучезаровки!

## НА ДОНЦЕ

О Донче! Не мало ти величїя,  
лелѣявшу князя на влѣнахъ, стлав-  
шу ему зельну траву на своихъ  
сребренныхъ брезѣхъ, одѣвавшу его  
теплыми мъглами...

*Сл. о Пл. Иг.*

### I

Шлях от Путивля к Донцу, к древнему монастырю на Свя-  
тых Горах, пролегает на юго-восток, на Азовские степи...

Ранним утром великой субботы я был под Славянском. Но  
до Святых Гор оставалось еще верст двадцать, и нужно  
было идти поспешно. Этот день мне хотелось провести в  
обители.

Предо мной серело пустынное поле. Один сторожевой курган  
стоял вдалеке и, казалось, зорко глядел на равнины. С утра  
в степи было по-весеннему холодно и ветрено; ветер просуши-  
вал колеи грязной дороги и шуршал прошлогодним бурьяном.  
Но за мною, на западе, картинно рисовалась в необозримой  
дали гряда меловых гор. Темнея пятнами лесов, как старинное,  
тусклое серебро чернью, она заворачивала к югу и тонула в го-  
лубом утреннем тумане. Ветер дул мне навстречу, холодил лицо  
и забирался в рукава, степь увлекала, завладевала душой. Оди-  
ночество, жажда новизны — все наполняло ее чувством молодос-  
ти и свежести. А когда я подошел к кургану и поднявшийся  
коршун вдруг взмахнул над ним своими большими крыльями,  
я чуть не вскрикнул от радости.

Точно светлый стальной щит, блеснула за курганом круглая  
ложбина, налитая весенней водою. Я свернул к ней на отдых.  
Есть что-то чистое и веселое в этих полевых апрельских бо-

лотцах; над ними вьются звонкоголосые чибисы, серенькие трясогузки щеголевато и легко перебегают по их бережкам и оставляют на иле свои тонкие, звездообразные следы, а в мелкой, прозрачной воде их отражается ясная лазурь и белые облака весеннего неба. Курган был дикий, еще ни разу не тронутый плугом. Он расплывался на два холма и, словно поблекшей скатертью из мутнозеленого бархата, был покрыт прошлогодней травой. Седой ковыль тихо покачивался на его склонах, жалкие остатки ковыля. Время его, думал я, навсегда проходит: в вековом забвении он только смутно вспоминает теперь далекое былое, прежние степи и прежних людей, души которых были роднее и ближе ему, лучше нас умели понимать его шопот, полный от века задумчивости пустыни, так много говорящей без слов о ничтожестве земного существования. Песни Востока звучат вечной скорбью, потому что они родились в тишине необъятных песчаных равнин, где человек на каждом шагу убеждается в суетности и слабости своих земных порывов; песни степей заунывны и тихи, потому что они родились в душе одинокого кочевника, когда лежал он на старом могильном кургане, видел молчаливое небо и тосковал невыразимой тоскою, чуял невнятный голос природы, говорящей нам, что не на земле наша родина...

Отдыхая, я долго лежал на кургане. С полей потянуло теплом. Солнце согривало облака, и они светлели, таяли. Жаворонки, невидимые в воздухе, напоенном парами и светом, заливались над степью безотчетно-радостными трелями. Ветер стал ласковый, мягкий. Холодком земли и резкой свежестью молодой зелени веяло от кургана. Солнце согривало меня, и я закрывал глаза, чувствуя себя вполне счастливым. В южных степях каждый курган кажется молчаливым памятником какой-нибудь поэтической были. А побывать на Донце, на Малом Танаисе, воспетом «Словом», — это была моя давнишняя мечта. Донец видел Игоря, — может быть, видел Игоря и Святогорский монастырь. Сколько раз разрушался он до основания и пустыли его разломанные стены! Сколько перетерпел он потом, стоя на татарских путях, в диких степных равнинах, когда иноки его были еще воинами, когда они переживали долгие осады от полчищ диких орд и воровских людей, когда на его богослужения в редкие дни отдыха стекались со степей сторожевые люди с суровыми лицами и железными сердцами!

Скрип телеги, на которой сидел старик, свесив с грядки ноги в допотопных сапогах, и сопение волов, которые, покачиваясь и вытягивая шеи, придавленные тяжелым ярмом, медленно тащились по дороге, разогнали мои думы. Я зашагал еще поспешнее.

Полоса леса чернела вдали, словно набросанная сепией.

Я не сводил с нее глаз, думая, что за лесом-то и откроется долина Донца и Горы. Лес оказался очень старым, заглохшим. Меня поразила его безжизненная тишина, его корявые, иссохшие дебри. Замедляя шаги, я с трудом пробирался по хворосту и бурелому, который гнил в грязи глубоких рытвин дороги. Ни одной птицы не слышно было в чащах. Иногда дорогу затопляло целое болото весенней воды. Сухие деревья сквозили кругом; они серели мшистой корою, а кривые их сучья бросали такие слабые, бледные тени.

Скоро, однако, в перспективе лесной дороги снова проглянула просторная и вольная даль. Сухой степной ветер все усиливался, разгоняя в ярком весеннем небе белые облака, солнечный день разыгрывался вместе с ним... Монастыря же все не было.

Хохол, к которому я подходил с расспросами о дороге, рослый мужик с маленькой головою, одетый в короткую, словно из осиновой коры сшитую свитку, не спеша шел за плугом. Плуг тащили четыре вола, а волов вела девочка.

— Тату! — сказала она мужику, обращая его внимание на меня.

Он остановился.

— Эта дорога на Святые Горы? — спросил я.

— А куди вам треба?

— В монастырь.

— Який монастир?

— Да вы разве никогда не были на Святых Горах?

— В якономії?

— Да не в экономии, а в самом монастыре, в церкви.

— У церкві? Та у нас своя церква на селі.

— А в монастыре?

— Та був, ще хлопцем. Тоді чума на скот була, так казали, що там пробував такий монах, що знав замовляти. От і ходили усі, у кого скотина боліла; звісно, молебствіє служили і в село привозили того інока. Ну, походив він по дворах, покропив водою, а про те нічого не помоглось...

— А много в монастыре народу бывает?

— Та багато. Кацапа найбільше.

— А ваши-то разве не ходят?

— Та й наші ходят. А дозвольте спитать, відкіля ви? Із під Москви, мабуть?

— А что?

— Та так, видно, що чужесторонній.

И хохол, даже не взглянув на меня, снова спокойно пошел за плугом.

Я уже чувствовал усталость. Ноги ныли в пыльных горячих сапогах. Бодрое настроение ослабевало; нужно было развлекать

себя. И я принялся считать шаги, и занятие это так увлекло меня, что я очнулся только тогда, когда дорога круто завернула влево и вдруг ослепила резкой белизной мела. Вдалеке, налево, на самом горизонте, над чащей леса сверкал золотой звездой купол какой-то церкви. Но я едва взглянул туда. Донец был направо, в ста шагах от меня, в огромной глубокой долине.

Долго простоял я неподвижно, глядя на мутную синеву этих привольных лугов. Донец был в разливе, вся долина была затоплена водою. Стальные полосы реки там и сям сверкали в чашах коричневых тростников и залитых половодьем прибрежных лесов, а к югу разливались все шире, совсем уже смутные у подножия далеких меловых гор. И горы белели смутно-смутно, и чайки кричали так слабо и странно, и вся меланхолия этого пейзажа так гармонировала со всем тем, что, казалось, еще незримо веет здесь из глубины веков.

Я обгонял идущий на богомолье народ — женщин, подростков, дряхлых калек с выцветшими от времени и степных ветров глазами, и все думал о старине, о той чудной власти, которая дана прошлому. Откуда она и что она значит? Не в ней ли заключается одна из величайших тайн жизни? И почему она управляет человеком с такой дивной силой? В чувстве религиозном наше, часто не сознаваемое, преклонение перед прошлым, наше таинственное родство с мыслями и делами всех отживших играет великую роль...

Между тем монастырь все еще не показывался. Небо потускнело, ветер начал пылить по дороге, и в степи стало скучно. Донец скрылся за холмами... Я попросил проезжего хлопца подвезти меня, и он посадил меня в свою тележку на двух колесах. Мы разговорились, и я не заметил, как мы въехали в лес и стали спускаться под гору.

Все круче, отвеснее становилась горная дорога, каменистая, узкая, живописная. Мы спускались все ниже и ниже в долину, а столетние красноватые стволы мачтовых сосен, гордо выделяясь среди разнообразной лесной заросли, мощно вцепившись корнями в каменистые берега дороги, плавно подымались все выше и выше, возносились зелеными кронами к голубому небу. Небо над нами казалось еще глубже и невиннее, и чистая, как это небо, радость наполняла душу. А внизу, сквозь зеленую чащу леса, между соснами, вдруг проглянула глубокая и, как показалось, тесная долина, золотые кресты, купола и белые стены домов у подошвы лесистой горы — все скученное, картинно-сокращенное отдалением, — и светлая полоса узкого Донца, и густая синева воздуха над сплошными луговыми лесами за рекою...



## II

Сквозь сон я долго слышал, как казалось, над самой головою, странный перезвон колоколов. Я заснул на каких-то бревнах около пристани парома, и тело сразу оцепенело от переутомления; но я чувствовал себя среди несметной толпы народа, говор которого гулом стоял над рекою; чувствовал, что прозяб от весенней речной свежести, и никак не мог очнуться.

Новый монастырь, тот, что находится у подошвы горы, не так красив, как это кажется издали. Хозяйственные его постройки, особенно громадное здание гостиницы, походят на казармы. Везде было тесно от наехавшего народа. Пожилой монах, дремавший на крыльце гостиницы, на мой вопрос о помещении, только посмотрел на мою блузу и затынулся долгим ленивым зевком. Послушник, которого я встретил в воротах, так спешил куда-то, что я не успел остановить его. Он только оглянулся и зашагал еще шире и неуклюжее, махаясь и подаваясь вперед всем телом, отчего на плечах его болтались бледножелтые волосы. Другой какими-то тайными путями — темным, узким коридором, где стоял тяжелый дух склепа, воска, ладана и угар от самоваров, провел меня в номер, уже занятый постояльцем.

Постоялец лежал на жестком диване, выставив кверху колени худых ног, и лицо его было желто и постно, как у мертвеца. На нем был серый пиджак, слишком широкий для его худощавого тела, на шее — шарф, на ногах — кроме сапог, рыжие голенища которых виднелись под короткими штанами — резиновые глубокие калоши. Козлиная борода его изобличала «кацапа», человека благочестивого, подозрительного и очень любопытного. Очень зорко осмотрев меня, он прикрыл глаза, полежал минуту молча и спросил:

— Из дальних, позвольте спросить?

Я сказал.

— Та-ак. По торговой части или, может, в услужении у кого?

— Нет.

— Значит, капитал свой имеете?

— А что?

Сожитель мой поднял брови, искоса глянул на меня и закашлялся.

— О-ох... — простонал он, тяжело повертываясь на бок.

— Вы нездоровы?

— Болезни не замечаю, а слабость большая во мне, особенно теперь. Очень без пищи ослабел я.

— Как без пищи?

Он тускло улыбнулся.

— А вы, что же, разве бога ни за что почитаете? Святые отцы, к примеру, прямо на то указывают, чтоб не вкушать за эти дни пищи, особливо с четверга...

И опять прикрыл глаза.

— А вы — торгуете? — спросил я.

— Косники были.

— Косы продавали?

— Правильно-с. Ну, а потом, хоть товар этот, прямо надо сказать, темный и прибыльный, и не сразу тут дойдешь до понимания, восемь гривен коса аль два с полтиной,— пришлось оставить.

— Отчего же?

— Результату нету настоящего.

Он помолчал и злорадно добавил:

— Теперича господа коммерцию полюбили; господину земскому председателю тоже желается барышок себе иметь.

— Да ведь это не в пользу председателя идет.

— Понимаем тоже...

— Так вы и бросили торговлю?

— Ну, нет,— без дела нельзя-с. Винную лавку содержим, черную...

— А в монастыре-то вы часто бываете?

— Да, как теперича я недалеко живу. А вы к чему же это? Про усердие-то?

Он сдвинул брови и заговорил строго:

— Всякому это подобает. И при деле всякий должен стоять и храмы божии не оставлять без внимания. Хочешь, не хочешь, а исполняй. У меня теперича, к примеру сказать, самое горячее дело, а я вот все на жену бросил...

Он опять закашлялся слабым, внутренним кашлем и замолк.

— Вам нужен покой,— сказал я, вставая,— лучше я где-нибудь еще переночую.

— Теперь не до покоя.

— Да нет, все-таки...

— Ну, с богом! — сказал лавочник уже совсем неприязненно.

Весь берег перед монастырем был занят, как на ярмарке, телегами и народом. Тут были и смоленские мужики в бараньих шльках, и туляки, и полтавцы, и волжане. Многие спали под телегами, другие закусывали, умывались; говор стоял сдержанный и сливался в однообразный гул. Под этот говор я и заснул. Когда же проснулся, берег уже опустел: все были в церкви

### III

Донец под Святыми Горами быстр и узок. Берега его заросли лесом. Правый горный берег возвышается почти отвесною стеною и шетинится лесной чащей. Под ним-то и приютилась белокаменная обитель с величавым, грубо раскрашенным собором посреди двора. Выше, на полугоре, белея в зелени леса, висят два меловых конуса, два утеса, серых от времени и непогод, за которыми держится старинная церковка. А еще выше, уже на самом горном перевале, рисуется на фоне неба другая. Горы как будто уносят ее в светлое царство лазури...

С юга надвигалась туча, но весенний вечер был еще ясен и тепел, и солнце медленно уходило за горы; широкая тень стлалась по Донцу от них. И странная тишина царила всюду: как один человек, стояли там, в церкви, сотни молящихся в благоговейном молчании.

По мошеному церковному двору, мимо собора, я пошел к крытым галереям, что ведут в гору. В этот час пусто было в их бесконечных переходах. И чем выше подымался я, тем все более веяло на меня суровой монастырской жизнью — от этих картинок, изображающих скиты и кельи отшельников с гробами вместо ночных лож, от этих печатных поучений, развешанных на стенах, даже от каждой стертой ступеньки в ветхой галерее. В полусумраке этих переходов чудились тени отошедших от мира сего иноков, строгих и молчаливых схимников.

Но меня тянуло туда, к меловым серым конусам, к месту той пещеры, где в трудах и молитве, простой и возвышенный духом, проводил свои дни первый человек этих гор, та великая душа, которая полюбила горный хребет над Малым Танаисом... Дико и глухо было тогда в первобытных лесах, куда пришел святой человек. Лес бесконечно синел под ним. Лес глушил берега, и только река, одинокая и свободная, плескала и плескала своими холодными волнами под его навесом. И какая тишина царила кругом! Резкий крик птицы, треск сучьев под ногами дикой козы, хриплый хохот кукушки и сумеречное уханье филина — все гулко отдавалось в лесах. Ночью величавый мрак простирался над ними. По шороху и плеску воды угадывал инок, что вплавь переходят Донец люди. Молчаливо, как рать дьяволов, перебирались они через реку, шуршали по кустам и исчезали во мраке. Жутко тогда было в горной норе одинокому человеку, но до рассвета мерцала его свечечка и до рассвета звучали его молитвы. А утром, изнуренный ночными ужасами и бдением, но с светлым лицом выходил он на божий день, на дневную работу, и опять кротко и тихо было в его сердце, и синели леса вдаль, и важно и ровно шумели столетние сосны по горным обрывам...

Глубоко внизу подо мною все тонуло в теплых сумерках, мелькали огни. Там уже начиналась сдержанно-радостная тревога приготовлений к светлой заутрене. А здесь, за меловыми утесами, было тихо и еще брезжил свет зари. Птицы, живущие в трещинах скал, под карнизами церкви, реяли вокруг, визжа, как старый флюгер, и всплывали снизу и неслышно падали вниз, в сумрак, на своих мягких крыльях. Туча с юга заволокла все небо, вея теплотой дождя, весенней душистой грозы, и уже содрогалась от вспышек молний. Сосны горного обрыва слились в темную опушку и чернели, как горб спящего зверя.

— О, господи, господи! — прошептал в это время кто-то сзади меня и глубоко вздохнул.

Почти испуганный, я обернулся и увидел большую темную фигуру. Широкоплечий старик в монашеской скуфье, но одетый по-мирскому — в толстой куртке и в высоких сапогах, — стоял за мною и пристально глядел вдаль. Лицо у него было широкое, с крупными чертами, а брови сурово сдвинуты. В глазах, маленьких и зорких, светилась глубокая, затаенная грусть.

— И сколько тут, милый, народу померло, — продолжал он, не глядя на меня, — не сосчитать никому!

— Где? — спросил я.

— Да тут-то, на этом месте. Был я сейчас и на кладбище монастырском, — жутко там, а хорошо! Мертвые, милый, видно, правда, лучше живых...

Он помолчал, не обратив внимания на мой удивленный взгляд, и продолжал медленно:

— Я, милый, издалека, астраханский... Там у меня сын живет в подвальных, пятнадцать рублей на всем готовом получает, дочь в горничных у станции начальника... Жена-то померла уж годов девять тому назад... А я все хожу. Где-где я ни был! Все нету мне покоя! Службы я церковной не люблю, а вот тянет меня в эту тоску... Не люблю и народа, на народе мне хуже... Голоса эти...

— Какие голоса? — тихо выговорил я.

— Уж не знаю, милый... Бесы превращенные, должно... Все, что ни есть в мыслях, все наговаривают...

— Да ты бы полечился.

— Лечился я. Только нету с того толку. Видно, родился я такой. Да и пил я. Дюже пил, как жена померла. И все, бывало, на кладбище ходил, на еврейское.

— Отчего ж на еврейское?

— Унылей там!

Он опять помолчал, вздохнул и сказал твердо:

— Да, в этом вся причина. Камни стоят старые-старые; и

написано непонятно на них, как узоры какие... И одни только камни серые... Ни решеток этих, ни кустиков... Ну, и лучше мне... Вот и здесь лучше... Бог-то, господь Саваоф, он, батюшка,— вон где!

И он таинственно указал в полутемную галерею.

«Он совсем болен»,— подумал я. И, как бы угадав мою мысль, старик улыбнулся и сказал:

— Так-то все мне говорят: что, мол, ты бредишь? А разве не правда? Какая моя жисть теперь? А все лучше других. Все лучше, ежели раздумье есть... А то как живут? Обуваются да разуваются...

Он так и остался там, все смотря в одну точку, в темную даль перед собой. А я еще успел сходить на вершину горы, в верхнюю церковку, нарушил шагами ее гробовую тишину. Монах, как привидение, стоял за ящиком с свечами. Два-три огонька тихо потрескивали... Поставил и я свою свечку за того, кто, слабый и преклонный летами, падал ниц в этом маленьком храме в те грозные ночи, когда костры осады пылали под стенами обители...

#### IV

Утро было праздничное, жаркое, светлое; радостно, наперебой трезвонили над Донцом, над зелеными горами колокола; их диссонансы так чудно сливались в одну веселую песнь о воскресении и уносились туда, где в ясном воздухе стремилась к небу белая церковка на горном перевале. Говор гулом снова стоял над рекою, а на баркасе прибывало по ней в монастырь все больше народу. Все двигалось, ярко пестрели праздничные малороссийские наряды. Я нанял лодку, и молоденькая хохлушка легко и быстро погнала ее против течения по прозрачной воде Донца, в тени береговой зелени. И девичье личико, и солнце, и тени, и быстрая речка — все было так прелестно в это милое утро!

Я побывал в скиту — там было тихо, и бледная зелень березок слабо шепталась, как на кладбище — и стал взбираться на гору.

Взбираться без тропинки было трудно. Нога глубоко тонула во мху, буреломе и мягкой прелой листве, гадюки то и дело быстро и упруго выскальзывали из-под ног, и я почти бежал, рискуя сорваться вниз. Зной, полный тяжелого смолистого аромата, неподвижно стоял под навесами сосен. Зато какая даль открылась подо мною, как хороша была издали долина с темным бархатом лесов в ней, как сверкали разливы Донца в солнечном блеске, какую горячую жизнь юга дышало все

кругом! То-то, должно быть, дико-радостно билось сердце какого-нибудь воина полков Игоревых, когда, выскочив на хрипящем коне на эту высь, повисал он над обрывом, среди могучей чащи сосен, убегающих вниз!..

А в сумерках я уже опять шагал в степи. Ветер ласково веял мне в лицо с молчаливых курганов. И, отдыхая на них, один-одинешенек среди ровных бесконечных полей, я опять думал о старине, о людях, почивающих в степных могилах под смутный шелест седого ковыля... Хороши эти места, где находит «раздумье»!

## НА ДАЧЕ

### I

Окна в сад были открыты всю ночь. А деревья раскидывались густой листвой возле самых окон, и на заре, когда в саду стало светло, птицы так чисто и звонко щебетали в кустах, что отдавалось в комнатах. Но еще воздух и молодая майская зелень в росе были холодны и матовы, а спальни дышали сном, теплом и покоем.

Дом не походил на дачный; это был обыкновенный деревенский дом, небольшой, но удобный и покойный. Петр Алексеевич Примо, архитектор, занимал его уже пятое лето. Сам он больше бывал в разъездах или в городе. На даче жила его жена, Наталья Борисовна, и младший сын, Гриша. Старший, Игнатий, только что кончивший курс в университете, так же, как и отец, появлялся на даче гостем: он уже служил.

В четыре часа в столовую вошла горничная. Сладко зевая, она переставляла мебель и шаркала половой щеткой. Потом она прошла через гостиную в комнату Гриши и поставила у кровати большие штиблеты на широкой подошве без каблука. Гриша открыл глаза.

— Гарпина! — сказал он баритоном.

Гарпина остановилась в дверях.

— Чого? — спросила она шопотом.

— Поди сюда.

Гарпина покачала головой и вышла.

— Гарпина! — повторил Гриша.

— Та чого вам?

— Поди сюда... на минутку.

— Не піду, хоч заріжте!

Гриша подумал и крепко потянулся.

— Ну, пошва вон!

— Бариня загадали вчера спитать вас, чи поїдете у город?

— А дальше?

— Казали, щоб не їздили, бо барин сьогодні прыїдуть.

Гриша, не отвечая, одевался.

— Повотенце? — спросил он громко.

— Та на столі — он! Не збудить бариню...

Заспанный, свежий и здоровый, в сером шелковом картузе, в широком костюме из легкой материи, Гриша вышел в гостиную, перекинул через плечо мохнатое полотенце, захватив стоявший в углу крокетный молоток, и, пройдя переднюю, отворил дверь на улицу, на пыльную дорогу.

Дачи в садах тянулись и направо и налево в одну линию. С горы открывался обширный вид на восток, на живописную измененность. Теперь все сверкало чистыми, яркими красками раннего утра. Синеватые леса темнели по долине; светлой, местами алой сталью блестяла река в камышах и высокой луговой зелени; кое-где с зеркальной воды снимались и таяли полосы серебряного пара. А вдали широко и ясно разливался по небу оранжевый свет зари: солнце приближалось...

Легко и сильно шагая, Гриша спустился с горы и дошел по мокрой, глянцевиной и резко пахнувшей сыростью траве до купальни. Там, в дощатом номере, странно озаренном матовым отсветом воды, он разделся и долго разглядывал свое стройное тело и гордо ставил свою красивую голову, чтобы походить на статуи римских юношей. Потом, слегка прищуривая серые глаза и посвистывая, вошел в свежую воду, выплыл из купальни и сильно взмахнул руками, увидав, что на горизонте чуть-чуть показавшееся солнце задрожало тонкой огнистой полоской. Белые гуси с металлически-звонкими криками, распустив крылья и шумно бороздя воду, тяжело шарахнулись в тростники. Широкие круги, плавно перекатываясь, закачались и пошли к реке...

— Григорий Петрович! — крикнул чей-то голос с берега.

Гриша перевернулся и увидел на берегу высокого мужика с русой бородою, с открытым лицом и ясным взглядом больших голубых глаз на выкате. Это был Каменский, «толстовец», как его называли на дачах.

— Вы придете сегодня? — крикнул Каменский, снимая картуз и вытирая лоб рукавом замашной рубахи.

— Здравствуйте!.. Приду, — отозвался Гриша. — А вы куда, если не секрет?

Каменский с улыбкой взглянул исподлобья.

— Ведь вот люди! — сказал он важно и ласково. — Все у них секреты!



Гриша подплыл к берегу и, стоя и качаясь по горло в воде, пробормотал:

— Ну, если хотите, не секрет... Я просто полюбопытствовал, почему вы меня спросили?

— А мне нужно побывать у знакомых.

— Да, так вы в город едете!

— Разве в город только ездят? — снова перебил Каменский. — И разве знакомые бывают только в городе?

— Конечно, нет. Только я не понимаю...

— Вот это верно. Я сказал, что буду и в городе и у знакомых — вот тут недалеко — на огородах.

— Так, значит, попоздней прийти?

— Да, попоздней.

— Тогда до свидания! — крикнул Гриша и подумал: «Правду говорит Игнатий — психопаты!» Но, отплывши, он опять обернулся и пристально посмотрел на высокую фигуру в мужицкой одежде, уходившую по тропинке вдоль реки.

На реке еще было прохладно и тихо. За лугами, в синеющей роще, куковала кукушка. У берега зашуршали камыши, и из них медленно выплыла лодка. Седенький старичок в очках и поломанной соломенной шляпе сидел в ней, рассматривая удочку. Он поднял ее и соображал что-то, лодка остановилась и вместе с ним, с его белой рубашкой и шляпой, отразилась в воде. А из купальни слышались крики, плеск и хохот. По гнущимся доскам бежали с берега, стуча сапогами, гимназисты, студенты в белых кителях, чиновники в парусинных рубашках...

Грише не хотелось возвращаться туда, и он стал нырять, раскрывать глаза в темнозеленой воде, и его тело казалось ему чужим и странным, словно он глядел сквозь стекло. Караси и гольцы с удивленными глазками останавливались против него и вдруг таинственно юркали куда-то в темную и холодную глубину. Вода мягко, упруго сжимала и качала тело, и приятно было чувствовать под ногами жесткий песок и раковины... А наверху уже припекало. Теплая, неподвижная вода блестела кругом, как зеркало. С зеленых прибрежных лозин в серых сережках тихо плыл белый пух и тянуло запахом тины и рыбы.

## II

Ровно час после купанья Гриша посвятил гимнастике. Сперва он подтягивался по канату и висел на трапедии в саду, потом в своей комнате становился в львиные позы, играя двухпудовыми гириями.

Со двора звонко и весело раздавалось кудахтанье кур. В доме еще стояла тишина светлого летнего утра. Гостиная

соединялась со столовой аркой, а к столовой примыкала еще небольшая комната, вся наполненная пальмами и олеандрами в кадках и ярко озаренная янтарным солнечным светом. Канарейка возилась там в покачивающейся клетке, и слышно было, как иногда сыпались, четко падали на пол зерна семени. В большом трюме, перед которым Гриша ворочал тяжестими, вся эта комната отражалась в усиленно-золотистом освещении с неестественно-прозрачной зеленью широкой цветочной листвы.

Когда же Гриша вышел на балкон, сел за накрытый стол и, покачиваясь на передних ножках стула, стал, слегка расширяя ноздри, медленно пить молоко, в тишине дома раздался томный голос Натальи Борисовны:

— Гарпина!

«Какая скука! — подумал Гриша. — Каждый день начинается одним и тем же воззванием!»

— Гарпина! — повторила Наталья Борисовна нетерпеливо. — Гри-иша!

Гриша лениво поднялся с места.

— Ну, что тебе? — сказал он, входя в спальню.

Наталья Борисовна, полная женщина лет сорока, сидела на постели и, подняв руки, подкалывала темные густые волосы. Увидав сына, она недовольно повела плечом.

— Ах, какой ты, брат, невежа! — сказала она, смягчая слова улыбкой.

Гриша молча ждал. В комнате с опущенными шторами стоял пахучий полусумрак. На ночном столике возле свечки тикали часики и лежала развернутая книжка «Вестника Европы».

— Да как же, право! — добавила Наталья Борисовна еще ласковее. — Зову, зову!..

И она попросила достать из столика деньги, посмотреть, где записка, что́ взять в библиотеке, собрать журналы и позвать Гарпину.

— Гарпина сейчас едет в город, — сказала она: — не нужно ли тебе чего?.. Нынче приедет отец и, вероятно, с ним Игнатий.

— Будь добра, поскорее! — перебил Гриша. — Ты ведь знаешь, что сейчас я должен идти к Каменскому.

— Ну, ты невозможен, наконец! — воскликнула Наталья Борисовна. — Я же тебе и хотела про это сказать... Ты, например, даже ничего не сообщил мне о нем...

— Ты сама его видела.

— Что же я могла видеть в десять минут, когда человек брал заказ? Кроме как о шкапе, мы двух слов не сказали.

— Но ведь и я хожу к нему только третий день.

— Но все-таки?

— Обыкновенный толстовец.

— Ну, словом, позови его, пожалуйста, к нам сегодня вечером. Ты знаешь, это будет интересно Игнатию. Только позови, голубчик, как-нибудь потоньше, а то ведь откажется!  
Гриша кивнул головой и вышел.

### III

«Опять день, опять долгий день!» — шевельнулось в глубине души Натальи Борисовны, когда она, после чая и переговоров с кухаркой, взяла зонтик, книжку журнала и, покачиваясь, слегка шурясь от яркого утреннего света и придерживая левой рукой подол широкого чесучового платья, медленно сошла с балкона и направилась в общий дачный парк по своему саду, где, в солнечном блеске, на яблонях в белых нарядных цветах, гудели пчелы, а в чашках журчали горлинки.

«Как трогательно!» — подумала она с ленивой улыбкой, отворив калитку и увидав невдалеке профессора Камарницкого под руку с женою. И тотчас же ласково крикнула им слабым голосом:

— Откуда бог несет?

Профессор, грубоватый на вид, рыжий и курносый, двигался не спеша, и его толстые очки блестели очень строго; в петличке у него краснел цветок, в руках была корзина. Профессорша, маленькая еврейка, похожая на гитару, преклоняла свою черную головку к его плечу.

— Здрасьте! — сказала она небрежно, сквозь зубы. Как всегда, в ее меланхолических глазах и во всем птичьем личике было что-то надменное и брезгливое: никто не должен был забывать, что профессорша — марксистка, жила в Париже, была знакома с знаменитыми эмигрантами.

— Что это вы так рано? — спросила Наталья Борисовна.

— По грибы, — ответила профессорша, а профессор, сияясь улыбнуться, прибавил:

— Дачей нужно пользоваться.

«Какие скучные!» — подумала Наталья Борисовна, глядя им вслед. — Ах, какие скучные! — повторила она, выходя в парк.

На обширной поляне парка стояли одни темнозеленые, широковетвистые дубы. Тут обыкновенно собирались дачники. Теперь большинство их, чиновники, шли по дороге, пролегающей между дубами, к железнодорожной станции. Барышни в пестрых легких платьях и мужчины в чесуче, в мягкой обуви, проходили мимо Натальи Борисовны и углублялись по узкой дороге в лес, где от листвы орешника стоял зеленоватый полусвет, сверкали в тени золотые лучи, а воздух был еще легкий

и чистый, напоенный резким запахом грибов и молодой лесной поросли.

И Наталья Борисовна снова почувствовала себя хорошо и покойно на этой дачной поляне, раскланиваясь с знакомыми и саясь на скамейку под свой любимый дуб. Она откинулась на ее спинку, развернула книгу и, еще раз оправив складки платья, принялась за чтение. Иногда она тихо подымала голову, улыбалась и переговаривалась с дачницами, расположившимися под другими дубами, и опять, не спеша, опускала глаза на статью по переселенческому вопросу.

А поляна оживлялась. Подходили дамы и барышни с работой и книгами, няньки и важные кормилицы в сарафанах и кокошниках. Изредка, но все-таки без надобности шелкая, прокатывались велосипедисты в своих детских костюмах. Худые проносились с форсированной быстротой, согнувшись и работая ногами, как водяные пауки. Коренастые, у которых узкий костюм плотно обтягивал широкие зады, ехали тише, уверенно и весело оглядываясь. Блестящие спицы велосипедов трепетали на солнце частыми золотыми лучами. А дети взапуски бегали, звонко перекликались и прятались друг от друга за дубами.

— Жарко! — сказала Наталья Борисовна, прищуриваясь, опуская на колени книгу и обращаясь к молоденькой женщине, сидевшей невдалеке с вязаньем в руках.

— Жарко! — согласилась та, сдувая со щеки длинный волос.

Золотистый, чуть заметный туман стоял вдали в знойном воздухе. На местах солнечных золотисто-зеленые мухи словно прилипали к дорожкам и деревьям. Вверху, над вершинами дубов, где ровно синела глубина неба, собирались облака с причудливо округляющимися краями. Веселый и томный голос иволги мягкими переливами звучал в чаще леса.

#### IV

Гриша шел к Каменскому, сбивая молотком цветы по дороге.

Каменский занимался столярной работой, и Гриша брал у него уроки. Ему давно хотелось узнать какое-нибудь ремесло и потому, что это полезно для здоровья, и потому, что когда-нибудь будет приятно показать, что вот он, образованный человек, умеет работать и простую работу. По дороге он, между прочим, думал, что, выучившись, он сам сделает себе идеальные шары и молотки для крокета, да, пожалуй, и всю мебель для своей комнаты... простую, удобную и оригинальную. Занимало и то, что теперь он может похвалиться, что знает «живого толстовца».

В доме отца Гриша с детства видел самых разнохарактерных людей: тузов разных служб и профессий, имеющих всегда такой вид, словно они только что плотно пообедали, богатых толстых евреев, которые важно, по-гусиному, переваливались на ходу, известных докторов и адвокатов, профессоров и бывших радикалов. И отец называл за глаза тузов мошенниками, евреев — «жидовскими мордами», остальных — болтунами, ничтожеством. Когда Гриша только что начал читать серьезные книги, знакомиться с студентами, ему часто приходилось удивляться: вдруг оказывалось, что какой-нибудь писатель или знаменитый профессор, который представлялся человеком необыкновенным — ни больше ни меньше, как «идиот», «посредственность», вся известность которой основывается на энциклопедических иностранных словарях да на приятельстве с людьми влиятельными. И говорил это не кто-нибудь иной, а сам Петр Алексеич, которому было достаточно рассказать в шутовском тоне, что такая-то знаменитость затыкает уши ватой, любит чернослив и, как огня, боится жены, чтобы авторитет этой знаменитости навсегда померк в глазах Гриши. Такие же новости привозил из столицы и Игнатий, а он, как человек крайне нервный, был еще более резок в мнениях.

— Что ж, и терпентин на что-нибудь полезен, — сказал он однажды словами Пруtkова, когда зашел разговор о толстовцах и о толстовском учении, — этой «доморощенной философии самоучки с недисциплинированной головой». И Гриша, робея Каменского, усвоил себе манеру насмешливо щуриться, думая о нем.

Жил Каменский на мельнице, в версте от деревни. Мельница стояла на зеленом выгоне, к югу от дачных садов, там, где местность еще более возвышалась над долиной. Хозяин почему-то забросил ее: маленькое поместье с высоким тополем над соломенной крышей избушки, с бурьяном на огороде, медленно приходило в запустение. Внизу, в широкой долине, темным бархатом синели и, сливаясь, округлялись вершины лесов. Мельница, как объятая, простирала над долиной свои изломанные крылья дикого цвета. Она, казалось, все глядела туда, где горизонт терялся в меланхолической дымке, а хлеба со степи все ближе и ближе подступали к ней; двор зарос высокой травой; старые серые жернова, как могильные камни, уходили в землю и скрывались в глухой крапиве; голуби покинули крыши. Одни кузнечики тайнственно шептались в знойные летние дни у порога избушки, мирно дремлющей на солнце.

— Вот и келья под елью! — усмехнулся Гриша, взглянув на мельницу в первое утро. Он уже представлял себе, как Каменский начнет поучать его, спасать его душу, и заранее вооружился враждебной холодностью. Однако Каменский только

показал ему, как надо распиливать доски; и это даже обидело Гришу: «не хочет снизойти до меня», — думал он, искоса поглядывая на работающего учителя и стараясь подавить в себе чувство невольного почтения к нему.

Сегодня он подходил к этой келье в девятом часу. Обычно Каменский в это время работал. Но теперь в сенцах, где стоял верстак, никого не было.

— Алексей Александрович! — окликнул Гриша и, не получив ответа, пошел к мельнице: там вчера Каменский распиливал большие доски. Но и в мельнице было пусто. Только воробьи стаяй снялись с пола, да ласка таинственно, как змейка, шмыгнула по стояку в развалившийся мучной ларь.

«Значит, у огородника загостился», — подумал Гриша, возвращаясь в избу.

В сенцах, обращенных дверями к северу, было прохладно от глиняного пола; в сумраке стоял уксусный запах стружек и столярного клея. Грише нравился этот запах, и он долго сидел на пороге, помахивая на себя картузом и глядя в поле, где дрожало и убегало дрожащими волнами марево жаркого майского дня. Дачные сады казались в нем мутными, серыми набросками на стекле. Грачи, как всегда в жару, кричали где-то в степи тонкими томными голосами. А на дворе мельницы не было ни малейшего дуновения ветерка, на глазах сохла трава... Разгоняя дремоту, Гриша поднялся с порога.

Близ порога валялся топор. На верстаке, среди инструментов, в белой пыли пиленого дерева, лежали две обгорелые печеные картошки и книга в покоробленном переплете. Гриша развернул ее: Евангелие. На заглавном листе его было написано: «Боже мой! Я стыжусь и боюсь поднять лицо мое к тебе, боже мой, ибо беззакония наши стали выше головы и вина наша возросла до небес...»

— Что это такое? — пробормотал Гриша, чувствуя, как что-то новое, возвышенное коснулось его души.

— Станный человек! — прибавил он в раздумье и снова развернул Евангелие. В середине его были письма («Дорогие братья во Христе Алексей Александрович и Павел Федорыч...» — начиналось одно из них), бумажки с выписками... На одной было начало стихотворения:

Долго я бога искал в городах и селениях шумных,  
Долго на небо глядел — не увижу ли бога...

На другой опять тексты:

«Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности...»

Ласточка с щебетаньем влетела в сенцы и опять унеслась стрелой на воздух. Гриша вздрогнул и долго следил за ней в

небе. Вспомнилось нынешнее утро, купальня, балкон, теплица — и все это вдруг показалось чужим и далеким... Он стоял перед дверью в избу, тихо отворил ее.

В передней узкой комнате загудели мухи; воздух в ней был душный, обстановка мрачная, почти нищенская: почерневшие бревенчатые стены, развалившаяся кирпичная печка, маленькое, тусклое окошечко. Постель была сделана из обручков полен и досок, прикрытых только попоной; в головах лежал свернутый полушубок, а вместо одеяла — старое драповое пальто. На столе, среди истрепанных книг, валялись странные для этой обстановки предметы — бронзовый позеленевший подсвечник, большой нож из слоновой кости, головная щетка и фотографический портрет молодой женщины с худощавым грустным лицом. Из деликатности Гриша отвел глаза от стола — и сердце его сжалось при взгляде на эти старые, засиженные мухами, уже давно не бывшие в употреблении вещи и на этот портрет.

Зачем это самоистязание? Он смотрел на бревенчатые стены, на нищенское ложе, стараясь понять душу того странного человека, который одиноко спал на нем. Были, значит, и у него другие дни, был и он когда-то другим человеком... Что же заставило его надеть мужицкие вериги?

— Странный человек! — повторил Гриша, хмурясь на темную фототипию, висевшую над кроватью, — снимок с картины знаменитого художника. Это было жестокое изображение крестной смерти, написанное резко, с болью сердца, почти с озлоблением. Все, что вынесло человеческое тело, пригвожденное по рукам и ногам к грубому тяжелому кресту, было передано в лице почившего Христа, исхудалого, измученного допросами, пытками и страданием медленной кончины. И тяжело было глядеть на стриженую, уродливую голову привязанного к другому кресту и порывающегося вперед разбойника, на его лицо с безумными глазами и раскрытым ртом, испутившим дикий крик ужаса и изумления перед смертью того, кто назвал себя сыном Божиим... Морщась, Гриша отворил дверь в другую комнату.

Тут было очень светло от солнца, совершенно пусто и пахло закромом. По полу когда-то прошелся широкими полукругами веник, но не докончил своего дела, и мучная пыль белела в углах и на карнизах. У одного окна, на котором грудями лежали литографированные тетрадки, учебник «Эсперанто», изречения Эпиктета, Марка Аврелия и Паскаля, стоял стул. На нем Каменский, должно быть, отдыхал и читал. На простенке были приклеены хлебом печатные рассуждения под разными заглавиями: «О Слове», «О Любви», «О плотской жизни». Среди же них еще стихотворение, крупно написанное на белом листе бумаги:

Боже! Жизнь возьми — она  
Вся тебе посвящена!  
Дни возьми — пусть каждый час  
Слышишь ты хвалебный глас!

А ниже — из псалмов Давида:

«Ты дал мне познать путь жизни; ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим!»

Как все это было странно и ново для Гриши! Он с изумлением смотрел кругом, прислушивался к тишине этого заглохшего поместья и к тому, что пробуждалось в его сердце, долго ходил из угла в угол... Потом вернулся в полутемную комнату, вышел в сени, снова развернул Евангелие...

«Дети! Недолго уже быть мне с вами...» — читал он отмеченные карандашом слова последней вечери Христа с учениками. — «Да не смущается сердце ваше...» «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел...» «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир»...

Отняв глаза от книги, Гриша долго и напряженно глядел в угол, ничего не видя перед собою. И он, этот странный человек, терпит скорбь, «ибо беззакония наши стали выше головы!» Запах избы от ветхого переплета книги напомнил Грише тяжелую работу, кусок корявого хлеба, жесткое деревянное ложе, черные бревенчатые стены. А пустая, безмолвная и вся озаренная солнцем комната — светлое одиночество в минуты отдыха и созерцательной, тихой жизни.

«Ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим!» — вспомнил Гриша и почувствовал, как у него самого радостно и жутко затрепетало сердце и глаза наполнились слезами непонятого восторга... «После сих слов,— читал он дальше, ощущая в волосах словно дуновение морозного ветра,— после сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче! Пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя... Я открыл имя твое человекам... Соблуди их во имя твое!..»

## V

— А, вы уже пришли! — раздался голос Каменского.

Гриша смущенно захлопнул книгу.

— Извините,— сказал он, подымаясь.

— В чем вы извиняетесь? — спросил Каменский, стоя перед ним с мешком в руке и пристально глядя ему в лицо.

— Да вот залез в ваши книги,— ответил Гриша небрежно.

— Так что ж тут дурного?

— Я говорю, взял вашу книгу... ну, без спросу, что ли...

— Вашу? Что это значит?



— Как что значит?

— Да так. Зачем вы все такие слова употребляете?

Они стояли друг против друга, и Гриша чувствовал, что пристальный взгляд улыбающихся глаз Каменского все более подчиняет его себе.

— Что это вы покупали? — спросил он, чтобы переменить разговор.

— А вот луку немного и хлеба.

И Каменский опустил мешок на землю.

— Так, может быть, начнем? — добавил он. — Я вот покажу вам, разведу огонь и присоединюсь к вам.

Гриша встrepенулcя.

— Нет, нет, вы сначала разведите.

— Успеется, — отозвался Каменский. — Давайте доску в верстак, попробуйте фуганком.

Гриша с преувеличенным вниманием стал слушать, как надо работать фуганком, и помогать направлять доску в верстак.

— Ну-ка попробуйте! — сказал Каменский.

Гриша взял фуганок и с такой силой зашаркал им по доске, что в два-три взмаха испортил ее.

— Да вы потише! — ласково засмеялся Каменский.

Он ушел в избу, вынес оттуда чугуничек с водой, поставил его на таган около порога и развел огонь. Синий дымок поплыл по двору. Поглядывая на него, Каменский взял из-за верстака кадушку, сел на порог и стал набивать обручи. Стук молотка звонко отдавался в пустой кадке. Подлаживая под этот стук, Гриша пристально шмыгал фуганком по доске. Стружки кремового цвета, красиво загибаясь, падали на пол.

— Вы живете только с матерью? — спросил вдруг Каменский, опуская молоток.

— Нет, и отец часто приезжает, — поспешно ответил Гриша, поднимая запотевшее и возбужденное лицо. — А в городе всегда вместе.

— Он что же — все города украшает?

— Как города украшает?

— Строит дома богатым людям? Созидает Вавилон?

— Ах, вот что... Если хотите, да.

— Ну, этого-то я не хочу! — серьезно сказал Каменский.

И, положив в воду картофелю и луку, поправив огонь, опять сел на порог за работу.

— Да, — сказал он задумчиво. — А брат ваш что делает?

— Он только что кончил курс... Теперь служит... то есть работает у патрона.

— Так, — сказал Каменский. — У патрона... А вы тоже думаете этим заняться?

Гриша помолчал.

— Не знаю,— сказал он тихо.

Каменский тоже помолчал.

— Это хорошо, что не знаете,— сказал он почти строго и стал задумчиво глядеть вдаль.— Люди все еще идут в Египет за помощью. Но и египтяне — люди, а не бог, и кони их — плоть, а не дух.

И, подняв глаза на Гришу, прибавил:

— И вы будете также... также несчастны и одиноки, если будете не жить, а служить. Вы скоро забудете людей, будете знать только отношения вместо людей, и вам будет очень тяжело...

Гриша вспомнил свою семью и опустил глаза.

— Я испытал это на себе,— опять заговорил Каменский.— Я видел, как растет пропасть между моими поступками и намерениями, как жизнь моя обращается в служение крахмальным рубашкам; видел, как растет пропасть между мной и людьми. И когда я приехал в деревню к своим, где думал начать новую жизнь, я ясно увидел, как велика эта пропасть. Я мог только с крыльца слушать говор и весь этот смутный шум деревни, наблюдать жизнь простых и добрых людей, которых я прежде намеревался учить злым и ненужным делам, думая, что эти дела хорошие и нужные дела,— только наблюдать: между нами была пропасть. Я был как человек, стоящий у ручья, которому хотелось пить, но которому сказали, что, прежде чем пить, надо взмутить воду, и он стал пить мутную воду, хотя и знал, что мутить воду было не нужно...

Гриша слушал, стараясь не проронить ни одного слова. «Разве ты теперь-то не одинок?» — хотелось ему сказать. Но, боясь сказать это невпопад, неумело, боясь, что Каменский заговорит с ним как с мальчиком, молчал.

— А про Египет,— спросил он наконец,— это чьи слова?

— Исаии. Вы не читали?

— Никогда.

Каменский подумал.

— Завтра воскресенье,— сказал он,— мы не будем работать. Если хотите, приходите, и мы почитаем вместе.

— Во сколько?

— Когда хотите. Хоть часов в десять. Раньше нельзя, так как я пойду в город на почту.

— Непременно приду! — воскликнул Гриша.— У вас тут так хорошо!

Он помолчал и вдруг с трудом выговорил:

— А вы не будете ли добры пожаловать к нам сегодня вечером?.. Мама будет очень рада вас видеть...

— С удовольствием,— ответил Каменский.— Я людей не избегаю.

Он попробовал палочкой картошки в чугуне, встал и ушел в избу. Гриша торопливо схватил картуз. Очевидно, Каменский сейчас будет обедать и пригласит его... и выйдет неловкость, неприятность, которая испортит все настроение. Есть Грише не хотелось, но отказаться неловко... да даже если бы и хотелось и он сел, вышло бы все-таки что-то фальшивое.

— Ну,— сказал он как можно спокойнее, когда Каменский вышел из избы с глиняной миской и ложкой в руках,— мне необходимо домой...

И чувствуя, что краснеет, Гриша поспешно добавил:

— Сегодня, знаете, брат и отец придут... Так мне необходимо... До вечера, значит?

— До свиданья, до вечера! — ответил Каменский ласково.

За мельницей Гриша вздохнул свободнее. Он был взволнован, ему хотелось подумать о чем-то, но он ничего не думал и только шел все дальше в степь. Позади него живописно синела долина, но ему хотелось уйти в открытое поле. И он шел по парам, уже заросшим высокой травой и цветами, и ему было приятно, что они шелкают его по ногам, что поднявшийся ветер обвеивает лицо солнечной теплотой, запахом зеленых хлебов.

— Как хорошо! — воскликнул Гриша, останавливаясь и снимая картуз.

Он постоял, подумал, послушал жаворонков и тихо добавил:

— Ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим!

Потом лег на межу навзничь и стал делать то, что делал в детстве — медленно-медленно закрывать глаза так, чтобы солнечные лучи яркзолотистой паутиною протянулись к ресницам, а потом задрожали и превратились в трепещущие кружки, радужные, как хвост павлина...

«Как жить? — думал Гриша.— Как жить, чтоб всегда было хорошо, легко, свободно, просто? И чтоб и другим было так же? Как жить?»

Он постарался представить себе, что будет в его жизни... в тридцать, сорок, пятьдесят лет... Но все было смутно и непонятно. Представилось только что-то похожее на туманную синеву в долине под мельницей...

## VI

— Откуда так стремительно?

Гриша остановился среди поляны и поднял голову. По дороге от станции шла в большой шляпке стройная и худощавая барышня, одна из служащих в управлении железной дороги.

— А вас, Марья Ивановна, почему это интересует? — спро-

сил Гриша с тем неестественным спокойствием, с которым говорят красивые молодые люди с хорошенькими девушками.

Марья Ивановна пожала ему руку. Темнокаштановые волосы локонами падали на ее плечи; простое и наивное личико с голубыми глазами было очень миловидно. Глазами Марья Ивановна кокетничала, бойко и гордо прищуривала их; однако бойкость не удавалась ей, и чаще всего, особенно при новых людях, взгляд Марьи Ивановны пропадал в пространстве, хотя болтала она в это время без умолку.

— Как жарко! — начала она скороговоркой, стараясь не глядеть на Гришу. — А в вагоне просто дышать нечем... И работы сегодня была такая масса! Я уже заявила сегодня своему патрону, что, если будет такая жара, я не буду больше являться на службу.

— А кто же вас заставляет являться? — спросил Гриша.

— Вот мило! Если бы у меня была пара серых в яблоках и коляска на резине, меня, может быть, и не заставляли бы.

Гриша улыбнулся.

— Ведь вот, — сказал он тоном Каменского. — Они не могут без серых, все серые нужны!

— А что же прикажете делать?

— Пахать, — ответил Гриша полушутя, полусерьезно.

— Пахать! — воскликнула Марья Ивановна. — Это новость!

— Вовсе не новость.

— Сохой пахать?

— Сохой.

Марья Ивановна посмотрела куда-то вдаль и легонько вздохнула:

— Это хорошо в теории, а не на практике.

— А вы не отделяйте теории от практики! — добавил Гриша наставительно, поклонился и быстро пошел к своему саду.

На балконе завтракала Наталья Борисовна.

— Игнатик приехал! — сказала она.

Гриша промолчал и сел за стол. На столе был приготовлен ему прибор и завтрак: масло, яйца, глянцевито-зеленые огурцы. Среди стаканов стоял серебряный кофейник, подогреваемый синими огнями бензиновой лампы. Наталья Борисовна старательно снимала ножом и вилкой мясо с крылышка холодного цыпленка. Гриша посмотрел на ее плотную спину, на расставленные и приподнятые руки и почему-то вспомнил черепаху. Красивое лицо его стало неприятно.

— Что так поздно? — спросила Наталья Борисовна немного заискивающим тоном.

— Где же Игнатий? — сказал Гриша вместо ответа.

— Купаться ушел. А ты это все у Каменского?

Гриша сделал усталое лицо.

— У Каменского,— пробормотал он.

Наталья Борисовна позвонила. Гарпина внесла на тарелке сковородку с шипящим в масле куском бифштекса.

— Дайте вина! — коротко приказал Гриша. И, когда подали бутылку, залпом выпил стаканчик и принялся за еду очень поспешно.

— Уже? — спросила Наталья Борисовна.— А кофе?

Гриша бросил салфетку и встал.

— Мегсі, не хочу.

— Мало же!..

Гриша прошел в свою комнату и лег на кровать. Ему хотелось еще подумать, как в поле, удержать утреннее хорошее настроение. Но от вина и еды приятно напряженнее билось сердце. Гриша с удовольствием вытянул ноги, положил их на отвал кровати, прикрыл глаза... и внезапно заснул крепким сном.

А Наталья Борисовна, балуясь гусиным перышком, откинулась на спинку стула и долго смотрела куда-то в одну точку. О чем она думала? Она бы и сама не сказала. Но, подымаясь из-за стола, она почему-то глубоко вздохнула и пошла по дому лениво.

В спальне она подняла штору, села около окна и машинально взяла книгу. Но читать не хотелось. И она перевела глаза на портрет Петра Алексеевича, стоявший на ее письменном столике. С портрета пристально и насмешливо глядели на нее небольшие, чуть-чуть прищуренные глаза еще бодрого и свежего мужчины лет пятидесяти. Его правильная, яйцеобразная голова с продолговатой бородой, в которой седина тронула волосы только около щек, еще до сих пор была гордо откинута назад. Было видно, что этот человек весь свой век прожил в холе и до старости сохранит барскую осанку высокой, в меру полной фигуры.

«Подурнел! — подумала Наталья Борисовна.— Плечи подняты по-стариковски, под глазами мешки...»

На мгновение она вспомнила свою молодость, прежнего Петра Алексеевича, на мгновение ей стало неприятно, что он так опустился теперь... Но, в сущности, он теперь был ей совсем чужой человек; а думать о прошлом — это и утомительно и не приводит ни к чему хорошему. И Наталья Борисовна принялась бесцельно смотреть в окно...

Ветер опять стих, и опять стало жарко и скучно. Но уже длинные тени легли от садов и дачи дремали мирным послеобеденным сном долгого летнего дня. По улице прокатилась

со станции линейка с дачниками и скрылась, громыхая развинченными гайками. «Са-ахарно морожино...» — меланхолично доносилось откуда-то издалека.

А в доме было так тихо, что по всем комнатам отдавалось ровное постукиванье часов в столовой.

## VII

Вечером на поляне около сада Примо играли в крокет.

Солнце скрылось в густую чащу леса за поляной, и лес темнел на шафрановом фоне заката. Воздух был сухой и теплый, даже душный. Около играющих стояли знакомые и незнакомые барышни и студенты; потом они разбрелись, и зрителями остались маленькие гимназисты. Их очень занимал непрекращающийся спор между Гришей и Игнатием.

— А я тебе говорю, что ты ее убил! — азартно кричал Игнатий, стоя перед Гришей. — Я стоял вот здесь, — продолжал он, все более волнуясь, отбегая и стучая молотком по тому месту, где стоял, — я стоял вот на этом самом месте и отлично видел, как шар Марьи Ивановны коснулся фока!

На толстого Игнатия в широком, мешковатом костюме из чесучи было смешно смотреть. Он неуклюже бегал среди дужек и поминутно снимал соломенную шляпу, обтирая платком круглую, коротко остриженную голову и красное лицо.

— Шнурки-то подбери, — презрительно говорил Гриша, указывая Игнатию на мотающиеся завязки его мягких скороходов.

— Игнатик! — пробовала вмешаться Наталья Борисовна, делая страдальческое лицо и смеясь внутренним смехом. — Keep your temper, Sir!<sup>1</sup>

— Оставь, пожалуйста, мама! — огрызался Игнатий. — Это же глупо наконец! Я отлично видел, как шар коснулся фока.

Гриша смотрел на Марью Ивановну и думал, что она сегодня была бы очень хороша, если бы не надела этой красной шелковой кофты, широкие рукава которой она поминутно вздергивала и взбивала на плечах.

— Ты слеп, мой милый! — лениво возражал он брату.

— Ты слеп!

— Все равно, я не уступлю.

— И я не уступлю!

— Ты молоток ломаешь.

— Ну и отлично!

— Ничего тут нет отличного.

— Я тебе уже давеча раз уступил, — опять стучая молот-

---

<sup>1</sup> Сдерживайтесь, сэри! (англ.)

ком в землю, кричал Игнатий, — ты еще давеча нарушил правила.

— Вечно с правилами!

— Конечно, с правилами! Раз ты их не исполняешь...

В это время к крокету подошел профессор Камарницкий с женой.

— Здравсьте, господа! — сказала Софья Марковна. — Продолжайте, продолжайте, пожалуйста.

Но Грише совестно было продолжать спор. Он отвернулся и сказал:

— Марья Ивановна! Вы должны решить.

Марья Ивановна положила ручку молотка за голову на плечи, взялась за нее руками и, качаясь на носках, ответила детским тоном:

— Я не знаю.

И не то улыбаясь, не то гримасничая, она рассеянно смотрела своими голубыми глазами в небо. Грише страстно захотелось подойти и поцеловать ее в губы. И он машинально ответил:

— В таком случае давай новую партию. Мы считаем себя побежденными.

— Павел! — сказала профессорша. — Будем играть?

Профессор покорно согласился. Все взяли молотки и собрались в одно место. Игнатий обтер лоб платком, бросил на землю шляпу и быстрыми ударами молотка согнал шары к фоку.

— Итак, господа, — крикнул он тоном герольда, — мы играем в следующем порядке: одну партию составляет Павел Антоныч, Софья Марковна и Гриша; вторую — я, мама и Марья Ивановна. Гриша, мы начинаем: согласен?

— Согласен, согласен.

Широко шагая, Игнатий торжественно подошел к фоку, отставил левую ногу.

— Господа, начинаю! — крикнул он и ударил в шар.

Шар прошел дужку, стукнулся о проволоку второй и наискось проскочил третью.

— Вот это удар! — восторженно завопил Игнатий, любуясь, как шар волчком завертелся на одном месте.

А через минуту он уже снова раздраженно кричал на всю поляну:

— Если ты, мама, не умеешь играть — брось! Это глупо наконец! Не умеет даже крокировать!

— Да ведь нога же соскользнула!

И, улыбаясь, Наталья Борисовна снова приподняла край юбки, неумело поставила ботинку на шар, сильно размахнулась, но молоток боком стукнул ее по ноге и выскользнул из рук.

— Не могу сегодня...— выговорила она, трясась от смеха, и отошла в сторону.

Зараженная этим смехом, Марья Ивановна принялась хохотать, как помешанная.

— Сначала, сначала! — кричала она, бегая за шарами и раскидывая их в разные стороны.

Игнатий в отчаянии поднял плечи, покраснел и сделал ужасное лицо.

— Это чорт знает что такое! — воскликнул он басом и, не выдержав, сам расхохотался.

Подъехал еще знакомый — адвокат Викентьев. У него всюду были знакомые, и в городе, с извозчицей пролетки (пешего его трудно было себе представить) он широко и приветливо размахивал шляпой чуть не каждому встречному. Всюду он держал себя как дома, всюду напевал отрывки оперных арий с мягким удалством итальянского тенора и считал себя общим любимцем.

— Стой, стой! — закричал он извозчику, соскакивая с пролетки, и быстро, покачиваясь, пошел к крокету. Это был человек небольшого роста, кругленький, с маленькими ногами и руками. Называя себя «верным шестидесятником», он небрежно повязывал галстук, не стриг своих серых, мягких волос и часто развязно закидывал их назад. Матовое его лицо было моложаво и неприятно.

— Наталья Борисовна! — крикнул он, махая на себя шляпой. — Благоверного вашего лицезрел!

— Где? — спросила Наталья Борисовна, идя к нему на встречу.

— В городе-с.— Викентьев быстро поцеловал у ней руку, оглянулся.— Да-с, на стогнах града... Оказывается, он вернулся еще вчера, «выпимши малость»... Здравствуйте, барышня!.. Мое почтение, Софья Марковна...

Он пожал всем руки и опять оглянулся:

— Коллеге почтение! Давно изволили пожаловать?

— Только сегодня,— сказала Наталья Борисовна.— Да вы откуда, Александр Иванович?

Викентьев махнул рукой и вздохнул.

— И в городе был и за городом был... у одного почтенного отца семейства... Ну что же? Я вам помешал? Примете меня в заморскую игру?.. Хотя, по правде сказать, я голоден, как сорок тысяч братьев Фридрихов...

Но играть было уже поздно. Сумрак мягко синел в парке, и над вершинами дубов показывались серебряные звезды... Хор молодых голосов запел где-то далеко протяжную мало-российскую песню, и Викентьев стал тихонько подтягивать:

Та налетели гуси з далекого краю...



— Отчего это,— сказал он,— когда поют хорошую песню, становится кого-то жалко и совсем не знаешь, горя или радости хочется?.. Пойдемте гулять, господа! В такую ночь надо жить только природой.

Пошли смотреть на долину, в сторону, противоположную мельнице Каменского,—туда, где видны были огни города; полежали на скате, непринужденно, по-дачному, снявши шляпы. Синяя темнота все сгущалась от востока над долиной. Прошел за рекою поезд, и долго слышен был его отдаленный шум... Потом все затихло. Город на горизонте роился бледными огнями, а из парка доносилась то та, то другая печальная песня.

— Славно! — сказал Викентьев.— Люблю я эту самую природу, люблю, грешным делом, полежать вот так на травке, но... «камергер редко наслаждается природой»!.. Право, иной раз хочется стать рыбаком, бродягой или хоть толстовцем... вроде вашего новоявленного отца Каменского. Кстати, он еще тут обретаётся?

Гриша насторожился.

— Да,— ответила Наталья Борисовна.— Обещался сегодня быть у нас.

— Вот как! — сказала Софья Марковна.— Это интересно. Павел, пойдем к Наталье Борисовне?

Профессор, запинаясь, отказался:

— Нет, ты уж будь добра, иди одна; мне он не интересен, да и надо во-время лечь в постель.

— Да, он не интересен,— подтвердил Викентьев.— Я с ним встречался. Говорит как по-писаному, но все это не ново и хорошо только на словах. «Нельзя объять необъятного»... Да и сам Лев Николаевич-то, кажется, уж соскучился забавляться...

Заговорили о том, что влияние Толстого проходит, что Толстой велик, как романист, и слаб, как философ, что он умеет только отрицать и ничего не дает положительного... Гриша внимательно слушал. Слова Викентьева заставили его задуматься.

«Болван! — думал он про Викентьева.— Но это-то, пожалуй, отчасти и правда... Не ново-то не ново...»

Посидели еще, не зная, что делать. Всем было хорошо, но все чего-то ждали. И когда Наталья Борисовна сказала, что хочется чаю, поднялись очень живо, словно исполнили обязанность.

У крыльца профессор и Викентьев откланялись. Остальные вошли в дом. В сумраке на балконе кто-то медленно поднялся со стула.

— Здравствуйте! — сказал приятный важный голос.

— Ах, это вы, Алексей Александрович! — воскликнула Наталья Борисовна, дружески пожимая ему руку.— Очень, очень рада вас видеть... Что же это Гарпина не зажгла вам лампы?

— Она у Петра Алексеича.

— Разве он приехал?

— Да, мы уже беседовали с ним. Он пошел в кабинет обливаться голову водою.

Наталья Борисовна покраснела. «Ах, боже мой, как нарочно!» — подумала она, но тотчас же весело сказала:

— Ну, господа, вы незнакомы? — Знакомьтесь, знакомьтесь, пожалуйста...

## VIII

По всем комнатам пахло сигарами. Из кабинета раздавались мужские голоса, слышны были сиплые вскрикивания Ильи Подгаевского, странного субъекта, безотлучно пребывавшего при Петре Алексеевиче и участвовавшего во всех его попойках. Петр Алексеевич редко появлялся один и на этот раз привез с собой еще какого-то военного доктора, которого называл Васей, и своего секретаря, Бобрицкого, молодого человека, очень похожего на жирафа своей маленькой головой и большой, длинной фигурой в клетчатой паре.

Среди сидящих и разговаривающих за круглым столом в ярко освещенной гостиной Каменский резко выделялся своей высокой фигурой и одеждой. Присутствие его одних смущало, других очень интересовало. Марья Ивановна боялась взглянуть на него и, махая в раскрасневшееся лицо платком, быстро-быстро заговаривала то с тем, то с другим так, словно отвечала на экзамене. Грише очень хотелось уйти с ней на качели в сад, но он знал, что будет спор, так как заметил, с какой порывистой приветливостью пожал руку Каменского Игнатий: очевидно, рад новому человеку, с которым можно сцепиться. Однако разговор шел пока незначительный. Поддерживал его только агроном, человек в золотом пенсне, всегда сдержанный, вежливый и элегантный (агрономией он занимался теоретически, в городе). В тон ему держался и Бобрицкий. Немного отодвинувшись от стола и вытянув ноги, он держал стакан чаю в руках и, когда пил, далеко отставлял мизинец, украшенный перстнем с большим куском бирюзы.

— Вы позволите вам чаю? — с легкой запинкой спросила Наталья Борисовна Каменского.

И все тотчас с любопытством обратились в его сторону: окажется или нет? И что возьмет к чаю?

— Пожалуйста,— очень вежливо ответил Каменский.

То, что он приветлив, тоже немного удивляло всех. Верно, он знал, что Примо устроили сегодня вечер с толстовцем, знал, что за каждым его движением будут следить, будут оглядывать его одежду, и потому надел чистую рубашку, умылся, причесал бороду и густые русые волосы, подстриженные в скобку. Теперь его открытое лицо было красиво.

Подшел еще гость, статистик Бернгардт, бородатый, сумрачный человек. Он недавно вернулся из Сибири, и Грише казалось, что это суровые сибирские мужики приучили его быть таким скупым на слова. И теперь он молча сел в угол со стаканом чаю и принялся рассматривать волосы в своей большой темной бороде. Каменский тотчас заговорил с ним о Сибирской железной дороге. Бернгардт отвечал отрывисто, а все поглядывали на них, как бы спрашивая: какой интерес представляет Каменскому железная дорога? Ведь «они» отрицают цивилизацию!

Вдруг агроном почтительно промолвил:

— Правда, что Лев Николаевич не совсем здоров?

— Да, да,— поспешил ответить Бобрицкий,— я читал недавно сам.

— Нет, неправда,— ответил Каменский.— Я недавно имел о нем известия.

Бобрицкий поднял брови.

— Но я же сам, своими глазами читал в «Новом времени»! — сказал он.

— Вы не верьте. Газеты для того же и существуют, чтобы выдумывать неправду,— возразил Каменский с снисходительной улыбкой.

Игнатий задвигался на стуле.

— Ну, знаете, это слишком сильно сказано! — проговорил он с неприятной улыбкой.

— А где он теперь? В Ясной Поляне? — перебила Марья Ивановна.

— Что вы?

Каменский спросил очень ласково, но Марья Ивановна смешалась. Она встряхнула локонами и с трудом выговорила:

— Правда, что он только лето живет в деревне?

— Да, вот это правда.

Все переглянулись и помолчали. Каменский налил в блюдце чаю и уже начал говорить с агрономом о рамочных ульях, как вдруг Софья Марковна выговорила громко и насмешливо:

— А правда, что он уже сменил пресловутую блузу на костюм велосипедиста?

— Вот это опять неправда,— уже совсем важным тоном возразил Каменский.

Снова переглянулись, а Игнатий издал какой-то носовой звук.

— Я, собственно, не понимаю...— начал он, собирая хлебные крошки.

Но в это время раздался насмешливо-отчетливый голос Петра Алексеевича:

— А правда, что мы с Илюшей еще пьяны?

Все живо обернулись.

Улыбаясь, Петр Алексеевич медленно шел с коробкой сигар в одной и с дымящейся папиросой в другой руке, немного приподняв плечи и не поворачивая головы, как уходят богатые люди из ресторанов среди кланяющихся лакеев. После холодной воды он посвежел и ободрился; слегка прищуренные глаза блестели, смуглое припухшее лицо было весело. И как всегда, он был очень представительен; небольшое брюшко, туго обтянутое жилетом, не портило его высокой, плотной фигуры; ноги сравнительно с ней были тонки, но стройны.

Зато маленький, тшедушный человек, который шел за ним в длинном черном сюртуке, производил странное впечатление; старческое лицо его, лицо скопца и алкоголика, было желто и испито; длинные, монашеские волосы жидкими темными космами падали на плечи; маленькие агатовые глаза неестественно блестели.

— Отставной профессор консерватории, потом монах, пьяница и мой друг, Илья Подгаевский,— отрекомендовал его Петр Алексеевич, здороваясь с гостями и усаживаясь к столу.

— Полно, Петр! — с пафосом воскликнул Подгаевский, кивнул всем головой и задумчиво зашагал из угла в угол, бросая себе в рот мятные лепешечки.

Наступило минутное молчание. Каменский пристально, без стеснения рассматривал то Подгаевского, то хозяина. Последний, очевидно, заметил это, потому что отчетливо повторил, обращаясь уже к одному Каменскому:

— Так как вы нас находите? Пьяны мы, или уже можем вести душеспасительные беседы?

— Мы этого еще не знаем,— ответил Каменский серьезно.

Петр Алексеевич сделал вид, что уже не слушает, и обратился к Наталье Борисовне:

— Мамаша,— сказал он,— налейте и мне стаканчик чаю, только, пожалуйста, без коньяку!

— Вот как! — засмеялась Наталья Борисовна.

— Я слышу разговор о Толстом,— продолжал Петр Алексеевич, оглядывая всех и подчеркивая слова,— и вот мне пе-

рестало хотеться того, чего прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось. И когда я понял то, что понял, я перестал делать то, чего не надо делать, и стал делать то, чего не делал и что нужно делать.

Все засмеялись.

— Очень, очень удачно скопирован Толстой! — подхватил Бобрицкий.

— Какой догадливый! — пробормотал Петр Алексеевич, раздувая ноздри.

— Нет, почему вы так против велосипедистов? — улыбаясь, но уже нервно прикрывая глаза и волнуясь, заговорил Игнатий.

— Разве я это сказал? — спросил Каменский и поднял брови.

— То есть не сказали, но в сущности это понятно... И это странно... Я думаю, что всякий труд, исполняемый с наименьшим напряжением мускулов...

Все прислушались. Каменский же немного наклонил голову, и по лицу его было видно, что он хочет вникнуть в каждое слово. Но Игнатий запнулся, щелкнул пальцами и прибавил торопливо:

— Я хочу сказать, что такой труд, во всяком случае, более нужен, чем какой-либо другой...

— Я вас не понимаю, — спокойно возразил Каменский.

— Не понимаете? — переспросил Игнатий.

— Извините, не понимаю.

Игнатий вздернул плечами.

— Что же тут непонятного? Разве я темно выражаюсь?

— Нет, но вы, очевидно, не подумали, что сказали.

Игнатий прикрыл глаза, соображая, подумал он или нет, и наконец выговорил:

— Нет, знаете, я темно выразился, но вполне понятно, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что всякий труд...

— Нужно всегда различать, — тихо, но властно перебил Каменский, кладя ладони на стол, — нужно всегда различать, что нужно и что не нужно в жизни; именно, как сказал Петр Алексеевич, надо знать, что нужно делать и чего не нужно делать.

Он мельком взглянул на Петра Алексеевича и продолжал:

— Да, именно так. Поэтому слово «всякий» очень часто не имеет ни значения, ни смысла. Всякий труд! Да вот ведь и обезьяна трудилась и ей стало жарко и скучно наконец.

— То есть, я не понимаю, про какую обезьяну вы говорите?

— А вот про ту, что катала чурбан. Помните басню? О труде надо думать серьезно и избирать надо тот труд, кото-

рый не ограничивается одним наименьшим напряжением мускулов. Труд жизни...

Игнатий заволновался еще больше.

— Вы думаете, кажется, что я не имею понятия о труде?

— О чьем труде?

— Вообще о труде... Я не меньше вашего работал и работаю...

— Я о вас пока не говорил.

— Но ведь это понятно!

— Я о вас не говорил. О вас я еще буду говорить.

Игнатий вспыхнул.

— Но ведь это, конечно, и от меня будет зависеть,— резко возразил он.— Личности тут ни при чем.

— Нет, именно при чем. И отчего нам не говорить друг о друге? Мы не должны учить других, когда еще не очистились сами, но мы должны быть братьями и помогать друг другу.

— Однако же вы говорите тоном именно поучения!

Каменский немного смутился, но тотчас же оправился.

— Я не поучаю,— сказал он серьезно,— я говорю только то, что мне кажется истиной, которую я уразумел сердцем. Я не насирую вас — это главное. И вы напрасно сердитесь на меня.

— Я нисколько не сержусь, я сказал только, что знаю, что такое труд, не хуже другого...

— По вашим рукам этого не видно.

— Если вы,— перебила Каменского Софья Марковна, и все оглянулись на нее,— если вы подразумеваете под трудом труд только физический, то я думаю, что ограничивать настолько труд, по меньшей мере, странно. Умственная жизнь человека нуждается в полном развитии и усовершенствовании.

— Илья? — спросил Пётр Алексеевич.— Справедливая это мысль? Правда, мы с тобой труженики и умственно развиваемся?

И с заигравшею в глазах злою улыбкой оглядел всю компанию, долил чай коньяком и выпил, как воду.

— Илюша! Что же ты? — добавил он, обращаясь к Подгаевскому.

Подгаевский, который шагал вокруг стола, оживился.

— Изволь! — сказал он, наливая и себе коньяку.— Но ты обратился ко мне с вопросом. Так я тебе скажу, мой милый, что мысль Софьи Марковны совершенно справедливая. И твоя обычная ирония тут ни при чем. «Оставь ее отжившим и нежившим!»

— Будто бы мы с тобой еще не отжили? — спросил Петр Алексеевич.

— Мы тени, мой милый! Но сущность наша и красота вечны! — сипло вскрикнул Подгаевский.

Петр Алексеевич дослушал его и спокойно выговорил:

— Вот и врешь! И мы с тобой, к сожалению, не тени, и красота не вечна. Например, вот мамаша была очень красива, а теперь только старая карга.

Поднялся общий смех и говор.

— Виноват!..— говорил Каменский с блестящими глазами.

## IX

— Виноват, я не договорил,— повторил он.— Я вас перебыю на минуту,— продолжал он только для того, чтобы вдуматься в то, что хотел сказать, так как намеревался говорить долго.— Я хотел ответить вам, Софья Марковна... Оставим на минуту труд в стороне, нужно сперва говорить о жизни... И вот я думаю так: жизнь человека должна быть направлена прежде всего к раскрытию и познанию...

— К раскрытию чего?

— К раскрытию того, что нужно и важно для человека, к развитию его добрых чувств, чтобы он мог любовно и радостно исполнять свое назначение на земле и волю пославшего его...

— Пославшего его,— повторил Игнатий.— Кто же этот пославший?

— А это называйте, как хотите — Роману, Вишну, Фта... Дух Жизни, одним словом.

— Дух Жизни! Что такое Дух Жизни?

— А вам что — хочется решить его, как уравнение?

— Нисколько, это уравнение, состоящее из всех неизвестных, следовательно, я и пытаюсь не буду решать такое уравнение... Да это и не уравнение будет.

Петр Алексеевич насмешливо кивнул на Игнатия.

— Игнатий-то! — сказал он.— Как уравнению-то обрадовался!

— Дай мне, пожалуйста, говорить! — воскликнул Игнатий с злобой.— Так я говорю: это для меня только звук, и я не знаю, что он значит...

— Дело не в звуке...

— Так позволите: что же такое Дух Жизни?

— Дух Жизни?.. «Свет, и нет в нем никакой тьмы» — вот вам одно определение. Добро, любовь — вот вам другое.

— А почему я должен поклоняться добру? — вмешался Подгаевский, внезапно останавливаясь против Каменского.

— В самом деле,— подхватил Игнатий,— почему?

— Да зачем вы ставите эти вопросы? Вы следуйте веленьям своего сердца, в котором заключены добро и любовь.

— А если у меня не заключено ничего подобного?

— Это неправда. Еще Тертуллиан сказал, что душа христианка.

Игнатий заморгал, развел руками, поднял плечи:

— Да что же это за доказательство! — воскликнул он насмешливо и басом. — Добро, Любовь... А если я не верю Тертуллиану вашему, и моя башка, мой мозг...

Каменский нахмурился и повторил уже назло:

— Да, еще Тертуллиан сказал. А царь Давид вот что: «и рече безумец в сердце своем — несть бога!»

— Не следует, я думаю, забывать того, что Давид совмещал в себе массу достоинств, но еще более недостатков, — перебила Софья Марковна.

— Господа, позвольте! — закричал Игнатий. — Мы уклонились, так нельзя...

— Вы же не дали мне договорить, — сказал Каменский.

Лицо у него покраснелось, руки нервно гладили скатерть.

— Ну, продолжайте, продолжайте, пожалуйста!

Каменский подумал и опять заговорил размеренно:

— Я говорил: человек должен уяснить себе, для чего он живет...

— Виноват, — снова не выдержал Игнатий, — одно слово... Как это уяснить, для чего я живу? Я могу сказать, для чего я сегодня в город ездил...

— Да, вот именно так, — подтвердил Каменский, — именно, надо уяснить себе цель жизни так же, как цель поездки в город. И вот: есть жизнь телесная и плотская и есть жизнь духовная и душевная. Жизнь телесная...

— Ну, это уже начинается метафизика какая-то! — воскликнула Софья Марковна.

— Позвольте, — начал Игнатий.

— Виноват, — заговорил и агроном, хотевший примирить и успокоить всех.

А Петр Алексеевич выговорил громче всех:

— Мы вот с Илюшей живем плотской жизнью!

— Метафизика — родня поэзии! Я стою за метафизику! — почти закричал Подгаевский. — Вы говорите: труд; но прогресс движется не трудом, а творчеством!

— Это, положим, вздор! — добавила Софья Марковна. — Возьмите Липперта...

Каменский почувствовал, что здесь нельзя говорить. Но то, что ему хотелось сказать этим людям, которые кричат только от скуки, волновало его, и он поднялся со стула. Встал и Игнатий.

— Что же вы сотворили? — почти строго спрашивал Камен-



ский.— Что? Я скажу вам, что вы сотворили: рабовладельчество, проституцию...

— А что вы так против проституции? — вмешался Петр Алексеевич уже с явной насмешкой.— Вот Илья иначе думает.

Каменский пристально посмотрел на Петра Алексеевича, но тот сделал мутные глаза и отвернулся.

— При современных условиях это необходимо учреждение! — уже кричал Подгаевский.

— Позвольте... Что же, современные условия хороши?

— Нет, вы позвольте!

Лицо Подгаевского исказилось, глаза бегали; то, что у него не было двух верхних зубов, еще более делало его некрасивым.

— Нет, дайте же мне договорить! — пробовал как можно спокойнее возражать Каменский.— Вы сказали именно то, что нужно: вы сказали как человек, который на вопрос: почему он едет так плохо и тихо, ответил, что у него сломана ось. Остановись же, — сказали ему, — почини ее.

— Позвольте-с, — заговорил Бернгардт сумрачно, приближаясь к Каменскому, — современные условия зависят не от одного человека. Это не телега, в которой едет благодушный мечтатель и единственный обладатель ее, это — наполненный народом дилижанс. И починка зависит не от единичной воли... Конечно, можно и пренебречь сломанным экипажем, встать, махнуть рукой и отправиться пешечком; только это и нечестно и навряд хорошо для отправившегося пешечком...

— Да, — горячо подхватил Каменский, — если дилижанс плох, нужно его оставить и не тащиться в нем или не сваливать все на других, на «обстоятельства»... И во всяком случае починка делается не злобой, а единением и любовью!

— А может быть, сопротивлением злу? — перебил Бернгардт и резко захохотал.

Вдруг Петр Алексеевич поднялся.

— Мамаша! — воскликнул он.— Это наконец подло с вашей стороны! Вы меня все равно не приучите к духовной жизни, я не обедал сегодня!

— Господа, перейдемте в столовую, — обратилась Наталья Борисовна к окружающим.

Гриша поднялся и скрылся в своей комнате.

Понемногу стали подыматься и остальные. Разговор оборвался, и по рассеянным взглядам было видно, что продолжение его и нежелательно.

Агроном сел за рояль и, одним пальцем аккомпанируя, вполголоса запел пролог из «Пяцев». Около него стояли Бобрицкий, Софья Марковна и Подгаевский; Подгаевский качивал головою и намеревался подтягивать. Петр Алексеевич

в ленивой позе сидел на диване; Бернгардт ходил из угла в угол: он не хотел даже серьезно говорить с Каменским, унижать себя. А Игнатий с Каменским незаметно вышли на балкон. Игнатия мало интересовала закуска, и он думал, что, пожалуй, вышло неловко это всеобщее нападение на Каменского. Спорить больше ему не хотелось, хотя он и был немного обижен, так как любил оставаться в горячих разговорах победителем. Он стоял против Каменского и машинально повторял:

— Да-а-с, батенька!

Лицо Каменского было строго и рассеянно. Облокотившись на перила балкона, он старался собрать мысли, так как твердо решил опять завести разговор.

А Марья Ивановна, полуосвещенная светом, падавшим из гостиной на балкон, глядела в сад и говорила тихо и восторженно:

— Как хорошо!

В саду было очень темно и тепло. Ночные неопределенные облака неподвижно дремали в темноте над садом. Дремотно где-то щелкал соловей, невнятно доносился аромат резеды с цветника у балкона...

## Х

Гриша сидел за ужином, мрачно покусывая ногти.

Когда собрались в столовую, произошла маленькая неловкость.

— How did you get acquainted with him?<sup>1</sup> — вдруг спросила профессорша Наталью Борисовну, указывая глазами на Каменского.

— Энгельса зашел попросить, — пробормотал Петр Алексеевич.

А Каменский мягко, но серьезно заметил:

— Я знаю английский язык, так что вы говорите лучше на каком-нибудь другом.

И когда Софья Марковна смешалась и покраснела, он добавил снисходительно:

— Да вы не конфузьтесь. Языки надо знать, это ведет людей к сближению. Ведь вся беда людей с древнейших времен и до этого вечера состоит в неумении и бессознательном нежелании общаться с людьми.

Он вызывал на беседу, и лицо его становилось все сосредоточеннее. Но кругом шел оживленный разговор о знакомых, об опере; занимал всех и ужин — молодые картошки с зеленью, бифштекс, вина... К ужину вышел и военный доктор, похожий

---

<sup>1</sup> Как вы познакомились с ним? (англ.)

на цыгана. Заспанный, добродушный, он все старался казаться трезвым и поэтому расшаркивался, подымал плечи и хриплым голосом говорил любезности дамам.

Тогда Каменский, обращаясь как будто к одному Игнатию, произнес целую речь. Голос его стал торжественным, глаза строгими и выразительными.

Он опять начал с того, что нужно в жизни. Современный человек, говорил он, отличается тем, что умеет становиться на всевозможные точки зрения и ни одной не признавать безусловно справедливой, ни одной не увлекаться сердечно. Жизнь стала слишком сложна, и сложная общественная организация парализует нашу волю и растягивает нас в разные стороны. Мы одурманили себя ненужными делами, мы загипнотизированы книгами и разучились говорить языком сердца. Мы слишком заняты, по словам Лаодзи и Амиеля, слишком много читаем пустого и бесплодного, когда надо стараться упрощать жизнь, стараться быть искренним, вникающим в свою душу, когда нужно отдаться богу, служить только ему, остальное же все приложится. Мы устали от вероучений, от научных гипотез о мире, устали от распрей за счастье личности, слишком много пролили крови, вырывая это счастье друг у друга, когда жизнь наша должна состоять в подавлении личных желаний и исполнении закона любви. Злоба — смерть, любовь — жизнь, говорил он. Жизнь только в жизни духа, а не в жизни тела. Плод же духа — любовь, радость, мир, милосердие, вера, кротость, воздержание... Это повторяли людям все великие учителя человечества, начиная с Будды...

— Ну, знаете, батенька, Будда был довольно-таки ограниченный субъект! — перебил Игнатий.

Каменский, не слушая, продолжал говорить. Он настаивал на том, что мы сами создаем себе миллионы терзаний только потому, что не хотим прислушаться к тому, что говорит нам сердце голосом любви, всепрощения и благоволения ко всему живущему; настаивал на том, что мы гибнем, развивая в себе зверские похоти, тысячи ненужных потребностей и желаний. «Желаете и не имеете; убиваете и завидуете и не можете достигнуть», — напомнил он слова апостола Иакова.

— Это все очень не ново! — слышались голоса. — Это все давно слышанное. К сожалению, не так просто все развязывается. И любить по закону нельзя. Странный рецепт: возьми да полюби!

Гриша терялся — с обеих сторон говорили правду!

Размахивая лапами сюртука, Подгаевский ходил по комнате и кричал над ухом Каменского:

— Я ска-жу вам словами такого же апостола, Павла: «Освободившись от греха, вы стали рабами праведности!»

— Лучше быть рабом праведности, чем похоти,— пробовал возражать Каменский.

Но Подгаевский был уже пьян. Пьян был и «Вася», который все наклонялся и что-то бормотал на ухо Петру Алексеичу, воображая, что говорит шопотом. А Петр Алексеич сидел с раскрасневшимся лицом и мутным взглядом.

Ах, что кому до нас,  
Когда праздничек у нас!—

запел он вдруг фальшиво и резко.

Дамы встали и начали прощаться. Поднялся и Каменский.

— Что же вы? — спросил Петр Алексеич.— Уже уходите? Напрасно! Давайте споем.

Каменский пожал плечами.

— Какой вы веселый! — сказал он, нахмуриваясь.

— Веселый! — повторил Петр Алексеич и вдруг прибавил с неприятной улыбкой: — Кстати о труде! Шкап-то скоро будет готов?

— В четверг принесу.

— После дождичка?

— А разве в четверг будет дождь?

— Да вот Брюс пишет — будет.

— Я в Брюса, к сожалению, не верю. До свидания!

— Жаль! А закусить разве не хотите? Ведь хочется, небось?

Каменский посмотрел на него долгим взглядом, пожал округляющим руки и пошел из дома через балкон.

Петр Алексеич поднялся.

— Николка! — крикнул он на весь дом.

И когда вбежал лакей, прибавил:

— Лошадей нам! Вася, Илюша — в «Добро пожаловать!»  
Едем!

— Петр Алексеич, — сказала Наталья Борисовна, — я тебя прошу, не езд!

— Мамаша! Оставьте! Стыдно при чужих людях...

Ах, что кому до нас,—

запел он снова, обнял доктора и Подгаевского и пошел в кабинет...

Дом опустел. Было слышно, как в столовой убирали посуду. Гриша сидел в своей комнате у открытого окна, стиснув зубы.

— В наше время таких бы не слушали, — со злобой говорил на балконе Бернгардт.

— Вы и теперь не слушаете, — отвечал злобно и Каменский.

— Мы жизнью жертвовали!

— Однако вы живы.

— Не каламбурьте! Вы увлекаете общество от полезной и честной работы в свою келью под елью.

— Это что же вы называете работой? Неужели эта дача похожа на рабочий дом?

— Я не про эту дачу говорю. Вы не ехидничайте. Любовь!.. А ведь у вас злорада кипит, вы сами просите борьбы... Вы, например, меня ненавидите сейчас.

— Поверьте мне, как брату,— горячо возразил Каменский,— у меня никакой нет злобы против вас. Запомните слова Паскаля: «Есть три рода людей: одни те, которые, найдя бога, служат ему, другие, которые заняты исканием его, и третьи, которые, не найдя его, все-таки не ищут его»...

— Опять тексты!

— Да, тексты! — повторил Каменский снова с сердцем...

— Покойной ночи! — слышался немного погодя голос Игнатия.

— Прощайте! — ответил грустно и важно Каменский.

## XI

На заре Гришу разбудили удары грома. Он открыл глаза.

День был серый и дождливый. От надвигающихся туч в комнате темнело; в сумраке мелькал красноватый отблеск молнии, после чего начинался где-то вверху смутный рокот. Он приближался тяжкими раскатами, так что дрожали стекла, и вдруг разражался треском и резкими ударами над самой крышей дома... И начинал сыпать дождь, сначала осторожно, потом все шире и шире, и затихший сад, густые чащи сочной зелени у раскрытых окон стояли не шелхнувшись, насыщаясь влагою. Тяжелый запах цветущих тополей наполнял сырой воздух.

Гриша хотел уже вставать, как в столовой слышались тяжелые шаги Петра Алексеевича. Он что-то невнятно приказывал лакею, который звенел ключами, отворяя шкаф.

— Гриша! — раздался вдруг его голос в гостиной.

Гриша не ответил.

Петр Алексеевич подошел к порогу и раздвинул портьеры. Он был в шляпе и крылатке, которая сползла у него с плеч.

— Ты спишь? — спросил он.

— Нет,— ответил Гриша и нахмурился.— А что?

— Да так... Я, знаешь, хотел спросить кое-что...

— Именно?

— Именно... Гм!.. Ну, да все равно... Я хотел тебе сказать вот что: не замечал ли ты, что свинья одно из самых иронических животных?.. Это, во-первых...

Язык Петра Алексеевича заплетался.

— Во-вторых, я зашел к тебе на минутку...— продолжал он медленно.— Я хотел тебе передать, что встретил сейчас Каменского... В город, брат, уже прет!.. И знаешь, что он мне сказал? Он сказал, что я — новая интеллигенция, так называемая «честная», но со всеми признаками самого обыкновенного буржуа, то есть настоящей свиньи... И что будто это порождение последних дней... Это недурно! А главное, изречение!

И тоном Каменского Петр Алексеевич прибавил:

— «Ибо ради вас имя божие хулится у язычников!..» Как тебе это нравится?

Гриша молчал.

— Молчишь? — опять заговорил Петр Алексеевич.— Молчи, брат! Только знаешь что? Ты о себе подумай... подумай и лучше застрелись, если ничего не выдумаешь... Непременно застрелись, если не станешь ничем иным, как иронизирующей свиньей!

Дождь лил, ровно и однообразно шумя по траве и деревьям. Мягкими переливами звучал под дождем голос иволги.

Гриша лежал на кровати и зло, загадочно улыбался...

## ВЕЛГА

Слышишь, как жалобно кричит чайка над шумящим, взволнованным морем?

В туманной дали, на западе, теряются его темные воды; в туманную даль, на север, уходит каменистый берег. Холодно и ветрено. Глухой шум зыби, то ослабевая, то усиливаясь, — точно ропот соснового бора, когда по его вершинам идет и разрастается буря, — глубокими и величавыми вздохами разносится вместе с криками чайки... Видишь, как бесприютно вьется она в тусклом осеннем тумане, качаясь по холодному ветру на упругих крыльях? — Это к непогоде.

День с самого утра хмурится. Здесь, на этом неприветливом северном море, на его пустынных островах и побережьях, круглый год ненастье. Теперь же осень, а север еще печальнее осенью. Море угрюмо вздулось и становится темноржавного цвета. Издали необозримая равнина его кажется выше берега, она уходит в туманный простор на запад, а ветер все быстрее гонит с запада волны и далеко разносит крик чайки.

— Кри-э! — жалобно и пронзительно звучит по ветру.

Утром она беспокойно и криво летала над самым прибоем. Море непрерывно крутящимися валами окаймляло берег. Здесь оно, налетая на него с грохотом и шумом, рыло под собою гравий, там, как кипящий снег, рассыпалось с шипеньем и широко взлизывалось на берег, но тотчас же скользило, как стекло, назад, подпирая собою новый крутящийся вал, а вдали расшибалось о камни и высоко взвивалось в воздух. И далеко гудел берег от прибоя... Чайка с криком бросалась между волнами, плавно скользя по воде в их ухабы, выносилась на новой волне до высокого гребня и взлетала вся в брызгах и пене. Ветер вольно носил ее низко над морем.

Но потом она словно устала. Надвигается ненастный вечер, и бессильно качается чайка по ветру, все дальше уходит, белея в тумане, от берега в море... Слышишь, как жалобно раздаются ее радостные стелания?

Вон она уже еле-еле виднеется в сумраке. Быстро спускается темная бурная ночь; чаще и чаще мелькают в море седые космы пены. Шум прибоя растет, ледяной ветер вздымает и бешено срывает волны, разнося по воздуху брызги и резкий запах моря.

— Кри-э!..— доносится откуда-то издалека, снизу.

Слушай, я расскажу тебе, под шум бушующего северного моря, старую северную легенду.

## I

Было это давно, в незапамятное время.

У холодного северного моря жила молодая и сильная Велга. На закат были воды, на восток — песчаный берег, близко к селению сходящийся с небом. Что было там, к востоку, Велга не знала и не хотела знать. Она никогда не ходила к востоку. Не ходил и отец ее, не ходила и мать, не ходила и старшая сестра, Снеггар. Они знали только море.

Возле моря прошло детство Велги. Быстро прошло оно, и весело было ей в детстве! Зимой, когда море только под самым краем неба чернело волнами, а у берегов было покрыто белым снегом, Велга спала в мягком гагачьем пуху и, просыпаясь, видела перед собой живой свет очага среди темной и низкой хижины. Летом, когда светит солнце, дует теплый ветер и вода легко плещется в море, Велга искала на песках яички зуйков и плавунчиков, или бегала к прибюю, ложилась ничком на берег, а волны с шумом обдавали ее... Так забавлялась она летом, и всегда с Велгой были Ирвальд и Снеггар.

Толстая Снеггар часто смеялась и пела, да не умела она так звонко кричать и так смело кидаться в шумящее море, как Велга. Но Ирвальд умел, и раз Велга сказала ему:

— Отчего ты не брат мне, Ирвальд? Отчего у меня нет брата, которого я любила бы так, как тебя, Ирвальд? Я бы не скучала без тебя долгую зиму.

Он взглянул на нее, улыбнулся и вдруг кинулся к морю.

— Смотри, смотри: гагара! — закричал он ей.

И они, как ветер, гнались друг за другом, убежали туда, где в прибрежных пещерах звонко раздается голос, где у берега громоздятся высокие скалы, а тяжелая вода с шумом поднимается и скользит между ними, шипит и кипит, опускаясь,



и с журчаньем, струями сливается с плоского камня. Там дразнили они волны, близко подбегая к ним...

Зачем так быстро прошло детство Велги?

Все нетерпеливее проводила она долгие зимы в хижине, занесенной снегом. Стало ей четырнадцать лет, а Ирвальду — шестнадцать, и часто уходил он теперь за рыбой в море. Но зато как радовалась Велга, когда Ирвальд возвращался!

— Милый Ирвальд,— говорила она ему,— мне хочется плакать, что так долго тебя не было, и хочется смеяться, что я опять вижу тебя!

Но уж выросла и Снеггар большая. Ирвальд забывать стал о Велге. Он часто сидел возле Снеггар и глядел в ее веселое лицо. А Велга издали следила за ними. Не хотелось ей при сестре разговаривать с Ирвальдом. Но, когда он уходил по берегу к своему дому, Велга догоняла его и провожала до самого порога.

— Милый Ирвальд,— говорила она ему,— зачем ты так долго сидел возле Снеггар? Зачем горе мешает моей радости?

И стала Велга петь на берегу моря звонкие песни сквозь слезы. А когда с ней встречались подруги, она замолкала, и лицо ее становилось сурово и гордо.

## II

Хижина отца Велги стояла вдалеке от рыбацкого селенья, на каменистом побережье, засыпанном жесткими песками, и в часы прилива море добегало до ее порога.

Если же прилив был в бурю, то оно хлестало даже в окна, затянутые кишками гагары. Тогда Снеггар обрывала песню, бросала в испуге работу и уходила от окон. Старая мать Велги бормотала заклятия и с тревогой прислушивалась к завыванию ветра. Но сама Велга не боялась бури. Она вместе с отцом выходила на мокрый порог хижины, скатывала на ветру сети, а потом вбегала в воду, и холодная вода, поднимаясь и опускаясь, обнимала и мыла ее босые ноги, обдавая их шипящею, серою пеной и опутывая мокрыми бледнозелеными травами. Велга разрывала их ногами и вдыхала сильной грудью свежий, влажный ветер, поднимала навстречу ему голову, а ветер трепал ее русые волосы. Так стояла она, молодая и стройная, и лицо ее было смело, бирюзовые глаза зорко глядели вдаль. Но только птицы св. Петра носились там крикливыми стаями и по воде взбегали, распутив крылышки, на самые высокие гребни взметывающихся и рассыпающихся водяных бугров.

Девушки стали называть Велгу печальнойю и злою, потому что никогда не смеялась Велга и не пела с сестрой за работой. Но никогда до пятнадцати лет не бывала Велга печальнойю и злою. Сердце ее было отважно, как у молодой птицы, и радовалась Велга на бури и море, на солнце и землю, на свою девичью свободу. Только без Ирвальда грустила она: сильно хотелось ей рассказать ему, как хорошо жить на свете.

Ирвальд давно был в море. Утомилась Велга ходить по прибрежью и следить за волнами: хотелось ей крикнуть через море, что утомилась она ожидать Ирвальда, что нельзя ему любить Снеггар, если Велга не может жить без него.

А когда подул теплый ветер с заката и стало опускаться к морю солнце, Велга пришла к сестре и сказала ей:

— Милая Снеггар, хочешь, я расскажу тебе, как ласков летний ветер, как легко пахнет море водой и как мне грустно без Ирвальда?

— Не хочу,— отвечала Снеггар, праздно и спокойно сидя у порога.

Велга ушла от нее, села на берегу и долго слушала, как плещется теплая вода в сумерках. Слезы, как теплая вода, падали на ее руки.

Увидав Ирвальда, она вскрикнула, а он засмеялся и приказал ей носить из лодки рыбу и сети на берег. Она послушно и долго трудилась с ним, а когда стал подниматься над морем большой бледный месяц, она утомилась, села в пустую лодку и вздохнула ночным ветром.

— Ирвальд,— сказала она,— я ждала тебя — и беспокойно билось и томилось мое сердце. Но когда ты приехал, так легко стало мне!

А Ирвальд сидел, глядел на месяц. Стыдно стало Велге, что он не ответил ей, и она, опустив глаза, спросила его тихо:

— Ты слышал мои слова, Ирвальд?

— Да,— сказал Ирвальд.

И тогда совсем низко наклонила Велга голову и проговорила:

— Возьми меня в свой дом, Ирвальд! Я буду ходить с тобой в море, буду петь тебе песни и работать с тобой. Так сладко жить на свете с тобой!

— Мы никогда не будем жить с тобой,— твердо ответил ей Ирвальд.— Завтра я опять уйду в море, а когда вернусь, возьму за руку Снеггар. Вместе проведем мы зиму, а летом уплывем, как две гагары.

— А я? — медленно сказала Велга и почувствовала, как тяжело застучало ее сердце.— Я останусь одна? — громко сказала Велга.

— Да,— ответил Ирвальд.

Тогда Велга быстро прыгнула на берег и быстро пошла по берегу. И когда далеко ушла, кинулась на серый камень и закричала месяцу, что ей больно в сердце, и зарыдала, и упала на камень.

### III

Слышишь, как дико завывает ветер во мраке? Неприветливо северное море!

Осень наступила наутро, и зашумели в тусклом тумане отяжелевшие волны. И когда пахнуло на Велгу холодным ветром, вскочила она и бросилась в воду. Но волна поднялась и далеко отшвырнула ее на берег.

— Море не хочет, чтобы я умерла,— сказала себе Велга.— Прежде я должна убить Ирвальда.

И молча возвратилась она домой. Высохли на щеках ее слезы, и спокойно было ее суровое лицо, но темно на сердце.

— Снеггар,— сказала она сестре,— уехал Ирвальд?

— Да,— отвечала Снеггар.

— Когда вернется он? — спросила Велга.

— Когда начнет падать мокрый снег и потемнеет море,— отвечала Снеггар.

Тогда Велга съела рыбы и ушла на порог хижины. Там села она на ветру и просидела весь день, скорбно сдвинув брови. На ночь она вернулась под кровлю, а утром опять вышла за двери, ожидая Ирвальда. И так проводила она дни и ночи, пока не пошел первый, мокрый снег.

«Скоро вернется Ирвальд,— думала Велга, и сладостная горечь обиды томительно вливалась в ее сердце.— Я убью его, а потом и сама успокоюсь в могиле».

Но Ирвальд не возвращался. Уж надвигались сумерки, и все чаще стала Велга подниматься с порога и, стоя, напряженно глядеть в море. И в сумерках из хижины вышел старый отец Велги. Ветер развеивал его длинные седые волосы.

— Велга, дитя мое,— сказал он ласково,— отчего ты покинула родной дом? Вот поднимается зловещая ночная буря, перед которой неутешно тоскует сердце человека. Помоги мне укрепить подпорками стены, положить камней на кровлю из кожи тюленей, и укроюсь под кровлю от непогоды и ночи.

От нежных слов дрогнуло сердце Велги жалостью к самой себе, к отцу и к Ирвальду. Она поспешно стала помогать в работе. Ветер валил их с ног и застилал весь воздух водяною пылью, словно в море бушевала вьюга. В самые окна хлестали волны косматой пеной, и в испуге поспешила Велга под кровлю.

Там, в темноте ночи, вдруг вспомнила она, как много лет тому назад, когда Ирвальд был еще ребенком, он остался ночевать в их хижине. Он был в эту ночь ее гостем, и она сама постлала ему постель и поцеловала его, по обычаю гостеприимства, перед сном. Она вспомнила милое ей лицо его, и еще больше овладели ее сердцем жалость и любовь к нему. Тогда она, забыв, что хотела убить его, быстро встала с ложа и в тревоге стала слушать. Ей чудились в шуме ветра его крики, и всю ночь трепетала она от страха и, обессиленная, забылась сном лишь под утро.

Море же стало стихать; в воздухе повеяло дыханием зимнего мороза. И когда Велга проснулась и отворила на дневной свет дверь дома, навстречу ей переступила порог Снеггар.

— Велга! — сказала она. — Буря унесла Ирвальда на дикие острова Ледяного моря и разбила его лодку. Он один теперь в море и ждет смерти от холода, голода и толстых клювов морских птиц.

— Кто сказал тебе? — крикнула Велга.

— Я была у вещи Чарны, и она гадала мне на кишках гагары, — отвечала Снеггар и, закрыв лицо руками, стала плакать.

— Снеггар... — нежно хотела проговорить Велга.

Но брови ее сурово сдвинулись, и она сильной рукой распахнула дверь дома.

#### IV

Она быстро пошла по побережью на север. В холодный темный вечер вступила она в хижину Чарны, теплую от костра, пылающего красным пламенем.

— Научи меня, о, вещая! — воскликнула она перед Чарной. — Укажи путь к Ирвальду!

— Поспеш! — сказала Чарна. — Два дня и две ночи надо плыть к Ирвальду. Не поспеешь к рассвету третьего дня, — он погибнет. Но скажи мне, Велга, слышала ли ты о пустынях Ледяного моря, где так же дико и печально, как в первые дни мира?

Как пойманная рыба, затрепетало сердце Велги.

— Пожалей меня, Чарна, — отвечала она. — Горько мне расстаться с жизнью. Но, если так надо, скажи: что будет со мной?

— Два дня и две ночи проведешь ты в тоске и страхе среди моря, — сказала Чарна. — А когда ступишь на остров, где томится Ирвальд, обратишься ты в чайку, и не узнает он, для кого ты погибла.

Как первый снег, побледнела Велга, но глаза ее сверкнули радостью, и она отвечала Чарне:

— Я иду, Чарна!

— Поспеши,— сказала Чарна.

Против ветра, по мокрому песку побережья побежала Велга к шумящему, темному морю. Хотелось ей крикнуть: «прости» сестре, отцу и матери, но беспокойно билась у берега лодка на волнах, и быстро прыгнула в нее Велга. На закат, где едва светила кровавая полоса зари, направила она лодку и стояла, качаясь на волнах, и слезы горели на ее глазах, а ветер развевал в темноте ее белую одежду и дул в лицо с Ледяного моря.

## V

На рассвете увидела она себя окруженной бледным морем у песчаного пустынного острова. Никого не было на том острове. Только вода взбегала на его песок и белела пеной. «Водяные пастушки» на высоких и тонких ногах бегали у прибой и искали среди раковин пищи. Но и «водяных пастушков» было мало. На зиму улетают они к берегам, где дуют теплые ветры.

А Ледяное море уже начиналось. Целый день плыла Велга и вступила в те безграничные воды, что уходят на край света и сливаются с небом. Все тяжелее стучали волны в дно лодки, потому что уже нет земли под теми волнами. Дикие северные птицы живут в тех морях, вдали от людей, на скалистых островах. Они сильны и одеты плотным пухом; они всю зиму могут плавать среди льдов и глубоко ныряют в ледяную воду. Тысячи их гнездились на островах, и каждый остров, как снегом, белел птицами. Там были гнезда на уединенных утесах и в норах, под утесами. И в сумерках проплыла Велга мимо самого большого острова.

Он весь, сверху донизу, был покрыт, как серою корой, засыхающим пометом птиц, их перьями и пухом. Птицы длинными рядами сидели на всех уступах скал. Внизу гнездились те, что были поменьше, наверху стояли и дремали самые большие и прожорливые, с белыми животами и черными спинами, с толстыми шеями и маленькими головами, с блестящими глазами в кольцах белого пуха и с огромными уродливыми клювами, с крепкими грубыми лапами и короткими руками без пальцев. Птицы громко разговаривали, а как только наступили сумерки и Велга, обессиленная борьбой с морозным ветром, причалила к берегу на отдых, тысячи их поднялись с шумом над нею, а самые большие загоготали и заревели дико и радостно, стараясь перекричать друг друга... И как снег побледнела Велга, собрала последние силы и опять прыгнула в лодку.

И к вечеру последнего дня показался среди пасмурного тумана высокий и дикий утес на краю света, тот, до которого до-

ходили только могучие викинги и вбили в него железные кольца, чтобы привязывать лодки. Яростный шум и гул бурунов сливался там с тысячеголосыми криками хищных птиц, кружившихся в тумане. А Ирвальд лежал у прибоя, обессиленный предсмертным сном от холода и голода. Он был бледен, как морская пена, и в кудрях его был мокрый песок.

— Ирвальд! — крикнула Велга страстно и звонко.

От голоса ее мгновенно очнулся Ирвальд. Хотела Велга крикнуть ему, что она любит его, как в детстве, но не коснулись ее ноги земли, когда она прыгнула с лодки на берег: в воздухе повисла она крылатою белою чайкой, и крик ее раздался жалобно-радостным криком чайки над Ирвальдом. Он мгновенно очнулся от крика, — голос друга коснулся его сердца, — но, взглянув, он увидел лишь чайку, взлетевшую с криком над лодкой...

Он уплыл на восток. Она долго вилась над водой, провожая Ирвальда. А когда он сокрылся вдали, закачалась она бесприютною чайкой по ветру. Так тоскует она и донныне, вспоминая утесы в тумане, где когда-то томился Ирвальд. Но в стеланьях ее звучит радость.

## БЕЗ РОДУ-ПЛЕМЕНИ

### I

С вечера я спал крепко, потому что слишком измучился за день, но потом мне стало сниться, что я иду по каким-то станционным дворам и запасным путям, среди паровозов и вагонов, ищу мужа Зины и хочу непременно убедить его, что я вовсе не враг ему. Я любил Зину, но теперь не думаю о себе, желаю только ее счастья. Казалось даже, что я говорил ему это, но он все уходил от меня и я плохо его видел, а моя нежность к Зине возрастала, все кругом темнело, странно вытягиваясь коридором, и вот этот коридор — слабо освещенный, насквозь видный ряд вагонов — уже бежит, дрожа подо мною, и какая-то красивая девушка, перебивая мои слова веселым шопотом, зовет и уводит меня за руку все дальше по узкому коридору поезда. Я едва поспеваю за нею, в поезде темнеет, вагоны бегут, увлекающая меня за собою, — падают все ниже и ниже, точно сама земля падает под ними, и радость, страсть и отчаяние достигают во мне такого напряжения, что я делаю усилие крикнуть — и просыпаюсь.

Так начался этот день. Очнувшись, я долго и тупо глядел на стену, изумленный спокойным видом комнаты. Давно день, ставни открыты, и на часах — половина десятого... Боже, какой тяжелый вздор снился мне! И что это напоминает он неприятное и как будто неестественное? Ах, да! Зина повенчалась вчера с Богаутом...

Вот теперь я уж твердо верю в это. Правда, я ждал этого — и все-таки продолжал ходить к Соймоновым. И вдруг однажды вечером — темнота и тишина во всем доме; старик Соймонов один сидит в темном кабинете, усиленно курит, задыхаясь более

обыкновенного, и говорит мне, как только я появляюсь на пороге, неестественно равнодушно:

— А Катерина Семеновна с Зиной по лавкам поехали.

И, попыхтев, продолжает иронически:

— Великое переселение народов, что называется... К семейному торжеству готовимся... Нынче, знаете, весьма скоропалительно выходят эти истории!

Он хочет смягчить свои слова иронией, но я понимаю его и стараюсь только об одном — получше попадать ему в тон, чтобы поскорее и поприличнее уйти.

И я ушел, пришибленный, точно выгнанный из дому. Чтобы заглушить чувство боли, я усиленно развивал в себе злобу, презрение к этим свадебным приготовлениям. Я бродил по городу и, когда однажды встретил жениха, проехавшего с какими-то картонками в коляске, остановился и расхохотался. Катается на чужих лошадях и доволен! Как домой, является в чужую семью, где портнихи и белошвейки завалили все комнаты материями и выкройками!.. А потом будут сумерки, освещенная церковь, суета около паперти... Подкатывают кареты, и щеголь-пристав горячится, чтобы сохранить порядок в этой церемонии... И церемония совершается в образцовом порядке!

Но даже попытки злиться не удавались мне. Я ходил на службу, и тоска, боль дурманили мне голову. А тут еще Елена! Она одинока, измучена беганьем по урокам, бросила семью и живет впроголодь; но зато у нее есть цели и надежды, мечты о курсах, о науке, о работе для общества. У меня нет пока никаких целей, и вольно же ей было мечтать увлечь и меня за собою! Всегда резко-бодрая, она изменилась за последнее время. То грустно-ласкова со мной, то хмурится, точно ей больно. А когда я заявил ей третьего дня о своем отъезде, она вспыхнула, взглянула на меня изумленными глазами, потом неловко и кротко улыбнулась и, едва выговорив: «до свидания», — ушла... Я рассеянно посмотрел ей вслед.

Но вот эти сумерки наступили, и я очнулся. Я минута за минутой пережил в воображении все, что должно происходить в церкви, и жгучая злоба, ревность разрывали мне сердце. Я плакал и кого-то умолял сжалиться надо мною. Если бы вошла она в эту минуту! Я обезумел бы от счастья, целовал бы ее ноги! Иногда я порывался бежать к ней и у нее искать спасения от моей скорби. Но она-то и мучила меня. Выхода не было, и я метался по своей комнате... Потом острая боль стала замирать. Совсем стемнело; затихающий гул соборного колокола медленно и ровно раскачивался над городом. Я знал, что все уже кончилось там, в церкви. Острую боль заменила тупая, скучная, и я крепко заснул.



Вот опять день, но мне теперь легче. То, что снилось, так странно слилось со всем пережитым за последнее время. Надо встать, собраться и куда-нибудь уехать...

## II

Я долго мылся холодной водой, потом, не спеша, стал одеваться, что-то обдумывая. За стеной малороссийской скороговоркой ругала кухарку хозяйка. Мимо окна мягко прокатили по немощеной мостовой извозчик; стуча сапогами по деревянному тротуару, прошли два семинариста. Мне бы тоже давно пора идти — на службу, но я уже давно бросил думать о службе.

— Вы ж, паньчу, справди уедете сёгодня? — спросила Одарка, входя в комнату с кипящим самоваром в руках.

— Что? — машинально проговорил я и, помню, долго глядел на нее без ответа. «Да, — думал я, — Зина уедет сегодня с мужем в Крым. Значит, мне тоже надо уехать отсюда».

— Непременно уеду, — ответил я твердо. — Непременно.

И, как только Одарка скрылась, заварил чаю и несколько раз прошелся из угла в угол, оглядывая, с чего начать сборы в дорогу. Но вдруг дверь снова распахнулась: почтальон!

Я быстро схватил письмо — и мгновенно разочаровался. «Пожалуйста, не уходи никуда завтра. Мне нужно серьезно поговорить с тобой. Елена». «Какое бабье письмо!» — подумал я со злобой. Не уходи, серьезно поговорить! Что я могу сказать ей? Взволнованный, я кинул письмо на стол и опустился в кресло.

День облачный, ветренный — стоит уже конец сентября — и ветер пронсит по улице пыль и листья. В открытую форточку долетает тревожный шум тополей. Улица, где я так однообразно провел почти два года, безлюдная, тихая и вся в деревьях. Деревья на бульваре и около тротуаров — старые и развесистые. Теперь они шумят сухой листвою; ветер гонит облака пыли и качает их из стороны в сторону... А пять месяцев тому назад, в теплые апрельские дни, они кудрявились нежной, мелкой зеленью, голубое небо сияло между их вершинами, и я бродил под ними по мягкой, влажной земле, чему-то радуясь!

Пять месяцев... И мне хочется твердо и определенно сказать себе, что я очень глупо провел эти пять месяцев. Убедить себя в этом мне тем легче, что я не только не люблю Зины теперь, но даже со стыдом вспоминаю все, что говорил ей.

В марте образовался у нас «музыкально-драматический кружок», и я сам написал об этом событии корреспонденцию в «Летопись Юга». Корреспонденции увеличивают мое жалование в земской управе рублей на восемь, на десять в месяц,

и я аккуратно сообщаю в «Летопись» обо всех выдающихся городских событиях. С кривой улыбкой я пишу газетным жаргоном о положении народной столовой и чайной, о полковых праздниках и дамском благотворительном кружке, о доме трудолюбия, где бедные старики и старухи, измученные и обездоленные жизнью, обречены под конец этой жизни выполнять идиотскую работу — трепать, например, мочало... Пишу о том, что сельскохозяйственное общество «заслушало» и «передало в комиссию» чрезвычайно любопытный доклад под заглавием: «К вопросу об урегулировании свиноводства», и тут же добавляю, что «нельзя не отметить и другого отрадного факта: в среде местного интеллигентного общества, по инициативе супруги начальника губернии, возникла благая мысль организовать в нашем богоспасаемом городке кружок с целью проведения в жизнь и доставления публике здоровых и разумных развлечений...» С той же улыбкой я отправился и в дворянский клуб, на один из вечеров «кружка», в качестве скрипача, участвующего в концерте.

Утомленный однообразной зимней жизнью — службой, обедами в кухмистерской и скучными вечерами в своей студенческой комнатке, где всегда пахнет дешевым глицериновым мылом и где вся мебель состоит из стола, кровати, двух-трех стульев и плетеной корзины, — я был возбужден клубом. Я был доволен, что меня знакомят с семьями вице-губернатора и председателя суда, с чиновниками особых поручений и с богатым молодым помещиком Вечесловом, который так хорошо играет в любительских спектаклях... Все они такие свежие, бодрые и все хотят незаметно обласкасть тебя... В клубе — светло, просторно, зеркала, бархатная мебель, пахнет дорогим табаком и оживленно идет говор. А главное, я не чувствую себя лишним на этот раз: я сыграл, как настоящий скрипач, одну вещь грустную, нежную, похожую на колыбельную песенку, а другую — бойкую, в темпе мазурки, с резкими ударами смычка, — исполнил все, что полагается, и был одобрен... Вот тут-то и состоялось мое знакомство с Соимоновыми.

Все они мне понравились: и сам доктор, пожилой человек, похожий на помещика, с одышкой, и его жена, болтливая, молодящаяся дама, и ее падчерица, Зина, высокая девушка с темносиними глазами и длинными ресницами.

— Зиночка, матушка! Что это ты сидишь такая сонная? — сказал Александр Данилыч, подводя меня к дочери. — Я вот тебе еще жениха привел. Сергей Николаевич Ветвицкий.

— Ну, садитесь и рассказывайте, — проговорила Зина. Она улыбнулась и подняла ресницы, но только на мгновение перевела глаза на меня, а потом снова стала равнодушно глядеть в сторону, сидя прямо и машинально играя веером.

Я спросил:

— С чего начать прикажете?

— В качестве жениха — с того, кто вы такой, откуда? «Имя, родина, родные?»

— Зовусь Магометом я, — сказал я с шутливой грустью.

— Полюбив, мы умираем? — добавила Зина. Потом пристально и задумчиво посмотрела на меня.

— Вы не декадент? — спросила она.

— Почему? — ответил я, невольно смущаясь от ее взгляда.

— Да так... про вас ходят слухи, что вы нелюдим, гордец... потом у вас такое лицо...

— Какое? — спросил я живо.

— Больное, — ответила Зина, подумав. — Вы больны?

Я посмотрел на ее глаза и губы, на все ее красивое тело высоко и уже вполне развившейся девушки, услышал запах ее духов...

— Болен, — ответил я шутливо, с болью чувствуя все обаяние ее.

— Чем?

— Жаждой того, чего у меня нет, — сказал я. — А хочу многого... Любви, здоровья, крепости духа, денег, деятельности...

К удивлению моему, она, помолчав, быстро и серьезно ответила:

— Я очень понимаю вас. У меня тоже ничего нет. Только не нужно говорить об этом...

Я хотел что-то возразить, но удержался и только с радостью почувствовал, что между нами уже установилась какая-то тонкая связь.

— Ну, а почему же вы думаете, что я гордец и нелюдим? — спросил я.

— Потому что у вас очень надменный и грустный взгляд, — сказала Зина. — Мне кажется, что вы никогда никого не любили и что вы большой эгоист.

Я был задет за живое, но опять сдержал себя и стал говорить полушутливым тоном:

— Может быть... Кого любить? За что?

— Виновата, — вдруг сказала Зина. — Мне нужно подойти к тетушке.

И она с приветливой и радостной улыбкой пошла навстречу старухе, сопровождаемой белокурым и женственным молодым человеком, — старухе с лошадиным лицом и совиными глазами, которые посмотрели на меня очень удивленно. Я, как истый пролетарий, опять почувствовал себя лишним и надулся. А когда Зина вернулась ко мне, начал притворно-лениво и очень некстати глумиться над жандармским полковником, над

любительницей-певицей, пожилой, некрасивой и сильно декольтированной девушкой, над виолончелистом...

— Посмотрите, — говорил я, — какой он маленький, плюгавый. Лицо — конфетное, но зато волосы совсем как у Рубинштейна...

— А это кто, не знаете? — продолжал я, все более раздражаясь и все более желая вовлечь ее в разговор. — Вот тот пожилой господин с артистической наружностью и лицом алкоголика? Посмотрите, как у него запухли глаза и как он смотрит всегда — точно сонный, с холодным презрением. Это настоящий клубный посетитель, и про него непременно говорят, что он — умница, золотая голова, только спился, опустился и должен всем...

— Это Алексей Алексеевич Бахтин, мой дядя, — ответила Зина с неловкой улыбкой.

### III

Таков был первый вечер. Однако я часто начал бывать у Соймоновых, и Зина сперва радовалась мне. Мы даже говорили друг другу, что мы — большие друзья, но что-то мешало нашей дружбе: общее у нас было одно — жажда жизни, — в остальном мы были чужды друг другу. Это я чувствовал больше всего, когда у Соймоновых собирались гости. Наши разговоры, — даже наедине, — не удовлетворяли меня. Наступили апрельские дни, мне хотелось куда-нибудь за город, в степь... Но она неизменно отвечала:

— Я вовсе не хочу, чтобы мы сделались басней города. Вот соберемся как-нибудь компанией. Вы ведь все равно знаете, что я только для вас поеду.

И я ограничивался тем, что провожал ее в лавки или в народную чайную, где она, в числе других дам-благотворительниц, дежурила по пятницам. А вечером я один уходил за город, к вокзалу за реку или в городской сад, где еще не началась летняя ресторанный жизнь.

По вечерам в саду совсем никого не было. Чистый весенний воздух холодел, в пустынном, еще черном саду казалось, что стоит ясный октябрьский вечер. Только звезды по-весеннему, ласково теплились над вершинами деревьев и соловьи в чащах пробовали свои голоса. Резко пахло пробивавшейся из земли травой и самой землею — холодной и влажной... Дома же я до поздней ночи играл у раскрытого окна на скрипке, и скрипка звонко и жалобно пела в лад с моим сердцем.

Потом было одно время, когда Зина резко изменилась ко мне. В середине мая подготовительные управские работы к экстренному собранию не позволяли мне ходить к Соймоновым.

И вот как-то в воскресенье я сидел в своей комнате и спешил окончить кое-какие статистические выкладки. С самого утра перепадал теплый, золотой дождик, и обмытая им майская зелень и самый воздух, казалось, молодели от него. Гром рокотал то в той, то в другой стороне, но поминутно, между клубами дымчатых и белых облаков, вздымавшихся по небу, сияла яркая лазурь и выглядывало жаркое солнце. Я засмотрелся в окно, на голубые лужи под деревьями, как вдруг мимо окна быстро прошла Зина. С минуту я сидел неподвижно, изумленный ее появлением, потом схватил шляпу и кинулся на улицу... Ах, какой это был славный день!

— Мне было грустно без вас,— говорила Зина, смущенно улыбаясь,— я сама, наконец, решила идти к вам.

И я в упоении целовал ее душистые руки с колючими перстнями и не знал, что сказать ей, от счастья...

А потом я не знал, что сказать, от сомнений. Я по целым ночам обдумывал на тысячи ладов, что может выйти из моего брака с Зиной. «Мы разные люди,— думал я,— она даже мало интеллигента. Наконец, у нее ничего нет, и куда я возьму ее? В эту комнату?»

И потянулись томительные вечера, которые я неизменно проводил у Соймоновых... Да и любил ли я ее?

Помню, в один холодный и дождливый вечер мне было особенно скучно. Зина что-то шила, я перелистывал журнал, нашел чье-то стихотворение:

Укор ли нам неся, прощальный ли привет,  
Как дальних волн прибой, осенний ветер стонет...

— Не правда ли, хорошо? — спросил я, прочитав эти две строки.

— Да, красиво,— ответила Зина.

— А по-моему,— сказал Александр Данилыч,— все это со-бачь старость и больше ничего.

Зина звонко расхоталась...

А тут у Соймоновых почти каждый день начал бывать помощник присяжного поверенного Богаут, молодой человек, здоровый и жизнерадостный, как немец, всегда и со всеми любезный и ласковый. Я же стал проводить вечера в обществе Елены, милой и простой девушки из духовного звания. Мы ели с ней колбасу, пили чай, слушали у окна музыку военного оркестра, доносившуюся из сада, и говорили о марксистах и народниках... О чем ином мы могли говорить с ней? Что-то очень милое было в ее простом, русском лице, что-то трогательное было в ее открытом взгляде и в том, как она, доставая из кармана юбки роговую гребеночку, причесывала свои стриженные волосы на косой ряд. Но я уже замечал, что она мою товарищескую неж-

ность и нашу выдумку говорить на «ты» начинает принимать за любовь. Я смеялся и над марксистами и над народниками, говорил, что я мог бы стать общественным человеком только при исключительных условиях,— например, если бы настали дни настоящего общественного подъема,— или если бы я сам хоть немного был счастлив лично... Она смотрела на меня в такие минуты пристально, жадно и, увлекаясь страстностью моих слов о личном счастье, о тоске существования среди поголовного мещанства, говорила задумчиво и убежденно:

— Ты не понимаешь самого себя...

#### IV

В надежде, что она придет как раз в мое отсутствие, я отправляюсь в кухмистерскую обедать.

В самом деле, какой скучный день! Прохожих мало, белые каменные дома в пыли. Ветер несет по мостовой эту белесую пыль и шуршит на бульварах тощими и почерневшими акациями... Вот присутственные места на площади, вот главная улица. Тут больше прохожих и проезжих; возле магазинов экипажи... Мне же все кажется, что в городе — праздник, потому что Зина вчера повенчалась и сегодня делает с мужем визиты... Шибко прокатил на паре серых, бойких и злых лошадей полицеймейстер. Пристяжная круто отвернула от коренника голову, полицеймейстер весело оглядывается, по-офицерски заложив руки в карманы. Это он к Соймоновым, должно быть... И я бессознательно прибавляю шагу; сердце забилося сильнее, и тянет еще раз взглянуть на их дом...

Но зачем?

И, преодолев себя, я сворачиваю на тихую Старо-Замковую улицу, где уже второй год обедаю в польской «кондитерской».

Я быстро подошел к дверям — и внезапно струсил. А если тут Елена? Ведь часто случалось, что мы обедали вместе. Может случиться и сегодня...

В нерешимости я прошел мимо окон, заглянул в столовую. В столовой пусто, значит, можно идти смело...

Но невеселые мысли и тут преследовали меня.

Знаете вы этих забитых трудом и бедностью старушек, которые встречаются иногда на улицах, в кухмистерских и присутственных местах в дни выдачи пенсий? Почему-то все они маленького роста, ходят в стареньких бурнусах и убогих шляпках, смотрят на все робкими, недоумевающими глазами и возбуждают мучительную жалость своим покорным видом... Как нарочно, и сегодня одна из них тут.

Я старался глядеть только в тарелку, но не мог забыть о своей соседке. «Верно, думалось мне, она дает уроки языков или

музыки, живет одна в чистой комнатке, где горит лампадка в часы ее недолгого отдыха, когда темнеет субботний вечер и тихо реет над городом звон ко всенощной... Чувствует ли она, как горько на старости лет, без семьи, без близких, отдыхать только в субботний вечер? Знает ли она, как тяжело глядеть на нее, когда плетется она в своем старом бурнусе с урока в кухмистерскую или вечером в лавочку за осьмушкой чаю?»

Дома я усердно принимаюсь за уборку вещей в дорогу. Но какие же у меня вещи?

Я открыл корзинку, в которой в беспорядке навалено белье, выдвинул из-под кровати чемодан с письмами, бумагами и нотами — и опустил руки.

Тут все мои воспоминания. Этот чемодан — мой старый товарищ. В первый раз он отправился со мной в путешествие еще тогда, когда я только что «вступал в жизнь», ехал на юг в университетский город.

Удивительно живо помню я эти дни в пути! Помню даже, как смотрел в зеркало на вокзале в Курске и думал, что похож на Шопена; помню, как по вагону ходили полосы света и тени — от яркого мартовского солнца и клубов дыма, плывущих мимо окон. Снежные поля блестели золотой слюдой, сияющая даль манила к югу, к чему-то молодому и веселому... А потом — большой, шумный город, весна, во всем что-то нежное, легкое, южное... Северный уездный городок, где осталась моя семья, разорившаяся помещичья семья, был от меня далеко, и я не понимал тогда, что потерял последнюю связь с родиной. Разве есть у меня теперь родина? Если нет работы для родины, нет и связи с нею. А у меня нет даже и этой связи с родиной — своего угла, своего пристанища... И я быстро постарел, выветрился нравственно и физически, стал бродягой в поисках работы для куска хлеба, а свободное время посвятил меланхолическим размышлениям о жизни и смерти, жадно мечтая о каком-то неопределенном счастье... Так сложился мой характер и так просто прошла моя молодость.

Собственно говоря, и вспоминать-то нечего. А все-таки при взгляде на этот истрепанный чемодан я опускаю руки, подавленный воспоминаниями. Каждый раз, как мне приходится укладывать в него мой скарб, я говорю себе: вот еще невозвратно прошло столько-то лет; еще часть моей жизни оторвана... И мне больно говорить это себе. Вспоминаются один за другим дни, проведенные в этой комнате, — дни, полные неопределенных, часто сладких надежд и мечтаний. Вспоминаются и далекие дни, те, что уже в тумане. О них говорят связки писем. Вот письма родных, которые где-то там, на севере, все еще ждут меня к праздникам и грустят обо мне с нежною любовью, как о мальчике... Вот письма первой любви, первых това-

ришей... И при взгляде на каждое из них у меня сжимается сердце.

Резкий звонок заставил меня быстро вскочить с кресла и кинуться к шляпе. Елена! И я заметался по комнате, готовый даже выпрыгнуть в окошко. А между тем уже слышен ее голос:

— Дома Ветвицкий?

Я распахнул дверь, пробежал через кухню, а оттуда — по двору к калитке...

## V

До позднего вечера я бродил за городом.

Кругом было поле, безжизненное, унылое. Наплывали угрюмые тучи, ветер усиливался, и сухой бурьян летел по пашням в неприветную, темную даль. И на душе у меня становилось тоже все темнее и темнее.

В смутном, волнующемся сумраке городского сада я сидел под старыми деревьями на забытой скамейке. Вот где, думалось мне, уныние теперь — на кладбище! Разве в смерти есть что-нибудь ужасное, сильное? Смерть — ничто, пустота. И только одним этим и пугает нас смерть. И на кладбище так же: сумерки, ни души кругом; могилы и могилы, заросшие травой; трава теперь высохла, пожелтела и тихо шелестит от ветра...

«А где Елена?» — приходило мне иногда в голову.

Я вдруг вспоминаю чью-то легенду о ветре и душах повесившихся людей и в испуге поднимаюсь со скамьи. Зачем я так скверно спрятался от нее? Зачем не поговорил с ней? Но что же я мог сказать ей? Это все равно, что мне отправиться сейчас к Зине...

Я опять сажусь и пристально гляжу в одну точку, стараясь охватить то, что творится в моей душе.

Звезды в мутном небе светят бледно и сумрачно. Ветер поднимает пыль на дорожках почти темного сада, и с деревьев сыплется листья. Точно напряженный шопот, не смолкает надо мною порывисто усиливающийся шум и шелест деревьев. А когда ветер, как дух, как живой, убегает, кружась, в дальние аллеи, старые тополи гудят там так угрюмо, жутко...

Когда я наконец решил вернуться домой, была уже ночь. Подавленный тоской, подгоняемый ветром, я бессильно брел по улицам. Вот и наш домишко ярко светит окнами в черном мраке под деревьями. Кругом шум ветра и листьев, а там тихо, и сухие ветки площа сонно качаются над окном моей комнаты. В ней, за стеклами, спокойным, ровным светом горит лампа... Зачем я еду? Кто гонит меня в эту даль, где полутемный поезд, одинокая ночь и долгий замирающий стон паровоза?



В страхе я остановился.

— Елена! — хотелось крикнуть мне.

И точно угадав мое желание, она неслышно вышла из темноты под деревьями.

— Можно к тебе? — спросила она деревянным голосом.

Я растерялся, смущенно пробормотал:

— Конечно... Конечно, можно...

В темноте я долго не мог попасть ключом в замочную скважину, наконец отворил дверь и неестественно-шутливо проговорил:

— Прошу!

— Я только на минутку, — ответила она сухо, входя в комнату и не глядя на меня.

Я подвинул ей кресло, сел против нее и взял ее за руку.

— Снимай, — сказал я ласково, указывая глазами на перчатку, — посиди у меня.

Она взглянула на меня, улыбнулась, но вдруг губы ее дрогнули и на глазах показались слезы.

— Елена! — сказал я укоризненно.

Она не ответила. Я повторил свои слова, но уже без нежности и пожал плечами.

— Елена! — снова начал я с раздражением. — Надо же взять себя в руки, — прибавил я, чувствуя, что говорю глупости.

Она упорно молчала. Зубы ее были стиснуты, в голубых глазах, пристально устремленных на огонь, стояли слезы.

Я с шумом отодвинул кресло, быстро застегнул на все пуговицы пиджак и, заложив руки в карманы, заходил по комнате. Но, повернув раза два или три, снова бросился в кресло и, прикрыв глаза, спросил с холодной насмешливостью:

— Что же тебе угодно от меня?

Она быстро и удивленно взглянула на меня, хотела что-то сказать, но вдруг закрыла лицо руками и разразилась громкими рыданиями. И рыдая, комкая к глазам платок, заговорила отрывистым, резким голосом:

— Ты не смеешь так говорить!.. Как ты... смеешь... когда я... так... относилась к тебе? Ты обманывал меня...

— Зачем ты врешь? — перебил я ее. — Ты отлично знаешь, что я относился к тебе по-дружески. Но я не хочу вашей мещанской любви... Оставьте меня в покое!

— А я не хочу твоей декадентской дружбы! — крикнула Елена и отняла платок от глаз. — Зачем ты ломался? — заговорила она твердо, сдерживая рыдания и глядя на меня в упор с ненавистью. — Почему ты вообразил, что мной можно было играть?

Я опять резко перебил ее:

— Ты с ума сошла! Когда я играл тобою? Мы оба одиноки, оба искали поддержки друг в друге,— и, конечно, не нашли,— и больше между нами ничего не было.

— А, ничего! — снова крикнула Елена злобно и радостно.— Какой же такой любви вам угодно? Почему ты даже мысли не допускаешь равнять меня с собою? Я одна, меня ждет ужасная жизнь где-нибудь в сельском училище, я мелкая общественная единица, но я лучше тебя. А ты? Ты даже вообразить себе не можешь, как я вас ненавижу всех — неврастеников, эгоистов! Все для себя! Все ждете, что ваша ничтожная жизнь обратится в нечто необыкновенное!

— Да! — сказал я со злобою, подымаясь.— Я люблю жизнь, безнадежно люблю! Мне дана только одна жизнь и та на какие-нибудь пятьдесят лет, из которых пятнадцать ушло на детство и четверть уйдет на сон. И при этом я никогда не знал счастья! Смешно, не правда ли?

Но Елена опять прижала платок к глазам и зарыдала с новой силой.

— И поэтому ты...— заговорила она гадливо.— И потому ты сегодня так низко и спрятался от меня? Ты опять лжешь, чтобы закрыться пышными фразами...

Я с невероятной быстротой схватил пресс-папье и со всего размаху ударил им по столу.

— Уйди! — крикнул я бешено.

И мгновенно похолодел от ужаса за сделанное. Я увидел, как Елена вскочила, сразу оборвав рыдания, и лицо ее перекопилось от детского страха.

— Уйди! — закричал я опять, но уже другим, жалким голосом.

Она распахнула дверь, и ветер, как шальный, со стуком рванул к себе раму, с шелестом и шумом деревьев ворвался в комнату и мгновенно вырвал свет из лампы. Я упал на постель, уткнулся лицом в подушку и заскрежетал зубами, упиваясь своей скорбью и своим отчаяньем. Тополи гудели и бушевали во мраке...

## ПОЗДНЕЙ НОЧЬЮ

Был ли это сон, или час ночной таинственной жизни, которая так похожа на сновидение? Казалось мне, что осенний грустный месяц уже давным-давно плывет над землей, что наступил час отдыха от всей лжи и суеты дня. Казалось, что уже весь, до последнего нищенского угла заснул Париж. Долго спал я, и наконец медленно отошел от меня сон, как заботливый и неторопливый врач, сделавший свое дело и оставивший больного уже тогда, когда он вздохнул полной грудью и, открыв глаза, улыбнулся застенчивой и радостной улыбкой возвращения к жизни. Очнувшись, открыв глаза, я увидел себя в тихом и светлом царстве ночи.

Я неслышно ходил по ковру в своей комнате на пятом этаже и подошел к одному из окон. Я смотрел то в комнату, большую и полную легкого сумрака, то в верхнее стекло окна на месяц. Месяц тогда обливал меня светом, и, подняв глаза вверх, я долго смотрел в его лицо. Месячный свет, проходя сквозь белесые кружева гардин, смягчал сумрак в глубине комнаты. Отсюда месяца не было видно. Но все четыре окна были озарены ярко, как и то, что было возле них. Месячный свет падал из окон бледноглубыми, бледносеребристыми арками, и в каждой из них был дымчатый теневой крест, мягко ломавшийся по озаренным креслам и стульям. И в кресле у крайнего окна сидела та, которую я любил,— вся в белом, похожая на девочку, бледная и прекрасная, усталая ото всего, что мы пережили и что так часто делало нас злыми и беспощадными врагами.

Отчего она тоже не спала в эту ночь?

Избегая глядеть на нее, я сел на окно, рядом с ней... Да, поздно,— вся пятиэтажная стена противоположных домов темна. Окна там чернеют, как слепые глаза. Я заглянул вниз,—

узкий и глубокий коридор улицы тоже темен и пуст. И так во всем городе. Только бледный сияющий месяц, слегка наклоненный, катится и в то же время остается недвижимым среди дымчатых бегущих облаков, одиноко бодрствуя над городом. Он глядел мне прямо в глаза, светлый, но немного на ущербе и оттого — печальный. Облака дымом плыли мимо него. Около месяца они были светлы и таяли, дальше сгущались, а за гребнем крыш проходили уже совсем угрюмой и тяжелой грядой...

Давно не видал я месячной ночи! И вот мысли мои опять возвратились к далеким, почти забытым осенним ночам, которые видел я когда-то в детстве, среди холмистой и скудной степи средней России. Там месяц глядел под мою родную кровлю, и там впервые узнал и полюбил я его кроткое и бледное лицо. Я мысленно покинул Париж, и на мгновение померещилась мне вся Россия, точно с возвышенности я взглянул на огромную низменность. Вот золотисто-блестящая пустынная ширь Балтийского моря. Вот — хмурые страны сосен, уходящие в сумрак к востоку, вот — редкие леса, болота и перелески, ниже которых, к югу, начинаются бесконечные поля и равнины. На сотни верст скользят по лесам рельсы железных дорог, тускло поблескивая при месяце. Сонные разноцветные огоньки мерцают вдоль путей и один за другим убегают на мою родину. Передо мной слегка холмистые поля, а среди них — старый, серый помещичий дом, ветхий и кроткий при месячном свете... Неужели это тот же самый месяц, который глядел когда-то в мою детскую комнату, который видел меня потом юношей и который грустит теперь вместе со мной о моей неудавшейся молодости? Это он успокоил меня в светлом царстве ночи...

— Отчего ты не спишь? — услышал я робкий голос.

И то, что она первая обратилась ко мне после долгого и упорного молчания, больно и сладко кольнуло мне в сердце. Я тихо ответил:

— Не знаю... А ты?

И опять мы долго молчали. Месяц заметно опустился к крышам и уже глубоко заглядывал в нашу комнату.

— Прости! — сказал я, подходя к ней.

Она не ответила и закрыла глаза руками.

Я взял ее руки и отвел их от глаз. По щекам ее катились слезы, а брови были подняты и дрожали, как у ребенка. И я опустился у ее ног на колени, прижался к ней лицом, не сдерживая ни своих, ни ее слез.

— Но разве ты виноват? — шептала она смущенно. — Разве не я во всем виновата?

И улыбалась сквозь слезы радостной и горькой улыбкой.

А я говорил ей, что мы оба виноваты, потому что оба нарушали заповедь радости, для которой мы должны жить на земле. Мы опять любили друг друга, как могут любить только те, которые вместе страдали, вместе заблуждались, но зато вместе встречали и редкие мгновения правды. И только бледный, грустный месяц видел наше счастье...

1899

## АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

### 1

...Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, — с дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника св. Лаврентия. А «осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: «Много тенетника на бабье лето — осень ядреная»... Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, — непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за одним, но уж таково заведение — никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:

— Вали, ешь досыта, — делать нечего! На сливанье все мед пьют.

И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаше сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут — особенно. В шалаше устроены постели, стоит одностволь-

ное ружье, позеленевший самовар, в уголке — посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду, между деревьями, расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша — целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-одноворки в сарафанах, сильно пахнущих краской, приходят «барские» в своих красивых и грубых, дикарских костюмах, молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога», — косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ноги, в полусапожках с подковками, стоят тупо и крепко; безрукавка — плисовая, занавеска длинная, а панева — черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым «прозументом»...

— Хозяйственная бабочка! — говорит о ней мещанин, покачивая головою. — Переводятся теперь такие...

А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках, с белыми раскрытыми головами, все подходят. Идут по-двое, по-трое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много, торговля идет бойко, и чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах — весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него «из милости», он торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда «тронет» на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски...

К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякны, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в саду — костер, и крепко тянет душистым дымом вишневого сучья. В темноте, в глубине сада — сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги — два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони — и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки...

Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в

небе уже высоко блещет брильянтовое семизвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь.

— Это вы, барчук? — тихо окликает кто-то из темноты.

— Я. А вы не спите еще, Николай?

— Нам нельзя-с спать. А, должно, уж поздно? Вон, кажись, пассажирский поезд идет...

Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот, как будто уже за самым садом, ускоренно выбивают шумный такт колеса: громыхая и стуча, несется поезд... ближе, ближе, все громче и сердитее... И вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в землю...

— А где у вас ружье, Николай?

— А вот возле ящика-с.

Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку, и с маху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грядет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе.

— Ух, здорово! — скажет мещанин. — Потращайте, потращайте, барчук, а то просто беда! Опять всю дулю на валу отрясли...

А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темносинюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому... Как холодно, росисто, и как хорошо жить на свете!

## II

«Ядреная антоновка — к веселому году». Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился... Вспоминается мне урожайный год.

На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь — велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на охоту. Осень — пора престольных



праздников, и народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный, и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем не плохо. К тому же наши Выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились «богатством». Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу, — первый признак богатой деревни, — и были все высокие, большие и белые, как лунь. Только и слышишь, бывало: «Да, — вот Агафья восемьдесят три годочка отмахала!» — или разговоры в таком роде:

— И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось, тебе лет сто будет?

— Как изволите говорить, батюшка?

— Сколько тебе годов, спрашиваю!

— А не знаю-с, батюшка.

— Да Платона Аполлоныча-то помнишь?

— Как же-с, батюшка, — явственно помню.

— Ну, вот видишь. Тебе, значит, никак не меньше ста.

Старик, который стоит перед барином вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать, — виноват, зажился. И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровки луку.

Помню я и старуху его. Все, бывало, сидит на скамеечке, на крыльце, согнувшись, тряся головой, задыхаясь и держась за скамейку руками, — все о чем-то думает. «О добре своем, небось», говорили бабы, потому что «добра» у нее в сундуках было, правда, много. А она будто и не слышит; подслеповато смотрит куда-то вдаль из-под грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Панева — чуть не прошлого столетия, чуньки — покойницкие, шея — желтая и высохшая, рубаха с канифасовыми косяками всегда белая-белая, — «совсем хоть в гроб клади». А около крыльца большой камень лежал: сама купила себе на могилку, так же как и саван, — отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям.

Под стать старикам были и дворы в Выселках: кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков — у Савелия, у Игната, у Дрона — избы были в две-три связи, потому что делиться в Выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые вприческу; в пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках

были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой,— так больше и желать невозможно.

Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти,— очень недавно,— имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от Выселок верстах в двенадцати. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем ободняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется,— так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день! Местность ровная, видно далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят кобчики,— совсем черные значки на нотной бумаге.

Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба — небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек — невысоких, но домовитых — множество, и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной или, лучше сказать, длиной только почерневшая людская, из которой выглядывают последние могики дворового сословия — какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон-Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил фореитором, а теперь возит ее к обедне,— зимой в возке, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на

которых ездят попы. Сад у тетки славился своею запущенностью, соловьями, горlinkками и яблоками, а дом — крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада, — ветви лип обнимали его, — был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет, — так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым: точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, — окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца, — два старых больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу... И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом!

Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах... Во всех комнатах, — в лакейской, в зале, в гостиной, — прохладно и сумрачно: это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные: синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливанье: выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо, и сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследства, начинают появляться угощения: сперва «дули», яблоки, — антоновские, «бель-барыня», боровинка, «плодовитка», — а потом удивительный обед: вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас, — крепкий и сладкий-пресладкий... Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой...

### III

За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков, — охота.

Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным помещением, с садом в двадцать десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни... Нет троек, нет верховых «киргизов», нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого — помещика-охотника, вроде моего покойного шурина Арсения Семеныча.

С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода, по обыкновению, круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. Стоишь у окна и думаешь: «Авось, бог даст, распогодится». Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро — и скоро, точно дым, затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь... сперва тихо, осторожно, потом все гуще и наконец превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь...

Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени! Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями... Пора на охоту!

И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеныча, в большом доме, в зале, полной солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много, — все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах. Только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубят рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеныча, взлезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола: Арсений Семеныч, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зала еще более наполняется дымом, а Арсений Семеныч стоит и смеется.

— Жалко, что промахнулся! — говорит он, играя глазами.

Он высок ростом, худощав, но широкоплеч и строен, а лицом — красавец-цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ло-

вок, в шелковой малиновой рубаше, бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку и гостей выстрелом, он шутливо-важно декламирует баритоном:

Пора, пора седлать проворного донца  
И звонкий рог за плечи перекинуть! —

и громко говорит:

— Ну, однако нечего терять золотое время!

Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь с шумной ватагой Арсения Семеныча, возбужденный музыкальным гамом собак, брошенных в чернолесье, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий Остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильным и приземистом киргизе, крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и жалобно ответила другая, третья — и вдруг весь лес загремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого гама выстрел — и все «заварилось» и покатилося куда-то вдаль.

— Береги-и! — завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес.

«А, береги!» — мелькнет в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и, как сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами да лепит в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак и еще сильнее наддашь киргиза наперерез зверю, — по зеленям, взметам и жнивьям, пока наконец не перевалишься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадешь вспененную, хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя — мертвая тишина. Полураскрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее, в лесу холоднеет и темнеет... Пора на ночевку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно-тоскливо звенят рога в лесу, долго слышатся крик, брань и визг собак... Наконец, уже совсем в темноте, вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незна-

когого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому...

Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по нескольку дней. На ранней утренней заре, по ледяному ветру и первому мокрому зазимку, уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя, — и начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевках, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза — вся земля так и поплывет под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнате с образничкой и лампадой, замелькают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле занает ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то моленной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой моленной, вероятно, на этой же кровати.

Когда случалось проспаться охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме — тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещат и стреляют. Впереди — целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги, — дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на сафьянных корешках. Славно пахнут эти, похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой шершавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами... Хороши и заметки на их полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь: «Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного»... И невольно увлечешься и самой книгой. Это — «Дворянин-философ», аллегория, изданная лет сто тому назад иждивением какого-то «кавалера мно-

гих орденов» и напечатанная в типографии приказа общественного призрения,— рассказ о том, как «дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на просторном месте своего селения»... Потом наткнешься на «сатирические и философские сочинения господина Вольтера» и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода: «Государь мой! Эразм сочинил в шестнадцатом столетии похвалу дурачеству (манерная пауза,— точка с запятой); вы же приказываете мне превознести пред вами разум...» Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сентиментально-напыщенным и длинным романам... Кукушка выскакивает из часов и насмешливо-грустно кукует над тобою в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска...

Вот «Тайны Алексиса», вот «Виктор, или дитя в лесу»: «Бьет полночь! Священная тишина застывает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачные крылья свои над поверхностью нашего полушария; он потрясает с них мрак и мечты... Мечты... Как часто продолжают оне токмо страдания злощастного!...» И замелькают перед глазами любимые старинные слова: скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, «ероты», розы и лилии, «проказы и резвости молодых шалунов», лилейная рука, Людмилы и Алины... А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицейста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавинодах, ее томное чтение стихов из «Евгения Онегина». И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою... Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза...

#### IV

Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семенович... Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищества. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь!

Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья, ветер крепко дует навстречу, иногда с су-

хим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам... Голодный и прозябший, возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору «сумерничать», не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнувшей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми, синяя, грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло илюдно: девки рубят капусту, мелькают сечки, я слушаю их дробный, дружный стук и дружные, печально-веселые деревенские песни... Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе... Хороша и мелкопоместная жизнь!

Мелкопоместный встает рано. Крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми стенами кабинет, желтые и заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной косоворотке, а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутемном, теплом доме мертвая тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это однако не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом:

— Лукерья! Самовар!

Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и не застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых сенях пахнет псиной; лениво потягиваясь, с визгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие.

— Отрыж! — медленно, снисходительным басом говорит он и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахом озябшего за ночь, обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахохленные галки на гребне риги... Славный будет день для охоты! И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по которым бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а Заливай уже за садом: перепрыгивая по колким жнивьям, он как будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе, а в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою... Эх, кабы борзые!



В риге начинается молотьба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая постромки, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идут лошади в приводе. Посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и однотонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного бурого мерина, который ленивее всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны.

— Ну, ну, девки, девки! — строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху.

Девки торопливо разметают ток, бегают с носилками, метлами.

— С богом! — говорит подавальщик, и первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжаньем и визгом пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молотьбы. Барин стоит у ворот риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам. Барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле... Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок...

Зазимок, первый снег! Борзых нет, охотиться в ноябре не с чем; но наступает зима, начинается «работа» с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях. А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара...

На сумерки буен ветер загулял,  
Широки мои ворота растворял,—

начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью:

Широки мои ворота растворял,  
Белым снегом путь-дорогу заметал...

## ЭПИТАФИЯ

За крайней избой нашей степной дереушки пропадала во ржи наша прежняя дорога к городу. И у дороги, в хлебах, при начале уходившего к горизонту моря колосьев, стояла белоствольная и развесистая плакучая береза. Глубокие колеи дороги зарастали травой с желтыми и белыми цветами, береза была искривлена степным ветром, а под ее легкой сквозной сенью уже давным-давно возвышался ветхий, серый голубец, — крест с треугольной тесовой кровелькой, под которой хранилась от непогод суздальская икона божией матери.

Шелковисто-зеленое, белоствольное дерево в золотых хлебах! Когда-то тот, кто первый пришел на это место, поставил на своей десятине крест с кровелькой, призвал попа и освятил «Покров пресвятыя богородицы». И с тех пор старая икона дни и ночи охраняла старую степную дорогу, незримо простирая свое благословение на трудовое крестьянское счастье. В детстве мы чувствовали страх к серому кресту, никогда не решались заглянуть под его кровельку, — одни ласточки смели залезать туда и даже вить там гнезда. Но и благоговение чувствовали мы к нему, потому что слышали, как наши матери шептали в темные осенние ночи:

— Пресвятая богородица, защити нас покровом твоим!

Осень приходила к нам светлая и тихая, так мирно и спокойно, что, казалось, конца не будет ясным дням. Она делала дали нежноглубыми и глубокими, небо чистым и кротким. Тогда можно было различить самый отдаленный курган в степи, на открытой и просторной равнине желтого жнивья. Осень убирала и березу в золотой убор. А береза радовалась и не замечала, как недолговечен этот убор, как листок за листком осыпается он, пока наконец не оставалась вся раздетая на его

золотистом ковре. Очарованная осенью, она была счастлива и покорна, и вся сияла, озаренная из-под низу отсветом сухих листьев. А радужные паутинки тихо летали возле нее в блеске солнца, тихо садились на сухое, колкое жнивье... И народ называл их красиво и нежно — «пряжей богородицы».

Зато жутки были дни и ночи, когда осень сбрасывала с себя кроткую личину. Беспощадно трепал тогда ветер обнаженные ветви березы! Избы стояли нахохлившись, как куры в непогоду, туман в сумерки низко бежал по голым равнинам, волчьи глаза светились ночью на задворках. Нечистая сила часто скидывается ими, и было бы страшно в такие ночи, если бы за околицей деревни не было старого голубца. А с начала ноября и до апреля бури неустанно заносили снегами и поля, и деревню, и березу по самый голубец. Бывало, выглянешь из сеней в поле, а жесткая вьюга свистит под голубцом, дымится по острым сугробам и со стоном проносится по равнине, заметая на бегу следы по ухабистой дороге. Заблудившийся путник с надеждой крестился в такую пору, завидев в дыму метели торчащий из сугробов крест, зная, что здесь бодрствует над дикой снежной пустыней сама царица небесная, что охраняет она свою деревню, свое мертвое до поры, до времени поле.

Поле долго было мертвым, но степные люди были прежде выносливы. И вот наконец крест начинал вырастать из оседающих серых снегов. Обтаивала и горбатая унавоженная дорога, наступали теплые и густые мартовские туманы. От туманов и дождей чернели и дымились в сумрачные дни крыши изб... Потом туманы сразу сменялись солнечными днями. И все снежное поле насыщалось водою, растоплялось и, растопленное, блистало под солнцем, дрожа бесчисленными ручьями. В один-два дня степь принимала новый вид: по-весеннему темнели равнины, окаймленные бледносиневатой далью. Выпускали шершавый скот из хлевов; обессилевшие за зиму лошади и коровы бродили и лежали на выгоне, а галки садились на их худые спины и дергали клювами шерсть для своих гнезд. Но дружная весна к хорошим кормам,— скот отгуляется по теплым росам! Уже пели жаворонки в ясные полдни, уже мальчишки-пастухи загорали от ветров и солнца, которые просушивали землю. Когда же обмывал ее весенний дождь и пробуждал первый гром, господь благословлял в тихие звездные ночи расти хлебом и травам, и, успокоенная за свои нивы, кротко глядела из голубца старая икона. Тонко пахло в чистом ночном воздухе зелеными, мирно было в степи, тихо в темной деревне, где уже не вздували огня с Благовещенья, и замирали по вечерней заре песни девушек, прощавшихся со своими обрученными подругами.

А потом все менялось не по дням, а по часам. Зеленел выгон, зеленели ветлы перед избами, зеленела береза... Шли дожди, протекали жаркие июньские дни, зацветали цветы, наступали веселые сенокосы... Помню, как мягко и беззаботно шумел летний ветер в шелковистой листве березы, путая эту листву и склоняя до самых колосьев тонкие, гибкие ветви; помню солнечное утро на Троицу, когда даже бородастые мужики, как истые потомки русичей, улыбались из-под огромных березовых венков; помню грубые, но могучие песни на Духов день, когда мы с закатом уходили в ближний дубовый лесок и там варили кашу, расставляли ее в черепках по холмикам и «молили кукушку» быть милостивой вещуньей; помню «игры солнца» под Петров день, помню величальные песни и шумные свадьбы, помню трогательные молебны перед кроткой заступницей всех скорбящих, — в поле, под открытым небом...

Жизнь не стоит на месте, — старое уходит, и мы провожаем его часто с великой грустью. Да, но не тем ли и хороша жизнь, что она пребывает в неустанном обновлении? Детство миновало. Потянуло нас заглянуть дальше того, что мы видели за околицей деревни, тем сильнее потянуло, что и деревня становилась все скучней, и береза уже не так густо зеленела весной, и крест у дороги ветшал, и люди истощили поле, которое охранял он. И так как беда не ходит одна, то само небо, казалось, стало гневаться на людей. Знойные и сухие ветры разгоняли тучи, подымая вихри по дороге, солнце нещадно палило хлеба и травы. Подсыхали до срока тощие ржи и овсы. Было больно смотреть на них, потому что нет ничего печальнее и смиреннее тощей ржи. Как беспомощно склоняется она от горячего ветра легкими пухлыми колосьями, как сиротливо шелестит! Сухая пашня сквозит между ее стеблями, видны среди них сухие васильки... И дикая серебристая лебеда, предвестница запустения и голода, заступает место тучных хлебов у старой проселочной дороги. Нищие и слепые все чаще стали с жалобными припевами обходить деревню. А деревня безмолвно стояла на припеке — равнодушная, печальная.

Тогда, точно в горести, потемнел от пыльных ветров кроткий лик богоматери. Проходили годы, — она казалась безучастной к судьбе своего поля. И люди мало-помалу стали уходить по дороге к городу, уходить в далекую Сибирь. Они продавали свой скудный скарб, забивали досками окна изб, запрягали лошадей и навсегда уходили из деревни на поиски нового счастья. И деревня опустела.

— Ни души! — сказал ветер, облетев всю деревню и закрутив в бесцельном удальстве пыль на дороге.

Но береза не ответила ему, как отвечала прежде. Она слабо зашевелила ветвями и опять задремала. Она уже знала, что

выгон в деревне зарос высокой сорной травой, что глухая крапива поднялась у порогов, что полынь серебрится на полураскрытых крышах. Степь вокруг была мертва, а десяток уцелевших изб можно было издали принять за кибитки кочевников, покинутые в поле после битвы или чумы. И голубец уже покоился под березой, на верхушке которой торчали сухие белые сучья. Теперь, в сумерки, когда за темными полями слабо алел закат, ночевали на ней только грачи да вороны, которые немало видели перемен на этом свете...

Вот новые люди стали появляться на степи. Все чаще приходят они по дороге из города и располагаются станом у деревни. Ночью они жгут костры, разгоняя темноту, и тени далеко убегают от них по дорогам. С рассветом они выходят в поле и длинными буравами сверлят землю. Вся окрестность чернеет кучами, точно могильными холмами. Люди без сожаления топчут редкую рожь, еще вырастающую кое-где без сева, без сожаления закидывают ее землю, потому что ищут они источников нового счастья,— ищут их уже в недрах земли, где таятся талисманы будущего...

Руда! Может быть, скоро задымят здесь трубы заводов, лягут крепкие железные пути на месте старой дороги и поднимется город на месте дикой деревушки. И то, что освящало здесь старую жизнь — серый, упавший на землю крест будет забыт всеми... Чем-то освятят новые люди свою новую жизнь? Чье благословение призовут они на свой бодрый и шумный труд?

## НАД ГОРОДОМ

Глядя на колокольню снизу, с церковного двора, мы сами чувствовали, до чего мы еще малы, и было жутко немного, потому что облака в ясном весеннем небе медленно уходили от нас, а высокая белая колокольня, суживаясь кверху и блестя золотым крестом под облаками, медленно, плавно валилась на церковный двор — и крест был похож на человечка с распостертыми руками... Потом мы вперегонки кидались к узкой двери в колокольню.

Длинная, почти отвесная лестница тотчас же за дверью терялась в темноте. В темноте, стиснутые холодными кирпичными стенами, храбро лезли мы друг за другом вперед. Свет, как мы знали, должен был открыться внезапно — и, правда, скоро впереди мелькал проблеск. Еще несколько шагов, поворот — и мы в низком помещении, бледно озаренном решетчатым окном. Над головой — тяжелый накат из бревен, перекрещивающиеся в пыли и паутине балки, на полу — целые вороха известкового птичьего помета, изогнутая медная купель среди кирпичей и мусора, суздальские облупившиеся иконы, кадило с оборванными цепями... Черничка-галка, с пухом в клюве, сидит на подоконнике и выжидательно косит одним глазом. Таинственно в этой старой кладовке! Но осматриваться некогда. Голоса и топот ног опередивших нас раздаются уже над нами, — звонко и весело, как всегда весной в колокольне. И, кинув несколько быстрых взглядов на мусор и балки, мы спешили по темным изломам лестниц дальше...

Вот наконец и первый пролет: сразу стало светло, просторно, в арки широко видно небо. Внизу — церковный двор, мощный камнем, красная крыша сторожки в углу ограды и береза у железных ворот... Хорошо глядеть на все это сверху —

видеть у себя под ногами верхушку березы! С высоты все кажется красивее, меньше; двор после весенних дождей стал бел, опрятен, между его высохшими плитами пробивается первая травка, а верхушка березы закудрявилась легкими, прозрачными кружевами зелени, необыкновенно нежной и свежей. И как тепло! Выйдет солнце из-за облака — чувствуешь на лице горячую ласку света. Воробьи на березе заодно зачирикают в этом блеске, извозчик, проезжающий мимо, хлестнет лошадь, — и совсем по-летнему затрещат по мостовой колеса...

— Идите сюда! — раздается чей-то крик сверху. И, переглянувшись, мы устремляемся к гнилой и крутой лестнице во второй ярус, более узкий и как будто более зыбкий, чем первый, и снова попадаем в полутемные недра колокольни, разделенные бревенчатыми потолками. Опять грубый и беспорядочный вид балок и лестниц, мешающихся в сумраке; опять холодок и запах кирпичных стен... Всюду запустение старой башни, все велико, покрыто пылью и птичьим пометом... Лестницы, под которыми валялись кирпичи и бревна, были шатки, колени у нас дрожали, сердце учащенно билось; но в узкие окошечки возле лестницы мы видели лазурь, высоту, к которой стремились. На подоконниках, на лестницах и балках сидели сытые голуби, сизые и «жаркие», и так как мы уже чувствовали себя в одном мире с ними, то нам было очень жаль, что они так поспешно, пугая и себя и нас, рассыпались куда попало при нашем приближении, торопливо хлопая свистящими крыльями. Это, впрочем, не мешало им тотчас же опускаться на другие лестницы и снова начинать гулкое, сердито-ласковое воркованье, топчась на одном месте с раздувающимися зобами. А в одном углу сидела на яйцах белая голубка — и с каким любопытством мы смотрели на нее сверху! Тут было совсем почти темно, только в длинное и узкое окошечко голубой лентой сияло небо...

— Васька идет! — радостно говорил кто-нибудь из нас, заглянув в это окошечко и увидав под колокольной звонаря Ваську. И тогда мы еще более ускоряли шаги, чтобы поспеть к звону. Ощущение высоты было уже очень сильно, когда мы выскакивали во второй пролет. Но нужно было сделать еще шагов тридцать, к колоколам, в третий ярус. Мельком мы заглядывали вниз — и не узнавали березы у ограды: так мала и низка стала она! Теперь даже огромный купол церкви был наравне с нами, а под ним — разноцветные крыши города, сбегającego к реке, улицы и переулки меж ними, грязные дворы, сады и пустоши... Вон во дворе чиновника баба развешивает белье по веревке; вон мешанин, в жилетке и ситцевой рубашке, выходит из тесового, похожего на собачий, домика возле сарая; рядом, на почтовом дворе, лениво бродят с хомутами в руках

ямщики, запрягая двух одров в тележку; а вон скучные каменные дома купца-богача близ базарной площади, на скате которой, над мелкой рекой, стоит старый, приземистый собор с синним куполом в белых звездах... Улицы пусты,— все эти мещане, купцы, старухи и молодые кружевницы сидят по своим домишкам и, должно быть, не знают, какой простор зеленых полей развертывается вокруг города; а мы вот знаем и побежим еще выше, где уже совсем жутко, особенно когда подумаешь, что приближаешься к самому шпицу колокольни, сияющей над городом своим золотым крестом...

Теперь детство кажется мне далеким сном, но до сих пор мне приятно думать, что хоть иногда поднимались мы над мещанским захолустьем, которое угнетало нас длинными днями и вечерами, хождением в училище, где гибло наше детство, полное мечтами о путешествиях, о героизме, о самоотверженной дружбе, о птицах, растениях и животных, о заветных книгах! Птицы любят высоту,— и мы стремились к ней. Матери говорили, что мы растем, когда видим во сне, что летаем,— и на колокольне мы росли, чувствовали за своими плечами крылья... Когда мы, запыхавшись, одолевали наконец последний ярус колокольни, мы видели вокруг себя только лазурь да волнистую степь. Город, как пестрый план, лежал далеко под нами, маленький и скученный, а в сердцах у нас было то, что должны испытывать на полете ласточки. В ожидании Васьки затевали мы драки, бегали друг за другом, стуча сапогами под медными шлемами колоколов, и громко кричали в них, возбуждая в меди эхо. Пробираясь по лесенке среди веревок, привязанных за колокольные языки, к главному колоколу, украшенному барельефами херувимов и надписью, какой купец отливал его, мы по очереди ударяли в края колокола: ударишь и слушаешь — и кажется, что где-то далеко идет певучий благовест к ранней обедне! И однажды, поднявшись на верхнюю ступеньку, вдруг увидал я на колоколе барельефный лик строгого и прекрасного Ангела Великого Совета и прочитал сильное и краткое веление: «Благовестуй земле радость велию...»

Как поразила меня даже в то время эта надпись! Благовествовать взбирался на колокольню дурачок Васька; но даже эта жалкая фигура не мешает мне вспоминать предвечернее время весеннего дня, ясное небо в арках колокольни и ту могучую дрожь, которой гудела вершина колокольни вместе со всеми нами, когда, после долгих раскачиваний била, Васька оглушал нас первым ударом, спугивал голубей со всех карнизов и уже весь отдавался любимому делу, утопая в звонком и непрерывном гудении меди. От этого гудения у нас верезжало в ушах, во всем теле; казалось, что вся колокольня с вершины до основания полна голосов, гула и пения. Не спуская глаз



с мотающихся рук Васьки, стояли мы, охваченные восторгом перед гигантской силой звуков, замирая от захватывающей дух гордости, точно сами мы были участниками в возвышенном назначении колокола благовествовать радость. Затерявшиеся в звуках, мы как будто сами носились по воздуху вместе с их разливающимися волнами и ждали только одного — чтобы поскорее ответил своим низким басом соборный колокол, и чтобы Васька, в волнении соревнования, поднялся с лестницы во весь рост и уже изо всех сил ударил звонилом. Боже, какой трезвон начинался тогда над нашим убогим местечком и как мечтал я хоть когда-нибудь побыть на месте Васьки!

Странное желание это и теперь иногда посещает меня. Отдыхая порой в городишке, где протекло мое отрочество, я вспоминаю эту чуть ли не единственную его радость — нашу колокольню. Сидя в летние вечера под окном, я слушаю начинающийся в разных концах города, перепутывающийся и мерно дрожащий гул колоколов, и этот гул погружает меня в думы о том, как протекают тысячи тысяч наших жизней. Товарищи моих детских дней, те, что беспечно играли когда-то в лодыжки под заборами, те, которым детство сулило так много, — где они? А матери и отцы их, уже сгорбленные и пригнутые к земле страданиями и близостью смерти, плетутся с желтыми восковыми свечами в руках пред алтарь бога, который всегда казался им жестоким и карающим, требующим вечных покаянных слез и вздохов... И мне вспоминается далекое время, когда Васька так звучно и тяжело ударял в большой колокол. Я мысленно взбираюсь на колокольню и уже в свои руки беру веревку, привязанную к колокольному билу. Трудно раскачивать его, но нужно раскачивать сильнее, чтобы с первого же удара дрогнул воздух. А когда ответят другие колокола, нужно позабыться, затеряться в бурных звуках и хоть на мгновение поверить и напомнить людям, что «бог не есть бог мертвых, но живых!»

## НОВАЯ ДОРОГА

### I

— Напрасно уезжаете! — говорят мне знакомые, поздним вечером прощаясь со мной на вокзале. — Добрые люди только съезжаются в Петербург. Чего вы там не видали? Лесов, сугробов? А потом еще эта новая дорога, на которой дня не проходит без крушений!

— Бог милостив! — отвечаю я.

Провожающие пожимают плечами. Наступают те неприятные минуты разлуки, когда сказать уже нечего, улыбки делаются фальшивыми, а время начинает идти страшно медленно.

Наконец раздается второй звонок. Махая шляпами, провожающие уходят и, оборачиваясь, кланяются уже с искренней приветливостью.

— Готово! — кричит кто-то около паровоза, и паровоз тяжело стучается буферами в вагоны. Слышно, как он сдержанно сипит горячим паром, изредка кидая клубы дыма, и платформа пустеет. Остаются только высокий красивый офицер, с продолговатым, нагло-серьезным лицом в полубачках, и дама в трауре. Дама кутается в ротонду и тоскливо смотрит на офицера заплаканными черными глазами. Потом с неловкой поспешностью очень сытого человека проходит большой рыжеусый помещик с ружьем в чехле и в оленьей дохе поверх серого охотничьего костюма, а за ним приземистый, но очень широкий в плечах генерал. Потом из конторы быстро выходит начальник станции. Он только что вел с кем-то неприязненный спор и поэтому, резко скомандовав: «третий», так далеко швыряет папиросу, что она долго прыгает по платформе, рассыпая по ветру красные искры. И тотчас же на всю платформу звонит

гулкий вокзальный колокол, раздаются гремучие свистки оберкондуктора, мощные взрывания паровоза — и мы плавно трогаясь.

Офицер идет по платформе, раскланиваясь, ускоряя шаги и все более отставая от вагонов; паровоз отрывистее и резче кидает из-под цилиндров горячим паром... Но вот мелькнул последний фонарь платформы, офицера точно сдернуло — и поезд очутился в темноте. Она сразу развернулась, усеянная тысячами золотых огней в предместьях, а поезд уверенно несется в нее мимо товарных складов и вагонов, грозно предупреждая кого-то дрожащим ревом. Светлые отражения окон все быстрее бегут по рельсам и шпалам, ускользящим в разные стороны, потом по снегу. Скоро в вагоне станет тепло и уютно, и, беспорядочно громоздя вещи по диванам, пассажиры начнут располагаться на ночь. Седой, строгий, но очень вежливый старичок-кондуктор в пенсне на кончике носа не спеша проходит среди этой тесноты и пунктуально переписывает билеты, наклоняясь к фонарику своего помощника.

Воздух в полях, после города, кажется необыкновенным, — и, как всегда, я до поздней ночи стою в сенях вагона, отворив боковую дверь, и напряженно гляжу против ветра в темные снежные поля. Вагон дрожит и дребезжит от быстрого бега, ветер сыплет в лицо снежной пылью, свет фонаря в сенях прыгает, мешаясь с тенями. И, качаясь, я хожу от двери к двери по холодным сеням, уже побелевшим от снега... Прежде в пути всегда хотелось петь, кричать под грохочущий марш поезда. Теперь не то. Плывут, бегут смутные силуэты холмов и кустарников, с мгновенным глухим ропотом пронесются под колесами чугунные мостики, в далеких, чуть белеющих полях мелькают огоньки глухих деревушек. И, щурясь от ветра, я с грустью гляжу в эту темную даль, где забытая жизнь родины мерцает такими бледными тихими огоньками...

Возвратясь в вагон, вижу в полусумраке фигуры лежащих; тесно от шуб и поднятых спинок диванов, пахнет табаком и апельсинами... Согреваясь после холодного ветра, долго смотрю полузакрытыми глазами, как покачивается меховое пальто, повешенное у двери, и думаю о чем-то неясном, что сливается с дрожащим сумраком вагона и незаметно убаюкивает. Славная вещь — этот сон в пути! Сквозь дремоту чувствуешь иногда, что поезд затихает. Тогда слышатся громкие голоса под окнами, шарканье ног по каменной платформе, а в вагоне — ровное дыхание и храп спящих. Что-то беспокоит глаза... Это тусклый и лучистый, желтоватый блеск замерзшего окна, за которым вокзальный фонарь. Он мутно и неприятно озаряет сумрак вагона.

— Не знаете, какая станция? — спрашивает кто-то странным испуганным голосом...

Потом звонок бьет где-то далеко-далеко, усыпительно, хлопают двери вагонов и доносится жалобный гул паровоза, напоминающий о бесконечной дали и ночи. Что-то начинает вздрагивать и поталкивать под бок; металлически-лучистый блеск фонарей проходит по стеклам и гаснет; пружины дивана покачиваются все ровнее и ровнее, и наконец непрерывно возрастающий бег поезда снова погружает в дремоту...

Внезапное прикосновение чьей-то руки извещает перед утром о пересадке. Испуганно вскакиваю, торопливо забираю вещи и через большую, но сонную и тускло освещенную станцию иду на какую-то длинную платформу, занесенную свежим глубоким снегом, к маленькому поезду, составленному из самых разнокалиберных вагонов... Новая дорога! Тишина, маленькие вагоны, душистый дым березовых дров, запах хвои... Славно!

В полудремоте попадаю в вагон-микст, тесный, с квадратными окнами, и тотчас же снова крепко засыпаю. И к утру оказываюсь уже далеко от Петербурга. И начинается настоящий русский зимний путь, один из тех, о которых совсем забыли в Петербурге...

## II

Будит меня чей-то мучительный кашель. Открываю глаза: вижу станового, старого служаку в рыжей енотовой шубе поверх серой полицейской шинели. От натуги глаза у него вытаращены и полны слез, обветренное лицо красно, седые усы взъерошены. Он необыкновенно жарко раскурил огромнейшую папиросу из дешевого крепкого табаку, а в старом вагончике и без того сумрачно, потому что окна полузанесены снегом. Поезд трясет и гремит, как телега.

— Вот так кашель! — говорит становой, отдуваясь, так просто и добродушно, точно мы росли вместе. — Только и полегчает, когда немножко покуришь!

«Ну, значит, Петербург далеко!» — думаю я и заглядываю в окна. О, какой белый, чистый снег! Белое безжизненное небо и белое бесконечное поле с кустарниками и перелесками. Проволоки телеграфных столбов лениво плывут за окнами, точно им скучно подыматься, опускаться и вытягиваться вслед за поездом, а столбам надоело бежать за ними. Поезд на подъемах скрипит и качается, а под уклоны бежит, как старик, пустившийся догонять кого-нибудь. Однообразно белеют

поля, машет вдали крыльями птица, чернеют кустарники и деревушки — и все это кругами уходит назад. Ветер лениво развеивает дым паровоза, и кустарники, по которым расстилается этот дым, будто курятся и плавают по снежному полю...

Пассажиров, кроме меня и станového, который, впрочем, скоро слезет на разъезде, всего-навсего один: бородатый коренастый старик — железнодорожный артельщик с сумкой через плечо, похожий на уездного лавочника. Он усердно занимается насыпкой папирос и чаепитием, все утро слышно, как он с наслаждением схлебывает с блюдечка горячую жидкость.

— Не угодно ли-с? — говорит он, указывая глазами на жестяной чайник. — А то что ж на вокзалах-то платить по гривеннику за стаканчик!

Около двери, где я помещаюсь, по ногам несет холодом; сижу, закутавши колени, и смотрю то на свежие выемки около линии, то на новенькие тесовые станции и разъезды, то на белое поле с перелесками, и кажется, что стволы деревьев трепещут и сливаются, а весь перелесок идет кругом: ближние деревья, трепеща, бегут назад, а дальние постепенно заходят вперед... Потом мы с артельщиком пьем чай, потом я отправляюсь бродить по вагонам и площадкам... Необыкновенно приятно смотреть на мелькающий в воздухе снег: настоящей Русью пахнет!

Станции и разъезды часты, но они теряются среди окружающего их пустынного и огромного пейзажа зимних полей. Еще не завладела новая дорога краем и не вызвала к себе его обитателей. Постоит поезд на пустой станции и опять бежит среди перелесков... Едем все же с опозданием: стояли в поле, и никто не знал почему, и все сидели в томительном ожидании, слушая, как уныло шумит ветер за стенами неподвижных вагонов, и как жалобно кричит бочкообразный паровоз, имеющий манеру трогать с места так, что пассажиры падают с диванов. Качаясь на неровном бегу поезда, я хожу из вагона в вагон и везде вижу обычную жизнь русского захолустного поезда. В первом и втором классе пусто, а в третьем — мешки, полушубки, сундуки, на полу сор и подсолнухи, почти все спят, лежа в самых тяжелых и безобразных позах. Неспящие сидят и до одурения накуриваются; жаркий воздух синее от едкого и сладковатого дыма махорки. Один лотерейщик, молодой вор, с бегающими глазами, не дремлет. Он собирает в кучку мужиков и полупьяных рабочих, и они, пробуя свое счастье, изредка, точно на смех, выигрывают то карандаш в две копейки, то какой-нибудь бокал из дутого стекла. Слышится спор и говор, неистово кричит ребенок, поезд стучит и гроыхает, а солдат, в новой

ситцевой рубаше и в черном галстуке, сидит над спящими на своем сундучке и, поставив ногу на противоположную лавочку, с бессмысленными глазами и вытянутой верхней губой, рычит на тульской гармонике: «Чудный месяц плывет над рекою»...

— Станция Белый Бор, остановки восемь минут... — кричит кондуктор, рослый мужик в тяжелой длинной шинели, и, проходя по нашему вагону, с такой силой хлопает дверями, точно хочет заколотить их навек.

Это значит, что начинаются леса. После Белого Бора через две станции — уездный город, по имени которого и называются эти леса, смешанное чернолесье и красное. Проходит еще час, полтора — и вдали, из-за леса, показываются главы и кресты монастыря, которым далеко известен этот город. Бор вокруг него вырубает нещадно, новая дорога идет как завоеватель, решивший во что бы то ни стало расчистить лесные чащи, скрывающие жизнь в своей вековой тишине. И долгий свисток, который дает поезд, проходя перед городом по мосту над лесной речкой, как бы извещает обитателей этих мест об этом шествии.

На несколько минут вокруг нас закипает суматоха. За деревянным, кирпичного цвета вокзалом видны тройки, громыхают бубенчики, кричат наперебой извозчики; зимний день сер и тепел, и похоже на масленицу. По платформе гуляют барышни и молодые люди, среди которых дает тон высокий телеграфист, местный красавец, фронт в дымчатом пенсне и кавказской папахе. Двери в вагоне поминутно растворяются, со двора несет холодом, пахнет снегом и хвойным лесом. Статный лакей в одном фраке и без шапки носит жареные пирожки, и странно видеть среди леса его крахмальную рубашку и белый галстук. В наш вагон набирается много барышень, которые кого-то провожают и шепчутся, играя глазами; купец с подушкой ломится к своему месту, давя на пути все встречное, а худой и очень высокий священник, запыхавшись и сдвинув с потного лба на затылок бобровую шапку, вбегает в вагон и убегает, униженно прося носильщика о помощи. Он укладывает бесчисленное количество узлов и кулечков на диваны и под диваны, извиняется пред всеми за беспокойство и притворно-весело бормочет:

— Ну, теперь так! Вот это сюда... А вот это, я думаю, и под лавочку можно... Я не потревожу вас? Ну, и чудесно, покорнейше благодарю!

В толпе ковыляет хромой разносчик с корзиной лимонов, монашенки с убитыми лицами жалобно просят на обитель... Вагон везут назад и опять останавливают. Долго слышится, как кондуктора переругиваются и гремят по окнам сигнальной

веревкой, протягивая ее от паровоза по поезду... Наконец поезд трогается.

И опять перед окнами мелькают березы и сосны в снегу, поля и деревушки, а над ними — серое небо...

### III

Эти березы и сосны становятся все неприветливей; они хмурятся, собираясь толпами все плотнее и плотнее. Идет молодой легкий снежок, но от сплошных чашей в вагонах темнеет, и кажется, что хмурится и погода. Омрачается и радость возвращения к тихому лесному дню... Новая дорога все дальше уводит в новый, еще неизвестный мне край России, и от этого я еще живее чувствую то, что так полно чувствовалось в юности: всю красоту и всю глубокую печаль русского пейзажа, так нераздельно связанного с русской жизнью. Новую дорогу мрачно обступили леса и как бы говорят ей:

— Иди, иди, мы расступаемся перед тобою. Но неужели ты снова только и сделаешь, что к нищете людей прибавишь нищету природы?

Зимний день в лесах очень короток, и вот уже синеют за окнами сумерки, и мало-помалу заползает в сердце беспричинная, смутная, настоящая русская тоска. Петербург представляется далеким оазисом на окраине огромной снежной пустыни, которая обступила меня со всех сторон на тысячи верст. Вагон опять пустеет. Опять со мною только артельщик и двое спящих, — кавалерист и помощник начальника станции. Кавалерист, молодой человек в крепко натянутых рейтузах, спит, как убитый, богатырски растянувшись на спине; помощник лежит вниз лицом, слабо покачиваясь, точно приноравливаясь к толчкам бегущего поезда. И тяжело смотреть на его старое пальто и старые калоши, свесившиеся с дивана.

Все сгущается сумрак в холодном, дребезжащем, неуклюжем вагоне. Мелькают стволы высоких сосен в сугробах, толпами теснятся на пригорках монахини-елочки в своих черных бархатных одеждах... Порою чаща расступается, и далеко разветвляется унылая болотная низменность, угрюмо синее амфитеатр лесов за нею, и полосой дыма висит молочно-свинцовый туман над лесами. А потом снова около самых окон зачатая сосны и ели в снегу, глухими чашами надвинется чернолесье, потемнеет в вагоне... Стекла в окнах дребезжат и перезванивают, плавно ходит на петлях не притворенная в другое отделение дверь, а колеса, перебивая друг друга, словно под землей, ведут свой торопливый и невнятный разговор.

— Болтайте, болтайте! — важно и задумчиво говорят им угрюмые и высокие чащи сосен. — Мы расступаемся, но что-то несете вы в наш тихий край?

Огоньки робко, но весело светят в маленьких новых домиках лесных станций. Новая жизнь чувствуется в каждом из них. Но в двух шагах от этого казенного домика начинается совсем другой мир. Там чернеют затерянные среди лесов редкие поселки темного и унылого лесного народа. На платформах стоят люди из этих деревушек, — несколько нищих в рваных полушубках, лохматых, с простуженными горлами, но таких смиренных и с такими чистыми, почти детскими глазами. Опустив кнуты, они выглядывают пассажира почти безнадежно, потому что на несколько человек из них редко приходится даже один пассажир. И, тупо глядя на поезд, они тоже как бы говорят ему своими взглядами:

— Делайте, как знаете, — нам податься некуда. А что из этого выйдет, мы не знаем.

Гляжу и я на этот молодой, замученный народ... На великую пустыню России медленно сходит долгая и молчаливая ночь...

Ночь эта будет теплая, с мягко падающим, ласковым снежком. На минуту поезд останавливается перед длинным и низким строением на разъезде. Освещенные окошечки его, как живые глаза, выглядывают из векового соснового леса, занесенного снегами. Паровоз, лязгая колесами по рельсам, плавно прокатывает мимо поезда, приводит к нему десяток товарных вагонов и двумя жалобными криками объявляет, что он готов. Крики гремучими переливами далеко бегут по лесной округе, переключаясь друг с другом...

— Сейчас нехорошее место будет! — со вздохом говорит стоящий за мной на площадке вагона мещанин. — Тут сейчас подъем версты в три, а потом насыпь. Смотреть жутко! Тут дня не проходит без беды...

Я смотрю, как уходят от нас и скрываются в лесу огоньки станции. «Какой стране принадлежу я, одиноко скитающийся? — думается мне. — Что общего осталось у нас с этой лесной глушью? Она бесконечно велика, и мне ли разобраться в ее печалях, мне ли помочь им? Как прекрасна, как девственно богата эта страна! Какие величавые и мощные чащи стоят вокруг, тихо задремывая в эту теплую январскую ночь, полную нежного и чистого запаха молодого снега и зеленой хвои! И какая жуткая даль!»

Я гляжу вперед, на этот новый путь, который с каждым часом все неприветливее встречают угрюмые леса. Стиснутая черными чащами и освещенная впереди паровозом, дорога похожа на бесконечный туннель. Столетние сосны замыкают ее



и, кажется, не хотят пускать вперед поезд. Но поезд борется: равномерно отбивая такт тяжелым, отрывистым дыханием, он, как гигантский дракон, вползает по уклону, и голова его изрыгает вдали красное пламя, которое ярко дрожит под колесами паровоза на рельсах и, дрожа, злобно озаряет угрюмую аллею неподвижных и безмолвных сосен. Аллея замыкается мраком, но поезд упорно подвигается вперед. И дым, как хвост кометы, плывет над ним длинною белесою грядою, полной огненных искр и окрашенной из-под низу кровавым отражением пламени.

*1901*

## СОСНЫ

### I

Вечер, тишина занесенного снегом дома, шумная лесная вьюга наружи...

Утром у нас в Платоновке умер сотский Митрофан, а в сумерках у меня сидел священник, опоздавший причастить Митрофана, пил чай и долго рассказывал о том, как много народу померзло в нынешнем году...

«Чем не сказочный бор?» — думаю я, прислушиваясь к шуму леса за окнами и к высоким жалобным нотам ветра, налетающего вместе с снежными вихрями на крышу. И мне представляется путник, который кружится в наших дебрях и чувствует, что не найти ему теперь выхода вовеки.

— Есть ли жив-человек в этих хижинах? — говорит он, с трудом различая в белой крутящейся мгле Платоновку.

Но морозный ветер захватывает ему дыхание, слепит снегом, и мгновенно пропадает огонек, который, казалось, мелькнул сквозь вьюгу. Да и человекьи ли это хижины? Не в такой ли же черной сторожке жила Баба-Яга? «Избушка, избушка, стань к лесу задом, а ко мне передом! Приюти странника в ночь!..»

Лежа весь вечер, я представляю себе, как пугливо и зыбко мерцают мои освещенные окошечки, такие одинокие среди бушующего леса, с головы до ног поседевшего от вьюги! Дом стоит у широкой просеки, в затишье, но когда ураган гигантским призраком на снежных крыльях проносится над лесом, сосны, которые высоко царят над всем окружающим, отвечают урагану столь угрюмой и грозной октавой, что в просеке делается страшно. Снег при этом бешено и беспорядочно мчится по лесу, непритворенная дверь в сенцах с необыкновенной

силой бьет в стену, а собаки, которые лежат в них, утопая в снегу, как в пуховых постелях, жалобно взвизгивают сквозь сон, дрожа крупной дрожью... И мне опять вспоминается Митрофан, который ждет могилы в такую мрачную ночь.

В комнате тепло и тихо. Стекла холодно играют разноцветными огоньками, точно мелкими драгоценными камнями. Лужанка натоплена жарко, а к шуму и стуку я так привык, что могу не замечать их. Лампа на столе горит ровным сонным светом. Ровно, чуть внятно звенит в ней выгорающий керосин, монотонно и неясно, точно под землей, баюкает кто-то ребенка за стеною в кухне, — не то сама Федосья, не то ее Анютка, которая с малолетства во всем подражает своим вечно вздыхающим теткам, матери. И, прислушиваясь к этому знакомому с детства напеву, к этим шумам и стукам, весь отдаешься во власть долгого вечера.

Ходит сон по сням,  
А дрема по дверям,—

поет в душе жалобная песня, а вечер реет над головою неслышной тенью, завораживает сонным звоном в лампе, похожим на замирающее нытье комара, и таинственно дрожит и убегает на одном месте темным волнистым кругом, кинутым на потолок лампы.

Но вот в сенцах слышен певучий визг шагов по сухому бархатистому снегу. Хлопают двери в прихожей, и кто-то топает в пол валенками. Слышу, как чья-то рука шарит по двери, ищет скобку, а затем чувствую холод и свежий запах январской метели, сильный, как запах разрезанного арбуза.

— Спите? — спрашивает Федосья осторожным шопотом.

— Нет... А что? Это ты, Федосья?

— Я-с, — отвечает Федосья, меняя голос на громкий и естественный. — Ай я вас разбудила?

— Нет... Ты что?

Вместо ответа Федосья оборачивается к двери, — хорошо ли притворила? — и, улыбнувшись, становится к печке. Ей просто хотелось проведать меня. Это небольшая, но плотно сбитая баба в полушубке; голова у нее закутана шалью и похожа на совиную, на полушубке и на шали тает снег.

— Там пыль! — говорит она с удвольствием и, ежась, прижимается к печке. — Что, давно вечер-то по часам?

— Половина десятого.

Федосья кивает головою и задумывается. За день она переделала сотни мелких дел. Теперь она в тумане отдыха. Глядя на свет совершенно бессмысленными, удивленными глазами, она с наслаждением затягивается долгим и глубоким зевком и, зевая, бормочет:

— Ах, господи, что ж это зевается, куда это девается! Вот жалко Митрофана-то! Целый день с ума не идет, а тут еще наши: выехали, нет ли? Поедут — замерзнут!

И вдруг быстро прибавляет:

— Постойте,— в каком ухе звенит?

— В правом,— отвечаю я.— Нынче они не поедут...

— Вот и не угадали! А я было про мужика своего загадала. Боюсь, обморозится...

И, увлеченная думами о выюге, Федосья начинает:

— Так-то на Сороки было, на Сорок Мучеников. Вот, расскажу вам, страсть-то была! Вы-то, известное дело, не помните, вам тогда, небось, пяти годочков не было, а я-то явственно помню. Сколько тогда народу померзло, сколько обморозилось...

Я не слушаю, я наизусть знаю рассказы о всех метелях, которые помнит Федосья. Я машинально ловлю ее слова, и они странно переплетаются с тем, что я слышу внутри себя. «Не в том царстве, не в том государстве,— певуче и глухо говорит во мне голос старика-пастуха, который часто рассказывает мне сказки,— не в том царстве, не в том государстве, а у самом у том, у каком мы живем, жил, стало быть, молодой выюноша...»

Лес гудит, точно ветер дует в тысячу золотых арф, заглушенных стенами и выюгой. «Ходит сон по сеним, а дрема по дверям», и, намаявшись за день, поевши «соснового» хлебушка с болотной водицей, спят теперь по Платоновкам наши былин-ные люди, смысл жизни и смерти которых ты, господи, веси!

Вдруг ветер со всего размаху хлопает сенной дверью в стену и, как огромное стадо птиц, с шумом и свистом проносится по крыше.

— Ох, господи! — говорит Федосья, вздрагивая и хмурясь.— Хоть бы уж спать скорей в страсть такую! Ужинать-то будете? — прибавляет она, делая над собой усилие, чтобы взяться за скобку.

— Ранѐ еще...

— А мой сгад — нечего третьих петухов ждать! Поужинали бы и спали бы, спали себе!

Дверь медленно отворяется и затворяется, и я опять остаюсь один, все думая о Митрофане.

Это был высокий и худой, но хорошо сложенный мужик, легкий на ходу и стройный, с небольшой, откинутой назад голвой и с бирюзово-серыми, живыми глазами. Зиму и лето его длинные ноги были аккуратно обернуты серыми онучами и обу-ты в лапти, зиму и лето он носил коротенький изорванный полушубок. На голове у него всегда была самодельная заячья шапка шерстью внутрь. И как приветливо глядело из-под этой

шапки его обветренное лицо с облупившимся носом и редкой бородкой! Это был Следопыт, настоящий лесной крестьянин-охотник, в котором все производило цельное впечатление: и фигура, и шапка, и заплатанные на коленях портки, и запах курной избы, и одностволка. Появляясь на пороге моей комнаты и вытирая полою полушубка мокрое от метели коричневое лицо, оживленное бирюзовыми глазами, он тотчас же наполнял комнату свежестью лесного воздуха.

— А хорошо у нас,— говорил он мне часто.— Главное дело — лесу много. Правда, хлебушка, случается, не хватает али чего прочего, да ведь на бога жаловаться некуда: есть лес — в лесу зарабатывай. Мне, может, еще трудней другого, у меня одних детей сколько, а я все-таки иду да иду! Волка ноги кормят. Сколько годов я тут прожил и все не нажился... Я и не помню ничего, что было. Был будто один-два дня летом али, скажем, весной — и больше ничего. Зимних дён больше вспоминается, а все тоже похожи друг на дружку. И ничего не скашно, а хорошо. Идешь по лесу — лес из лесу выходит, синее, а там прогалина, крест из села виден... Придешь, заснешь — глядь, уж опять утро и опять пошел на работу... была бы шея — хомут найдется! Говорят — живете вы, мол, в лесу, пням молитесь, а спроси его, как надо жить — не знает. Видно, живи как батрак: исполняй что приказано — и шабаш.

И Митрофан действительно прожил всю свою жизнь так, как будто был в батраках у жизни. Нужно было пройти всю ее тяжелую лесную дорогу — Митрофан шел беспрекословно... И разладила его путь только болезнь, когда пришлось пролежать больше месяца в темноте избы,— перед смертью.

— За траву не удержишься! — говорил он мне, снисходительно улыбаясь, когда я советовал ему съездить в больницу.

И кто знает,— не прав ли был он?

«Умер, погиб, не выдержал,— значит, так надо!» — думаю я и поднимаюсь, чтобы пойти на воздух. Надев шубу и шапку, подхожу к лампе. На мгновение шум метели за окном смущает меня, но затем я решительно дую на свет.

В темных пустых комнатах, через которые я прохожу, мутно сереют окна. От налетающих вихрей они то светлеют, то темнеют,— совсем как в корабельной каюте в качку. В прихожей холодно, как в сенцах, и пахнет сырой, промерзлой корой дров, заготовленных на топку. Громадная старинная икона божией матери с мертвым Иисусом на коленях чернеет в углу...

На дворе ветер рвет с меня шапку и с головы до ног осыпает меня морозным снегом. Но, ох, как хорошо поглубже вздохнуть холодным воздухом и почувствовать, как легка и тонка стала шуба, насквозь пронизанная ветром! На мгновение я останавливаюсь и делаю усилие взглянуть... Новый порыв

ветра прямо в лицо перехватывает мне дыхание, и я успеваю разглядеть только два-три вихря, промчавшихся по просеке в поле. Гул леса вырывается из шума вьюги, как гул органа. Я крепко нагибаю голову, погружаюсь почти по пояс в сугроб и долго иду, сам не зная, куда...

Ни деревни, ни леса не видно. Но я знаю, что деревня направо и что в конце ее, у плоского болотного озера, теперь занесенного снегом,— изба Митрофана. И я иду,— долго, упорно и мучительно,— и вдруг в двух шагах от меня вспыхивает сквозь дым вьюги огонек. Кто-то бросается мне на грудь и чуть не сбивает меня с ног. Наклоняюсь,— собака, которую я подарил Митрофану. Она отскакивает при моем движении с жалобно-радостным визгом назад и бросается к избе, точно хочет показать, что там делается. А у избы, около окошечка, светлым облаком кружится снежная пыль. Огонек освещает ее снизу, из сугроба. Утопая в снегу, я добираюсь до окна и торопливо заглядываю в него. Там, внизу, в слабо освещенной избе, лежит у окна что-то длинное, белое. Племянник Митрофана стоит, наклонившись над столом, и читает псалтырь. В глубине избы, на нарах, видны в полумраке фигуры спящих баб и детей...

## II

Утро. Выглядываю в кусочек окна, не зарисованный морозом, и не узнаю леса. Какое великолепие и спокойствие!

Над глубокими, свежими снегами, завалившими чащи елей,— синее, огромное и удивительно нежное небо. Такие яркие, радостные краски бывают у нас только по утрам в афанасьевские морозы. И особенно хороши они сегодня, над свежим снегом и зеленым бором. Солнце еще за лесом, просека в голубой тени. В колеях санного следа, смелым и четким полукругом прорезанного от дороги к дому, тень совершенно синяя. А на вершинах сосен, на их пышных зеленых венцах уже играет золотистый солнечный свет. И сосны, как хоругви, замерли под глубоким небом.

Приехали братья из города. Они привезли с собой много бодрости морозного утра. Пока в прихожей обметали вениками валенки, обивали от снега тяжелые воротники шуб и вносили покупки в рогожных кульках, пересыпанных сухой снежной пылью, как мукою, в комнатах нахолодилось и металлически запахло морозным воздухом.

— Градусов сорок будет! — с трудом выговаривает кучер, входя с новым кульком. Лицо у него багровое,— по голосу чувствуется, что оно задервенело от морозу,— усы,

борода и углы воротника на тулупе смерзлись в ледяные сосульки...

— Митрофанов брат пришел,— докладывает Федосья, просовывая голову в дверь,— тесу на гроб просит.

Я выхожу к Антону, и он спокойно рассказывает о смерти Митрофана и деловито переводит разговор на тес. Равнодушные это или сила?.. Скрипя сапогами по замерзшему снегу на крыльце, мы выходим из дому и, переговариваясь, идем к сараю. Воздух крепко сжат утренним морозом, голоса наши раздаются как-то странно, пар от дыхания вьется при каждом слове, точно мы курим. Тонкий остистый иней садится на ресницы.

— Ну, и денек господь послал! — говорит Антон, останавливаясь у сарая, где уже пригревает, и, шурясь от солнца, глядит на густую зеленую стену хвои вдоль просеки и глубокое ясное небо над нею.— Эх, кабы и завтра-то так же! Ладно бы похоронили!

Потом мы отворяем скрипучие ворота насквозь промерзшего сарая. Антон долго гремит досками и наконец взваливает на плечо длинную сосновую тесину. Сильным движением подкинув и поправив ее на плече, он говорит: «Ну, покорнейше благодарим вас!» — и осторожно выходит из сарая. Следы лаптей похожи на медвежьи, а сам Антон идет приседая, принаравливаясь к колебаниям доски, и тяжелая зыбкая доска, перегнувшись через его плечо, мерно покачивается в лад с его движениями. Когда же он, утонув почти по пояс в сугроб, скрывается за воротами, я слышу замирающий скрип его шагов. Вот так тишина! Две галки звонко и радостно сказали что-то друг другу. Одна из них с разлету опустилась на самую верхнюю веточку густо-зеленой, стройной ели, закачалась, едва не потеряв равновесия,— и густо посыпалась и стала медленно опускаться радужная снежная пыль. Галка засмеялась от удовольствия, но тотчас же смолкла... Солнце поднимается, и все тише становится в просеке...

После обеда все ходят смотреть Митрофана. Деревня тонет в снегу. Снежные, белые избушки расположились вокруг ровной белой поляны, и на этой ярко сверкающей под солнцем поляне очень уютно и пригревает. Домовито пахнет дымком, печеным хлебом. Мальчишки возят друг друга на ледяшках, собаки сидят на крышах изб... Совсем дикарская деревушка! Вон молодая плечистая баба в замашной рубахе любопытно выглянула из сенец... Вон худой, похожий на старичка-карлика, дурочок Пашка в дедовской шапке идет за водозвкой. В обмерзлой кадучке тяжело плескается дымящаяся, темная и вонючая вода, а ползья визжат, как поросенок... Но вот и изба Митрофана.

Какая она маленькая, низенькая, и как все буднично вокруг нее! Лыжи стоят у дверей в сенцы. В сенцах дремлет и жует жвачку корова. Стена избы, выходящая в сенцы, сильно пода-лась от них, и поэтому дверь надо отворять с большими усилиями. Она отлипает наконец, и в лицо пахнуло теплым изыбным запахом. В полумраке стоят несколько баб у печки и, при-стально глядя на покойника, шопотом переговариваются. А покойник под коленкором лежит в этой напряженной ти-шине и слушает, как плаксиво и жалостно читает псалтырь Тимошка.

— Совсем талый! — с умилением говорит одна из баб и, приглашая посмотреть покойника, осторожно приподнимает коленкор.

О, какой важный и серьезный стал Митрофан! Голова маленькая, гордая и спокойно-печальная, закрытые глаза глубоко ввалились, большой нос обрезался; большая грудь, приподня-тая последним вздохом, точно закаменела, а ниже ее, в глубо-кой впадине живота, лежат большие восковые руки. Чистая рубаха красиво оттеняет худобу и желтизну. Баба тихо взяла одну руку, — видно, как тяжела эта ледяная рука, — подняла и опять положила. Митрофан остался совершенно равнодушен и продолжал спокойно слушать, что читает Тимошка. Может, он знает даже и то, как ясен и торжественен сегодняшний день, — его последний день в родной деревне?

День этот кажется очень долг в мертвой тишине. Солнце медленно проходит свой небесный путь, и вот красноватый, парчовый луч уже скользнул в полутемную избу и косо озарил лоб покойника. Когда же я выхожу из избы на улицу, солнце прячется между стволами сосен за частый ельник, теряя свой блеск.

Опять я бреду вдоль просеки. Снега на поляне и крыши изб, которые точно облиты сахаром, алеют. В просеке, в тени, чув-ствуется, как резко морозит к ночи. Еще чище и нежней стали краски зеленоватого неба к северу, еще тоньше рисуется мачто-вый сосновый лес на его фоне. А с востока уже встала боль-шая бледная луна. Гаснет закат, она подымается все выше... Собака, с которой я хожу вдоль просеки, забегает иногда в ельник и, выскакивая, вся в снегу, из его таинственно-светлых и темных дебрей, замирает вместе с своей резкой черной тенью на ярко озаренной дороге. Месяц уже высоко... В деревушке— ни звука, робко краснеет огонек из тихой избы Митрофана... И большая, остро содрогающаяся изумрудом звезда на севе-ро-востоке кажется звездой у божьего трона, с высоты ко-торого господь незримо присутствует над снежной лесной страной...



А на следующий день понесли гроб Митрофана по лесной дороге к селу.

Воздух попрежнему был резок и морозен, и миллионы мельчайших игл и крестиков гускло поблескивали на солнце, кружась в воздухе. Бор и воздух слегка затуманивались,— только на горизонте к югу ясно и зелено было ледяное небо. Снег пел и визжал под санями, когда я бежал на лыжах в село. Там я долго мерз на паперти, пока наконец увидел среди белой сельской улицы белые зипуны и белый большой гроб из нового тесу. Отворили дверь в церковь, откуда вместе с запахом воска тоже пахнуло холодом: бедная лесная церковка промерзла вся насквозь,— весь иконостас и все иконы побелели от густого матового инея. И когда она наполнилась сдержанным говором, стуком шагов и паром от дыхания, когда с трудом опустили тяжелый разлзатый гроб на пол, торопливым, простуженным голосом заговорил и запел священник. Жидкие синеватые струйки дыма вились над гробом, из которого страшно выглядывал острый коричневый нос и лоб в венчике. Кадило в руках священника было почти пусто, дешевый ладан, брошенный в еловые уголья, издавал запах лучины, а сам священник, повязанный по ушам платком, был в больших валенках и в старом мужицком полушубке, поверх которого торчала старая риза. Он, наперебой с дьячком, в полчаса справил службу и только «со святыми упокой» пропел не спеша и стараясь придать своему голосу трогательные оттенки,— печаль о бренности всего земного и радость за брата, отошедшего, после земного подвига, в лоно бесконечной жизни, «иде же праведные упокоеваются». Напутствуемый протяжным пением, гроб с мерзлым покойником вынесли из церкви, пронесли его по улице и за селом, на пригорке, опустили в неглубокую яму, которую и закидали мерзлой глинистой землей и снегом. В снег воткнули елочку и, побряхывая от мороза, торопливо разошлись и разъехались.

Глубокая тишина царила теперь на лесной полянке, по которой торчало из сугробов несколько низких деревянных крестов. Беззвучно кружились в воздухе бесчисленные морозные остинки, где-то высоко над головой тянул сдержанный, глухой и глубокий гул: так шумит под вечер в отдалении море, когда оно скрыто за горами. Мачтовые сосны, высоко поднявшие на своих глинисто-красноватых голых стволах зеленые кроны, тесной дружиной окружали с трех сторон пригорок. Под ним широко синела еловыми лесами низменность. Длинный земляной бугор могилы, пересыпанный снегом, лежал на скате у моих ног. Он казался то совсем обыкновенной кучей земли, то значительным — думающим и чувствующим. И глядя на него,

я долго силился поймать то неуловимое, что знает только один бог,— тайну ненужности и в то же время значительности всего земного. Потом я крепко двинул лыжи под гору. Облако холодной снежной пыли взвилось мне навстречу, и по всему девственно-белому, пушистому косогору правильно и красиво прорезались два параллельных следа. Не удержавшись, я упал под горой в густой и необыкновенно зеленый ельник, набил в рукава снегу. Задевая за ельник лыжами, я быстро пошел зигзагами между его кустами. Траурные сороки с резким стрекотанием, игриво качаясь в воздухе, перелетали над ними. Минуты текли за минутами — я все так же равномерно и ловко совал ногами по снегу. И уже ни о чем не хотелось думать. Тонко пахло свежим снегом и хвоей, славно было чувствовать себя близким этому снегу, лесу, зайцам, которые любят объедать молодые побеги елочек... Небо мягко затуманивалось чем-то белым и обещало долгую тихую погоду... Отдаленный, чуть слышный гул сосен сдержанно и немолчно говорил и говорил о какой-то вечной, величавой жизни...

*1901*

## МЕЛИТОН

Были светлые майские сумерки, когда я подъезжал верхом к караулке. Лошадь шла по узкой дороге среди березового и дубового леса, полного свежей поросли осинки и орешника, и в полусумраке раздавался треск каждого сухого сучка под копытом. В старом заказе все было молодо, зелено, соловьи нежно и отчетливо выщелкивали по сторонам, звонко переключаясь с эхо. Уже и солнце давно зашло, и алые пятна заката слабели, сквозя по лесу, но не было заметно, чтобы лес готовился ко сну. Горлинки журчали где-то поблизости, кукушка глухо и настойчиво куковала в отдалении... В майские ночи, когда, как говорит народ, заря зарю встречает, сон слаб и недолог, до утра брезжит над землей полусвет.

А на поляне было и совсем светло. В ложине зеркалом стоял большой, полный пруд, лес окружал поляну высокий и живописный, и налево рисовался над столетними березами и дубами бледный и прозрачный круг месяца. Старик-караульщик, николаевский солдат, сидел у пруда на пне и заботливо подбрасывал сухие прутки в жаркий и проворный костерчик, разведенный в земляной печке под котелком. Как всегда, он был «прибран на случай смерти»: чистые, хотя и заплатанные портки и рубаха, онучи аккуратно подвязаны оборочками. Он сидел, поставив на колени руки и положив в ладони голову, смотрел на огонь, а сам напевал тихим и тонким, совсем женским голосом.

— Или карасиков наловил, Мелитон? — спросил я, соскакивая с лошади.

Он поднялся; вытянулся во весь рост и мгновенно принял бесстрастное выражение, стараясь скрыть свою постоянную печаль. Но печаль эта всегда чувствовалась, неловко было смотреть в бирюзовые грустные глаза под сдвинутыми бровями и

видеть вместе с этим солдатскую подтянутость. Росту Мелитон был высокого, фигура у него была худая и костлявая. Густые серые брови, усы, сходящиеся на щеках со щетинистыми бакенбардами, и пробритый подбородок придавали ему суровый вид; но лысина, эти бирюзовые глаза и чистая крестьянская одежда, свидетельствующая о готовности лечь «под святые» когда угодно, говорили о кроткой, отшельнической жизни.

Когда картошки в чугунике стали сипеть, Мелитон потыкал в них сухой щепочкой и снял чугуничек с огня. Огонь стал потухать,— только красная грудка жара светилась в земляной печке. Возле нее пахло сгоревшими дубовыми листьями, а когда старик стал чистить картошки, запахло так вкусно, что я попросил и себе парочку. И мы молча стали ужинать возле неподвижного потемневшего пруда, в тишине непогасавшей весенней зари. Закат за деревьями направо алел нежно и прозрачно, и казалось, что за лесом рассветает.

— Мелитон,— спросил я с юношеской простодушностью,— правда, тебя сквозь строй прогоняли?

— Правда-с,— ответил он просто и кратко.

Он ушел в избу, а я долго сидел один, глядя на свет зари и на тлеющие уголья. Появился он из сумрака неслышно и принес с собой большой ломоть ржаного хлеба, ножик, сделанный из старой косы, и горсть соли. Нервно и ласково виляя хвостом, появился и Крутик, маленький, веселый, но отчаянно злой, несмотря на свою ласковость. Он тоже сел возле огня, с удовольствием зевнул, облизнулся и стал следить глазами за каждым движением Мелитона, чистившего горячие картошки. Соловьи пели попрежнему страстно и отчетливо, с нежной удалью.

— Жена-то у тебя давно померла? — спросил я.

— Восьмой год-с. Да ведь их у меня две были.

— А дети?

— Детей у меня шесть человек было.

— Живы?

— Нет-с, померли.

И опять Мелитон замолчал, со старческой осторожностью пережевывая горячую картошку. Я вглядывался в его лицо, пока он сидел с опущенными глазами: нет, никогда не проникнуть мне в тайну его печальной молчаливости! Он кротко и беспомощно взглянул на меня,— я отвернулся. Было мне тогда девятнадцать лет, все умиляло меня: лес, небо, дубовая караулка, пучки каких-то трав и венички в сенцах под крышей, между сухой листвой решетника... На ногах старика лыковые лапти, на теле — чистая замашная рубаха... Как хорошо и самому прожить такую же чистую и простую жизнь!

«Для кого он собирает и вяжет эти венички?» — думал я. Вяжут их из перекасти-поля, и у старосветских помещиков еще до сих пор чистят ими платье. Они очень душисты; в детстве я сам собирал их... Воспоминание об этом и какая-то связь между воспоминаниями и Мелитоном еще более тронули меня, и я сказал, подымаясь:

— Совсем у тебя скит, Мелитон!

Старик улыбнулся.

— В скиту часовенки бывают-с,— сказал он, бросая корки хлеба Крутику, и залил водой из чугуничка уголья. Они зашипели и померкли. И тотчас же стало видно, что в лесу — светлая лунная ночь, что поляна освещена сияющим месяцем, а чащи почернели и отделились от нее. И ночь казалась еще прекраснее оттого, что к северу за лесом теплилась заря. Крутик, как только поужинал, тотчас же принялся за свою ночную работу. Он с звонким лаем хлопотал то там, то здесь за караулкой, и было похоже, что весь лес полон злыми и неугомонными собачонками. Мелитон зажег лампочку в избе, настилая мне на конике сена, — окошечки под ее старой нахлобученной крышей засияли, как два золотые глаза... Потом он вынес лампочку в сени. Я вошел туда, и он опять улыбнулся мне.

— А то вот-с на мою коечку ложитесь,— сказал он, указывая глазами на свою кровать.

Под крышей мягко и фантастично переламывались наши большие тени. В углу, направо от входа, было устроено нечто вроде койки на высоких ножках из бревен. На ней было постлано сено, прикрытое попоной и возвышавшееся к изголовью.

— Да какой теперь сон,— сказал я,— скоро уж и рассветать станет.

— Скоро-с,— согласился Мелитон бесстрашно.

И правда, мы только подремали. В темной избе было прохладно, в окошечки виднелись зеленоватые кусочки лунной ночи. Но что-то не давало мне спать; достаточно было тонкого напева комара, чтобы очнуться. Я слушал Крутика, соловьев, думал о чем-то, чего не вспомнишь, как всегда в бессонную ночь... Не спал и Мелитон. Его донимали блохи.

— Ну, уж погоди, окаянный, отучу я тебя спать под койкой! — бормотал он изредка Крутику.

Потом он кашлял, вздыхал и что-то шептал... Наконец я услышал его шаги под окнами. Я высунулся из окна на прохладу ночного воздуха. Мелитон меня не замечал. Он сидел на пороге, опустив голову, не спеша растирал на ладони лисовой табак и опять напевал грустным женским голосом.

— Ах, господи-батюшка! — прошептал он с глубоким вздохом, покачивая головой и высекая огонь. И, закурив трубку, оперся на руку и запел внятнее, задушевнее.

Слышно было, что рассказывал он в песне про зеленые сады и напоминал кому-то с добрым укором те места, где «скончалась-распросталась ах да прежняя любовь»... А ночь так и сияла. Месяц выбрался на середину неба над самым прудом. Изредка по воде что-то струисто поблескивало, точно серебряный уж. У противоположного берега воды как будто не было. Там была светлая бездна в другое, подземное небо. Вековые дубы и березы на том берегу казались теперь выше и стройнее, чем днем. Таинственно в росистой и темной чаще леса ночью! Но еще таинственнее был тот лес, который, вверх корнями, темнел под берегом, уходя вниз вершинами. А налево уже занималась утренняя заря; небо там стало стеклянно-зеленое, за опушкой леса; далеко в поле, начали свежо и отчетливо перекликаться перепела... Я закрыл глаза... Когда же очнулся, был уже день. Пруд дымился, поляна поседела от холодной крупной росы, зеленый лес неподвижно стоял вокруг пруда. Все точно умылось к утру и ждало его в спокойной и ясной тишине. А потом в окна потянуло свежестью, в пруде заквакали лягушки, и петух, сильно и выпукло захлопав крыльями, заорал в сенцах хриплым басом. Мелитон, согнувшись, шел от пруда с тяжелым, полным ведром, из которого плескалась вода, и оставлял за собой длинный зеленый след по седой поляне...

В тот же день я уехал на юг, а потом за границу и совсем не заметил, как прошла осень. Изредка вспоминалась мне Россия. И тогда она казалась мне такой глухой, что в голову приходили древляне, татарщина... Какая темная, сырая осень! Тучи низко идут над полями и грязными поселками, в туманном от мелкого дождя поле одиноко сидит грач на пашне, а на межах ветер качает бурьян. В голом, редком лесу почернела от дождя стена караулки, перед порогом стоит лужа, полная гнилых листьев. В избе темно и сыро. А ночью бушует в лесу буря, а ночь длится чуть не двадцать часов... Какое нужно терпение, чтобы покорно пережить эту бесконечную осень!

Когда я вернулся в Россию, все было под снегом. Двое суток поезд мчал меня по снежным равнинам и лесам. В России был голод; но почти весь декабрь стояли хмурые дни, и густой иней нарастал под серым и низким небом на деревьях и телеграфных проволочках: это предвещало урожай.

От инея посерели и стали кудрявыми шапки, бороды, лошади и тяжелая, холодная волчья полсть в санях. В сумерках сливались небо, воздух и глубокие снега, завалившие весь двор станции. Я сел в бегунки один, послал вперед троечные сани с вещами, приказал ехать веселее. Кучер, стоя в санях, перевалился через высокий сугроб на выезд в поле и шибко погнал по глубокой снежной дороге. Я отстал.

Морозило; иней на межах наседавал на бурьяны так густо, что они, как огромные серебряные папоротники, лежали, пригнувшись к земле. Потом уже ничего нельзя было разглядеть в седой мгле ночи. Чувствуешь только запах снега и слышишь какой-то шопот: это шуршат полозья. И поминутно теряется представление о том, куда едешь.

Но вот во мгле на горизонте стало светлеть. Пробиваясь сквозь нее малиновым шаром, стал подыматься большой месяц, еще мутный, перерезанный пополам лиловой длинной тучкой. Подымаясь, он оставил тучку ниже себя, а сам становился все золотистее и прозрачнее, и от лошади и саней обозначались тени. Когда же я подъехал к заказу, въехал в сумрак, лежавший от него по полю и испещренный узорами света,— вся снежная даль направо была озарена ярко и сияла.

А в лесу было сказочное мертвое царство. Деревья в пушистом инее казались огромными; они низко опустили свои тяжелые, кудрявые ветви, и месяц серебрил их вершины. Красно-вато-золотистой звездой засветился огонек в караулке, и по всему чуткому, морозному лесу пошел звонкий, разбегающийся по чашам лай Крутика.

У дубка перед караулкой я привязал лошадь. С дубка бенгальским огнем сыпались искры снега, а Крутик извивался у меня под ногами. Я постоял и послушал глубокую тишину леса, осторожно подошел к завалинке и заглянул в верхний кусочек полузамерзшего окна... И глухая, отшельническая жизнь старика снова поразила меня своей мужицкой, древнерусской суровостью. В глубине слабо освещенной, закопченной избы он стоял перед иконой и, закрывая глаза, кланялся ей в пояс, точно сокрушаемый великими грехами. Должно быть, он только что выкупался,— конечно, в ледяных сенцах, где решетник в инее сверкал при лампочке своей серебряной бахромою. Редкие волосы его были мокры и причесаны, подбородок чисто пробрит, длинная белая рубаха аккуратно подпоясана. И когда он закидывал назад голову и долго стоял так с закатившимися под лоб глазами, я видел на его лице такую старческую скорбь, такую восторженно-грустную готовность принять желанную смерть!

Говорил он опять мало, хотя был ласков. В избе было тепло и сыро, как в бане; я скинул шубу и сидел на лавке у столика. А старик стоял передо мною, отвечал не спеша и все прикрывал глаза. Наконец, уже собираясь уезжать, я как будто мимоходом спросил:

— Мелитон, отчего ты такой скучный?

Он удивился.

— Я-с? — спросил он растерянно.— Я ничего-с... Известно, старость.

— Или горе у тебя какое? — сказал я, глядя ему в глаза.  
— Избави бог-с! — сказал он поспешно. — Я караулю-с...  
— Да нет, я не про то, — сказал я, смутившись. — Я так спросил...

Он понял, успокоился и нежно улыбнулся, прикрывая глаза.

— А я думал обида какая-с, — сказал он ласково. — А что я невеселый, так какое же веселье? И грехов много-с...

— Какие же у тебя грехи, Мелитон!

— Грехи-с у всякого есть, — сказал он со вздохом, кротко и серьезно. — На то и живем-с, чтобы за грехи каяться.

— Да ты и то как святой живешь. Ты вон постишься целый век...

Он опять удивился и даже слегка нахмурился.

— Ем-с, как все, — сказал он скороговоркой. — Живут хуже моего-с, все так живут...

— Ну, прощай! — сказал я, надевая шубу и отворяя дверь на морозный воздух лунной ночи.

Морозило крепко, и Большая Медведица, как брильянтовая, висела по небу над снежной поляной. Мелитон без шапки и в одной рубахе стоял на пороге.

— Прощай, Мелитон! — сказал я, садясь в сани. — Иди в избу, простудишься!

— Ничего-с, — смиренно ответил Мелитон. — Счастливой дороги-с!

Лошадь в светлом поле бежала шибко и бодро, полозя пели и визжали по затвердевшему снегу, ветер с севера слегка обжигал лицо, сковывая усы и ресницы. Я отвертывался от него, прикрываясь пахучим на морозе енотовым воротником...



## ТУМАН

Вторые сутки мы были в море. На рассвете первой ночи мы встретили густой туман, который закрыл горизонты, задымил мачты и медленно возрастал вокруг нас, сливаясь с серым морем и серым небом. Была зима, но все последние дни стояла оттепель. На Кавказских горах таяли снега, а море дышало обильными предвесенними испарениями. И вот ранним сумрачным утром машина внезапно затихла, а пассажиры, разбуженные этой неожиданной остановкой, гремучими свистками и топотом ног по палубе, полусонные, озябшие и встревоженные, один за другим стали появляться у рубки. Шел беспорядочный говор, а серые космы тумана, как живые, медленно ползли по пароходу.

Помню, что вначале это сильно беспокоило. Колокол почти непрерывно звонил на баке, из трубы с тяжким храпом вырывался угрожающий рев; и все тупо смотрели на растущий туман. Он вытягивался, изгибался, плыл дымом и порою так густо окутывал пароход, что мы казались друг другу призраками, двигающимися во мгле. Похоже было на хмурые осенние сумерки, когда неприятно дрогнешь от сырости и чувствуешь, как зеленеет лицо. Потом туман сделался немного светлей, ровней и, значит, безнадежнее. Пароход снова шел, но так робко, что дрожь от работающей машины была почти беззвучна. Не переставая звонить, он направлялся теперь все дальше от берегов, к югу, где непроницаемая густота тумана наливалась уже настоящими сумерками,— тоскливой аспидной мутью, за которой в двух шагах чудился конец света, жуткая пустыня пространства. С рей, с навесов и снастей капала вода. Мокрая угольная пыль, летевшая из трубы, черным дождем сыпалась возле нее. Хотелось хоть что-нибудь рассмотреть в ненастной

дали, но туман окутывал, как сон, притуплял слух и зрение; пароход был похож на воздушный корабль, перед глазами была серая муть, на ресницах — холодная паутина, и матрос, который курил невдалеке от меня, обсасывая мокрые соленые усы, казался мне порою таким, точно я видел его во сне... В шесть часов мы снова стали.

Вспыхнуло сквозь туман живым глазком электричество в фонаре на мачте, черными клубами величаво повалил дым из жерла тяжелой и приземистой трубы и повис в воздухе. Колокол без смысла и однообразно звонил на носу, где-то мрачным и тоскливым голосом простонала «сирена»... может быть, и не существующая, а созданная напряженным слухом, которому всегда чудится что-нибудь в таинственной безбрежности тумана... Туман темнел все угрюмее. Вверху он сливался с сумраком неба, внизу бродил вокруг парохода, едва касаясь воды, которая слабо плескалась в пароходные бока. Наступала долгая зимняя ночь.

Тогда, чтобы вознаградить себя за тоскливый день, истомивший всех ожиданиями беды, пассажиры сбились вместе с моряками в кают-компанию. Вокруг парохода была уже непроглядная тьма, а внутри его, в нашем маленьком мирке, было светло, шумно илюдно. Играли в карты, пили чай, вина, лакеи бегали из буфета в буфет, хлопая пробками. Я лежал внизу, в своем помещении, слушал топот ног, раздававшийся над головою. Кто-то заиграл манерно-печальный модный вальс на пианино, и мне захотелось на люди. Я оделся и вышел.

Должно быть, всем было весело в тот вечер. По крайней мере казалось так, и было приятно, что вечер прошел незаметно. Все забыли про туман и опасности, танцевали, пели, ходили с сияющими глазами. Потом устали и захотели спать... И большая, душная и жаркая кают-компания, в которой уже болезненно-ярко блестели огни, наконец опустела. А когда я заглянул туда через полчаса, то там был уже полный мрак, как почти и всюду на пароходe. Сверху доносился иногда звон колокола и был очень странен в наступившей тишине. Потом и он стал слышен все реже и реже... И все точно вымерло.

Я прошелся внизу, по коридорам, посидел в рубке, прислонясь к холодной мраморной стене... Вдруг и в ней погасло электричество, а я сразу точно ослеп. Внутренно напевая то, что пели и играли в этот вечер, я ошупью добрался до трапа, поднялся на несколько ступеней к верхней палубе — и остановился, пораженный красотой и печалью лунной ночи.

О, какая странная была эта ночь! Был уже очень поздний. — может быть, предрассветный час. Пока мы пели, пили, говорили

друг другу вздор и смеялись, здесь, в этом чуждом нам мире неба, тумана и моря, взошла кроткая, одинокая и всегда печальная луна, и воцарилась глубокая полночь... совершенно такая же, как пять, десять тысяч лет тому назад... Туман тесно стоял вокруг, и было жутко глядеть на него. Среди тумана, озаряя круглую прогалину для парохода, вставало нечто подобное светлomu мистическому видению: желтый месяц поздней ночи, опускаясь на юг, замер на бледной завесе мглы и, как живой, глядел из огромного, широко раскинутого кольца. И что-то апокалиптическое было в этом круге... что-то неземное, полное молчаливой тайны, стояло в гробовой тишине,— во всей этой ночи, в пароходe и в месяце, который удивительно близок был на этот раз к земле и прямо смотрел мне в лицо с грустным и бесстрастным выражением.

Медленно поднялся я на последние ступеньки трапа и прислонился к его перилам. Подо мной был весь пароход. По выпуклым деревянным мосткам и палубам тускло блестили кое-где продольные полосы воды,— следы тумана. От перил, канатов и скамеек, как паутина, падали легкие дымчатые тени. В середине парохода, в трубе и машине, чувствовалась колоссальная и надежная тяжесть, в мачтах — высота и зыбкость. Но весь пароход все-таки представлялся легко и стройно выросшим кораблем-привидением, оцепеневшим на этой бледно освещенной прогалине среди тумана. Вода низко и плоско лежала перед правым бортом. Таинственно и совершенно беззвучно колеблясь, она уходила в легкую дымку под месяц и поблескивала в ней, словно там появлялись и исчезали золотые змейки. Блеск этот терялся в двадцати шагах от меня,— дальше он мерцал уже чуть видно, как мертвый глаз. А когда я смотрел вверх, мне опять чудилось, что этот месяц — бледный образ какого-то мистического видения, что эта тишина — тайна, часть того, что за пределами познаваемого...

Внезапно зазвонили на баке в колокол. Звуки уныло побежали один за другим, нарушая молчание ночи, и тотчас же послышался где-то впереди смутный шум и ропот. Мгновенно предчувствие опасности заставило меня впиться глазами в сумрачный туман, и вдруг кровавый сигнальный огонь, похожий на крупный рубин, вырос из тумана и стал быстро приближаться к нам. Под ним мутно-золотыми пятнами расплывались и шли длинной цепью освещенные окна, а в шуме колес, который был похож сперва на приближающийся шум каскада, уже выделялись звуки быстро вертящихся лопастей, и можно было различить, как шипит и сыплется вода. Вахтенный на нашем пароходe с поспешностью очнувшегося от сна человека машинально и нескладно забил в колокол, а затем тяжело захрипела труба, и из нее с трудом пробился широкий и мрачный гул,

потрясающий весь остов парохода. Из тумана раздался тогда ответный голос, похожий на гулкий крик паровоза, но он быстро затерялся в тумане, а за ним медленно стал таять и шум колес, и красный сигнальный огонь. В этом крике и шуме чувствовалось что-то задорное и суетное, — верно, и капитан встречного парохода был молод и дерзок, — но что значила эта суетная смелость перед лицом такой ночи!

«Где мы?» — пришло мне в голову. Вахтенные, вероятно, уже снова дремлют, пассажиры спят непробудным сном, — туман сбил меня с толку... Я не представляю себе, где мы, потому что в этих местах на Черном море я никогда не бывал... Я не понимаю молчаливых тайн этой ночи, как и вообще ничего не понимаю в жизни. Я совершенно одинок, я не знаю, зачем я существую. И зачем эта странная ночь, и зачем стоит этот сонный корабль в сонном море? А главное — зачем все это не просто, а полно какого-то глубокого и таинственного значения?

Околдованный тишиной ночи, тишиной, подобной которой никогда не бывает на земле, я отдавался в ее полную власть. На мгновение мне почудилось, что в невыразимой дали где-то прокричал петух... Я усмехнулся. «Этого не может быть», — подумал я с какой-то странной радостью; и все, чем я жил когда-то, показалось мне таким маленьким и жалким! Если бы в этот час выплыла на месяц наяда, — я не удивился бы... Не удивился бы, если бы утопленница вышла из воды и, бледная от месяца, села в лодку, спущенную около окон пассажирских кают... Теперь месяц смотрит прямо в эти круглые окошечки и озаряет угасающим светом спящих, а они лежат, как мертвые... Не разбудить ли кого-нибудь? Но нет, — зачем? Мне никто не нужен теперь, и я никому не нужен, и все мы чужды друг другу...

И невыразимое спокойствие великой и безнадежной печали овладело мною. Думал я о том, что всегда влекло меня к себе, — о всех живших на этой земле, о людях древности, которых всех видел этот месяц и которые, верно, казались ему всегда настолько маленькими и похожими друг на друга, что он даже не замечал их исчезновения с земли. Но теперь и они были чужды мне: я не испытывал моего постоянного и страстного стремления пережить все их жизни, — слиться со всеми, которые когда-то жили, любили, страдали, радовались и прошли и бесследно скрылись во тьме времен и веков. Одно я знал без всяких колебаний и сомнений, — это то, что есть что-то высшее даже по сравнению с глубочайшей земною древностью... может быть, та тайна, которая молчаливо хранилась в этой ночи... И впервые мне пришло в голову, что, может быть, именно то великое, что обыкновенно называют *смертью*, заглянуло мне в эту

ночь в лицо, и что я впервые встретил ее спокойно и понял так, как должно человеку...

Утром, когда я открыл глаза и почувствовал, что пароход идет полным ходом, и что в открытый люк тянет теплый, легкий ветерок с побережий, я вскочил с койки, снова полный бессознательной радости жизни. Я быстро умылся и оделся и, так как по коридорам парохода громко звонили, сзывая к завтраку, распахнул дверь каюты и, весело стуча ярко вычищенными сапогами по трапу, побежал наверх. Улыбаясь, я сидел потом на верхней палубе и чувствовал к кому-то детскую благодарность за все, что должны переживать мы. И ночь и туман, казалось мне, были только затем, чтобы я еще более любил и ценил утро. А утро было ласковое и солнечное,— ясное бирюзовое небо весны сияло над пароходом, и вода легко бежала и плескалась вдоль его бортов.

*1901*

## КОСТЕР

У поворота с большой дороги, у высокого столба, указывающего путь на проселок, горел в темноте костер. Я ехал в тарантасе тройкой, слушал звон поддужного колокольчика и вдыхал свежесть степной ночи. Костер разгорался ярко и, чем ближе я подъезжал к нему, тем все резче отделялось пламя от нависшего над ним мрака. А вскоре стало можно различить и самый столб, озаренный из-под низу, и черные фигуры людей, сидевших на земле. Казалось, что они, точно заговорщики, проводят ночь в каком-то хмуром подземелье, и что темные своды этого подземелья дрожат от переплетающихся языков пламени.

Когда его отблеск коснулся голов тройки, люди, сидевшие у костра, повернулись и стали вслушиваться. Позы у них были внимательные, лица красные. Собака вдруг вырезалась на огненном фоне и залаяла. Тревожно, не спуская с нас взгляда, поднялся с земли один из сидевших. В низком пространстве, озаренном костром, фигура его была огромна.

— Гирла-а! — гортанно и глухо крикнул он на собаку.

Отчего так тянет ночью к костру, к людям, ночующим в степи у дороги? Когда долго едешь проселком, видишь только звездное небо и сумрак над сливающимися равнинами, грусть одиночества томит, и волнует каждый огонек вдали. Остановив лошадей, я поклонился и попросил спичек:

— Добрый вечер! Нельзя ли закурить у вас?

За лаем собаки, человек, который выжидательно встал передо мною, крепкий, широкогрудый старик в бараньей шапке и накинутом на плечи кожухе, не расслышал меня и злобно топнул ногою.

— Ат, каторжна! — крикнул он на овчарку и, не спуская

с меня подозрительного взгляда, громко прибавил гортанным, цыганским говором:— Добрый вечер, пану! А що милости его завгодно будэ?

Ноздри у него были вырезаны резко, борода доходила до самых глаз. И в этих черных расширенных глазах, в черных жестких волосах, густо вьющихся из-под шапки, в жесткой, кудрявой бороде — во всем чувствовалась дикость и внимательность степного человека.

— Да вот, закурить нечем,— повторил я притворно-просто.— Дайте, пожалуйста, пару спичек.

— А хиба ж есть спички у цыган? — спросил старик и обернулся к двум другим, сидевшим у костра, которые тоже осматривали и лошадей и тарантас.— Може, пан, от костра запалить?

Старик отошел к костру, наклонился и спокойно кинул на ладонь руки раскаленный уголь. Я поспешил приставить к нему папиросу и кинул два-три быстрых взгляда на маленький табор. Один из сидевших был рыжий оборванный мужик, повидимому, бродяга-рабочий с низов, другой — молодой цыган. Он сидел, горделиво откинув голову назад, и, охватив руками поднятые худые колени, искоса смотрел на меня. Синевато-смуглое лицо его было изящно, как у восточного принца. Белки глаз странно выделялись на этом лице — и глаза казались изумленными. И одет он был шеголем: тонкие сапоги, новый картуз, городской пиджак, шелковая лиловая рубаха и длинная серебряная цепочка на шее.

— Може, пан блукае? — спросил старик, кидая уголь в костер.

— Нет,— пробормотал я и еще раз глянул за костер, который слепил меня своим ярким мерцанием. И тогда из темноты выделились серые полы большого разлатого шатра, брошенная дуга и оглобли телеги, а возле них — самовар, горшки и большая перина, на которой лежала толстая цыганка в лохмотьях, кормившая грудью полуголого ребенка. Надо всем же этим стояла девушка лет пятнадцати и пристально смотрела на меня меланхолично-призывными глазами необыкновенной красоты. Она выделилась из сумрака внезапно — и я увидел грубые смоляные волосы, страстную нежность глаз, губ и всего древне-египетского овала лица, одним взглядом охватил все формы стройного девичьего тела под лиловым тонким платьем, из которого она выросла. Но столько было вопросительного ожидания во всех лицах, а в глазах бродяги столько дерзости, что я смутился и тронул за рукав кучера.

— Може, проводить пана? — повторил старик живо.

— Нет, спасибо,— поспешил я ответить и, еще раз жадно взглянув за костер, откинулся в задок тарантаса.— Пошел!

Лошади тронули, копыта дружно застучали, а колокольчик так и залился жалобным стоном, перебивая лай бросившейся за нами собаки...

Не было больше тепла и запаха горящего бурьяна, в лицо веяло свежестью ночи, и опять, темнея в сумраке, бежали навстречу мне поля. Черная дуга высоко вырезывалась на небе и, качаясь, задевала звезды. Но еще ярче, чем у костра, видел я теперь черные волосы, нежно-страстные глаза и старое серебряное монисто на шее... И в запахе росистых трав и одиноком звоне колокольчика, в звездах и в небе было уже новое чувство,— томящее, непонятное и от этого еще более сладостное. И казалось, что я поступил непоправимо, безрассудно, покинув что-то близкое, созданное именно для меня и только по какой-то случайности уходящее от меня все дальше и дальше...

*1901*



## В АВГУСТЕ

Уехала девушка, которую я любил, которой я ничего не сказал о своей любви, и так как мне шел тогда двадцать второй год, то казалось, что я остался один во всем свете. Был конец августа; в малорусском городе, где я жил, стояло знойное затишье. И когда однажды в субботу я вышел после работы от бондаря, на улицах было так пусто, что, не заходя домой, я побрел куда глаза глядят за город. Шел я по тротуарам мимо закрытых еврейских магазинов и старых торговых рядов; в соборе звонили к вечерне, от домов ложились длинные тени, но было еще так жарко, как бывает в южных городах в конце августа, когда даже в садах, жарившихся на солнце целое лето, все покрыто пылью. Мне было тоскливо, несказанно тоскливо, а вокруг меня все замирало от полноты счастья,— в садах, в степи, на баштанах и даже в самом воздухе и густом солнечном блеске.

На пыльной площади, у водопровода стояла красивая большая хохлушка в расшитой белой сорочке и черной плахте, плотно обтягивавшей ей бедра, в башмаках с подковками на босую ногу. Было в ней что-то общее с Венерой Милосской, если только можно вообразить себе Венеру загорелой, с карими веселыми глазами и с такой ясностью чела, которая бывает, кажется, только у хохлушек и полек. Наполнив ведра, она положила коромысло на плечо и пошла прямо навстречу мне,— стройная, несмотря на тяжесть плескавшей воды, слегка покачивая станом и постукивая башмаками по деревянному тротуару... И помню, как почтительно я посторонился, давая ей дорогу, и как долго смотрел за нею! А в улицу, которая шла с площади под гору, на Подол, видна была огромная, мягко синеюшая долина реки, луга, леса, смуглые золотистые пески за ними и даль, нежная южная даль...

Кажется, никогда не любил я так Малороссию, как в ту пору, никогда не хотел так жить, как в ту осень, а между тем толковал я тогда только о борьбе с жизнью, учился только бондарному ремеслу. И теперь, постояв на площади, я решил отправиться в гости к толстовцам, за город. Спускаясь под гору на Подол, я встретил много парных извозчиков, которые шибко везли пассажиров с пятичасового поезда из Крыма. Огромные ломовые лошади медленно ташили в гору гремящие телеги с ящиками и тюками, и запах москательных товаров, ванили и рогожи, извозчики, пыль и люди, которые ехали откуда-то, где должно быть хорошо,— все опять заставило мое сердце сжаться от каких-то мучительно-тоскливых и сладких стремлений. Я свернул в тесный переулочек между садами и долго шел по предместью. «Панычї» этого предместья, мастеровые и мешане, дико и чудесно «гукáли» в летние ночи по долине да пели хорами на церковный лад красивые и печальные казацкие песни. Теперь «панычи» молотили. На окраине, там, где голубые и белые мазанки стояли уже на леваде, при начале долины, мелькали на токах цепы. Но в затишье долины было жарко так же, как в городе, и я поспешил взобраться на гору, в открытую, ровную степь.

Тихо, покойно и просторно было там. Вся степь, насколько хватал глаз, была золотая от густого и высокого жнивья. На широком, бесконечном шляхе лежала глубокая пыль: казалось, что идешь в бархатных башмаках. И все вокруг — и жнивья, и дорога, и воздух, — сияло от низкого вечернего солнца. Прошел черный от загара, пожилой хохол в тяжелых сапогах, в бараньей шапке и толстой свитке цвета ржаного хлеба, и палка, которой он попирался, блестела на солнце, как стеклянная. Крылья грачей, перелетавших над жнивьями, тоже блестели и лоснились, и нужно было закрываться полями жаркой шляпы от этого блеска и зноя. Далеко, почти на горизонте, можно было различить телегу и пару волов, которые медленно влекли ее, да шалаш сторожа на бахчах... Ах, словно было среди этой тишины и простора! Но всю душу мою тянуло к югу, за долину, в ту сторону, куда уехала она...

В полуверсте от дороги, над долиной краснела черепичная кровля маленького хутора, — поместье толстовцев, братьев Павла и Виктора Тимченков. И я пошел туда по сухому, колкому жнивью. Вокруг хаты было пусто. Я заглянул в окошечко — там гудели одни мухи, гудели целыми роями: на стеклах, под потолком, в горшках, стоявших на лавках. К хате был пристроен скотник; и там не оказалось никого. Ворота были открыты, и солнце сушило двор, заваленный навозом...

— Вы куда? — внезапно окликнул меня женский голос.

Я обернулся: на обрыве над долиной, на меже бахчи сидела жена старшего Тимченки, Ольга Семеновна. Не вставая, она подала мне руку, и я сел с ней рядом.

— Скучно? — спросил я, помолчав и глядя ей прямо в лицо.

Она опустила глаза на свои босые ноги. Маленькая, загорелая, в грязной рубаше и старенькой плахте, она была похожа на девочку, которую послали стеречь баштаны и которая грустно проводила долгий солнечный день. И лицом она была похожа на девочку-подростка из русского села. Однако я никак не мог привыкнуть к ее одежде, к тому, что она босыми ногами ходит по навозу и колкому жнивью, даже стыдился смотреть на эти ноги. Да она и сама все поджимала их и часто искала поглядывала на свои испорченные ногти. А ноги были маленькие и красивые.

— Муж ушел на леваду молотить, — сказала она, — а Виктор Николаич уехал... Павловского опять арестовали за отказ от солдатчины. Вы помните Павловского?

— Помню, — сказал я машинально.

И мы смолкли и долго смотрели на синеву долины, на леса, пески и меланхолично зовущую даль. Солнце еще грело нас, круглые, тяжелые арбузы лежали среди длинных пожелтевших плетей, перепутанных, как змеи, и тоже грелись.

— Отчего вы не откровенны со мной? — начал я. — Зачем вы насилуете себя? Вы любите меня.

Она съежилась, подобрала ноги и прикрыла глаза; потом сдунула волос, упавший на щеку, и с решительной улыбкой сказала:

— Дайте мне папироску.

Я дал. Она затянулась раза два, закашлялась, далеко бросила папиросу и задумалась.

— Я с самого утра так сижу, — сказала она. — Куры приходят с самой левады расклеивать арбузы... И не знаю, почему вам кажется здесь скучно. Мне очень нравится здесь, очень...

Над долиной, верстах в двух от хутора, куда я пришел на закате, я сел, снял шляпу... Сквозь слезы я смотрел в даль, и где-то далеко мне грезились южные знойные города, синий степной вечер и образ какой-то женщины, который сливался с девушкой, которую я любил, но дополнял ее своею таинственностью и той детской печалью, которая была в глазах маленькой женщины на баштанах...

## ОСЕНЬЮ

### I

В гостиной наступило на минуту молчание, и, воспользовавшись этим, она встала с места и как бы мельком взглянула на меня.

— Ну, мне пора,— сказала она с легким вздохом, и у меня дрогнуло сердце от предчувствия какой-то большой радости и тайны между нами.

Я не отходил от нее весь вечер и весь вечер ловил в ее глазах затаенный блеск, рассеянность и едва заметную, но какую-то новую ласковость. Теперь в тоне, каким она как бы с сожалением сказала, что ей пора уходить, мне почудился скрытый смысл,— то, что она знала, что я выйду с нею.

— Вы тоже? — полуутвердительно спросила она.— Значит, вы проводите меня,— прибавила она вскользь и, слегка не выдержав роли, улыбнулась, оглядываясь.

Стройная и гибкая, она легким и привычным движением руки захватила юбку черного платья. И в этой улыбке, в молодом изящном лице, в черных глазах и волосах, даже, казалось, в тонкой нитке жемчуга на шее и блеске брильянтов в серьгах — во всем была застенчивость девушки, которая любит впервые. И пока ее просили передать поклоны ее мужу, а потом помогали ей в прихожей одеваться, я считал секунды, боясь, что кто-нибудь выйдет с нами.

Но вот дверь, из которой на мгновение упала в темный двор полоса света, мягко захлопнулась. Подавляя нервную дрожь и чувствуя во всем теле необычную легкость, я взял ее руку и заботливо стал сводить с крыльца.

— Вы хорошо видите?— спросила она, глядя под ноги.

И в голосе ее опять послышалась поощряющая приветливость.

Я, наступая на лужи и листья, наугад повел ее по двору, мимо обнаженных акаций и укусных деревьев, которые гулко и упруго, как корабельные снасти, гудели под влажным и сильным ветром южной ноябрьской ночи.

За решетчатыми воротами светился фонарь экипажа. Я взглянул ей в лицо. Не отвечая, она взяла своей маленькой, узкой от перчатки рукой железный прут ворот и без моей помощи откинула половину их в сторону. Поспешно прошла она к экипажу и села в него, так же быстро сел и я рядом с нею...

## II

Мы долго не могли сказать ни слова. То, что тайно волновало нас последний месяц, было теперь сказано без слов, и мы молчали только потому, что сказали это слишком ясно и неожиданно. Я прижал ее руку к своим губам и, взволнованный, отвернулся и стал пристально глядеть в сумрачную даль бегущей навстречу нам улицы. Я еще боялся ее, и когда на мой вопрос,— не холодно ли ей,— она только со слабой улыбкой шевельнула губами, не в силах ответить, я понял, что и она боится меня. Но на пожатие руки она ответила благодарно и крепко.

Южный ветер шумел в деревьях на бульварах, колебал пламя редких газовых фонарей на перекрестках и скрипел вывесками над дверями запертых лавок. Иногда какая-нибудь сгорбленная фигура вырастала вместе с своею шляпою тенью под большим качающимся фонарем таверны, но исчезал фонарь за нами — и опять на улице было пусто, и только сырой ветер мягко и непрерывно бил по лицам. Из-под колес брызгами сыпалась в разные стороны грязь, и она, казалось, с интересом следила за ними. Я взглядывал иногда на ее опущенные ресницы и склоненный под шляпой профиль, чувствовал всю ее так близко от себя, слышал тонкий запах ее волос, и меня волновал даже гладкий и нежный мех соболя на ее шее...

Потом мы свернули на широкую, пустую и длинную улицу, казавшуюся бесконечной, миновали старые еврейские ряды и базар, и мостовая сразу оборвалась под нами. От толчка на новом повороте она покачнулась, и я невольно обнял ее. Она взглянула вперед, потом обернулась ко мне. Мы встретились лицом к лицу, в ее глазах не было больше ни страха, ни колебания,— легкая застенчивость сквозила только в напряженной улыбке,— и тогда я, не сознавая, что делаю, на мгновение крепко прильнул к ее губам...

### III

В темноте мелькали высокие силуэты телеграфных столбов вдоль дороги,— наконец пропали и они, свернули куда-то в сторону и скрылись. Небо, которое над городом было черно и все-таки отделялось от его слабо освещенных улиц, совершенно слилось здесь с землею, и нас окружил ветренный мрак. Я оглянулся назад. Огни города тоже исчезали,— они были рассыпаны точно где-то в темном море,— а впереди мерцал только один огонек, такой одинокий и отдаленный, точно он был на краю света. То была старая молдаванская корчма на большой дороге, и оттуда несло сильным ветром, который пугался и торопливо шуршал в иссохших стеблях кукурузы.

— Куда мы едем? — спросила она, сдерживая дрожь в голосе.

Но глаза ее блестели,— наклонившись к ней, я различал их в темноте,— и в них было странное и вместе с тем счастливое выражение.

Ветер торопливо шуршал и бежал, путаясь в кукурузе, лошади быстро неслись ему навстречу. Снова куда-то мы свернули, и ветер сразу изменился, стал влажнее и прохладнее и еще беспокойней заметался вокруг нас.

Я полной грудью вдыхал его. Мне хотелось, чтобы все темное, слепое и непонятное, что было в этой ночи, было еще непонятнее и смелее. Ночь, которая казалась в городе обычной ненастной ночью, была здесь, в поле, совсем иная. В ее темноте и ветре было теперь что-то большое и властное,— и вот наконец послышался сквозь шорох бурьянов какой-то ровный, однообразный, величавый шум.

— Море? — спросила она.

— Море,— сказал я.— Это уже последние дачи.

А в побледневшей темноте, к которой мы пригляделись, вырастали влево от нас огромные и угрюмые силуэты тополей в дачных садах, спускавшихся к морю. Шорох колес и топот копыт по грязи, отдаваясь от садовых оград, на минуту стал явственнее, но скоро их заглушил приближающийся гул деревьев, в которых метался ветер, и шум моря. Промелькнуло несколько наглухо забытых домов, смутно белевших в темноте и казавшихся мертвыми... Потом тополи расступились, и внезапно в пролет между ними пахнуло влажностью,— тем ветром, который прилетает к земле с огромных водяных пространств и кажется их свежим дыханием.

Лошади остановились.

И тотчас же ровный и величавый ропот, в котором чувствовалась огромная тяжесть воды, и беспорядочный гул деревьев

в беспокойно дремавших садах стали слышнее, и мы быстро пошли по листьям и лужам, по какой-то высокой аллее, к обрывам.

#### IV

Море гудело под ними грозно, выделяясь из всех шумов этой тревожной и сонной ночи. Огромное, теряющееся в пространстве, оно лежало глубоко внизу, далеко белея сквозь сумрак бегущими к земле гривами пены. Страшен был и беспорядочный гул старых тополей за оградой сада, мрачным островом выроставшего на скалистом побережье. Чувствовалось, что в этом безлюдном месте властно царит теперь ночь поздней осени, и старый большой сад, забитый на зиму дом и раскрытые беседки по углам ограды были жутки своей заброшенностью. Одно море гудело ровно, победно и, казалось, все величавее в сознании своей силы. Влажный ветер валил с ног на обрыве, и мы долго не в состоянии были насытиться его мягкой, до глубины души проникающей свежестью. Потом, скользя по мокрым глинистым тропинкам и остаткам деревянных лестниц, мы стали спускаться вниз, к сверкающему пеной прибою. Ступив на гравий, мы тотчас же отскочили в сторону от волны, разбившейся о камни. Высились и гудели черные тополи, а под ними, как бы в ответ им, жадным и бешеным прибоем играло море. Высокие, долетающие до нас волны с грохотом пушечных выстрелов рушились на берег, крутились и сверкали целыми водопадами снежной пены, рыли песок и камни и, убегая назад, увлекали спутанные водоросли, ил и гравий, который гремел и скрежетал в их влажном шуме. И весь воздух был полон тонкой, прохладной пылью, все вокруг дышало вольной свежестью моря. Темнота бледнела, и море уже ясно видно было на далекое пространство.

— И мы одни! — сказала она, закрывая глаза.

#### V

Мы были одни. Я целовал ее губы, упиваясь их нежностью и влажностью, целовал глаза, которые она подставляла мне, прикрывая их с улыбкой, целовал похолодевшее от морского ветра лицо, а когда она села на камень, стал перед нею на колени, обесиленный радостью.

— А завтра? — говорила она над моей головою.

И я поднимал голову и смотрел ей в лицо. За мною жадно бушевало море, над нами высились и гудели тополи...

— Что завтра? — повторил я ее вопрос и почувствовал, как у меня дрогнул голос от слез непобедимого счастья. — Что завтра?

Она долго не отвечала мне, потом протянула мне руку, и я стал снимать перчатку, целуя и руку и перчатку и наслаждаясь их тонким, женственным запахом.

— Да! — сказала она медленно, и я близко видел в звездном свете ее бледное и счастливое лицо.— Когда я была девушкой, я без конца мечтала о счастье, но все оказалось так скучно и обыденно, что теперь эта, может быть, единственная счастливая ночь в моей жизни кажется мне непохожей на действительность и преступной. Завтра я с ужасом вспомню эту ночь, но теперь мне все равно... Я люблю тебя,— говорила она нежно, тихо и вдумчиво, как бы говоря только для самой себя.

Редкие, голубоватые звезды мелькали между тучами над нами, и небо понемногу расчищалось, и тополи на обрывах чернели резче, и море все более отделялось от далеких горизонтов. Была ли она лучше других, которых я любил, я не знаю, но в эту ночь она была несравненной. И когда я целовал платье на ее коленях, а она тихо смеялась сквозь слезы и обнимала мою голову, я смотрел на нее с восторгом безумия, и в тонком звездном свете ее бледное, счастливое и усталое лицо казалось мне лицом бессмертной.



## НОВЫЙ ГОД

— Послушай,— сказала жена,— мне жутко.

Была лунная зимняя полночь, мы ночевали на хуторе в Тамбовской губернии, по пути в Петербург с юга, и спали в детской, единственной теплой комнате во всем доме. Открыв глаза, я увидел легкий сумрак, наполненный голубоватым светом, пол, покрытый попонами, и белую лежанку. Над квадратным окном, в которое виднелся светлый снежный двор, торчала щетина соломенной крыши, серебрившаяся инеем. Было так тихо, как может быть только в поле в зимние ночи.

— Ты спишь,— сказала жена недовольно,— а я задремала давеча в возке и теперь не могу...

Она полулежала на большой старинной кровати у противоположной стены. Когда я подошел к ней, она заговорила веселым шопотом:

— Слушай, ты не сердись, что я разбудила тебя? Мне, правда, стало жутко немного и как-то очень хорошо. Я почувствовала, что мы с тобой совсем, совсем одни тут, и на меня напал чисто детский страх...

Она подняла голову и прислушалась.

— Слышишь, как тихо? — спросила она чуть слышно.

Мысленно я далеко оглянул снежные поля вокруг нас,— всюду было мертвое молчание русской зимней ночи, среди которой таинственно приближался Новый год... Так давно не ночевал я в деревне, и так давно не говорили мы с женой мирно! Я несколько раз поцеловал ее в глаза и волосы с той спокойной любовью, которая бывает только в редкие минуты, и она внезапно ответила мне порывистыми поцелуями влюбленной девушки. Потом долго прижимала мою руку к своей загоревшейся щеке.

— Как хорошо! — проговорила она со вздохом и убежденно. И, помолчав, прибавила: — Да, все-таки ты единственный близкий мне человек! Ты чувствуешь, что я люблю тебя?

Я пожал ее руку.

— Как это случилось? — спросила она, открывая глаза.— Выходила я не любя, живем мы с тобой дурно, ты говоришь, что из-за меня ты ведешь пошлое и тяжелое существование... И однако все чаще мы чувствуем, что мы нужны друг другу. Откуда это приходит и почему только в некоторые минуты? С Новым годом, Костя! — сказала она, стараясь улыбнуться, и несколько теплых слез упало на мою руку.

Положив голову на подушку, она заплакала, и, верно, слезы были приятны ей, потому что изредка она поднимала лицо, улыбалась сквозь слезы и целовала мою руку, стараясь продлить их нежностью. Я гладил ее волосы, давая понять, что я ценю и понимаю эти слезы. Я вспомнил прошлый Новый год, который мы, по обыкновению, встречали в Петербурге в кружке моих сослуживцев, хотел вспомнить позапрошлый — и не мог, и опять подумал то, что часто приходит мне в голову: годы сливаются в один, беспорядочный и однообразный, полный серых служебных дней, умственные и душевные способности слабеют, и все более неосуществимыми кажутся надежды иметь свой угол, поселиться где-нибудь в деревне или на юге, копаться с женой и детьми в виноградниках, ловить в море летом рыбу... Я вспомнил, как ровно год тому назад жена с притворной любезностью заботилась и хлопотала о каждом, кто, считаясь нашим другом, встречал с нами новогоднюю ночь, как она улыбалась некоторым из молодых гостей и предлагала загадочно-меланхолические тосты, и как чужда и неприятна была мне она в тесной петербургской квартирке...

— Ну, полно, Оля! — сказал я.

— Дай мне платок,— тихо ответила она и по-детски, прерывисто вздохнула.— Я уже не плачу больше.

Лунный свет воздушно-серебристой полосой падал на лежанку и озарял ее странную, ярко бледностью. Все остальное было в сумраке, и в нем медленно плавал дым моей папиросы. И от попон на полу, от теплой, озаренной лежанки,— ото всего веяло глухой деревенской жизнью, уютностью родного дома...

— Ты рада, что мы заехали сюда? — спросил я.

— Ужасно, Костя, рада, ужасно! — ответила жена с порывистой искренностью.— Я думала об этом, когда ты уснул. Помоему,— сказала она уже с улыбкой,— венчаться надо бы два раза. Серьезно, какое это счастье — стать под венец сознательно, поживши, пострадавши с человеком! И непременно жить дома, в своем углу, где-нибудь подальше ото всех...

«Родиться, жить и умереть в родном доме» — как говорит Мопассан!

Она задумалась и опять положила голову на подушку.

— Это сказал Сент-Бёв,— поправил я.

— Все равно, Костя. Я, может быть, и глупая, как ты постоянно говоришь, но все-таки одна люблю тебя... Хочешь, пойдём гулять?

— Гулять? Куда?

— По двору. Я надену валенки, твой полушубочек... Разве ты уснешь сейчас?

Через полчаса мы оделись и, улыбаясь, остановились у двери.

— Ты не сердисься? — спросила жена, взяв мою руку.

Она ласково заглядывала мне в глаза, и лицо ее было необыкновенно мило в эту минуту, и вся она казалась такой женственной в серой шали, которой она по-деревенски закутала голову, и в мягких валенках, делавших ее ниже ростом.

Из детской мы вышли в коридор, где было темно и холодно, как в погребе, и в темноте добрались до прихожей. Потом заглянули в залу и гостиную... Скрип двери, ведущей в залу, раздался по всему дому, а из сумрака большой, пустой комнаты, как два огромные глаза, глянули на нас два высоких окна в сад. Третье было прикрыто полуразломанными ставнями.

— Ау! — крикнула жена на пороге.

— Не надо,— сказал я,— лучше посмотри, как там хорошо.

Она притихла, и мы несмело вошли в комнату. Очень редкий и низенький сад, вернее, кустарник, раскиданный по широкой снежной поляне, был виден из окон, и одна половина его была в тени, далеко лежавшей от дома, а другая, освещенная, четко и нежно белела под звездным небом тихой зимней ночи. Кошка, неизвестно как попавшая сюда, вдруг спрыгнула с мягким стуком с подоконника и мелькнула у нас под ногами, блеснув золотисто-оранжевыми глазами. Я вздрогнул, и жена тревожным шопотом спросила меня:

— Ты боялся бы здесь один?

Прижимаясь друг к другу, мы прошли по зале в гостиную, к двойным стеклянным дверям на балкон. Тут еще до сих пор стояла огромная кушетка, на которой я спал, приезжая в деревню студентом. Казалось, что еще вчера были эти летние дни, когда мы всей семьей обедали на балконе... Теперь в гостиной пахло плесенью и зимней сыростью, тяжелые, промерзлые обои кусками висели со стен... Было больно и не хотелось думать о прошлом, особенно перед лицом этой прекрасной зимней ночи. Из гостиной виден был весь сад и белоснежная равнина под

звездным небом,— каждый сугроб чистого, девственного снега, каждая елочка среди его белизны.

— Там утонешь без лыж,— сказал я в ответ на просьбу жены пройти через сад на гумно.— А бывало, я по целым ночам сидел зимой на гумнах, в овсяных ометах... Теперь зайцы, небось, приходят к самому балкону.

Оторвав большой, неуклюжий кусок обоев, висевший у двери, я бросил его в угол, и мы вернулись в прихожую и через большие бревенчатые сени вышли на морозный воздух. Там я сел на ступени крыльца, закуривая папиросу, а жена, хрустя валенками по снегу, сбежала на сугробы и подняла лицо к бледному месяцу, уже низко стоявшему над черной длинной избой, в которой спали сторож усадьбы и наш ямщик со станции.

— Месяц, месяц, тебе золотые рога, а мне золотая казна! — заговорила она, кружась, как девочка, по широкому белому двору.

Голос ее звонко раздался в воздухе и был так странен в тишине этой мертвой усадьбы. Кружась, она прошла до ямшицкой кибитки, черневшей в тени перед избой, и было слышно, как она бормотала на ходу:

Татьяна на широкий двор  
В открытом платьице выходит,  
На месяц зеркало наводит,  
Но в темном зеркале одна  
Дрожит печальная луна...

— Никогда я уж не буду гадать о суженом! — сказала она, возвращаясь к крыльцу, запыхавшись и весело дыша морозной свежестью, и села на ступени возле меня.— Ты не уснул, Костя? Можно с тобой сесть рядом, миленький, золотой мой?

Большая рыжая собака медленно подошла к нам из-за крыльца, с ласковой снисходительностью виляя пушистым хвостом, и она обняла ее за широкую шею в густом меху, а собака глядела через ее голову умными вопросительными глазами и все так же равнодушно-ласково, вероятно, сама того не замечая, махала хвостом. Я тоже гладил этот густой, холодный и глянцевитый мех, глядел на бледное человеческое лицо месяца, на длинную черную избу, на сияющий снегом двор, и думал, подбадривая себя:

«В самом деле, неужели уже все потеряно? Кто знает, что принесет мне этот Новый год?»

— А что теперь в Петербурге? — сказала жена, поднимая голову и слегка отпихивая собаку.— О чем ты думаешь, Костя? — спросила она, приближая ко мне помолодевшее на

морозе лицо.— Я думаю о том, что вот мужики никогда не встречают Нового года, и во всей России теперь все давным-давно спят...

Но говорить не хотелось. Было уже холодно, в одежду пробирался мороз. Вправо от нас видно было в ворота блестящее, как золотая слюда, поле, и голая лозинка с тонкими обледеневшими ветвями, стоявшая далеко в поле, казалась сказочным стеклянным деревом. Днем я видел там остов дохлой коровы, и теперь собака вдруг насторожилась и остро приподняла уши: далеко по блестящей слюде побежало от лозинки что-то маленькое и темное,— может быть, лисица,— и в чуткой тишине долго замирало чуть уловимое, таинственное потрескивание наста.

Прислушиваясь, жена спросила:

— А если бы мы остались здесь?

Я подумал и ответил:

— А ты бы не соскучилась?

И как только я сказал, мы оба почувствовали, что не могли бы выжить здесь и года. Уйти от людей, никогда не видать ничего, кроме этого снежного поля! Положим, можно заняться хозяйством... Но какое хозяйство можно завести в этих жалких остатках усадьбы, на сотне десятин земли? И теперь всюду такие усадьбы,— на сто верст в окружности нет ни одного дома, где бы чувствовалось что-нибудь живое! А в деревнях — голод...

Заснули мы крепко, а утром, прямо с постели, нужно было собираться в дорогу. Когда за стеною заскрипели полозья и около самого окна прошли по высоким сугробам лошади, запряженные гусем, жена, полусонная, грустно улыбнулась, и чувствовалось, что ей жаль покидать теплую деревенскую комнату...

«Вот и Новый год! — думал я, поглядывая из скрипучей, опушенной инеем кибитки в серое поле.— Как-то мы проживем эти новые триста шестьдесят пять дней?»

Но мелкий лепет бубенчиков спутывал мысли, думать о будущем было неприятно. Выглядывая из кибитки, я уже едва различал мутный серо-сизый пейзаж усадьбы, все более уменьшающийся в ровной снежной степи и постепенно сливающийся с туманной далью морозного туманного дня. Покрикивая на заиндевших лошадях, ямщик стоял, видимо, был совершенно равнодушен и к Новому году, и к пустому полю, и к своей и к нашей участи. С трудом добравшись под тяжелым армяком и полушубком до кармана, он вытащил трубку, и скоро в зимнем воздухе запахло серой и душистой махоркой. Запах был родной, приятный, и меня трогали и воспоминание о хуторе, и наше временное примирение с женою, которая дремала, прижав-

шись в угол возка и закрыв большие, серые от инея ресницы. Но, повинуясь внутреннему желанию поскорее забыться в мелкой суеде и привычной обстановке, я деланно-весело покрякивал:

— Погоняй, Степан, потрогивай! Опоздаем!

А далеко впереди уже бежали туманные силуэты телеграфных столбов, и мелкий лепет бубенчиков так шел к моим думам о бессвязной и бессмысленной жизни, которая ждала меня впереди...

*1901*

## ТИШИНА

Мы приехали в Женеву под дождем, ночью, но к рассвету от дождя осталась только свежесть в воздухе. Отворив дверь на балкон, мы почувствовали упоительную прохладу раннего осеннего утра. В улицах таял молочный туман с озера, солнце тускло, но уже бодро блистало в тумане, а влажный ветер тихо покачивал кроваво-красные листья дикого винограда на столбах балкона. Мы умылись и оделись быстро и вышли из отеля, освеженные крепким сном, готовые на какие угодно скитания и с молодым предчувствием чего-то хорошего, что сулит нам день.

— Славное утро опять послал нам бог! — сказал мне товарищ. — Ты заметил, что первый день после нашего приезда куда-нибудь — непременно погожий? Не курить, есть только молоко, зелень, жить на воздухе и просыпаться вместе с солнцем — как это облагораживает дух! Скоро об этом будут говорить не доктора, а поэты... Не кури, не кури — это дает ощущение, давно не испытанное, ощущение чистоты и юношеской свежести.

Но где озеро? И на минуту мы остановились в недоумении. Вдалеке все было в легком светлом тумане, а мостовая в конце улицы блестела под солнцем, как золотая. И мы быстро пошли к тому, что казалось мокрой и блестящей мостовой.

Солнце на пустой набережной уже сильно пригревало сквозь туман, и все сияло перед глазами. Но долины, озеро и дальние Савойские горы еще дышали холодом. Выйдя на набережную, мы невольно остановились в том радостном изумлении, которое испытываешь всегда, внезапно увидав простор моря, озера или долин с высоты. Савойские горы таяли в светлом утреннем пару, и под солнцем едва можно было различить их:

приглядишься — и уже только тогда увидишь тонкую золотистую линию хребта, вырезающуюся в небе, а потом почувствуешь и самую массивность горных громад. Вблизи, в огромном пространстве долины, в прохладной и влажной свежести тумана, лежало голубое, прозрачное и глубокое озеро. Оно еще дремало, как дремали и косые паруса лодок, столпившихся у города. Точно серые поднятые крылья возвышались они в воздухе, но были еще беспомощны в тишине утра. Две-три чайки низко и плавно скользнули над водою, и одна из них вдруг блеснула мимо нас и метнулась в улицу. Мы разом обернулись за ней и видели, как она, испуганная непривычным зрелищем, сделала резкий и быстрый поворот назад... Счастливы люди, в города которых залетают чайки в солнечное утро!

И нас потянуло в горы, на озеро, куда-то в даль... Пока испарялся туман, мы сходили в город, купили в кабачке вина и сыру, полюбовались чистотой и приветливостью улиц, живописными тополями и платанами в тихих золотых садах. Бирюзовое небо стало уже ярко и чисто над ними.

— Знаешь,— говорил мне товарищ,— мне часто не верится, что я действительно в тех местах, о которых, бывало, только мечтал, глядя на карту, и все хочется напомнить себе об этом. Чувствуешь ты, что вот за этими горами, так близко от нас — Италия? Чувствуешь ты юг в этой удивительной осени? А вон Савойя — родина тех самых мальчиков-савояров с обезьянками, о которых читал в детстве такие трогательные истории!

У мостков пристани дремали на солнце и лодки и лодочки. В голубой прозрачной воде видны были песчаное дно, свай и кили лодок. Было совсем летнее утро, и только по тому спокойствию, которое царило в прозрачном воздухе, чувствовалось, что это спокойствие последних дней осени. От тумана не осталось и следа, озеро было необыкновенно далеко видно по долине. И, сняв пиджаки, мы засучили рукава и взялись за весла. Пристань отошла, стала отдаляться. Уходил и сиявший под солнцем город, набережная, парки... Впереди вода блестела ослепительно, около лодки становилась все глубже, тяжелей и прозрачней. Весело было погружать в нее весла, чувствовать ее упругость и смотреть, как взлетают из-под весел брызги. А когда я оглядывался, я видел раскрасневшееся лицо моего спутника и голубую ширь, вольно и спокойно лежавшую среди покатых гор, покрытых желтеющими лесами, виноградниками и виллами в парках. На минуту мы опустили весла — и наступила глубокая тишина. Прикрыв глаза, мы долго слышали только однообразное журчание воды, бегущей вдоль бортов лодки. И даже по звуку можно было угадать, как чиста и прозрачна она.



— Едем? — спросил я.

— Погоди — слушай!

Я совсем поднял весла, и журчание стало медленно замирать. С весел упала капля, другая... Солнце все жарче пригревало нам лица... И вот издали издали долетел до нас мерный и звонкий голос колокола, одиноко звонившего где-то в горах. Так далеко был он, что порою мы едва улавливали его.

— Помнишь колокол Кёльнского собора? — вполголоса спросил меня товарищ. — Я проснулся раньше тебя, еще утренняя заря чуть брезжила, — стал у раскрытого окна и долго слушал, как он одиноко и звонко кричал над своим старым городом. Помнишь орган в соборе и всю средневековую красоту его? Рейн, старые города, старые картины, Париж... Но это не то, это лучше...

Звон колокола, чистый и нежный, доносился до нас, сладко было слушать его, сидеть с закрытыми глазами и чувствовать ласку солнца на лице и мягкую прохладу от воды. С отдаленным, глухим и сердитым ропотом колес прошел верстах в двух от нас весь белый и сверкающий пароходик. Плавные, стекловидные перебаты воды долго и широко бежали к нам и наконец ласково заколыхали лодку.

— Вот мы и в горах, — сказал мне товарищ, когда пароход стал, сокращаясь, удаляться. — Жизнь осталась где-то там, за этими горами, а мы вступаем в благословенную страну той тишины, которой нет имени на нашем языке.

Медленно работая веслами, он говорил и слушал, а озеро все шире обнимало нас. Звон колокола казался то ближе, то дальше.

«Где-то в горах, — думал я, — приютилась маленькая колокольня и одна славит своим звонким голосом мир и тишину воскресного утра, призывая идти к ней по горным тропинкам, над голубым озером...»

Далеко по горам пестрели нежными осенними красками леса и рощи, одиноко проводили ясный осенний день живописные виллы в садах... Чтобы вымыть стакан, я зачерпнул в него воды и бросил ее в воздух. Она взвилась и блеснула в воздухе.

— Помнишь ты «Манфреда»? — сказал товарищ. — Манфред в Бернских Альпах, у водопада. Полдень. Он произносит заклинания, берет в пригоршни воды и бросает ее в воздух. В радуге водопада появляется Дева Гор... Как это прекрасно! Вот сейчас я подумал, что влаги можно поклоняться, как поклонялись огню... До чего это понятно — обожествление природы! Какое это великое счастье — жить, существовать в мире, дышать, видеть небо, воду, солнце! И все же мы несчастны! В чем дело? В кратковременности нашей, в одиночестве, в не правильности нашей жизни? Вот на этом озере были когда-то

Шелли, Байрон... потом Мопассан, одинокий и носивший в своем сердце жажду счастья целого мира. И все мечтатели, все любившие и молодые когда-то, все, которые приходили сюда за счастьем, все уже прошли и скрылись навсегда. Так пройдем и мы с тобой... Хочешь вина?

Я подставил стакан, он налил и прибавил с грустной улыбкой:

— Мне кажется, что когда-нибудь я сольюсь с этой предвечной тишиной, у преддверия которой мы стоим, и что счастье только в ней. Помнишь Ибсена: «Ты слышишь, Майя, тишину?» Слышишь ли ты ее, эту *тишину гор*?

Мы долго глядели на горы и на чистое нежное небо над ними, в котором была безнадежная грусть осени. Мы представили самих себя далеко в сердцевине гор, где не бывала еще нога человека... Солнце стоит над глубокими и со всех сторон замкнутыми долинами, орел парит в огромном пространстве между ними и небом... И только нас двое, и мы идем все дальше в глубину гор, как те, что гибнут в поисках эдельвейса...

Не спеша работая веслами и прислушиваясь к замирающему звону, мы говорили о путешествии в Савойю, о том, сколько времени мы можем пробыть там-то и там-то, но мысли наши снова невольно возвращались к мечтам о счастье. Красота новой для нас природы, красота искусства и религии всюду волновала нас юношеской жадной возвысить до нее нашу жизнь, наполнить ее истинными радостями и разделить эти радости с людьми. Женщины, за которыми мы всюду следили в пути, дразнили нас жадной любви, возвышенной, романтической, утонченно-чувственной, почти обожествляющей тот идеально-женственный образ, который мелькал перед нами... Но не сказочное ли это счастье, которое уходит за темные леса и горы все дальше по мере того, как идешь за ним?

Товарищу, с которым я пережил так много в пути, одному из немногих, которых я люблю, посвящаю эти немногие строки. Посылаю мой привет всем друзьям нашим по скитаниям, мечтам и чувствам.

## «НАДЕЖДА»

Помнишь ли ты один из последних дачных дней, проведенных нами в прошлом году у моря? Есть особая прелесть в этих осенних днях, серых и прохладных, когда, возвращаясь из города на дачу, встречаешь только одних ломовых, нагруженных мебелью запоздалых дачников. Уже прошли сентябрьские ливни, переулки между садами стали грязны, сады желтеют и редуют, до весны остаются наедине с морем... Вдоль узкоколейной дороги, пробегающей пятнадцать верст среди садовых оград и решеток, только и видишь теперь, что закрытые фруктовые лавочки, будки, где продавали летом воды, да покинутые газетные киоски. По всему пути, от дорогих вилл и до выбеленных известкой домишек на отдаленном каменистом побережье, то и дело мелькают раскрытые балконы, увитые длинными сухими гирляндами дикого винограда, закрытые ставни, наглухо забитые двери, завернутые в рогожу нежные южные растения. И чем дальше от города — тем все тише, безлюдней. Паровик ходит уже редко, и требовательные свистки его на остановках далеко отдаются в чистом воздухе. Шагаешь вдоль пути между садами и слушаешь... Вот поезд снова где-то остановился и два раза жалобно и гулко крикнул, но где, близко или далеко, не определишь. Свисток похож на эхо, эхо на свисток, а замерло то и другое, растаял глухой удаляющийся шум за садами — и опять ничем не нарушаемая тишина. Не спеша шагаешь и шагаешь по шпалам, сердце бьется ровно, идти и дышать осенней прохладой легко и приятно... Остаться бы на этих дачах до весны, слушать по ночам шум бушующего в темноте моря, бродить по целым дням на обрывах! Образ одинокой женщины на террасе зимней виллы рисуется воображению, длинная аллея тополей, усыпанная гравием, с синевой моря в перспективе, зовет в свои ворота...

Мы часто заглядывали в такие аллеи, любясь старыми мраморными статуями среди цветников и деревьев,— дешевыми подделками под классические изваяния богов и богинь,— их матовой белизной среди зеленых тиссов, мелкими желтыми листьями, которые усыпали садовые дорожки и ступени балконов. День был серый и спокойный, в свежем, бодрящем воздухе пахло морем и увядающими цветниками. Море выглядело то там, то здесь из-за кустов и деревьев, оно наполняло своим присутствием всю окрестность, его свобода и дыхание чувствовались все время и всюду. Мы шли, а оно все шире открывалось то там, то здесь за деревьями и красными черепичными крышами дач на обрывах. И как раз в то время, когда мы дошли до того места, где сады и дачи прерываются, где всегда внезапно останавливаешься, пораженный простором моря, почти на черте горизонта увидели мы паруса «Надежды».

Уже вечерело, и среди спокойных серых облаков, длинными грядами закрывавших небо, появились оранжевые оттенки,— признак того, что холодеет. К горизонту было светлее, а прохлада после дождей и без того очистила воздух и необыкновенно расширила дали. В море был штиль, и оно развевалось безграничной равниной нежно-зеленоватой, отчасти сиреновой стали, которая смелым и вольным полукругом касалась вдали неба. Внизу, по извилистой линии заливов, зеленая вода была так прозрачна, что даже с обрыва видны были темнолиловые спины камней под нею; дальше ее поверхность кое-где морщилась, как поверхность шелковой ткани, под набегавшим легким ветром, доносившим до нас свежий морской запах, а еще дальше спокойный простор моря убегал к горизонту длинными и тонко начертанными полосами течений и оттенков. У горизонта они терялись,— казалось, что за горизонтом снова начинаются спокойные нежно-зеленоватые водяные поля; но, должно быть, там, где была «Надежда», был ровный попутный бриз. И, подняв в несколько ярусов паруса, сузившись в отдалении, «Надежда», как сказочная пловучая колокольня, четко серела на той зыбкой грани, где море касалось неба. Она была одна и необыкновенно подчеркивала эту ровную ширь, во всей полноте воскрешая своими парусами поэзию старого моря. И даже с прибрежья, несмотря на огромное для глаза расстояние, видно было теперь, какое это славное, сильное судно, изящное и гордое, точно королевский бриг. Летом оно вернулось из Австралии, и мы встретили его, как друга, смотрели на него, как на живое. Сколько стран и морей видело оно, сколько океанских волн омывало его острую, высокую грудь! Гавань была переполнена судами, но все это были тяжелые и неуклюжие пароходы, дымившие черными, приземистыми трубами, нагруженные черепицей, железом, хлебом и бочками с маслом, по целым дням гро-

хотавшие лебедками. Они знали только свои грузы, а на «Надежде» странствовали и учились молодые моряки, и как выделялась в этом пловучем городе судов легкая и вольная «Надежда», входившая в гавань под шестью ярусами своих парусов! Теперь она снова покидала нас... И все, о чем мы так юношески мечтали, глядя с мола в море, вечно что-то обещающее за своими зыбкими горизонтами, все, чем оно волновало нас в этот осенний день в тишине опустевших дачных садов,— все с необыкновенной силой охватило нас при виде далекой «Надежды».

Коснувшись горизонта, она вырезалась и как бы замерла на нем, уменьшаясь так незаметно, что только зоркий глаз мог заметить это уменьшение. Куда она держала путь? К югу, к Босфору, Средиземному морю... Завтра перед ней откроются более нежные дали, тонко засинеют новые берега... Лиловато-серая, стройная и царственно-прекрасная, одинокая на последней грани огромной, зеленовато-стальной равнины моря, она удалялась незаметно, но неуклонно. И уже новые горизонты развертывались перед теми, которые были на ней. Глядя на нее, мы сами чувствовали эти горизонты. Мы как бы сами были на ней, мы прозревали то новое и манящее, что обещает всякая даль, как, может быть, воочию увидят наши потомки все, что мы только предчувствуем и что волнует нас несбыточными надеждами, чувством красоты жизни и мечтами о том, как будут счастливы люди в будущем...

Поздно ночью, когда набегающий ветер беспокойно и осторожно, точно ища чего-то, шелестел сухими ветвями дикого винограда на нашем балконе и доносил полусонный шум волн, я мысленно провожал «Надежду» на пути в темном море. Она была теперь уже далеко. Но как сладко было хотя мысленно следить за ней!

## СНЫ

В поле было холодно, туманно и ветрено, смерклось рано. Еле светили подкрученные фитили ламп и резко воняло керосином в пустом вокзале нашей захолустной станции, на буфетной стойке в третьем классе спал под тулупом станционный сторож. Я прошел в комнату для господ — там медленно постукивали в полусумраке стенные часы, на столе желтела прошлогодняя вода в графине... Я лег на вытертый плюшевый диван и тотчас уснул, утомленный тяжелой дорогой под дождем и снегом. Спал я, как мне казалось, долго, но, открыв глаза, с тоской увидал, что на часах всего половина седьмого.

«И прошел тот день к вечеру темных осенних ночей», — вспомнилась мне печальная строка из какой-то старой русской книги.

Попрежнему было холодно и тихо, попрежнему чернела за окнами тьма...

Когда часы нерешительно, точно раздумывая, пробили восемь, где-то завизжала и гулко хлопнула дверь, а на платформе жалобно занял звонок. Выйдя в третий класс, я увидал мещанина в картузе и чуйке, который, поставив локти на колени и положив в ладони голову, неподвижно сидел на скамье.

— Это поезд вышел? — спросил я.

Мещанин встрепенулся и взглянул на меня испуганно. Потом что-то пробормотал и, нахмурившись, быстро пошел к дверям на платформу.

— У него жена в родах умирает, — сказал проснувшийся сторож, сидя на буфетной стойке и вертя цыгарку из газетной бумаги. — У всякого, значит, свое горе, — прибавил он рассеян-

по и вдруг сладко зевнул, оживленно, с непонятным злорадством заговорил:

— Вот тебе и женился на богатой! Второй день мучается, царския врата в церковь отворили — ничего не помогает. Теперь в город за доктором скачет, а к чему, спрашивается?

— Думаешь, не поспеет?

— Никак! — ответил сторож. — Воротится он завтра вблизи вечера, а она к тому времени помрет. Беспременно помрет, — прибавил он убежденно. — Три раза, говорит, на оракул кидал, — кто, мол, раньше помрет, я али жена, и три раза выходило одно и то же. Перва... как это? «Нечего тебе простираться в даль свои намерения», а потом и того хуже: «Молись богу, не пей вина и пива и готовься в монастырь». А вчерась, говорит, во сне видел: будто обрили его догола и все зубы вынули...

Он, верно, говорил бы еще долго, но тут тяжело зашумел подходящий товарный поезд. Снова завизжала и заныла входная дверь, показался кондуктор в тяжелой мокрой шинели с оторванным на спине хлястиком, за ним смазчик с тусклым фонарем в руке... Я вышел на платформу.

Там я долго ходил в темноте ветреной, сырой ночи. Наконец, сотрясая зазвеневшие рельсы, загорелся в тумане своими огромными красными глазами пассажирский паровоз. Я поднялся в полутемный, теплый и вонючий вагон, переполненный спящим народом, и уже на ходу поезда нашел свободную скамейку в углу около двери в другое отделение. В зыбком сумраке вокруг меня беспорядочно темнели лежащие на лавках и на поднятых спинках лавок, под полом гудели колеса, и, закрывая глаза, я все терял представление, в какую сторону идет поезд. Но прошел истопник с кочергой, похожий на негра, и не затворил возле меня двери. Послышался говор, потянуло махоркой... Мещанин, ехавший в город за доктором, сидел и курил с угрюмым, сосредоточенным выражением лица, на краю четвертой от двери лавки у чьих-то ног, а за растворенной дверью возле меня, в дымном сумраке под фонарем, тесной кучкой курили мужики и слушали кого-то, сидевшего против них.

— Да-а, братцы мои, — слышался сквозь гул бегущего вагона чей-то голос. — Да-а. И попадись в это самое разнесчастное село старичок священник из Епифани. Перевели его, значит, из города в самый что ни на есть бедный приход, а за что перевели — пил дюже... значит, и перевели вроде как бы в наказание. А старичок-то пить-то пил, да оказался такой, что лучше и не надо. «Сколько, мол, о. Петр, за кстины аль за похороны берете?» — «Не я, свет, беру, а нуждишка! Сколько силы

твоей есть...» И вот так-то всегда. Перевели его, значит, весной, пробыл он честь-честью лето, а осенью и захворай. Года, что ли, такие, или простудился он,— лето-то, сами знаете, какое было,— только, видимое дело, слабость стал. И вот, братцы мои, почувявши такую историю, вышел он на Покров после обедни к народу — и простился со всеми: «Должно, говорит, скоро я преставлюсь к господу богу, миряне,— простите, ежели согрешил что...» И, сказавши таким манером, поклонился народу и ушел в алтарь. А пришедши домой, сел было обедать, есть не наел, только ложкой помутил, встал и говорит сторожу, что при ём заместо служки был: «Чтой-то, говорит, мне холодно, свет, и так-то скушно,— просто мочи нет. Все дочка-покойница вспоминается, все будто ждет она меня к себе... Убирай, мол, со стола — не идет мне еда на ум». — «Напрасно вы такие речи говорите, папаша,— это сторож-то ему,— напрасно, мол, так случилось. Какие такие ваши года?» — «Нет, говорит, помру! Только доже, говорит, везде горя много, и ужли никакой тому перемены не буде?» А на дворе, не хуже теперешнего льет, невзгода и уж вечер заходит. Поглядел этак старичок в окошечко, махнул ручкой и ушел к себе в горницу. А в горнице оправил лампадку да и прилег на часок. То ли он спал, то ли так, в забытьи лежал, только уж ночь на дворе, а он все лежит да лежит...

— Вон она, дело-то какая! — сказал кто-то с глубоким вздохом.— На Покров, говоришь, вышло-то все это?

— Да ведь сказали, на Покров! — сумрачно перебил сиплым голосом большой рыжий мужик с злыми глазами в рваном полушубке, сидевший на краю лавки против рассказчика.

— На Покров, на Покров,— подтвердил рассказчик.— Вечером. Ушел, говорю, к себе в горницу и лег... Да-а... Нет... Ушел и лежит и так будто угрелся на лежаночке, супротив лампадки, что никак не может подняться, помолиться да лечь как следует. Лежу, говорит, гляжу на лампадку и вдруг вижу: отворяется тихенько-тихенько этак дверь и входит ко мне дочь-покойница. «Что такое, думаю, что за притча такая, господи?» А она проходит прямо ко мне и кладет мне руку на руку. Сама вся в черном, а лицо белая, белая да красивая! И этак вполголоса: «Встань, говорит, батюшка, иди поскорее в церковь». Я р-раз с постели, а ей уж нету! Посидел я, посидел, и, что больше сичу, все чудней и страшней мне становится. Вскочил наконец того на ноги, захватил ключи от церкви, накинул шубенку, выбрался в сенцы... Темь, жуть, сенцы так и гудут от бури,— нет, думаю, надо итить! Спешу на гору, дохожу до церкви,— глядь, а там огонек теплится, ровно бы покойник на ночь поставлен. Оробел я опять, иначе перекрестился — и



на паперть. Насилу ключом в замок попал. Отворяю дверь — нет тебе никакого покойника, а только горит свечечка над царскими вратами. Кто ж это, думаю, ее зажег, что такое буде? Стою ни жив ни мертв, вдруг — р-раз! — отдернулась занавесь на царских вратах, растворяются этак широко и тихо двери, и выходит из темени, из самого, значит, алтаря, огромный красный кочет. Вышел, остановился, затрепыхал крыльями и как закричит на всю церкву: ку-ка-ре-ку! Пропел до трех раз и пропал. И только, значит, пропал, выходит из алтаря другой, белый, как кипень, и запел еще громче прежнего. И опять до трех раз... У меня, рассказывал священник поутру, руки, ноги отнялись, а я все стою и жду, что будет дальше, а дальше выходит и третий: черный, как головешка, только гребешок светится, и запел он, братцы мои, таково жутко и строго, что опустился я на коленки и говорю этак внятно и раздельно на всю церкву: «Да воскреснет бог и расточатся враги его!» И только, это, сказал я,— нет тебе никаких кочетов, а стоит передо мною седенький-седенький монашек и говорит мне тихим голосом: «Не пужайся, служитель божий, а объяви всему народу, что, мол, означает твоя видение. А означает она ба-альшие дела!»

— Вот за это-то за самое и называют вашего брата храпоидолами, чертями,— громко сказал мещанин, открывая глаза и угрожающе нахмуриваясь.— Ночь, скука, а он ишь какие суеверия сидит разводит! Ты к чему все это гнешь-то, а?

— Да ведь я ничего плохого,— несмело пробормотал рассказчик.

— Позволь,— ты откуда взял-то все это?

— Как откуда? Сам священник, говорят, рассказывал.

— Священник энтот помер,— перебил мещанин.

— Это верно, верно... помер... вскорости и помер...

— Ну, значит, и брешут на него, что в голову влезет. Ведь это сновидение. Дубина!

— Да я-то про что ж? Известно, сновидение.

— Ну и молчи,— опять перебил мещанин.— Да и курить-то давно пора бросить, надымили — овин чистый!

— В первый класс иди, коли не ндравится, — сипло и зло сказал рыжий мужик.

— Побреши еще!

— Брешут собаки да твои свояки!

— Буде, буде, ребята! — закричали мужики, заволновались.

Бранившиеся смолкли, и в вагоне на время наступила тишина. Потом мещанин вздохнул:

— Ну и стерва, прости ты меня, господи! — задумчиво и серьезно сказал он таким тоном, точно был в вагоне один.

И опять наступила тишина с глухим говором колес, храпом и дыханием спящих.

— А за что ругаться-то? — спросил рассказчик, когда бранившиеся угрюмо успокоились. — Кто первый начал-то? Ведь ты! Мы балакали промеж себе..

— Чо-орт! — ответил мещанин поспешно, и голос его страдальчески дрогнул. — Ведь ночь, скука, а у меня, может, жена и дите помирают. Пойми!

— Горя-то и у других не мене твоего, — ответил рыжий мужик.

— Не мене! — передразнил мещанин. — Я, может быть, ты-сячи не пожалел бы теперь на доктора, а он за сто верст, а дорога — ни проходу, ни проезду! Вчерась измаялся, ткнулся в чем был на постель и вижу — будто обрили меня догола и все зубы вынули! Пойми — сладко?

— Ага! — сказал рыжий мужик. — Покаялся! А то — сновидение!

— До Туровки кто имеет билеты? — прокричал кондуктор, проходя по вагону.

И, осветив фонарем чьи-то ноги, крепко хлопнул возле меня дверью в соседнее отделение.

Поднявшись с места, я снова отворил ее и стал на пороге. Мещанин сидел, спал, согнувшись, а рыжий мужик говорил со сдвинутыми бровями тому, который рассказывал:

— Ну, ну доказывай дальше.

Несколько полшубков стеснилось вокруг рассказчика, несколько серьезных глаз блестело в дымном сумраке глухо гудящего и бегущего вагона. Рассказчик вздохнул и уже хотел было начать говорить, но тут рыжий поднял на меня глаза и сипло сказал:

— А тебе, господин, что надо?

— Послушать хотел, — ответил я.

— Не господское это дело мужичкине побаски слушать.

— Да-а, братцы мои, — снова заговорил рассказчик прежним тоном, как только я отошел, — и стоит, значит, перед ним седенький, седенький монашек и говорит ему тихим голосом: «Не пужайся, мол, служитель божий, а слушай и объяви народу, что, мол, означает твоя видение. А означает она ба-альшие дела»...

Но, начав громко, рассказчик мало-помалу стал понижать голос. Тщетно я вслушивался — все тонуло в ропоте колес и в тяжком храпе спящих. Заслышав сквозь этот ропот и храп далекий заунывный свисток паровоза, возвещавший о станции, с лавки возле меня поспешно вскочил юнкер в очках, оглянулся вокруг себя странными глазами и, опять быстро опустившись

на скамью и облокотившись на свой сундучок, тотчас же опять заснул. Какая-то пожилая женщина в темном ситцевом платье поднялась, болезненно морщась, и поплелась в сени. Лежащие, мешки, сундуки и полушубки составляли грубую и печальную картину, которая раскачивалась передо мною. Мужик, рассказывавший про петухов, сидел, подавшись вперед к рыжему, и что-то негромко, но горячо говорил, но, когда я настораживался, чтобы расслышать, что он говорит, из дымного сумрака против меня ничего не было слышно, только блестели серьезные и злые глаза.

*1903*

## ЗОЛОТОЕ ДНО

### I

Тишина — и запустение. Не оскудение, а запустение...

Не спеша бегут лошади среди зеленых холмистых полей; ласково веет навстречу ветер, и убаюкивающе звенят трели жаворонков, сливаясь с однообразным топотом копыт. Вот с одного из косогоров еще раз показалась далеко на горизонте низким синеющим силуэтом станция. Но, обернувшись через минуту, я уже не вижу ее. Теперь вокруг тарантаса — только пары, хлеба и лошадки с дубовым кустарником...

— Ну, что новенького, Корней? — спрашиваю я кучера, молодого загорелого мужика с умными, слегка прищуренными глазами.

— Новенького? — сдержанно отвечает Корней, не оборачиваясь. — Нового у нас ничего нету.

— Значит, живете по-старому?

— Это правильно. Плохо живем...

Не много нового узнаю я и в имении сестры, где я всегда делаю остановку на пути к Родникам. Кажется, что еще год тому назад усадьба не была так ветха. Полы и потолки в зале еще немного покосились и потемнели, ветви запущенного палисадника лезут в окна, тесовые крыши служб серебрятся и дают кое-где трещины... А по двору, держа в поводу худого стригуна, запряженного в водовозку, еле бредет полуслепой и глухой Антипушка, и рассохшиеся колеса водовозки порою так неистово взвизгивают, что больно слушать.

— Так плохи, говоришь, дела? — спрашиваю я сестру, которая задумчиво смотрит куда-то вдаль, на косогоры за лугами и речкой.

— Совсем, совсем плохи! — поспешно, как будто даже с

удовольствием подтверждает сестра.— Будь капитал, еще, может быть, можно было бы поправиться. Ведь земля-то сущее золотое дно. Но банк, банк!

— Зато тишина-то какая! — говорю я.

— Уж этого хоть отбавляй! — с угрюмой иронией соглашается племянник-студент.— Действительно, тишина, и прескверная, чорт ее дери, тишина! Вроде высушающего пруда. Издали — хоть картину пиши. А подойди — затхлостью понесет, ибо воды-то в нем на вершок, а тины — на две сажени, и караси все подошли... Дно-то, действительно, золотое, только до него сам чорт не докопается!

## II

Дорога вьется сперва по перелескам. Потом пропадает в большом кологривовском заказе. В прежнее время она далеко обходила его; теперь ездят прямо, по двору усадьбы, раскинувшейся по бокам лесного оврага своим одичавшим садом и кирпичными службами. Как только в лес врывается громыхание бубенчиков, из усадьбы отвечает ему угрюмый лай овчарок, ведущих свой род от тех свирепых псов, что сторожили когда-то не менее свирепую и угрюмую жизнь старика Кологривова. Пока тарантас, сопровождаемый лаем, с грохотом катится по мостикам через овраги, смотрю на груды кирпичей, оставшихся от сгоревшего дома и потонувших в бурьяне, и думаю о том, что сделал бы старик Кологривов, если бы увидел нахалов, скачущих по двору его усадьбы! В детстве я слышал про него поистине ужасы. Одна из любовниц пыталась опоить его какими-то колдовскими травами, — он заточил ее своим судом в монастырь. Когда объявили волю, он «тронулся», как говорили, «в отделку» и с тех пор почти никогда не показывался из дому. Медленно разоряясь, он по ночам, дрожа от страха, что его убьют, сидел в шапочке с мощей угодника и громко читал заговоры, псалмы и покаянные молитвы собственного сочинения. Осенью однажды его нашли в моленной мертвым...

— Не знаешь, не продали еще? — спрашиваю я Корнея.

— Продали, — отвечает он. — И продали-то, говорят, за триньку! Живет тут приказчик от наследников, а ему что ж? Не свое доброе. Без хозяина, известно, и товар — сирота. А земля тут — прямо золотое дно!

— Хороша?

— Аршин чернозему. А лес-то!

Правда, славный лес. Горько и свежо пахнет березами, весело отдается под развесистыми ветвями громыхание бубенчиков, птицы сладко звенят в зеленых чащах... На полянах, густо заросших высокой травой и цветами, просторно стоят столет-

ние березы по две, по три на одном корню. Предвечерний золотистый свет наполняет их тенистые вершины. Внизу, между белыми стволами, он блестит яркими длинными лучами, а по опушке бежит навстречу тарантасу стальными просветами. Просветы эти трепещут, сливаются, становятся все шире... И вот опять мы в поле, опять веет сладким ароматом зацветающей ржи, и пристяжные на бегу хватают пучки сочных стеблей...

— А вон и Батурино,— насмешливо говорит Корней.

И я уже понимаю его.

— Что, и тут плохо?

— Да уж молодые-то уехали. А старуха дом продает. Добилась до последнего.

— А как бы заглянуть туда?

— Да скажите, что, мол, дом себе для Родников присматриваю...

### III

В Батурине — это большая деревня, но уж известно, что такое «барская» деревня! — в Батурине тихо. Скучно лоснится на солнце мелкий длинный пруд желтой глинистой водой; баба возле навозной плотины лениво бьет вальком по мокрому серому холсту... С плотины дорога поднимается в гору мимо батуринского сада. Сад еще до сих пор густ и живописен и, как на идиллическом пейзаже, стоит за ним серый большой дом под бурой, ржавой крышей. Но усадьба, усадьба! Целая поэма запустения! От варка остались только стены, от людской избы — раскрытый остов без окон, и всюду, к самым порогам, подступили лопухи и глухая крапива. А на «черном» крыльце стоит и в страхе глядит на меня слезящимися глазами какая-то старуха. Поняв из моих неловких объяснений, что я хочу посмотреть дом, она спешит предупредить барыню.

— Я доложу-с, доложу-с,— бормочет она, скрываясь в темных сенях.

Больно, должно быть, Батуриной выходить после таких докладов! И правда,— когда через несколько минут отворяется дверь, я вижу растерянное старческое лицо, виноватую улыбку голубых кротких глаз... Делаем вид, что мы очень рады друг другу, что этот осмотр дома — вещь самая обыденная, и Батурина любезным жестом приглашает войти, а другой дрожащей рукой старается застегнуть ворот своей темной кофточки из дешевого нового ситцу.

Бормоча что-то притворное, я вхожу в переднюю... О, да это совсем ночлежка! Темно, душно, стены закопчены дымом махорки, которую курит бывший староста Батуриных, Дрон, не покинувший усадьбу и доньне... Направо — дверь в его

каморку, прямо — комната старух, скудно освещенная окном с двойными рамами, с радужными от старости стеклами...

— Мы ведь в пристройке-с теперь живем,— виновато поясняет Батурина.— Ведь знаете, какие года-то пошли, да и теплее тут зимою...

— Но, может быть, я беспокою вас?

Старуха трясет головой и смотрит недоумевающе и вопрошительно.

— Не беспокою ли я вас? — говорю я громче.

Расслышав, Батурина поспешно улыбается.

— Нет-с, нет-с,— отвечает она с ласковой снисходительностью.— Пожалуйте-с.

И отворяет дверь в коридор...

Еще мрачнее в этих пустых комнатах! Первая, в которую я заглядываю из коридора, была когда-то кабинетом, а теперь превращена в кладовую: там ларь с солью, кадушка с пшеном, какие-то бутылки, позеленевшие подсвечники... В следующей, бывшей спальне, возвышается пустая и огромная, как саркофаг, кровать... И старуха отстает от меня и скрывается в кладовой, якобы чем-то озабоченная. А я медленно прохожу в большой гулкий зал, где в углах свалены книги, пыльные акварельные портреты, ножки столов... Галка вдруг срывается с криво висящего над ломберным столиком зеркала и на лету ныряет в разбитое окно... Вздрогнув от неожиданности, я отступаю к стеклянной двери на разошедшийся балкон, с трудом отворяю ее — и прикрываю глаза от низкого яркого солнца. Какой вечер! Как все цветет и зеленеет, обновляясь каждую весну, как сладостно журчат в густом вишенике, перепутанном с сиренью и шиповником, кроткие горлинки, верные друзья погибающих помещичьих гнезд!

#### IV

Вечер в поле встречает нас целым архипелагом пышных золотисто-лиловых облаков на западе, необыкновенной нежностью и ясностью далей.

— Дядя, дай серничка! — кричит один из мальчишек, стерегущих на парах лошадей, и, вскочив с межи, бегом догоняет тарантас.

Но Корней суров и задумчив. Он с наслаждением вытягивает мальчишку кнутом и сдержанно покрикивает на лошадей.

«О чем он думает?» — думаю я, глядя на его выгоревший на солнце картуз.

И Корней слегка повертывается на облучке и, следя задумчивым взглядом за мелькающими подковами пристяжной, начинает говорить...

— Всем не мед,— говорит он.— Не одним господам... Хрестьянский банк, мол, помогает! Да нет, в долг-то не проживешь! Купят мужики сто-двести десятин,— конечно, компанией, не сообразясь с силой, и запутляются, и норовят слопать друг друга. А пойдут свары — дело и совсем изгадится, и хоть на перемет с обрывком лезья!

— Однако,— говорю я,— крупных-то господ осталось три-четыре на уезд,— значит, расходится земля по народу.

— По городским купчишкам да лавошникам,— поправляет Корней.— По ним, а не по народу... И опять же земля без настоящего хозяина остается: им ведь только бы купить, благо дешево, а жить-то они ведь тут не станут! Ну, вот их-то, чертей, и зажать бы в тесном месте!

— Следовало бы?

Но Корней отводит глаза в сторону.

— Попойте пора,— говорит он деловым тоном.

— На Воргле попоим.

— Ну, на Воргле, так на Воргле... Эй, не рано!

Свежеет, и блеск вечера меркнет. Меланхолично засинели поля, далеко-далеко на горизонте уходит за черту земли огромным мутно-малиновым шаром солнце. И что-то старорусское есть в этой печальной картине, в этой синеющей дали с мутно-малиновым шитом. Вот он еще более потускнел, вот от него остался только сегмент, потом — дрожащая огневая полоска... Быстро падает синеватый сумрак летней ночи, точно кто незримо сеет его; в лужках уже холодно, как в погребе, и резко пахнет росистой зеленью,— только изредка повеваает откуда-то теплом... В сумраке мелькают придорожные лозинки, и на них, нахлывшись, спят вóроны... А на востоке медленно показывается большая голова бледного месяца.

Как печальны кажутся в это время темные деревушки, мертвую тишину которых будит звук рессор и бубенчиков! Как глуха и пустынна кажется старая большая дорога, давно забытая и неезженная! Слава богу, хоть месяц всходит! Все веселее...

## V

Воргол — нежилой хутор покойной тетки, степная деревушка на месте снесенной дедовской усадьбы и большого села, три четверти которого ушло в Сибирь, на новые места. Дорога долго идет под изволок; когда уже становится совсем светло от месяца, гарантас шибко подкатывает по густой росистой траве к одинокому флигелю на скате котловины среди косогоров. Звон бубенчиков замирает, и нас охватывает гробовое молчание.

— Уж и глухо же тут! — говорит Корней, слезая с козел, и



голос его странно звучит возле пустых стен.— Посидите тут на крылечке, а я лошадей попою и овсеца им кину.

И медленно отводит гроыхающих бубенчиками лошадей под гору к колодцу. А я поднимаюсь на деревянное крыльцо флигеля и сажусь на ступеньку...

Но жутко здесь, в этой котловине, со всех сторон замкнутой холмами, спускающимися к пересохшему руслу Воргла, и бледно освещенной неверным месячным светом! Пустой широкий двор переходит в мужицкий выгон, а за выгоном чернеет семь приземистых избушек, глубоко затаивших в себя свою ночную жизнь...

— Корней,— говорю я, как только Корней показывается с лошадьми из-под горы,— надо ехать! Поедем шажком, а уж покормим дома.

Корней останавливается.

— Ай соскучились?

— Соскучился. Ну его к чорту... Едем.

— Это еще милость,— говорит Корней насмешливо.— Вы бы осенью али зимой заехали!

— И как вы только живете тут!

Корней завертывает цыгарку, глядя в землю, и долго молчит. Потом сдержанно отвечает:

— Живем пока...

— То есть как «пока»? А потом-то что ж?

— Потом — что бог даст. Все что-нибудь да будет...

— Что же?

— Да что-нибудь будет... Не век же тут сидеть, чертям оборки вить! Разойдется народ по другим местам, либо еще как...

— А как?

При свете месяца ясно видно лицо Корнея, но, опуская голову, он сдвигает брови и отводит глаза в сторону.

— Как иначе-то?

— Там видно будет,— отвечает Корней уже совсем хмуро.— Поедьте, барин, не рано!

И молча лезет на козлы.

## ЗАРЯ ВСЮ НОЧЬ

### I

На закате шел дождь, полно и однообразно шумя по саду вокруг дома, и в незакрытое окно в зале тянуло сладкой свежестью мокрой майской зелени. Гром грохотал над крышей, гулко возрастая и раздражаясь треском, когда мелькала красноватая молния, от нависших туч темнело. Потом приехали с поля в мокрых чекменях работники и стали распрягать у сарая грязные сохи, потом пригнали стадо, наполнившее всю усадьбу ревом и блянием. Бабы бегали по двору за овцами, подоткнув подолы и блестя белыми босыми ногами по траве; пастушонок в огромной шапке и растрепанных лаптях гонялся по саду за коровой и с головой пропадал в облитых дождем лопухах, когда корова с шумом кидалась в чашу... Наступала ночь, дождь перестал, но отец, ушедший в поле еще утром, все не возвращался.

Я была одна дома, но я тогда никогда не скучала; я еще не успела насладиться ни своей ролью хозяйки, ни свободой после гимназии. Брат Паша учился в корпусе, Анюта, вышедшая замуж еще при жизни мамы, жила в Курске; мы с отцом провели мою первую деревенскую зиму в уединении. Но я была здорова и красива, нравилась сама себе, нравилась даже за то, что мне легко ходить и бегать, работать что-нибудь по дому или отдавать какое-нибудь приказание. За работой я напевала какие-то собственные мотивы, которые меня трогали. Увидав себя в зеркале, я невольно улыбалась. И, кажется, все было мне к лицу, хотя одевалась я очень просто.

Как только дождь прошел, я накинула на плечи шаль и, подхватив юбки, побежала к варку, где бабы доили коров. Несколькими каплями упало с неба на мою открытую голову, но лег-

кие неопределенные облака, высоко стоявшие над двором, уже расходились, и на дворе реял странный, бледный полусвет, как всегда бывает у нас в майские ночи. Свежесть мокрых трав доносилась с поля, мешаясь с запахом дыма из топившейся людой. На минуту я заглянула и туда,— работники, молодые мужики в белых замашных рубахах, сидели вокруг стола за чашкой похлебки и при моем появлении встали, а я подошла к столу и, улыбаясь над тем, что я бежала и запыхалась, сказала:

— А папа где? Он был в поле?

— Они были не надолго и уехали,— ответило мне несколько голосов сразу.

— На чем? — спросила я.

— На дрожках, с барчуком Сиверсом.

— Разве он приехал? — чуть не сказала я, пораженная этим неожиданным приездом, но, во-время спохватившись, только кивнула головой и поскорее вышла.

Сиверс, кончив Петровскую академию, отбывал тогда воинскую повинность. Меня еще в детстве называли его невестой, и он тогда очень не нравился мне за это. Но потом мне уже нередко думалось о нем, как о женихе; а когда он, уезжая в августе в полк, приходил к нам в солдатской блузе с погонями и, как все вольноопределяющиеся, с удовольствием рассказывал о «словесности» фельдфебеля-малоросса, я начала свыкаться с мыслью, что буду его женой. Веселый, загорелый — резко белела у него только верхняя половина лба,— он был очень мил мне.

«Значит, он взял отпуск»,— взволнованно думала я, и мне было и приятно, что он приехал, очевидно, для меня, и жутко. Я торопилась в дом приготовить отцу ужин, но, когда я вошла в лакейскую, отец уже ходил по залу, стуча сапогами. И почему-то я необыкновенно обрадовалась ему. Шляпа у него была сдвинута на затылок, борода растрепана, длинные сапоги и чесучовый пиджак закиданы грязью, но он показался мне в эту минуту олицетворением мужской красоты и силы.

— Что ж ты в темноте? — спросила я.

— Да я, Тата,— ответил он, называя меня, как в детстве,— сейчас лягу и ужинать не буду. Устал ужасно, и притом, знаешь, который час? Ведь теперь всю ночь заря,— заря зарю встречает, как говорят мужики.— Разве молока,— прибавил он рассеянно.

Я потянулась к лампе, но он замахал головой и, разглядывая стакан на свет, нет ли мухи, стал пить молоко. Соловьи уже пели в саду, и в те три окна, что были на северо-запад, виднелось далекое светлозеленое небо над лиловыми весенними тучками нежных и красивых очертаний. Все было неопределен-

но и на земле, и в небе, все смягчено легким сумраком ночи, и все можно было разглядеть в полусвете непогасшей зари. Я спокойно отвечала отцу на вопросы по хозяйству, но, когда он внезапно сказал, что завтра к нам придет Сиверс, я почувствовала, что краснею.

— Зачем? — пробормотала я.

— Свататься за тебя, — ответил отец с принужденной улыбкой. — Что ж, малый красивый, умный, будет хороший хозяин... Мы уж пропили тебя.

— Не говори так, папочка, — сказала я, и на глазах у меня навернулись слезы.

Отец долго глядел на меня, потом, поцеловав в лоб, пошел к дверям кабинета.

— Утро вечера мудренее, — прибавил он с усмешкой.

## II

Сонные мухи, потревоженные нашим разговором, тихо гудели на потолке, мало-помалу задремывая, часы зашипели и звонко и печально прокуковали одиннадцать...

«Утро вечера мудренее», — пришли мне в голову успокоительные слова отца, и опять мне стало легко и как-то счастливо-грустно.

Отец уже спал, в кабинете было давно тихо, и все в усадьбе тоже спало. И что-то блаженное было в тишине ночи после дождя и старательном выщелкивании соловьев, что-то неуловимо прекрасное реяло в далеком полусвете зари. Стараясь не шуметь, я стала осторожно убирать со стола, переходя на цыпочках из комнаты в комнату, поставила в холодную печку в прихожей молоко, мед и масло, прикрыла чайный сервиз салфеткой и прошла в свою спальню. Это не разлучало меня с соловьями и зарей. Ставни в моей комнате были закрыты, но комната моя была рядом с гостиной, и в отворенную дверь, через гостиную, я видела полусвет в зале, а соловьи были слышны во всем доме. Распустив волосы, я долго сидела на постели, все собираясь что-то решить, потом закрыла глаза, облокотясь на подушку, и внезапно заснула. Кто-то явственно сказал надо мной: «Сиверс!» — я, вздрогнув, очнулась, и вдруг мысль о замужестве сладким ужасом, холодом пробежала по всему моему телу...

Я лежала долго, без мыслей, точно в забытьи. Потом мне стало представляться, что я одна во всей усадьбе, уже замужняя, и что вот в такую же ночь муж вернется когда-нибудь из города, войдет в дом и неслышно снимет в прихожей пальто, а я предупрежу его — и тоже неслышно появлюсь на пороге спальни... Как радостно поднимет он меня на руки! И мне уже

стало казаться, что я люблю. Сиверса я знала мало; мужчина, с которым я мысленно проводила эту самую нежную ночь моей первой любви, был не похож на него, и все-таки мне казалось, что я думаю о Сиверсе. Я почти год не видала его, а ночь делала его образ еще более красивым и желанным. Было тихо, темно; я лежала и все более теряла чувство действительности. «Что ж, красивый, умный...» И, улыбаясь, я глядела в темноту закрытых глаз, где плавали какие-то светлые пятна и лица...

А меж тем чувствовалось, что наступил самый глубокий час ночи. «Если бы Маша была дома,— подумала я про свою горничную,— я пошла бы сейчас к ней, и мы проговорили бы до рассвета... Но нет,— опять подумала я,— одной лучше... Я возьму ее к себе, когда выйду замуж...»

Что-то робко треснуло в зале. Я насторожилась, открыла глаза. В зале стало темнее, все вокруг меня и во мне самой уже изменилось и жило иной жизнью, особой ночной жизнью, которая непонятна утром. Соловьи умолкли,—медленно шелкал только один, живший в эту весну у балкона, маятник в зале тикал осторожно и размеренно-точно, а тишина в доме стала как бы напряженной. И, прислушиваясь к каждому шороху, я приподнялась на постели и почувствовала себя в полной власти этого таинственного часа, созданного для поцелуев, для воровских объятий, и самые невероятные предположения и ожидания стали казаться мне вполне естественными. Я вдруг вспомнила шутливое обещание Сиверса прийти как-нибудь ночью в наш сад на свидание со мной... А что, если он не шутил? Что, если он медленно и неслышно подойдет к балкону?

Облокотившись на подушку, я пристально смотрела в зыбкий сумрак и переживала в воображении все, что я сказала бы ему едва слышным шопотом, отворяя дверь балкона, сладостно теряя волю и позволяя увести себя по сырому песку аллеи в глубину мокрого сада...

### III

Я обулась, накинула шаль на плечи и, осторожно выйдя в гостиную, с бьющимся сердцем остановилась у двери на балкон. Потом, убедившись, что в доме не слышно ни звука, кроме мерного тиканья часов и соловьиного эхо, бесшумно повернула ключ в замке. И тотчас же соловьиное шелканье, отдававшееся по саду, стало слышнее, напряженная тишина исчезла, и грудь свободно вздохнула душистой сыростью ночи.

По длинной аллее молодых березок, по мокрому песку дорожки я шла в полусвете зари, затемненной тучками на севере, в конец сада, где была сиреневая беседка среди тополей и осин. Было так тихо, что слышно было редкое падение капель с па-

висших ветвей. Все дремало, наслаждаясь своей дремотой, только соловей томился своей сладкой песней. В каждой тени мне чудилась человеческая фигура, сердце у меня поминутно замирало, и, когда я, наконец, вошла в темноту беседки и на меня пахнуло ее теплотой, я была почти уверена, что кто-то тотчас же неслышно и крепко обнимет меня.

Никого, однако, не было, и я стояла, дрожа от волнения и вслушиваясь в мелкий сонный лепет осин. Потом села на сырую скамью... Я еще чего-то ждала, порою быстро взглядывала в сумрак рассвета... И еще долго близкое и неуловимое веяние счастья чувствовалось вокруг меня,— то страшное и большое, что в тот или иной момент встречает всех нас на пороге жизни. Оно вдруг коснулось меня — и, может быть, сделало именно то, что нужно было сделать: коснуться и уйти. Помню, что все те нежные слова, которые были в моей душе, вызвали наконец на мои глаза слезы. Прислонясь к стволу сырого тополя, я ловила, как чье-то утешение, слабо возникающий и замирающий лепет листьев и была счастлива своими беззвучными слезами...

Я проследила весь сокровенный переход ночи в рассвет. Я видела, как сумрак стал бледнеть, как заалело белесое облачко на севере, сквозившее сквозь вишенник в отдалении. Свежело, я куталась в шаль, а в светлеющем просторе неба, который на глаз делался все больше и глубже, дрожала чистой яркой каплей Венера. Я кого-то любила, и любовь моя была во всем: в холоде и в аромате утра, в свежести зеленого сада, в этой утренней звезде... Но вот послышался резкий визг водовозки — мимо сада, на речку... Потом на дворе кто-то крикнул сиплым, утренним голосом... Я выскользнула из беседки, быстро дошла до балкона, легко и бесшумно отворила дверь и пробежала на цыпочках в теплую темноту своей спальни...

Сиверс утром стрелял в нашем саду галок, а мне казалось, что в дом вошел пастух и хлопает большим кнутом. Но это не мешало мне крепко спать. Когда же я очнулась, в зале раздавались голоса и гремели тарелками. Потом Сиверс подошел к моим дверям и крикнул мне:

— Наталья Алексеевна! Стыдно! Заспались!

А мне и правда было стыдно, стыдно выйти к нему, стыдно, что я откажу ему,— теперь я знала это уже твердо,— и, торопясь одеться и поглядывая в зеркало на свое побледневшее лицо, я что-то шутливо и приветливо крикнула в ответ, но так слабо, что он, верно, не расслышал.

## ДАЛЕКОЕ

Иле девять лет. На нем гимназический картуз, шелковая коричневая косоворотка, козловые сапожки с сафьяновым ободком на голенищах. Он сидит сзади отца на беговых дрожках, дрожки шибко катятся большой дорогой, а вокруг — поле, летнее жаркое утро...

Старую донскую кобылу подали к крыльцу чуть не на рассвете. Но, боже, сколько раз заглядывал Иля в кабинет отца, в тщетной надежде, что разговор со старостой кончен! Уже и росистая трава в тени от амбаров успела высохнуть, и запахло в саду оцепеневшей на солнечном припеке черемухой... Даже кобыла, и та стала задремывать от скуки: осела на левую заднюю ногу, прижала одно ухо, прикрыла глаза...

Но всему бывает конец, кончилась и попытка ожидания. Держится Иля за кожаную подушку сиденья, задрав ноги на заднюю ось и почти касаясь лбом ружейных стволов на спине отца, поглядывает, как трепещут сверкающие на солнце спицы, как бежит по пыли возле них белая, с подпалинами, Джальма, близко видит загорелую шею и широкий затылок под белым картузом... Солнце стоит высоко и сильно припекает, кожа на дрожках стала горячая, — приятно пахнет нагретой кожей и колесной мазью. Душная густая пыль облаком встает из-под колес, парусиновый пиджак на плечах отца темнеет... Но вот и проселок — полевой рубеж, длинным, узким коридором теряющийся меж стенами высокой серо-зеленой ржи. Отец сдерживает лошадь и закуривает, пуская через плечо клуб душистого дыма...

Ах, эти проселки! Весело ехать по глубоким колеям, заросшим муравой, повиликой, какими-то белыми и желтыми цветами на длинных стеблях. Ничего не видно ни впереди, ни по

сторонам — только бесконечный, суживающийся вдали пролет меж стенами колосистой гущи, да небо, а высоко на небе — жаркое солнце. Синие васильки, лиловый куколь и желтая сурепка цветут во ржи. Дрожки задевают колосья, растущие кое-где по дороге, и они однообразно клонятся под колесами и выходят из-под них черными, испачканными колесной мазью. Мелкие кузнечики сухим дождем непрерывно сыплются из подорожника... Неожиданно потянуло откуда-то легким ветерком, солнечной теплотой... Отец подбирает вожжи... И опять заиграли спицы, закружились перед глазами пестрые венки наверхевшихся на втулки цветов, запрыгали дрожки по выбоинам... Тут надо держаться покрепче, но, ухватившись за сиденье обеими руками, все-таки пристально следишь за тем, как навстречу, лоснясь, бегут серо-зеленые волны, как тень от облачка то там, то здесь на мгновение затушевывает их, как носится, хлопая ушами, за перепелами и жаворонками Джальма: иногда совершающейся за нею, видно, где она, — а иногда высоко выпрыгивает из колосьев, удивленно озираясь по сторонам...

Порою встречалась телега, в ней — баба с белоголовым мальчиком на коленях, которая неумело держит веревочные вожжи, неумело сворачивает, заезжая в рожь, а бокастая лошадевка с жадностью хватает губами колосья... Встретился однажды мужик: он без шапки сидел на грядке телеги, возле длинного узкого гробика из золотистого теса, и веселое лучистое солнце жарко пекло его лохматую голову... Встречался урядник верхом на худой, длинношеей кляче, или бородатый, могучий о. Алексей в широкополой шляпе, высоко восседавший на своей тележке, за которой бежал жеребенок мышиного цвета, на длинных, тонких ножках... А не то вдали показывался тарантас, а в тарантасе — загорелый помещик в крылатке, в дворянском картузе, с изумленно выкаченными белками. Увидав соседа, он изумлялся еще более, радостно тарачил глаза и разводил руками, меж тем как кучер в плисовой безрукавке и круглой шапочке с павлиньими перьями останавливал тройку. Останавливал лошадь и отец, слезал с дрожек навстречу вылезавшему из тарантаса толстяку — и начинались бесконечные разговоры. Помещик говорит страшно громко, размахивает руками и все кого-то бранит... Потом над чем-то долго, с мучительным наслаждением хочется, сотрясаясь всем телом... Отец тоже кричит и тоже хохочет.

— Ну, до свиданья, до свиданья! — наконец говорит он, нахохотавшись.

— До свиданья, батюшка, очень рад был встретиться!

— Мой поклон вашему семейству!

— И вашим также передайте мой сердечный привет!



— Восемнадцатого будете?

— Обязательно, обязательно!

Помещик становится на подножку тарантаса, накренивая его, с трудом усаживается... Но не проходит и минуты, как сзади опять раздается крик:

— Сосед! На минуточку!

И опять стоянка, опять разговоры...

Утомленная, но счастливая своими хлопотами Джальма сидит у колес и жарко дышит, изредка, с коротким стуком, лояв зубами мух. В небе блестят и кудрявятся белые облака, всюду столько света и радости, как бывает лишь в июне, и все неподвижное становится воздух к полудню. Два желтых мотылька, как два лепестка розы, беззвучно и однообразно играют над склонившимися в оцепенении колосьями, над цветами и травами, нагретыми зноем. Сладко пахнет васильками. И, шурясь от солнца, Иля в забытьи следит за облаком, похожим на пуделя, которое, медленно тая, плывет по светозарной сини неба, прислушивается, как сипят в траве кузнечики, а над головою на тысячу ладов сонно звенит жалобными дискантами воздушная музыка насекомых, неумолчно воспевающих дали, млеющие в мареве зноя, радость и свет солнца, беспричинную, божественную радость жизни...

Наговорившись, отец гонит лошадь шибко, и дрожки прыгают и несутся под изволок, к какому-то широкому логу среди степных косогоров. За этим логом следует подъем на покатую гору, залитую зелеными овсами, а с горы открывается вид на новый, еще более широкий и разлтый лог. Тут были заливные болотистые лужки, и мелкая степная речка, извивавшаяся по ним, делала много широких затонов, густо заросших зелеными щетками куги. Оттого, что горизонт был со всех сторон замкнут этими похожими на ржаные хлебы косогорами, глухо было тут на редкость, но какая милая, своеобразная жизнь, жизнь куличков, бекасов и диких чирков, чувствовалась в тишине и глуши этих мелких затонов!

— Держись! — кричит отец сквозь дребезжание бегущих под гору дрожек.

И вдруг дребезжание сразу обрывается.

Под горою ветерок спадает. Солнце печет, колеса шуршат в густой, насыщенной водой траве. Пресно пахнет теплым илом, разогретой кугою; белая, как снег, рыбалка неожиданно вырывается из кочкарников и сверкает в воздухе острыми крыльями... А вот и болото — серебристо-зеркальные затоны с островками тонколистой осоки...

Не спуская с них глаз, отец передает Иле вожжи, осторожно слезает с дрожек и, скинув ружье, торопливо, но бесшумно направляется к ним.

— Джальма! — строго, отрывисто и негромко говорит он каким-то особым, условным тоном Джальме, которая перепрыгивает с кочки на кочку с высунутым языком. Длинные сапоги его тонут в мягких кочкарниках, серебристые пузыри болотного газа остаются в его следах, отпечатывающихся в бархатистой и влажной траве... От солнца и блеска воды светло так, что больно смотреть...

— Джальма!

И Джальма, быстро оглянувшись, вдруг — бултых в воду и, наслаждаясь прохладой, медленно плывет по затону к камышам. Из воды видна только ее вытянутая прилизанная голова с опущенными ушами и длинный хвост, который плывет за ней, как чужой, как палка. Потом и голова и хвост заворачивают в камыши, отец входит по колена в воду и тоже скрывается в камышах. Проходит десять, двадцать минут напряженного молчания... Где-то далеко раздается тяжкий, глухой выстрел... Весь встрепенувшись, пристально глядит Иля вперед, но за камышами ничего не видно. В камышах что-то осторожно попискивает и булькает; по широкой луже недалеко от дрожек, извиваясь, проплывает уж; перламутрово-голубые стрекозы с треском распускают длинные стеклянные крылышки, вылетая из горячей травы, а высоко в небе медленно вырастает и вытягивается большое белоснежное облако... Вот оно приняло образ сказочного исполина, а из затона, в котором, углубляя его, ярко светит отражение этого исполина, что-то глухо, угрюмо и жалобно ухнуло... Ухнуло и выжидательно замолчало...

— Бычки! — вспоминает Иля загадочное слово, оброненное отцом, и весь замирает от сладкого ужаса.

Воображение мгновенно создает образ какого-то фантастического существа, одного из тех страшных подводных жителей, что глубоко скрываются в болотах и только изредка высовывают свои лобастые рогатые головы с выпученными глазами на свет божий. Что если выглянет такой бычок именно теперь, в этот безмолвный час знойного полдня? И, косясь на затон, Иля не замечает, что картуз его съехал на затылок, что комары облепили ему потную шею и руки, и что ослепительно-жаркое солнце бьет прямо в лицо...

Вдруг раздается кашель. Иля вздрагивает и мгновенно возвращается к действительности. Отец идет, по пояс мокрый, хлюпает тяжелыми сапогами, налитыми болотной водой.

— Тут... бычки, — говорит Иля нерешительно.

— Ну и что же?

— Они очень большие?

— Кто? Бычки-то? Да ведь это жучки! Водяные жучки!

— Как жучки? — бормочет Иля, пораженный и разочарованный.

Отец раскраснелся, расстегнул ворот рубахи, лицо у него доброе и оживленное. Подойдя к дрожкам, он бросает Иле убитого чирка, и, мгновенно забыв о бычках, Иля с жадностью ловит его на лету. Чирок еще теплый! Головка с закатившимися глазами, подернутыми белесою пленкой, бессильно падает на радужный зобик, брюшко в запекшейся крови... Но как оно славно пахнет тиной и порохом! И Джальма вылезает из осоки тоже веселая и удовлетворенная. Глаза безумные, с длинного красного языка льет слюна, белая атласная шерсть вся прилистана, уши висят, ноги в иле,— точно в черных чулках...

Мокрые блестящие шины колес снова шуршат по бархатной сочной траве, изредка врезываясь в воду и разбрасывая во все стороны светлые длинные брызги. Лужи, в которых золотыми полосами то там, то здесь резко вспыхивает жаркий солнечный блеск, мелькают перед глазами... Из куги то и дело с жалобными стонами вырываются кулички... Потом мягкий кочкарник сразу обрывается, — дрожки снова трещат по дороге, убегающей в гору...

Ах, когда Иля вырастет, он будет самым счастливым человеком в мире! Он поселится на хуторе, будет жить только охотой, будет каждый день чистить кирпичом и промывать свое ружье, будет варить себе кулеш, спать возле порога дома на войлоке, а просыпаться еще в ту пору, когда едва-едва брезжит зелено-серебристый рассвет...

Но и теперь чудесно. Дышит Иля чистым полевым ветром, слушает хохлатых жаворонков, распевающих над полями, в облаках, в бесконечном просторе... Степь вокруг, куда ни кинь взор, зеленая, ровная, вольная. И ни души в степи, ни кустика, ни деревца,— только далеко впереди машет, как утопающий руками, чья-то мельница.

## ЦИФРЫ

### I

Мой дорогой, когда ты вырастешь, вспомнишь ли ты, как однажды зимним вечером ты вышел из детской в столовую, остановился на пороге,— это было после одной из наших ссор с тобой,— и, опустив глаза, сделал такое грустное личико?

Должен сказать тебе: ты большой шалун. Когда что-нибудь увлечет тебя, ты не знаешь удержу. Ты часто с раннего утра до поздней ночи не даешь покоя всему дому своим криком и беготней. Зато я и не знаю ничего трогательнее тебя, когда ты, насладившись своим буйством, притихнешь, побродишь по комнатам и наконец подойдешь и сиротливо прижмешься к моему плечу! Если же дело происходит после ссоры и если я в эту минуту скажу тебе хоть одно ласковое слово, то нельзя выразить, что ты тогда делаешь с моим сердцем! Как порывисто кидаешься ты целовать меня, как крепко обвиваешь руками мою шею, в избытке той беззаветной преданности, той страстной нежности, на которую способно только детство!

Но это была слишком крупная ссора.

Помнишь ли, что в этот вечер ты даже не решился близко подойти ко мне?

— Покойной ночи, дядечка,— тихо сказал ты мне и, поклонившись, шаркнул ножкой.

Конечно, ты хотел, после всех своих преступлений, показаться особенно деликатным, особенно приличным и кротким мальчиком. Нянька, передавая тебе единственный известный ей признак благовоспитанности, когда-то учила тебя: «шаркни ножкой!» И вот ты, чтобы задобрить меня, вспомнил, что у тебя есть в запасе хорошие манеры. И я понял это — и поспе-

шил ответить так, как будто между нами ничего не произошло, но все-таки очень сдержанно:

— Покойной ночи.

Но мог ли ты удовлетвориться таким миром? Да и лукавить ты не горазд еще. Перестрадав свое горе, твое сердце с новой страстью вернулось к той заветной мечте, которая так пленяла тебя весь этот день. И вечером, как только эта мечта опять овладела тобою, ты забыл и свою обиду, и свое самолюбие, и свое твердое решение всю жизнь ненавидеть меня. Ты помолчал, собрал силы и вдруг, торопясь и волнуясь, сказал мне:

— Дядечка, прости меня... Я больше не буду... И, пожалуйста, все-таки покажи мне цифры! Пожалуйста!

Можно ли было после этого медлить ответом? А я все-таки помедлил. Я, видишь ли, очень, очень умный дядя...

## II

Ты в этот день проснулся с новой мыслью, с новой мечтой, которая захватила всю твою душу.

Только что открылись для тебя еще не изведенные радости: иметь свои собственные книжки с картинками, пенал, цветные карандаши — непременно цветные! — и учиться читать, рисовать и писать цифры. И все это сразу, в один день, как можно скорее. Открыв утром глаза, ты тотчас же позвал меня в детскую и засыпал горячими просьбами: как можно скорее выписать тебе детский журнал, купить книг, карандашей, бумаги и немедленно приняться за цифры.

— Но сегодня царский день, все заперто, — соврал я, чтобы оттянуть дело до завтра или хоть до вечера: уж очень не хотелось мне идти в город.

Но ты замотал голову.

— Нет, нет, не царский! — закричал ты тонким голосом, поднимая брови. — Вовсе не царский, — я знаю.

— Да уверяю тебя, царский! — сказал я.

— А я знаю, что не царский! Ну, пожа-алуйста!

— Если ты будешь приставать, — сказал я строго и твердо то, что говорят в таких случаях все дяди, — если ты будешь приставать, так и совсем не куплю ничего.

Ты задумался.

— Ну, что ж делать! — сказал ты со вздохом. — Ну, царский, так царский. Ну, а цифры? Ведь можно же, — сказал ты, опять поднимая брови, но уже басом, рассудительно, — ведь можно же в царский день показывать цифры?

— Нет, нельзя, — поспешно сказала бабушка. — Придет полицейский и арестует... И не приставай к дяде.

— Ну, это-то уж лишнее, — ответил я бабушке. — А просто мне не хочется сейчас. Вот завтра или вечером — покажу.

— Нет, ты сейчас покажи!  
— Сейчас не хочу. Сказал,— завтра.  
— Ну, во-от,— протянул ты.— Теперь говоришь — завтра, а потом скажешь — еще завтра. Нет, покажи сейчас!

Сердце тихо говорило мне, что я совершаю в эту минуту великий грех — лишаю тебя счастья, радости... Но тут пришло в голову мудрое правило: вредно, не полагается баловать детей.

И я твердо отрезал:

— Завтра. Раз сказано — завтра, значит, так и надо сделать.

— Ну, хорошо же, дядька! — пригрозил ты дерзко и весело.— Помни ты это себе!

И стал поспешно одеваться.

И как только оделся, как только пробормотал вслед за бабушкой: «Отче наш, иже еси на небеси...» и проглотил чашку молока,— вихрем понесся в зал. А через минуту оттуда уже слышались грохот опрокидываемых стульев и удалые крики...

И весь день нельзя было унять тебя. И обедал ты наспех, рассеянно, болтая ногами, и все смотрел на меня блестящими странными глазами.

— Покажешь? — спрашивал ты иногда.— Непременно покажешь?

— Завтра непременно покажу,— отвечал я.

— Ах, как хорошо! — вскрикивал ты.— Дай бог поскорее, поскорее завтра!

Но радость, смешанная с нетерпением, волновала тебя все больше и больше. И вот, когда мы — бабушка, мама и я — сидели перед вечером за чаем, ты нашел еще один исход своему волнению.

### III

Ты придумал отличную игру: подпрыгивать, бить изо всей силы ногами в пол и при этом так звонко вскрикивать, что у нас чуть не лопались барабанные перепонки.

— Перестань, Женья,— сказала мама.

В ответ на это ты — трах ногами в пол!

— Перестань же, деточка, когда мама просит,— сказала бабушка.

Но бабушки-то ты уж и совсем не боишься.

Трах ногами в пол!

— Да перестань,— сказал я, досадливо морщась и пытаясь продолжать разговор.

— Сам перестань! — звонко крикнул ты мне в ответ, с дерзким блеском в глазах и, подпрыгнув, еще сильнее ударил в пол и еще пронзительнее крикнул в такт.

Я пожал плечом и сделал вид, что больше не замечаю тебя.

Но вот тут-то и начинается история.

Я, говорю, сделал вид, что не замечаю тебя. Но сказать ли правду? Я не только не забыл о тебе после твоего дерзкого крика, но весь похолодел от внезапной ненависти к тебе. И уже должен был употреблять усилия, чтобы делать вид, что не замечаю тебя, и продолжать разыгрывать роль спокойного и рассудительного.

Но и этим дело не кончилось.

Ты крикнул снова. Крикнул, совершенно позабыв о нас и весь отдавшись тому, что происходило в твоей переполненной жизнью душе,— крикнул таким звонким криком беспричинной, божественной радости, что сам господь бог улыбнулся бы при этом крике. Я же в бешенстве вскочил со стула.

— Перестань! — рявкнул я вдруг, неожиданно для самого себя, во все горло.

Какой чорт окатил меня в эту минуту целым ушатом злобы? У меня помутилось сознание. И надо было видеть, как дрогнуло, как исказилось на мгновение твое лицо молнией ужаса!

— А! — звонко и растерянно крикнул ты еще раз.

И уже без всякой радости, а только для того, чтобы показать, что ты не испугался, криво и жалко ударил в пол каблуками.

А я — я кинулся к тебе, дернул тебя за руку, да так, что ты волчком перевернулся передо мною, крепко и с наслаждением шлепнул тебя и, вытолкнув из комнаты, захлопнул дверь.

Вот тебе и цифры!

#### IV

От боли, от острого и внезапного оскорбления, так грубо ударившего тебя в сердце в один из самых радостных моментов твоего детства, ты, вылетевши за дверь, закатился таким страшным, таким пронзительным альтиком, на какой не способен ни один певец в мире. И надолго, надолго замер... Затем набрал в легкие воздуху еще больше и поднял альт уже до невероятной высоты...

Затем паузы между верхней и нижней нотами стали сокращаться,— вопли потекли без умолку. К воплям прибавились рыдания, к рыданиям — крики о помощи. Сознание твое стало проясняться, и ты начал играть, с мучительным наслаждением играть роль умирающего.

— О-ой, больно! Ой, мамочка, умираю!

— Небось, не умрешь,— холодно сказал я.— Покричишь, покричишь, да и смолкнешь.

Но ты не смолкал.

Разговор, конечно, оборвался. Мне было уже стыдно, и я зажег папиросу, не поднимая глаз на бабушку. А у бабушки вдруг задрожали губы, брови, и, отвернувшись к окну, она стала быстро, быстро колотить чайной ложкой по столу.

— Ужасно испорченный ребенок! — сказала, нахмуриваясь и стараясь быть беспристрастной, мама и снова взялась за свое вязанье. — Ужасно избалован!

— Ой, бабушка! Ой, милая моя бабушка! — вопил ты диким голосом, зывая теперь к последнему прибежищу — к бабушке.

И бабушка едва сидела на месте.

Ее сердце рвалось в детскую, но, в угоду мне и маме, она крепилась, смотрела из-под дрожащих бровей на темневшую улицу и быстро стучала ложечкой по столу.

Понял тогда и ты, что мы решили не сдаваться, что никто не утолит твоей боли и обиды поцелуями, мольбами о прощении. Да и слез уже не хватало. Ты до изнеможения упился своими рыданиями, своим детским горем, с которым не сравнится, может быть, ни одно человеческое горе, но прекратить вопли сразу было невозможно, хотя бы из-за одного самолюбия.

Ясно было слышно: кричать тебе уже не хочется, голос охрип и срывается, слез нет. Но ты все кричал и кричал!

Было неумогу и мне. Хотелось встать с места, распахнуть дверь в детскую и сразу, каким-нибудь одним горячим словом, пресечь твои страдания. Но разве это согласуется с правилами разумного воспитания и с достоинством справедливого, хотя и строгого дяди?

Наконец ты затих...

## V

— И мы тотчас помирились? — спрашиваешь ты.

Нет, я-таки выдержал характер. Я, по крайней мере, через полчаса после того, как ты затих, заглянул в детскую. И то как? Подошел к дверям, сделал серьезное лицо и растворил их с таким видом, точно у меня было какое-то дело. А ты в это время уже возвращался мало-помалу к обыденной жизни.

Ты сидел на полу, изредка подергивался от глубоких прерывистых вздохов, обычных у детей после долгого плача, и с потемневшим от размазанных слез личиком забавлялся своими незатейливыми игрушками — пустыми коробочками от спичек, — расставляя их по полу, между раздвинутых ног, в каком-то, только тебе одному известном порядке.

Как сжалось мое сердце при виде этих коробочек!



Но, делая вид, что отношения наши прерваны, что я оскорблен тобою, я едва взглянул на тебя. Я внимательно и строго осмотрел подоконники, столы... Где это мой портсигар?.. И уже хотел выйти, как вдруг ты поднял голову и, глядя на меня злыми, полными презрения глазами, хрипло сказал:

— Теперь я никогда больше не буду любить тебя.

Потом подумал, хотел сказать еще что-то очень обидное, но запнулся, не нашелся и сказал первое, что пришло в голову:

— И никогда ничего не куплю тебе.

— Пожалуйста! — небрежно ответил я, пожимая плечом.— Пожалуйста! Я от такого дурного мальчика и не взял бы ничего.

— Даже и японскую копеечку, какую тогда подарил, назад возьму! — крикнул ты тонким, дрогнувшим голосом, делая последнюю попытку уязвить меня.

— А вот это уж и совсем нехорошо! — ответил я.— Дарить и потом отнимать! Впрочем, это твое дело.

Потом заходили к тебе мама и бабушка. И так же, как я, делали сначала вид, что вошли случайно... по делу... Затем начали головами и, стараясь не придавать своим словам значения, заводили речь о том, как это нехорошо, когда дети растут непослушными, дерзкими и добиваются того, что их никто не любит. А кончали тем, что советовали тебе пойти ко мне и попросить у меня прощения.

— А то дядя рассердится и уедет в Москву,— говорила бабушка грустным тоном.— И никогда больше не приедет к нам.

— И пускай не приедет! — отвечал ты едва слышно, все ниже опуская голову.

— Ну, я умру,— говорила бабушка еще печальнее, совсем не думая о том, к какому жестокому средству прибегает она, чтобы заставить тебя переломить свою гордость.

— И умирай, — отвечал ты сумрачным шопотом.

— Хорошо! — сказал я, снова чувствуя приступ раздражения.— Хорошо! — повторил я, дымя папиросой и поглядывая в окно на темную пустую улицу.

И, переждав, пока пожилая худая горничная, всегда молчаливая и печальная от сознания, что она — вдова машиниста, зажгла в столовой лампу, прибавил:

— Вот так мальчик!

— Да не обращай на него внимания,— сказала мама, заглядывая под матовый колпак лампы, не коптит ли.— Охота тебе разговаривать с такой злючкой!

И мы сделали вид, что совсем забыли о тебе.

## VI

В детской огня еще не зажигали, и стекла ее окон казались теперь синими-синими. Зимний вечер стоял за ними, и в детской было сумрачно и грустно. Ты сидел на полу и передвигал коробочки. И эти коробочки мучили меня. Я встал и решил побродить по городу.

Но тут послышался шопот бабушки.

— Бесстыдник, бесстыдник! — зашептала она укоризненно.— Дядя тебя любит, возит тебе игрушки, гостинцы...

Я громко прервал:

— Бабушка, этого говорить не следует. Это лишнее. Тут дело не в гостинцах.

Но бабушка знала, что делает.

— Как же не в гостинцах? — ответила она.— Не дорог гостинец, а дорога память.

И, помолчав, ударила по самой чувствительной струне твоего сердца:

— А кто же купит ему теперь пенал, бумаги, книжку с картинками? Да что пенал! Пенал — туда-сюда. А цифры? Ведь уж этого не купишь ни за какие деньги. Впрочем,— прибавила она,— делай, как знаешь. Сиди тут один в темноте.

И вышла из детской.

Кончено,— самолюбие твое было сломлено! Ты был побежден!

Чем неосуществимее мечта, тем пленительнее, чем пленительнее, тем неосуществимее. Я уже знаю это.

С самых ранних дней моих я у нее во власти. Но я знаю и то, что, чем дороже мне моя мечта, тем менее надежд на достижение ее. И я уже давно в борьбе с нею. Я лукавлю: делаю вид, что я равнодушен. Но что мог сделать ты?

Счастье, счастье!

Ты открыл утром глаза, переполненный жаждою счастья. И с детской доверчивостью, с открытым сердцем кинулся к жизни: скорее, скорее!

Но жизнь ответила:

— Потерпи.

— Ну пожалуйста! — воскликнул ты страстно.

— Замолчи, иначе ничего не получишь!

— Ну погоди же! — крикнул ты злобно.

И на время смолк.

Но сердце твое буйствовало. Ты бесновался, с грохотом валял стулья, бил ногами в пол, звонко вскрикивал от переполнявшей твое сердце радостной жажды... Тогда жизнь со всего размаха ударила тебя в сердце тупым ножом обиды. И ты закатился бешеным криком боли, призывом на помощь.

Но и тут не дрогнул ни один мускул на лице жизни... Смирись, смирись!

И ты смирился.

## VII

Помнишь ли, как робко вышел ты из детской и что ты сказал мне?

— Дядечка! — сказал ты мне, обессиленный борьбой за счастье и все еще алкая его. — Дядечка, прости меня. И дай мне хоть каплю того счастья, жажда которого так сладко мучит меня.

Но жизнь обидчива.

Она сделала притворно-печальное лицо.

— Цифры! Я понимаю, что это счастье... Но ты не любишь дядю, огорчаешь его...

— Да нет, неправда, — люблю, очень люблю! — горячо воскликнул ты.

И жизнь наконец смиростивилась.

— Ну уж бог с тобою! Неси сюда к столу стул, давай карандаши, бумагу...

И какой радостью засияли твои глаза!

Как хлопотал ты! Как боялся рассердить меня, каким почтительным, деликатным, осторожным в каждом своем движении старался ты быть! И как жадно ловил ты каждое мое слово!

Глубоко дыша от волнения, поминутно слюнявя огрызок карандаша, с каким старанием налегал ты на стол грудью и крутил головой, выводя таинственные, полные какого-то божественного значения черточки!

Теперь уже и я наслаждался твоею радостью, с нежностью обоняя запах твоих волос: детские волосы хорошо пахнут, — совсем как маленькие птички.

— Один... Два... Пять... — говорил ты, с трудом водя по бумаге.

— Да нет, не так. Один, два, три, четыре.

— Сейчас, сейчас, — говорил ты поспешно. — Я сначала: один, два...

И смущенно глядел на меня.

— Ну, три...

— Да, да, три! — подхватывал ты радостно. — Я знаю.

И выводил три, как большую прописную букву Е.

## У ИСТОКА ДНЕЙ

### I

В тумане моего прошлого есть один далекий день, который я вспоминаю особенно часто.

Я вижу большую комнату в бревенчатом доме на хуторе средней России.

Одно окно этой комнаты — на юг, на солнце, два других — на запад, в вишневый сад.

В простенке стоит старинный туалет красного дерева, а на полу возле него сидит ребенок трех или четырех лет.

Он один в комнате и чувствует себя необыкновенно счастливым.

На дворе сухо,— погожий конец степного августа, и солнечный свет косо падает из окна, выходящего на юг, почти до того места, где сидит на полу ребенок.

А он открыл дверцу в тумбе туалета, обоняет кисленький запах старинных духов и тщательно укладывает на полированную полочку синие гербовые бумаги.

Нужды нет, что эти бумаги покрыты строками крупных непонятных завитушек и что не приказано ни рвать, ни пачкать их: радостно уже одно то, что обладаешь ими, что их много и что можно раскладывать их в тумбе, которая отныне будет твоею.

Так было и сказано:

— Вот эта тумбочка с нынешнего дня — твоя.

А для того, чтобы было что укладывать, подарили большую кипу синих бумаг с красивыми двуглавыми птицами. Накопится много и других вещей, вроде коробочек и граненых пузырьков, стоящих на туалете. И все это будет спрятано сюда же.

Но на свете, как известно, все кончается: бумаги уже несколько раз укладывались на полочке и так и этак, порядок, в котором они должны быть, строго обдуман,— остается затворить тумбу, поглядеть на нее с приятным чувством собственности — и заняться чем-нибудь другим.

Чем же?

Ребенок стоит возле туалета и осматривается.

Увы, в простой деревенской комнате с голыми бревенчатыми стенами совсем почти пусто: только стулья, да большая кровать, да августовское солнце, косо озаряющее некрашенный пол.

Приятно подойти к окну, почувствовать тепло солнечного света и, прижавшись лицом к стеклу, расплющить нос... Очень заманчива и паутина,— легкая восьмигранная сетка в верхнем углу окна... Но, во-первых, до нее не дотянешься, если даже приставить к окну стул, а во-вторых, из щели в углу может выбежать на высоких тонких ножках большой серый паук.

И ребенок, подняв глаза, чувствует сладкий страх при мысли о таинственном хозяине этой паутины, имя которого он произносит с запинкой, по-крестьянски — пуак — и который так сердито выскакивает из своей щели, когда в его сеть попадает муха.

Сладко следить тогда за ее гибелью!

Жалобно и долго, долго ноет она в тишине пустой комнаты, точно зовет на помощь... Но помощи нет, и время течет среди ее однотонного плача в полной неизвестности, что будет дальше... И вдруг он, этот темносерый страшный паук, выскакивает из щели и быстро бежит по паутине... схватывает муху в лапы, замирает с нею на месте и наконец уже, слабую, затаившую, тянет ее в свое жилище...

Что это за жилище? Что делает в нем его хозяин, чем занят он?

Нечаянно взгляд ребенка падает в эту минуту на зеркало.

## II

Я хорошо помню, как поразило оно меня.

С него начинаются смутные, не связанные друг с другом воспоминания моего младенчества. Точно в сновидении живу я в них. И вот оно, первое сновидение у истока дней моих.

Ранее нет ничего: пустота, несуществование.

Ни мое сердце, ни мой разум никогда не могли и до сих пор не могут примириться с этой пустотой. Но, покоряясь неизбежности, я принимаю за начало моего бытия этот августовский день, эти синие гербовые бумаги с орлами, тихую невыразимую радость, которую они дали мне,— и зеркало.

Между колонками туалета, в тяжелой прихотливой раме,

висело что-то светлое, блестящее, красивое — и непонятное. Я видал его и ранее. Видел и отражения в нем. Но изумило оно меня только теперь, когда мои восприятия вдруг озарились первым ярким проблеском сознания, когда я разделился на воспринимающего и сознающего. И все окружавшее меня внезапно изменилось, ожило — приобрело свой собственный лик, полный непонятного.

Я заглянул в то светлое, блестящее, что слегка наклонно висело между колонок туалета, увидел там другую комнату, совершенно такую же, как та, в которой я был, но только более заманчивую, более красивую, увидел самого себя — и в первый раз в жизни был изумлен и очарован.

Я восторженно оглянулся... Да, несомненно, в зеркале было все, что было и здесь, вокруг меня — и стены, и стулья, и пол, и солнечный свет, и ребенок, стоявший среди комнаты... Нас было двое, удивленно смотревших друг на друга! И вот один из нас вдруг закрыл глаза — и все исчезло: остались только светлые пятна, закружившиеся в темноте... Потом снова открыл их — и снова увидел все то, что уже видел... Не странно ли только, что комната в зеркале падает, валится на меня?

Робко приблизился я к зеркалу и, дотянувшись рукой до нижней части рамы, толкнул ее.

Зеркало блеснуло, стукнулось о стену, а покатый пол, отраженный в нем, стал еще более покатым. Теперь вся комната падала на меня, падал и мальчик, стоявший против меня, и кровать, и стулья... Очарованный, восхищенный, долго глядел я на то чудесное и новое, что так внезапно открылось мне — и потянул раму к себе. Зеркало блеснуло, завалилось назад — и все исчезло... И как раз в эту минуту кто-то хлопнул дверью, и я вздрогнул и громко крикнул от страха.

### III

Что было дальше?

Много раз пытался я вспомнить еще хоть что-нибудь; но это никогда не удавалось.

Вспоминая, я быстро переходил к выдумке, к творчеству, ибо и воспоминания-то мои об этом дне не более реальны, чем творчество.

Твердо помню только одно: зеркало поразило меня именно в этот день. Я должен был разгадать его во что бы то ни стало.

Но как?

О, много было лукавств и ухищрений!

Они, эти ухищрения, кончались всегда неудачей. И пережив неудачу, я, конечно, забывал о зеркале. Но вот я опять оставался наедине с ним — и опять испытывал его власть над собою.

Я любил угловую комнату, когда она была пуста. Я входил, затворял за собой двери — и тотчас же вступал в какую-то особую, чародейственную жизнь.

Так тихо, так тихо, что слышна каждая нота в тонком и печальном плаче замирающей в паутине мухи!

И я затаивал дыхание, и казалось, что и комната ждет чего-то вместе со мною.

Мальчик, стоящий предо мною в отраженной комнате, был теперь выше ростом, решительнее, смелее, чем тот, что стоял в ней в светлый августовский день несколько лет тому назад. Но отраженная комната была все так же притягательна, заманчива... сто крат заманчивее той, в которой был я! И сладко было снова и снова тешить себя несбыточной мечтою побывать, пожить в этой отраженной комнате!

Только существует ли она и тогда, когда не смотришь на нее?

Чтобы узнать это, нужно прежде всего обмануть кого-то.

И вот я делал равнодушное лицо, отходил от зеркала, заглядывал с притворной беспечностью в окна — и вдруг быстро оборачивался к туалету...

Нет, все попрежнему!

Но тогда не сесть ли в кресло против зеркала? Закрывать глаза и притвориться спящим... А затем сразу открыть их...

Увы, снова хитрость моя рассыпается прахом!

Оставалось еще одно: приоткрыть ресницы — так мало, так мало, чтобы никто и не подумал, что они приоткрыты...

Но как это трудно!

Ресницы дрожат, глазам больно, и выходит все одно и то же: или совсем ничего не видно, или хоть слабо, но видно все!

И много раз, делая отчаянные усилия, сдвигал я с места тяжелые колонки, среди которых висело зеркало, и заглядывал между ними и стеною. Но и там, именно там, где должна была заключаться разгадка тайны, не оказывалось ничего, кроме бревен с одной стороны и шершавых дощечек, которыми было забито зеркало, с другой!

— Значит, кроется что-нибудь за ними, за этими дощечками?

Говорят, что за этими дощечками только стекло, намазанное ртутью. Да, но что такое ртуть? Ртуть тоже нечто чудесное. Положил кто-то этой ртути в пекущиеся хлебы — и вдруг хлебы запрыгали по печке! А главное: почему поспешили закусать это что-то, намазанное ртутью и называемое зеркалом, в черный коленкор, как только умерла Надя?

В эту страшную ночь, когда в доме свершилось что-то невыразимое, наполнившее весь дом сперва таинственной сумато-

хой, испуганными голосами, а потом страстными криками матери,— зеркало завесили черным коленкором.

Я, спавший в угловой комнате на широкой постели, в диком ужасе вскочил на колени, когда тишину ночи прорезали эти крики. А затем в комнату быстро вошла заплаканная нянька и накинула на зеркало кусок черной материи.

И, как внезапный ветер по затрепетавшим листьям дерева; по всему моему телу прошла одна мысль, одно сознание: в доме смерть! То ужасное, чье имя — тайна!

#### IV

Ночи предшествовали тяжелые, печальные дни.

Стоял февраль, наполнявший комнаты скудным полусветом.

А девочка была больна уже давно, и казалось, что конца не будет этим дням, этому скудному полусвету и тишине, воцарившейся с тех пор, как в детской, пропитанной сладковатым запахом лекарств, затворили двери и завесили окна темными шторами.

В глуши, на хуторе, заброшенные, забытые, жили мы тогда: мать, Надя, нянька Дарья, большая властная старуха, я и мой воспитатель,— если только можно было назвать так этого странного человека, похожего на Данте,— человека без роду, без племени, уже много лет скитавшегося по мелким помещикам, обучавшего их детей и нигде не уживавшегося.

Я медленно, с трудом читал, а он, этот Данте, в стареньком, кургузом сюртучке и коротких панталонах, из-под которых торчали грубые рыжие сапоги, ходил по комнате из угла в угол и думал, думал, бормоча свои думы себе под нос и порою с злорадным наслаждением похохатывая.

А смерть уже незримо реяла среди нас, и печальную тишину дома нарушали только шаги моего воспитателя и мое одностонное чтение. И читал я как раз о ней: читал песнь о старом нормандском бароне, умиравшем в отдаленном покое замка в бурную и темную ночь рождества Христова. И когда она появилась наконец — столь грозная, что даже собаки на дворе завyli, услышав вопли в доме,— тотчас же было выброшено черное покрывало и на то, что каким-то образом было причастно ее тайне!

#### V

Я уснул, чувствуя томительную тоску.

За окнами чернела ночь, комната была слабо озарена стоявшей на полу возле кровати свечой.

Обычно со мной спала мать. Но с тех пор, как заболела девочка, на ночь стала приходить ко мне нянька. А в эту ночь да-



же и няньки не было. Она только изредка входила, вынимала что-то из ящиков туалета, шопотом говорила мне: «Спи, спи, я сейчас приду» — и снова уходила.

И я пытался уснуть.

Но тоска, предчувствие чего-то, что вот-вот должно совершиться, будили меня, едва только я начинал забываться. Задремлю — и вдруг вскочу с бьющимся сердцем и страстным желанием закричать о помощи.

Но даже крикнуть я не смел — так тихо было в доме и так странно блестело зеркало, наклонно висевшее между колонок туалета и отражавшее покатый пол и дрожащий длинный огонь свечи, стоявшей возле кровати.

И вот...

Поднялась какая-то возня, послышались испуганные, торопливые голоса, стук дверей, а вслед за ними — сдавленный, ужасный крик... Пораженный им до глубины сердца, я вскочил, сел на колени и замер, уже готовый ответить на этот крик криком еще более ужасным, как растворилась дверь, и по комнате, сотрясая пол своею тяжестью, пробежала нянька с черным куском коленкора в руках...

Потом меня, дрожащего от ужаса и изумления, зачем-то одели, и воспитатель мой повел меня в ту, слабо освещенную синей лампадкой комнату, где на ломберном столе, покрытом простынею, лежала кукла в розовом платьице...

Помню, как мы остановились на пороге этой комнаты и, перекрестившись, поклонились в угол, лампадке и этой кукле...

Помню даже, что набожное смирение, с которым медленно перекрестился и поклонился мой воспитатель, показалось мне неестественным...

Мне показалось, что он пьян: это с ним случалось нередко... И от этого мне сделалось еще страшнее.

А он, с истовостью пьяного человека, желающего показать, что он нисколько не пьян, а, напротив, сознательно, серьезно и спокойно делает все то, что полагается в таких случаях, подвел меня к столу, приподнял за плечи — и я увидел бледное, безжизненное личико и тусклый блеск мертвых, слизистых глаз под неплотно смежившимися черными ресницами, четко выделявшимися среди бледности... В этом было что-то безобразное!

Безобразно-ужасен был и сон, которым я забылся после того.

Я до сих пор чувствую всю нескладную, горячечную суматоху всех этих людей, наполнивших дом и начавших торопливо переносить и передвигать из комнаты в комнату столы, стулья, кровати и зеркала, как только я закрыл глаза.

Девочка мгновенно ожила, хотя и осталась все такой же загадочной и безмолвной, какой она была на столе, и поспешила вмешаться в суматоху, бегая из комнаты в комнату под ногами мужиков, торопливо носивших на руках стулья и зеркала, покрытые черным коленкором...

Как это она могла ожить и остаться в то же время мертвой?

Как это она могла бегать и не упасть, когда лицо ее было столь же слепо и безжизненно, как тусклая полоска ее глаз, блестящая в прорезе неплотно прикрытых ресниц?

Наконец настало утро.

## VI

Ах, как хорошо сделал господь бог, создавши свет!

Сколько раз в жизни говорил я эти слова, открывая глаза после тяжелых ночных сновидений! Как этот свет успокаивает, как упрощает и душу нашу, и все окружающее нас!

Белый, спокойный и простой день был в мире, когда я проснулся.

Но, проснувшись, я тотчас взглянул на зеркало... О, каким печальным показалось оно мне!

Да и не одно оно. Все в доме было печально: и заплаканная, похудевшая, с блестящими глазами, мать, и серьезный воспитатель, и притихшая, уже далеко не столь властная, как прежде, старуха-нянька, и разговоры вполголоса, и эта кукольная девочка с восковым личиком, лиловатым виском, неживыми локонами и полуприкрытыми ресницами, из-под которых еще тусклее, чем вчера, блестела полоска стеклянных глаз...

А потом, в солнечный морозный день с метелью, приехали на трех розвальнях попы, нанесли в дом холоду, запаха снега и ладана и стали с грустными причитаниями и пением ходить вокруг лежащей на столе куклы, кланяться ей и дымить на нее из кадила...

И с какой изысканной деликатностью, с какой кокетливой печалью заливался в этот день высокий горловой тенор всегда смелого и даже наглого о. Федора!

Как он легко, точно в кадрили, то приближался к столу, то пятился назад и своей ловкой рукой — даже не рукой, а только одной кистью — высоко взвивал пылающее кадило и потоплял в синих клубах церковного благоухания неподвижно лежащую куклу!

И как чувствовал я в этот день всю сладость страстных рыданий матери, когда заливающийся тенор грустно утешал ее

неизреченной красотой небесных обитателей. И какой болью сжалось мое сердце в тот момент, когда гробик, наскоро сбитый из пахучего соснового теса, навсегда закрыли крышкой и понесли, среди пения, в розвальни, возле которых, в солнечной морозной метели, ветер развеивал волосы на обнаженных головах мужиков!

## VII

Надолго застыл после того в тишине и грусти наш бревенчатый флигель.

Весеннее солнце по целым дням наполняло радостным блеском детскую, — теперь нашу классную, — но померкли все мои радости!

Что это случилось с милой веселой девочкой, которая так звонко выкрикивала когда-то свое имя, а теперь лежит в селе на погосте, в могиле?

Откуда пришла она? Зачем росла, прыгала, радовалась вплоть до того рокового вечера, в который точно какой-то злой дух дохнул на нее своим пламенным дыханием?

С разгоревшимся личиком, с сияющими глазками, она была особенно оживлена в тот вечер — и вдруг поникла на плечо мэгери.

— Мама, бай!

И тотчас же ее унесли в детскую, и это был последний час, в который я видел ее: живой из детской она не вернулась.

Вот идут дни за днями, а ее все нет — и никогда не будет...

Даже и люльку ее снесли на чердак...

Вот вынимают зимние рамы, и наша классная наполняется душистой свежестью и теплом яркого солнца... А ее нет — и никогда не будет!

Говорят, что она на погосте, в Знаменском. Но вся ли? То живое, прекрасное, что было в ней, не там, а где-то далеко... в раю, в небе.

В тихие апрельские сумерки, когда я сидел с нянькой у раскрытого окна, выходящего в темный и свежий сад, я подолгу смотрел на меркнувший нежно-алый закат, по которому громоздились синие тучки, похожие на саркофаги. И когда над ними в зеленоватом небе вспыхивало серебристое зерно первой звезды, нянька говорила мне:

— Вон душенька нашей барышни.

Но и в этих словах... Нет, это было слишком просто! Это было так же просто, так же ничего не объясняло, как и то, что зеркало есть стекло, намазанное ртутью.

## VIII

И велико было мое недоумение, когда я убедился в этом!

Не раз отодвигал я зеркало от стены и не раз убеждался, что ничего-то нет за ним, кроме бревен, паутины и шершавых дощечек!

Однако нужно было заглянуть и под эти дощечки!

И однажды, когда в доме все спали, я отодвинул, замирая от страха быть пойманным, зеркало от стены — и кухонным ножом приподнял одну из дощечек...

Да, меня не обманывали!

Под дощечкой ничего не было, кроме стекла, намазанного красно-коричневой краской.

Но, может быть, есть что-нибудь между этой краской и стеклом?

Нет, и там ничего нет: я слегка поцарапал концом ножа в уголке зеркала — и увидел... стекло!

Но не стала ли таинственная ртуть еще более таинственной после того?

Несомненно. Ибо разве не чудесно было и то, что сделал я? Я соскоблил ножом каплю красной краски и увидел, что чудесное стекло стало стеклом самым обыкновенным: прильнувши к тому месту, где я скоблил, можно было сквозь стекло видеть комнату...

Где я был до той поры, в которой блеснул первый луч моего сознания, пробужденного светлым стеклом, висевшим в тяжелой раме между колонок туалета? Где я был до той поры, в которой туманилось мое тихое младенчество?

— Нигде,— отвечаю я себе.

Но, в таком случае, я, значит, не существовал до этой поры?

— Нет, не существовал.

Но тут вмещивается сердце:

— Нет. Я не верю этому, как не верю и никогда не поверю в смерть, в уничтожение. Лучше скажи: не знаю. И незнание твое — тоже тайна.

Моя память так бессильна, что я почти ничего не помню не только о своем младенчестве, но даже о детстве, отрочестве. А ведь существовал же я! И не только существовал,— думал, чувствовал, и так полно, так жадно, как никогда потом. Где же все это?

Это тоже тайна. И всюду она, эта всепроникающая власть тайны, власть, чаще всего злая, враждебная нам.

Чем только не мучила она меня в пору моего младенчества!

Три свечи в комнате — к чьей-нибудь смерти.

Вой собаки ночью — к смерти.

Ворон, пролетевший со свистом крыльев низко над домом,— к смерти.

Разбитое нечаянно зеркало — к смерти.

Черный коленкор, накинутый на него,— символ смерти!

А что творится ночью на чердаках, в поле, на кладбище! Что отражается по ночам перед бедою в зеркалах?

— Вошла я это, матушка-барыня, ночи за две перед тем, как барышне умереть, глянула на туалет, а в зеркале стоит кто-то белый-белый, как мел, да длинный-предлинный!

— Да, небось, платье твое отразилось.

— И, бог знает что! Разве я не помню, в чем была? То-то и дело, что в юбке в одной бумазейной да в темной кофточке!

И я порою думал: уж не права ли ты, моя старая наставница?

На зеркале и до сих пор видна царапина, сделанная моей рукой много лет тому назад,— в ту минуту, когда я пытался хоть глазком заглянуть в неведомое и непонятное, сопутствующее мне от истока дней моих до грядущей могилы.

Я видел себя в этом зеркале ребенком — и вот уже не представляю себе этого ребенка: он исчез навсегда и без возврата.

Я видел себя в зеркале отроком, но теперь не помню и его.

Видел юношей — и только по портретам знаю, кого отражало когда-то зеркало.

Но разве мое — это ясное, живое и слегка надменное лицо? Это лицо моего младшего, давно умершего брата. Я и гляжу на него, как старший: с ласковой улыбкой снисхождения к его молодости. А в зеркале отражается печальное и, увы, уже спокойное лицо!

Настанет день — и навсегда исчезнет из мира и оно.

И от попыток моих разгадать жизнь останется один след: царапина на стекле, намазанном ртутью.

## БЕЛАЯ ЛОШАДЬ

Пошевеливая вожжами, землемер рассеянно слушал ладный топот копыт по гладкой августовской дороге.

Еще светло было, и дорога, убежавшая на восток, казалась фиолетовой.

Землемер смотрел вдаль, где поля замыкались линией чугунки, курил и приятно пьянел от несвязных певучих мыслей.

Уже по-осеннему пусто и сиротливо было в полях. Сиротливо дремали на кочках кроткие хохлатые жаворонки. Вяло и терпко пахло картофельной ботвой, горько тянуло откуда-то дымком... И землемер с певучей грустью смотрел на сероватые поля, над которыми уже реял чуть серебристый и, как всегда в засуху, рассеянный лунный свет.

«Любопытно, однако, знать,— подумал он,— что это со мною сегодня? Чего это я так разболтался и болезненно развеялся у Стоцкого? Положим, не был дома уже две недели, устал как собака, дел переделал кучу... Может быть, от водки? Но много ли было выпито? Суший вздор, две-три рюмки... Что же в таком случае?»

Лошади стали: шлагбаум на переезде через линию был опущен.— нужно было слезать и стучать в будку.

Спокойный, бесцветный свет запада еще отражался в окне будки, и будка показалась землемеру необитаемой, почти страшной с этим тусклым блеском стекол и тишиной вокруг.

«Переезжать ли?» — подумал он.

Можно было переехать тут и держать путь на Егорьево, на Каменку... Можно и возле следующей будки: тогда дорога пойдет по опушке Дубровки, а потом по глухим лугам на Ястребиный Колодец...

И землемер остановился в нерешительности.

Но послышался ровный, медленный скрип телеги. И, взглянув направо, землемер увидел в легком лунном сиянии большую белую лошадь,— старую, седловатую, в гречке, с отвислыми губами. Череп ее был огромен; пук соломы, засунутый под узду, дико торчал возле правого полуприкрытого глаза.

— Куды прешь! — крикнул землемер, замахаясь кнутовищем.

Но лошадь и ухом не повела. Звонко хрипя от запала, она прошла возле самого его плеча, а за нею показалась скрипучая телега, пахнувшая дегтем и рогожей. Лохматый рыжий мужик, в распоясанной красной рубахе, лежал в телеге вниз лицом.

— Эй, дядя! — шутливо крикнул землемер дрогнувшим голосом.— Ай помер?

Но мужик не поднял головы, не отозвался на крик.

И землемер, уже не раздумывая, ударил правой вожжей. Тележка чуть не перевернулась от крутого поворота и шибко покатила возле линии, за которой неясно серебрилось над полями лунное сияние.

Попрежнему на душе было и хорошо, и грустно, и тревожно... Все благополучно, все слава богу, но чего-то недостает... людей, может быть, жилья, приятеля... Хотелось петь, рассказывать свою жизнь... Спросить кого-нибудь: что же, наконец, будет на том свете что-нибудь или нет? Райские яблочки и черти в неугасимом пламени, конечно, вздор... Но ведь вздор и полное исчезновение. Зачем родился? Зачем рос, любил, страдал, восхищался? Зачем так жадно думал о боге, о смерти, о жизни?

— Зачем, позвольте вас спросить? — сказал землемер вслух.

Существовать на том свете и в теперешнем виде он, конечно, не будет. Ибо, если он будет существовать, значит, и эти лошади будут существовать... и мириады мириад всех прочих лошадей, зверей, птиц, жучков, несметных мошек... Но и бесследно исчезнуть он не может. Он этому никогда не верил. Истомлен заботами, работой, частыми припадками удушья, а жить, сохранить себя хочет жадно. И поминутно трепещет за свою жизнь, во всем чует тайну, враждебность... Лунный свет в пустынных полях, тишина, темный камень вдали, коренник, который вдруг насторожит уши,— все страшно. Днем, когда вспоминаешь, просто, незначительно, а ночью — страшно...

«Это как васильки,— подумал землемер.— Днем синие, а погляди вечером, при лампе,— лиловые».

— Пи-пи-пи! — тонко и хищно зазвучало вдруг где-то вверху, в рассеянном лунном свете.

Землемер оглянулся, увидел поле, телеграфные столбы, тусклый блеск, бегущий навстречу ему по рельсам,— и на душе стало еще тревожнее. Этот писк, писк кобчика или совки, зате-

рявшийся в лунном свете, напомнил ему, что безмолвный, мертвый вечер кончился, что в полях начинается таинственная ночная жизнь. Кроткие хохлатые жаворонки, проводящие свои последние дни в осиротевшей степи, теперь спят. Но зато проснулись и всю ночь будут с жалким писком голода гоняться друг за другом все эти мелкие и крупные хищники, дремавшие днем на телеграфных проводах, таившиеся во рвах и на лесных опушках. Позевывая, выползла из своей норы в каменистом овраге лисица, вышла на лунный свет и осторожно потянула по скату, поводя пушистым хвостом... Зеленым фосфором вспыхнули волчьи глаза в дубовом кустарнике... И, представив себе страшную красоту этих глаз, землемер почувствовал приступ жуткого восторга.

Да, как жалко тявкает лисица, если она худа, тоща, выгнана из своей норы более сильным зверем, каким-нибудь когтистым барсуком! Как плаксиво и зло скулит соколог голодный! И как томно потягивается и оскалится лисица сытая, с густой лоснящейся шкурой! Каким звонким и дерзким смехом заливается этот тонкоголосый соколог, выбивши добычу у другого, слабого! И при мысли обо всем этом землемер содрогнулся от сладострастной жуты.

Опять лошади стали перед будкой на переезде через рельсы, и опять загородила дорогу перекладка шлагбаума.

Но на дворе уже ночь, бледная, сухая, лунная, и будка не похожа на первую. Эта, живая, привлекливая, манит к себе внутрь, где горит лампа и топится печь: видна яркая пасть печи, пляшущая большими языками красно-оранжевого пламени.

— Эй, добрые люди! — слабо крикнул землемер, обрадованный жильем.

И тотчас же ожесточенно, захлебываясь, залилась возле лошадей лохматая шавка, и босая девочка скромненько и деловито подошла к шлагбауму. Загремела цепь, и огромный журавль, медленно и плавно вырастая, потянулся головой к небу.

— Ты будочникова, девочка? — спросил землемер ласково.

— Будочникова, — ответила девочка и, наклонив головку и мелко перебирая босыми ножками, пошла поднимать вторую перекладину шлагбаума, за которой лунный свет и пустынное жнивье сливались во что-то легкое, светлое и серебристое, как далекое море.

— А что это у вас печь топится?

— Мать воду греет.

— Ай хлебы ставит?

— Нет, у нас малый помер.

Землемер широко раскрыл глаза.

— Как помер? — сказал он тревожно. — Когда?



— Сейчас только.

— А велик малый-то был?

— Семей месяц пошел.

Землемер облегченно вздохнул.

— Ну, ничего! — сказал он. — Мать еще родит.

— Да нам его не жалко, — просто ответила девочка. — У нас их пятеро. Да еще одного недавно зарезало.

— Машиной?

— Машинной. Мать валяла пироги, а он выполз из будки и заснул... Нас судили за него, из могилы его откапывали, думали, что мы его нарочно положили.

Землемер засмеялся:

— Ах ты, злодейка этакая! Ну, прощай, спасибо за хлопоты!

— Час добрый, — сдержанно ответила девочка.

И лошади с грохотом понесли тележку по деревянной настилке к тому светлому и легкому, что было впереди, взяли немного вправо, и опять колеса, сорвавшись с настилки, с мягким шорохом покатались по сухой ровной дороге.

И опять мысли надолго затерялись в однообразно-ладном стуке копыт, который бесстрастно слушало только бледное и все выше поднимавшееся лицо луны...

«Просто все это у меня к перемене погоды», — подумал землемер, подбадривая себя и продолжая думать о причинах своего беспокойства.

Но теперь, когда осталось сзади последнее жильё, бодрые слова уже и совсем не помогали. Глаза жадно всматривались в даль... Что это на том дальнем косогоре, за лощиной, в светлой дымке? Что-то длинное, темное, зубчатое... Стена, остатки жилья? Нет, просто забытая в поле копна... За ней опять косогор и опять лужок, выходящий на голую долину, серебристо-туманную под луной... Но что это там темнеет, движается? Волк?

Землемер вставил два пальца в рот, резко свистнул и натянул вожжи. Постромки пристяжной обвисли, коренник насторожил уши и пошел тише... Едко и приятно запахло лошадиным потом... Что-то темное, двигавшееся на косогоре, блестящем от озими, подняло голову. Стало страшно...

Но прошло несколько минут — и по чему-то тупому, что было в приближающейся фигуре, землемер узнал, что это тележок... Верно, пегий, с белыми ресницами, глупый...

Есть что-то глухое, дикое в этих осенних беспризорных скитаниях телят. По целым неделям бродят они в полях, дичают, приобщаются к таинственной жизни зверей и хищных птиц.

«А свиньи! — подумал землемер. — Черные упрямые борова, с туго завернутыми винтами хвостиков! Те совсем отбиваются осенью от дому, бог знает куда уходят по лугам и косогорам...

Роят под кустами, по пригоркам, что-то выкапывают, чавкают и прут дальше, повиливая крепкой тушей...»

Мелькала серебристая полынь вдоль дороги, проходили темные равнины пашен, полосы радужно-зеленых озимей, тускло поблескивали подковы пристяжной, женственно отвернувшей голову от коренника... Гордо нес голову сильный коренник, шедший дробной рысью... Землемеру хотелось курить, надоело сидеть... Волнуясь все более при мысли о том сильном, беспощадном, таинственном, что окружало его со всех сторон и точно вызывало на состязание, он все беспокойнее ждал чего-то, а внутренний голос все настойчивее говорил, что ожидания не напрасны. И, как бы подтверждая это, коренник вдруг фыркнул. Землемер вздрогнул и увидал, что он идет с чутко и строго поднятыми ушами, с какою-то преувеличенной бодростью, почти с наглостью.

Озноб пошел по всему телу землемера. Чтобы поскорее увидеть то, что должно увидеть, он откинулся влево и пристально взглянул вперед. Впереди то же, что и было: пустое поле и лунное сияние. Но поле это идет слегка под изволок, дальше опять повышается — и замыкается темной, высокой и такой дивной в лунном свете стеной Дубровки.

Вот она приближается, темнеет, и уже хорошо видна огромная тень, падающая от ее стены на поле... Доносится легкая лесная свежесть вместе с сухим и душистым теплом дуба... А вот роща и совсем близко — и тень стала резче, лунный свет ярче, роща под луною чернее, выше, величавее... Еще минута — и тележка уже в тени, катится по гладкой дороге вдоль опушки... И далеко видны светлые поляны среди живописных старых дубов в сказочно прекрасной глубине роши.

«Ах, хорошо!» — с жутким восхищением хотел сказать землемер — и вдруг замер с широко открытыми глазами.

Из глубины роши легко и быстро, прямо на него, неслась большая белая лошадь.

«Неужели та самая, что с звонким хрипом прошла давеча возле будки?»

Сладострастный трепет ужаса еще раз колючим холодом прошел от корней волос по всему телу, — и землемер крепко напруг зрение, чтобы получше разглядеть шибко летевшую к нему лошадь.

Но уже ясно было, что не та.

Медленно тащила скрипучую телегу белая кобыла, встретившаяся возле будки. Годы, тяжелая работа, неволя сделали ее страшной, костлявой, тупой, тяжелой. Эта же шла бодро, чисто, едва касаясь земли. И так гордо и грациозно несла свою голову, что сразу было видно, что она молода, сильна, ни одного дня не знала упряжи...

Но в этом-то и был ужас. И ошеломленный землемер с размаху рванул вожжи.

Коренник высоко задрал морду и заплясал, пристяжная со всего разбега осела на задние ноги. Но тут белая лошадь, как перышко, перенеслась через канаву возле опушки и вся выскочила на ее высокий вал. И увидав ее, коренник дико всхрапнул, пристяжная так шарахнулась к оглобле, что она треснула, — и тележка вихрем, вприпрыжку понеслась по пашне. Землемер, не помня себя, вскочил на ноги, в два взмаха замотал на руки вожжи и, откинувшись назад, изо всей силы рванул к себе левую вожжу. И коренник, мотая головою от удил, раздиравших ему челюсти, понес обратно на дорогу.

Белая лошадь, выскочившая на вал, казалась литой из серебра. Как только колеса тележки стукнулись об дорогу, она тотчас же спрыгнула с вала, дала тележке мелькнуть мимо себя, — землемер близко видел ее прекрасные блестящие чело-вечьи глаза, — и весело понеслась за ней.

— Грабят! — крикнул землемер альтом и бросил вожжи.

Точно сорвало последние дубки роши — и опять в глаза грянуло широкое пустое поле и неясный лунный свет над ним. Землемер обернулся и увидел, что и лошадь уже в поле — несется за тележкой по серой дороге. Только побледнела немного, как побледнел в поле и самый лунный свет.

— С нами крестная сила! — пробормотал землемер, с трудом переводя свистящее дыхание, опять натягивая вожжи, и опять оглянулся.

Увы, и белая лошадь пошла тише!

«Ну, притворюсь, что мне все равно», — решил землемер отчаянно и погнал пару под изволок, в бесконечный Ястребиный Луг.

Мелкая безымянная речка поблескивала и бежала по лугу, — настолько мелкая и прозрачная, что можно было считать под водой белые камни днища. Как чешуя рыбы, поблескивала она под луною, и на диво печален и прекрасен был под луной каменный и пустынный луг. Но любоваться было не время. Нужно было зорко править, чтобы не вылететь на выбоинах спуска, нужно было ловко повернуть на полной рыси вправо, а потом перескочить вброд. Но лошади и сами понимали дело — цепко пронеслась пристяжная по узкой тропке косогора, как раз вовремя вильнул коренник и уверенно кинулся в речку... Колеса с шумом закружились в серебре и алмазах, глухо застучали по размытым белым камням...

«Глянуть, ай нет? — подумал землемер. — Нет, не надо!»

И тотчас же оглянулся — и чуть не вскрикнул: белая лошадь опять была в двух шагах от него, над речкой, на самом краю оставшегося сзади берега.

«Пропал я!» — с радостным отчаянием подумал землемер и, закрыв глаза, опять ударил по кореннику вожжами.

И через минуту грохот колес по речным камням сразу оборвался — и, блестя мокрыми шинами, ровно покатались они по мелкому щебню побережья в смутную, слегка сизую даль бесконечного луга. Не выдержав, землемер опять взглянул назад — и, к великому удивлению своему, белой лошади уже не увидел. Глянул влево, глянул вправо, на прозрачную воду, бегущую по белым камням, потом опять назад... Только широкий луг, весь, как светлым дымом, напоенный лунным сиянием! Но зато сзади, на дрогах тележки, скрестив длинные, тонкие ноги в разбитых лаптях и повернув к землемеру беззубое лицо, наполовину освещенное луною, сидит и смотрит круглыми глазами нищенка. И землемер, увидав ее, ляскнул зубами и сипло засмеялся бессмысленным смехом.

— Хороша! — сказал он. — Красива! Ты смерть, что ли?

Нищенка молчала.

— Молчишь? — сказал землемер. — Значит, правда?

Нищенка молчала и смотрела ему в лицо неподвижными глазами.

— Нашла с кем шутки шутить! — сказал землемер горько. —

Или мало тебе, что ты и так всю жизнь издевалась надо мной?

И вдруг почувствовал такую острую боль горя и обиды, что, не помня себя, взмахнул кнутовищем. Сладкие слезы злобы сдавили ему горло, но, как только он взмахнул кнутовищем, старуха точно растаяла в воздухе: только опять зазвенел где-то в небе тонкий, радостно-хищный смех какой-то ночной птицы:

— Пи-пи-пи-пи!

И, замирая, затерялся вдали.

Землемер пришел в себя и медленно перекрестился.

## МАЛЕНЬКИЙ РОМАН

### I

В этот вечер мы встретились на станции.

Она кого-то ждала и была рассеянна.

Поезд пришел и затопил платформу народом. Пахло лесом после дождя, каменным углем. Знакомых было так много, что мы едва успевали раскланиваться. Но того, кого она тревожно искала глазами, не было.

Поезд тронулся, и она остановилась, глядя широко раскрытыми синими глазами на мелькающие вдоль платформы вагоны. В окнах, на площадках — всюду были лица, лица. Но того лица, что было нужно, не было.

Наконец стена вагонов оборвалась, мелькнул задний буфер, поезд стал уменьшаться, сокращаться в пролете между зелеными лесами. На опустевшей платформе тонко блестели длинные полоски дождевой воды, голубой от неба.

Платформа была в тени,— солнце скрылось за ее навесом, сзади нас, но дачи в лесу, напротив, были еще озарены и весело горели стеклами. Где-то страстно и отчаянно, в нос, заливался граммофон; где-то щелкали шары крокета и раздавались мальчишеские крики... Даже не взглянув на меня, она коротко сказала: «Пройдемтесь немного»,— и я пошел.

За станцией в глаза ударило яркое вечернее солнце, но дальше стоял тенистый лес. И мы долго шли его прохладной просекой, по корням и утоптаным, упругим тропинкам, возле грязной дороги, среди зеленых лимов, осин и густого орешника, задевавшего нас бархатистой листвой. Она шла впереди, и я глядел на ее юбку, подолом которой она обвила себе ноги, на клетчатую кофточку, на тяжелый узел ее кос. Она ловко выбирала места посуше, наклоняясь от веток.

— О чем вы думаете? — спросила она раз, не оборачиваясь.

— О ваших ботинках, — сказал я. — О том, что они не на французских каблуках. Не верю женщинам на французских каблуках.

— А мне верите?

— Верю...

Но вот просека кончилась, мы очутились на солнце, на открытом зеленом бугре, и она остановилась и обернулась.

— Какой вы милый! — сказала она. — Идет себе и молчит...

У меня неожиданный прилив нежности к вам.

Я ответил сдержанно:

— Спасибо. Это в горе бывает.

Она широко раскрыла глаза.

— В горе? В каком горе?

— Но ведь я знаю, что вы кого-то напрасно ждали. Знаю и то, что сейчас вы предложите мне догнать вас.

— Угадали. Хотите?

Я подошел к ней и, взяв за руки, слегка притянул к себе. Она отклонилась.

— Нет, — пробормотала она. — Нет... Ради бога...

И, помолчав, ловким движением выдернула руки, подхватила юбки и побежала с бугра в разлужье.

Направо и налево были овраги, заросшие лесом, впереди — широкая лощина, покрытая рядами скошенного сена, почти вся в тени. Сбежав в разлужье, она остановилась на границе этой тени, в блеске низкого солнца. Но, подпустив меня на шаг, прыгнула через канаву и пустилась по лощине. Я прыгнул за нею — и вдруг с неба посыпался легкий, быстрый, сухой шорох, а на взгорье налево пала легкая, чуть дымящаяся радуга.

— Дождь! — звонко крикнула она и еще быстрее побежала по сверкавшему под ливнем лугу.

Половина его, еще озаренная солнцем, дрожала и сияла в стеклянной, переливающейся золотом сети, — редкий крупный дождь сыпался торопливо и шумно. Видно было, как длинными иглами неслись с веселого голубого неба, из высокой дымчатой тучки, капли... Потом они замелькали реже, радуга на взгорье стала меркнуть — и шорох сразу замер.

Добежав до стога, она упала в него и засмеялась. Грудь ее дышала порывисто, в волосах мерцали капельки.

— Попробуйте, как бьется сердце, — сказала она, взяв мою руку.

Я обнял ее, наклонился к ее полуоткрытым губам. Она не сопротивлялась.

Потом тихо отстранила меня и отвернула от меня зардевшееся лицо. Она перекусывала сухой стебелек и блестящими глазами рассеянно смотрела вдаль.

— Это первый и последний раз,— сказала она.— Хорошо?

— Хорошо,— ответил я.

Она пристально посмотрела на меня.

— А вы хоть немножко любите меня? Мне так хорошо с вами, я так счастлива! И не ревнуете меня ни к кому... То, что я ждала кого-то, право, не имеет ни малейшего отношения к нам... Ну, да, он уже и официально мой жених и скоро я стану графиней Эль-Маммуна... Почему? Не знаю... Просто потому, что я его боюсь...

Она протянула мне руки с намерением подняться. Я поцеловал сперва одну, потом другую.

— А теперь пойдём,— сказала она.

— Куда?

— Еще немного по лугу...

Я поднял ее — и она мельком, застенчиво улыбнулась. Потом милыми женскими движениями поправила волосы, глубоко вздохнула свежестью луга... В лесу, то там, то здесь, глухо куковала кукушка, оттеняя глубину и звучность его после дождя, высоко в небе плыли и таяли теплые дымчатые облака с золотисто-алыми краями...

А на обратном пути мы заблудились. Однако она быстро сообразила, что где. И уверенно повела меня.

Тут, уступая моей просьбе, кратко, намеками, волнуясь, она рассказала мне свою историю. Кончив, она долго шла молча.

В лесу стояли северные сумерки. А лес, молчаливый, темный, тянулся на много верст вокруг. И весь этот лесной край был погружен теперь в грустное и спокойное ожидание ночи. Зыбкий полусвет таял, задремывал. Мелкое болотистое озеро, по берегу которого мы пробирались, еще белело меж деревьев. Но и оно было тускло и печально, как в лесу. Надвинулись тучи, сливаясь с темнотою леса. И все цепенел теплый сонный воздух, напоенный пряным ароматом болотных трав и хвои. Светляки золотистыми изумрудами тлели под кустами, задремывающими под таинственный шопот кузнечиков... Чтобы сократить путь, мы повернули от озера в длинный и широкий коридор вековых сосен. И, уже с трудом различая дорогу, пошли по глубокому песку к поляне, как вдруг что-то зашуршало в сухой перепутанной хвое и оттуда колом вынырнула большая головастая сова. Она метнулась на нас — я даже успел разглядеть ее серые штаники — и взвилась на своих широких круглых крыльях. Она отшатнулась и стала. А сова, беззвучно описав дугу, снова пала вниз и плавно потонула в чаще ветвей, во мраке.

— Не к добру,— сказала она, покачав головой.

Я улыбнулся.

— Уверяю вас, не к добру,— повторила она просто и настойчиво.

— Что же будет?

— Ах, я не знаю! Впрочем, мне все равно. Эти дни с вами и особенно этот вечер я никогда не забуду. Дайте я на прощанье...

Не договорив, она обняла меня, грустно и нежно посмотрела в лицо, подумала и поцеловала один глаз, другой... И мы пошли через поляну на зеленый огонек семафора, мерцавший за деревьями. Совсем стемнело; тихо зашептался с лесом дождь. А когда мы вбежали на балкон дачи, под парусиновый навес, к чайному столу, освещенному свечами в колпачках, дождь уже лил, как из ведра.

Мы отряхивались и притворно рассказывали, как мы заблудились, как искали дорогу. И вдруг смолкли: из темного угла балкона, с качалки, поднялся непомерно высокий, худой и широкоплечий человек лет тридцати, с голым черепом, чудесной черной бородой и блестящими глазами. Старики смутились, она побледнела. Я пожал его большую руку и шутливо сказал:

— Боже, какой вы высокий! Из вас вышел бы отличный средневековый латник.

— Да? — живо спросил он.— Что ж, могло быть. Меня зовут граф Маммуна...

Мне отыскивали старый огромный зонт, надавали советов, где лучше пройти, и я спустился с мокрых ступеней балкона в непроглядную тьму.

Она стояла на пороге, в светлом треугольнике парусинного шатра. Когда я добрался до калитки, она, не повышая голоса, сказала:

— Прощайте.

И это было последнее слово, слышанное мною от нее.

## II

«Дорогой мой,— писала она мне через четыре месяца после этого,— не вините меня, что я исчезла, даже не предупредив вас. Он был в тысячу раз сильнее меня. Я потеряла волю, упустила страшный момент, когда еще можно было все порвать. Теперь у меня нет уже почти никаких надежд на встречу с вами. Да и как бы мы встретились? Мне кажется, я нисколько, нисколько не обманываю себя насчет вашего чувства. Для вас это был неожиданный и *маленький роман*, только и всего. Но все равно: клянусь вам, — если я кого-нибудь любила за всю свою жизнь, то это вас...

Что такое эта мириады раз воспетая людьми любовь? Может быть, дело-то и не в самой любви. В письмах одного умершего писателя я недавно прочла: «Любовь — это когда хочется того,



чего нет и не бывает». Да, да, никогда не бывает. Но все равно. Я вас любила и люблю...

Вспоминаю вас чаще всего в сумерки. В сумерки мы простились, в сумерки и пишу я вам это первое и, верно, последнее письмо. А пишу бог знает откуда: из Альп, из ледяного, пустого отеля за облаками, в октябрьский вечер. У него начинается чахотка, и я бессовестно издаваюсь над его жизнью. Я не только держу его в Альпах в самую нелепую пору — я еще таскаю его в самые скверные туманные дни по озерам, в горы. Теперь он покорен мне.

Он молчит по целым дням, блестит глазами, но покорен. Молча шел и нынче. Когда мы вошли сюда, прислуга отеля, доживающая здесь последние дни простой крестьянской жизнью в кухне, ахнула от изумления: вот так гости! Но, может быть, и потому, что он был бледен и огромен, как смерть.

А пошла я сюда ради вас. Чтобы думать, вспоминать в тишине, в безнадежности...

Так хорошо, так задумчиво синеют поздней осенью эти долины, уходя друг за другом в горы. Небо равнодушно и низко висит над озерами, и неподвижно лежат темно-свинцовые озера, налитые между туманно-сизыми кряжами. Когда я гляжу в это облачное небо, меня всегда тянет уйти в его туманы, провести ночь в каком-нибудь пустом горном отеле... Я бы полжизни отдала, чтобы вы были здесь со мной...

Мы уехали из города на пароходе утром, а после полудня уже шли в гору. Как печальна была эта дорога! Низкорослый лес на обрывах и скатах был редок, дремал и скупно ронял мелкие желтые листья. Иногда из-за деревьев глядели тупые, изумленные морды больших красных коров. Иногда слышался птичий свист мальчишек-пастухов, собиравших по кустарникам хворост. В глубочайшей тишине мы шагали все выше и выше, а с гор, с круч, сумрачно синевших сосновыми лесами, серым дымом спускалась зима. Останавливаясь, чтобы передохнуть, я подолгу смотрела в долины, слабо лилоевшие в деревьях далеко внизу. Тогда слышно было падение каждого листика. Мокрые кустарники плакали — тихо, тихо...

Близ какого-то тоннеля, черневшего своим жерлом в тумане, встретили какой-то поселок, пять-шесть сонных хижин на скате. Только не спеша можно было одолевать трудный подъем по грязным, скользким шпалам. Но очень скоро от поселка осталось одно пятно внизу, а с гор уже повеяло сыростью осеннего снега.

Тут он остановился и предложил вернуться.

Я, назло ему, отказалась.

— Не остроумно, — сказал он и, подумав, опять пошел.

Туман все густел и темнел, а мы шли ему навстречу, мино-

вали черную, закопченную и гулкую дыру тоннеля, прошли почти отвесный мост над дымным бездонным ущельем... Если мой невольный спутник отставал, он мгновенно расплывался в тумане. И когда мы перекликались, голоса наши были глухи и странны.

Раз он окликнул меня,— он все сзади шел,— и, когда я остановилась, подошел и протянул мне руку.

— Будь ласкова,— несмело сказал он,— заберись мне в рукав и вытяни фуфайку.

И мне стало жаль его. Он понял это, опустил глаза и прибавил:

— И потом, поедем куда-нибудь, где тепло, и займемся оба каким-нибудь делом. А так очень тяжело. Это ад, а не свадебное путешествие.

— Разойтись нам надо,— ответила я.

Он помолчал. И пробормотал, сдвигая брови:

— Трудно это...

— Тогда я возьму на себя этот труд,— сказала я.— Ты не смеешь делать меня жертвой своей нелепой любви.

— Я все смею,— сказал он, в упор глядя на меня.— Мне терять нечего.

Я отвернулась и пошла.

Мокрые рельсы, покрытые тающим снегом, сбегали сверху, сосны и ели шли оттуда по обрывам. В сумерках, в тумане можно было скорее чувствовать, чем различать, их лиловые пятна. И надо всеми этими хмурыми горами стояла такая тяжелая тишина заоблачного царства, которая исключала малейший признак жизни. И вдруг в старой ели, стоявшей возле дороги, послышался шорох. Помните сову? Я именно здесь вспомнила ее и после этого решила непременно написать вам. Это была, конечно, не сова, это был королек,— кажется, самая маленькая из всех существующих птиц. Серенький, вспорхнул он с мокрого, дымящегося рукава ели, сел было на дорогу — и тихо перелетел к обрывам налево, в туман...

Представляете себе этот вечер? Мглистые стены бора, мокрый, бледный снег вдоль дороги, дымные пропасти, где висит густая аспидная мгла... А королек спокоен. Его не пугает зимняя горная ночь. Он проведет ее где придется — предоставив себя чужей-то высшей защите. А вот у меня нет веры в эту защиту.

Сейчас лягу спать в этом пустом ледяном номере, пахнущем сосною, и, когда потушу огонь, буду думать о том, что я за облаками, в настоящем царстве смерти. Он лежит в соседнем номере и глухо кашляет. Это не человек, а какие-то погребальные дроги. Я ненавижу его всей душой!

Если встретимся и я буду свободна, поцелую ваши руки от радости — делайте тогда со мной, что хотите. Нет — так тому и быть...»

### III

Но и это письмо дошло до меня бог знает когда. Из Москвы переслали его в деревню. Там оно провалялось чуть не три месяца, потом колесило по югу. И получил я его уже в начале марта, перед отъездом из Крыма.

Тронуло оно меня, взволновало — ужасно.

Но что написать в ответ, что сделать? Я долго думал над этим и придумал только одно, прости меня, боже:

«Поеду-ка и я через горы на лошадях».

На крымских горах тоже висел туман. Но была весна, мне было двадцать восемь лет...

На Ляй-лю, в грязной корчме на перевале, я пил кислое красное вино, пока перепрягали тройку. Все тонуло во мгле, проносившейся по ветру мимо окошечка корчмы... Я вынул письмо, перечитал его — и у меня забилось сердце.

«Ах, милая, чудесная! Но что сделать? Что сделать?»

В корчме не сиделось. Я вышел на воздух...

Туман розовел, таял. В мглистой вышине светлело, тепло. В небесах, в дыму облаков обозначалось что-то радостное, нежное... Оно росло, ширилось — и внезапно засияло лазурью...

Надо написать, — непременно!

Но что? Куда?

Над горной пустыней, окружавшей меня, сиял легкий лазурный купол. Но еще долго курились зубчатые утесы над стремнинами, пока не блеснуло наконец солнце. И тогда от тумана не осталось и следа. Небо раскрылось над горами во всей своей необъятности, далеко зазеленело в чистом воздухе волнистое плоскогорье. Ветер тянул с севера, но он был ласков, мягок. И, опьяненный этим ветром, я пошел к обрывам, чтобы еще раз взглянуть на море.

Исполинская дымчатая тень в радужном ореоле пала от меня в густой зыбкий пар под обрывом. Бесконечная, изрытая равнина сгустившихся облаков — целая страна белых рыхлых холмов — развернулась перед моими глазами. Вместо бездонных стремнин и скал, вместо прибрежий и заливов, до самого горизонта простиралась подо мною эта равнина, необозримым слоем повисшая над морем. И вся сила моей души, вся печаль и радость — печаль о той, другой, которую я любил тогда, и безотчетная радость весны, молодости — все ушло туда, где, на самом горизонте, за южным краем облачного слоя, длинной яркой лентой синело море...

Колокольчик однообразным дорожным напевом говорил о долгом пути, о том, что прошлое отжито, что впереди — новая жизнь. Старая дорожная коляска, старая почтовая тройка, ушастый ямщик-татарин на высоких козлах рядом с увязанными чемоданами, дружный топот копыт, под несмолкающий плач колокольчиков, бесконечная лента шоссе... Долго я оборачивался и глядел на сизые зубцы скал, вырезающихся на сини пустого неба... А тройка, под заливающимся звон и топот, катилась и катилась все ниже и ниже, все глубже и глубже, в лесистые живописные пропасти, все дальше и дальше от перевала, вырастающего и уплывающего в небо.

Здесь, в этих молчаливых горных долинах, стояла прозрачная тишина первых весенних дней, красота бледноязычной лазури, черных голых деревьев, прошлогодних коричневых листьев, слежавшихся в кустах, первых фиалок, диких тюльпанов.

Здесь еще только начинали зеленеть горные скаты, отдыхая от стужи и снега. Здесь хрустально чист и свеж был воздух, как бывает он чист и свеж только ранней весной...

И казалось мне тогда, что ничего не нужно в жизни, кроме этой весны и дум о счастье.

А в конце марта, будучи уже в деревне, на севере, я неожиданно получил — почтой, через Москву — телеграмму из Женева:

«Исполняя волю покойной, сообщаю вам, что она скончалась 17 сего марта. Эль-Маммуна».

1909—1926

## ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ

С горы, по наглаженной, ухабистой дороге, спускался к реке студент Воронов. Возле моста, положив руки на костыль и глядя на реку, стоял какой-то маленький человечек.

Изумрудные льдины лежали вокруг темнолиловой проруби. Голоса баб, полоскавших белье, звонко раздавались в морозном воздухе. Солнце скрывалось сзади, за горою, снежная долина вся была в тени, но оконца изб и кресты церкви на противоположной вороновской стороне еще горели лучистым золотом.

Глубокие январские снега, огромные снежные шапки на избах атели. Красновато чернел и сквозил возле церкви сад вороновского поместья, густо и свежо темнели сосны палисадника перед его домом. Дым из труб дома поднимался в чистое зеленое небо ровными фиолетовыми столбами.

Казалось, что стоявший возле моста любитесь.

Мимо него, со скрипом, раскатывались, неслись розвальни: шибко возвращался обоз порожняком. И он благоразумно отошел к сторонке.

— Держись, срежу! — крикнул один из обозчиков, сани которого раскатились особенно лихо.

Стоявший обернулся, что-то крикнул в ответ... И, махнув рукой, закашлялся.

Студент сбежал к мосту, — он все кашлял. По вытянутой шее и склоненной голове, по тому, как он отставил костыль, опершись на него обеими руками, видно было, что кашель затяжной, мучительный. Но, должно быть, притворный: верно, это был дурачок, бродяга по святым местам, и, верно, он заметил барина.

Студент поровнялся с ним, заглянул ему в лицо, под само-

дельную шапку с наушниками и назатыльником, мехом внутрь. Тогда он смолк, низко поклонился и, отдуваясь, медленно побрел по мосту, с визгом вонзая в морозный снег железный наконечник костыля. Худые ноги в больших лаптях еле волочились...

Нет, не дурачок. Просто нищий и больной.

Необычна была только аккуратность, с которой лежали мешки за его спиной. Необычен и зипунишка, старый, но тщательно заплатаанный. И уже совсем необычно было лицо — лицо подростка лет под сорок: бледное и изможденное, простое и печальное. Черные глазки глядели со странным спокойствием. Пепельные губы среди реденьких усов и бороды полуоткрывались. Прядь длинных волос, по-женски ложившаяся на маленькое восковое ухо под наушником, была суха и мертва. Тело — щуплое, тощее, с болезненно приподнятыми плечами.

— Застыл, старик? — крикнул студент с деланной бодростью.

Нищий приостановился и тяжело перевел дыхание, раскрывая рот, поднимая грудь и плечи.

— Нет, — ответил он неожиданно просто и даже как будто весело. — Застыть не застыл...

И опять собрался с духом и прибавил еще бодрее, таким тоном, точно все обстояло вполне благополучно, кроме того, с чем уж ничего не поделаешь:

— Застыть не застыл. А вот здоровье...

Он приподнял грудь:

— А вот здоровье все хужеет!

И легонько двинулся вперед.

Студент осмотрел его лапти, онучи: ноги тонки и слабы, онучи тонки и стары, лапти разбиты, велики... И как это он ухитряется ходить по такому морозу?

— Уж очень у тебя, дядя, обужа-одежа плоха! — сказал студент.

— Обужа, верно, плоха, — согласился нищий. — А вот одежда... Нет, одежда ничего. У меня под ней кофта ватная.

— Все-таки студишься, небось, без валенок-то?

— Студишься... Бока колет... Закашляешься — прямо смерть.

Говорить на ходу было трудно. И студент остановился. Остановился и нищий и поспешил положить дрожавшие руки на костыль.

— Дальний?

— Дальний... Из-под Ливен.

— Давно удушье-то?

— Удушье-то? Давно...

— Селитру не жег? Очень помогает.

— Нет. Перец... пил.

Студент покачал головой.

— Глупо,— сказал он.— Я вот на доктора учусь, доктором, значит, буду... Понимаешь?

— Дело хорошее... Как не понимать...

— Ну, так и послушайся меня: перец не пей, а купи селитры. И стоит-то всего две копейки. Разведи, намочи бумагу, высуши и жги. Подышишь — полегчает.

И опять согласился нищий, не придав, видимо, ни малейшего значения селитре:

— Это можно. Деньги не велики.

— А ночевать-то где ноне будешь?

— Ночевать-то? Ночевать везде можно... В Знаменском ночую...

— Как в Знаменском? — сказал студент.— Но ведь ты туда к свету со своей ходьбой придешь!

— Мне спешить некуда,— ответил нищий и так просто, что студент слегка смешался. Помолчал и спросил:

— Побор в мешках-то?

— Ну, побор! Добришко... Рубахи, портки. Порток у меня много... Трое...

За мостом дорога раздваивалась: одна шла круто в гору, к вороновскому поместью, другая, отлогая, наискось к церкви.

— Слушай, — сказал студент, — пойдем к нам. Я бы тебе деньжонок дал...

Солнце закатывалось. Нищий посмотрел на гору, на черную, густую зелень елок в вороновском палисаднике, на мертвеющие сизые крыши усадьбы, на малахитовые снега выгона... И не спеша ответил:

— Беден только бес, на нем креста нет. А мне они почесть без надобности. А коли хочется, дай.

— Ну вот, и пойдем.

— А пойтить... не пойду. Ночую в Знаменском, ежели... дойду...

И, склонив голову, отдуваясь, полегоньку, нищий упорно побрел по дороге к церкви.

Студент забежал домой, захватил кошелек и догнал его на выезде в поле. Оттуда, с севера, дуло острым ветром, клейко схватывавшим усы и ресницы. Темнела и вся двигалась мутно-фиолетовая снежная равнина, отлого поднимавшаяся к высокому ветряку на горизонте. Свет заката еще брезжил на ее крестом простертых крыльях. А темнеющее поле все курилось и курчавилось, бежало быстрой дымящейся зыбью поземки.

— На-ка вот тебе полтинничек, — слегка задохнувшись, сказал студент, когда на скрип его шагов нищий обернулся и остановился. — Да скажи, как поминать тебя, — прибавил он шутливо.

Нищий усмехнулся.

— А мне теперь ничего, полегчало, — ответил он бодро, хотя лицо его посинело и сморщилось, а на глазах от ветра выступили слезы.

Сняв большую варежку, он неловко взял ледяными пальцами монету и задумчиво посмотрел на нее. Студент ждал великой радости, но поблагодарил нищий довольно спокойно:

— Вот за это спасибо... А поминать меня, бог даст, не придется... Дойду.

— Серьезно, как звать-то тебя и что ты за чудак такой? — спросил студент.

— Звать-то? Звали Лукой... А уж чем чудён я — не знаю.

— Да ведь замерзнешь!

— И замерзнешь, не откажешься. Смерть, брат, она как солнце, глазами на нее не глянешь. А найдет — везде. Да и помирать-то не десять раз, а всего один.

— В рай, значит, спешишь попасть? — сказал студент, трогая ухо и поворачиваясь от ветра.

— Зачем в рай? Это еще дело темное — не то есть он, рай-то, не то нет. А мне и тут не плохо.

Ветер все сильнее дул в спину, в голову, леденил затылок, знобил, делал легкими ноги. Студент с удивлением взглянул в лицо нищего:

— Это тебе-то не плохо?

Нищий тоже взглянул ему в глаза.

— А что ж мне? — спросил он. — Беден только бес, на нем креста нет. А я живу себе.

— Живешь, как птицы небесные?

— А что ж птицы небесные? Птицы-звери всякие, они, брат, об раях не думают, замерзнуть не боятся.

— А ты что? Философ? Атеист?

— Не понимаю я этих слов.

— Знаю, что не понимаешь. Я хотел спросить: в бога-то ты веришь?

Нищий подумал.

— В бога нет того создания, чтоб не верило, — твердо сказал он.

Студент взглянул на него с еще большим удивлением. Но стоять было так холодно, что он поколебался, поколебался и решительно выговорил:

— Ну, с богом!



— Стало быть, прощайте, — отозвался нищий и тряхнул своей круглой шапкой. — Спаси Христос...

И, подумав, надел варежку и повернулся. Маленький, сгорбленный, с высоким костылем, он скоро стал еще меньше, по пояс утонул в сумерках и волнистой снежной зыби, густо бежавшей на него от мельницы...

Вечером студент долго ходил из угла в угол по залу. Прислуга спала. На столе горела лампа, в углу, перед иконой — лампадка: когда барыни не было дома, нянька всегда зажигала ее, — чтобы бог дал благополучную дорогу. И теперь студент с тревогой посматривал на часы, — был уже девятый, а матери все не было.

— Дикарь! — говорил он иногда вслух, вспоминая нищего.

Ночью он спал мало. С вечера читал Юнга и часов в десять, в валенках и башлыке, вышел взглянуть на восход Ближнецов. И на пороге сеней оторопел: показалось, что свету божьего не видно, — так гулко шумел сад от морозной бури, так бешено несла поземка. Но сад четко чернел над ее непрерывно несущимися вихрями, и звезды огнем горели на черном чистом небе. Утопая в снегу, нагибая голову от жгучей, захватывающей дух пыли, студент одолел гудящую аллею и глянул в поле: темь, смутно волнующееся белесое море — и над ним, как два страшных, то исчезающих, то появляющихся алмазно-голубых глаза, две ярких, широко расставленных звезды...

Второй раз студент добрался до садового вала в двенадцатом часу. Стало еще морознее и страшнее. Все спит мертвым сном, нигде ни огонька, сад ревет властно и дико. Небо еще чище, чернее, звезды еще пламеннее. А над белым морем метели — два других, еще шире раскинутых, кровавых глаза: Арктур и Марс. Остро блещут зерна Волопаса, веером рассыпанные на горизонте за мельницей. Ближнецы, сдвинувшись, горт почти над головой...

«Замерзнет, чорт!» — с сердцем подумал студент про нищего.

И всю ночь тревожно и однообразно стучали в темный дом, заносимый снегом, плохо прикрытые ставни. До костей промерзнув на ветру, студент заснул крепко, но потом стал сквозь сон томиться этим стуком. Он очнулся, зажег свечу, оделся... Ставни уже не стучали. И, выйдя на крыльцо, он услышал отдаленную сонно-певучую переключку петухов и замер от восхищения. Свежо и остро пахло тем особенным воздухом, что бывает после вьюги с севера. Тихая, звонкая ночь, вся золотистая от полумесяца, низко стоявшего над горой, за долиной, мешалась с тонким светом зари, чуть алевшей на

востоке. Треугольником дрожащего расплавленного золота висела там Венера. Марс и Арктур искрились высоко на западе. И все звезды, мелкие и крупные, так отделялись от бездонного неба, так были яркие и чисты, что золотые и хрустальные нити текли от них чуть не до самых снегов, отражавших их блеск. Горели огни по избам на селе, петухи как бы убаюкивали нежноусталый, склоняющийся полумесяц. И с звонким скрипом, с визгом въезжала в ворота знакомая тройка — вся серо-курчавая от инея, с белыми пушистыми рессницами...

Когда студент подбежал к саням, мать и кучер в один голос крикнули ему, что на знаменской дороге лежит в снегу мертвое тело.

*1909*

# СТИХОТВОРЕНИЯ

1886—1902



\* \* \*

Шире, грудь, распахнись для принятия  
Чувств весенних — минутных гостей!  
Ты раскрой мне, природа, объятия,  
Чтоб я слился с красою твоей!

Ты, высокое небо, далекое,  
Беспредельный простор голубой!  
Ты, зеленое поле широкое!  
Только к вам я стремлюся душой!

*28 марта 1886*

### ПОЭТ

Поэт печальный и суровый,  
Бедняк, задавленный нуждой,  
Напрасно нищеты оковы  
Порвать стремишься ты душой!

Напрасно хочешь ты презрением  
Свои несчастья победить  
И, склонный к светлым увлечениям,  
Ты хочешь верить и любить!

Нужда не раз еще отравит  
Минуты светлых дум и грез  
И позабыть мечты заставит,  
И доведет до горьких слез.

Когда ж, измученный скорбями,  
Забыв бесплодный, тяжкий труд,  
Умрешь ты с голоду,— цветами  
Могильный крест твой перевьют!  
1886

### ДЕРЕВЕНСКИЙ НИЩИЙ

(Первое напечатанное стихотворение)

В стороне от дороги, под дубом,  
Под лучами палящими спит  
В зипунишке, заштопанном грубо,  
Старый нищий, седой инвалид;

Изнемог он от дальней дороги  
И прилег под межой отдохнуть...  
Солнце жжет истомленные ноги,  
Обнаженную шею и грудь...

Видно, слишком нужда одолела,  
Видно, негде приюта сыскать,  
И судьба беспощадно велела  
Со слезами по окнам стонать...

Не увидишь такого в столице:  
Тут уж впрямь истомленный нуждой!  
За железной решеткой в темнице  
Редко виден страдалец такой.

В долгий век свой немало он силы  
За тяжелой работой убил,  
Но, должно быть, у края могилы  
Уж не стало хватать ему сил.

Он идет из селенья в селенье,  
А мольбу чуть лепечет язык,  
Смерть близка уж, но много мученья  
Перетерпит несчастный старик.

Он заснул... А потом со стенаньем  
Христа ради проси и проси...  
Грустно видеть, как много страданья  
И тоски и нужды на Руси!

1886

\* \* \*

Месяц задумчивый, полночь глубокая...  
Хутор в степи одинокий...  
Дремлет в молчаньи равнина широкая,  
Тепел ночной ветерок.  
Желтые ржи, далеко озаренные,  
Морем безбрежным стоят...  
Ветер повеет,— они, полусонные,  
Колосом спелым шуршат.  
Ветер повеет,— и в тучку скрывается  
Полного месяца круг;  
Медленно в мягкую тень погружается  
Ближнее поле и луг.  
Зыблется пепельный сумрак над нивами,  
А над далекой межей  
Свет из-за тучек бежит переливами,—  
Яркою, желтой волной.  
И сновиденьем, волшебною сказкою  
Кажется ночь,— и смущен  
Ночи июльской тревожною ласкою  
Сладкий предутренний сон...  
1886—90

\* \* \*

Как печально, как скоро померкла  
На закате заря! Погляди:  
Уж за ближней межою по жнивью  
Ничего не видать впереди.

Далеко по широкой равнине  
Сумрак ночи осенней разлит;  
Лишь на западе сумрачно-алом  
Силуэты чуть видны раки.

И ни звука! И сердце томится,  
Непонятною грустью полно...  
Оттого ль, что ночлег мой далеко,  
Оттого ли, что в поле темно?

Оттого ли, что близкая осень  
Веет чем-то знакомым, родным —  
Молчаливою грустью деревни  
И безлюдьем степным?

1886

## КРЕЩЕНСКАЯ НОЧЬ

Темный ельник снегами, как мехом,  
Опушили седые морозы,  
В блестящих инеях, точно в алмазах,  
Задремали, склонившись, березы.

Неподвижно застыли их ветки,  
А меж ними на снежное лоно,  
Точно сквозь серебро кружевное,  
Полный месяц глядит с небосклона.

Высоко он поднялся над лесом,  
В ярком свете своем цепenea,  
И причудливо стелются тени,  
На снегу под ветвями чернея.

Замело чаши леса метелью,—  
Только выются следы и дорожки,  
Убегая меж сосен и елок,  
Меж березок до ветхой сторожки.

Убаюкала вьюга седая  
Дикой песнею лес опустелый,  
И заснул он, засыпанный вьюгой,  
Весь сквозной, неподвижный и белый.

Спят таинственно стройные чаши,  
Спят, одетые снегом глубоким,  
И поляны, и луг, и овраги,  
Где когда-то шумели потоки.

Тишина,— даже ветка не хрустнет!  
А, быть может, за этим оврагом  
Пробирается волк по сугробам  
Осторожным и вкрадчивым шагом.

Тишина,— а, быть может, он близко...  
И стою я, исполнен тревоги,  
И гляжу напряженно на чаши,  
На следы и кусты вдоль дороги.

В дальних чашах, где ветви и тени  
В лунном свете узоры сплетают,  
Все мне чудится что-то живое.  
Все как будто зверьки пробегают.



Огонек из лесной караулки  
Осторожно и робко мерцает,  
Точно он притаился под лесом  
И чего-то в тиши поджидает.

Бриллиантом лучистым и ярким,  
То зеленым, то синим играя,  
На востоке, у трона господня,  
Тихо блещет звезда, как живая.

А над лесом все выше и выше  
Всходит месяц,— и в дивном покое  
Замирает морозная полночь  
И хрустальное-царство лесное!

*1886—1901*

### ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ

В блеске огней, за зеркальными стеклами,  
Пышно цветут дорогие цветы,  
Нежны и сладки их тонкие запахи,  
Листья и стебли полны красоты.

Их возрастили в теплицах заботливо,  
Их привезли из-за синих морей;  
Их не пугают метели холодные,  
Бурные грозы и свежесть ночей...

Есть на полях моей родины скромные  
Сестры и братья заморских цветов:  
Их возрастила весна благовонная  
В зелени майской лесов и лугов.

Видят они не теплицы зеркальные,  
А небосклона простор голубой,  
Видят они не огни, а таинственный  
Вечных созвездий узор золотой.

Веет от них красотой стыдливою,  
Сердцу и взору родные они  
И говорят про давно позабытые  
Светлые дни.

*1887*

## НА ПРУДЕ

Ясным утром на тихом пруде  
Резво ласточки реют кругом,  
Опускаются к самой воде,  
Чуть касаются влаги крылом.

На лету они звонко поют,  
А вокруг зеленеют луга,  
И стоит, словно зеркало, пруд,  
Отражая свои берега.

И, как в зеркале, меж тростников,  
С берегов опрокинулся лес,  
И уходит узор облаков  
В глубину отраженных небес.

Облака там нежней и белей,  
Глубина — бесконечна, светла...  
И доносится мерно с полей  
Над водой тихий звон из села.

1887—93

\* \* \*

Сerp луны под тучкой длинной  
Льет полнoчный слабый свет.  
Над безмолвною долиной —  
Темной церкви силуэт.

Сerp луны за тучкой тает, —  
Проплывая, гаснет он.  
С колокольни долетает,  
Замирая, сонный звон.

Сerp луны в просветы тучи  
С грустью тихою глядит,  
Под ветвями ив плакучих  
Тускло воду золотит.

И в реке, среди глубокой  
Предрассветной тишины  
Замирает одинокий  
Золотой двойник луны.

1887

## ЗАТИШЬЕ

За днями серыми и темными ночами  
Настала светлая прощальная пора.  
Спокойно дремлет день над тихими полями  
И веют прелестью раздумья вечера.

Глубоко степь молчит — ни звука, ни движенья...  
В прозрачном воздухе далеко тонет взор...  
На солнце желтый лес сверкает в отдаленьи,  
Как ярким золотом пылающий костер.

В саду листки берез, без шороха срываясь,  
Средь тонких паутин, как бабочки, блестят  
И, слабо по ветвям цепляясь и качаясь,  
На блеклую траву беспомощно летят.

Плывут узоры туч прозрачною фатою  
В пустынных небесах, высоко над землей.  
И все кругом светло, все веет тишиною,  
В природе и в душе — молчанье и покой.  
1887

## ОКТЯБРЬСКИЙ РАССВЕТ

Ночь побледнела, и месяц садится  
За реку красным серпом.  
Сонный туман на лугах серебрится,  
Черный камыш отсырел и дымится,  
Ветер шуршит камышом.

Тишь на деревне. В часовне лампада  
Меркнет, устало горя.  
В трепетный сумрак озябшего сада  
Льется со степи волнами прохлада...  
Медленно рдеет заря.  
1887

\* \* \*

Высоко полный месяц стоит  
В небесах над туманной землей,  
Бледным светом луга серебрит,  
Напоенные белою мглой.

В белой мгле, на широких лугах,  
На пустынных речных берегах  
Только черный засохший камыш  
Да верхушки ракич различишь.

И река в берегах чуть видна...  
Где-то мельница глухо шумит...  
Спит село... Ночь тиха и бледна,  
Высоко полный месяц стоит.

1887

\* \* \*

Помню — долгий зимний вечер.  
Полумрак и тишина;  
Тускло льется свет лампы,  
Буря плачет у окна.

«Дорогой мой,— шепчет мама —  
Если хочешь задремать,  
Чтобы бодрым и веселым  
Завтра утром быть опять,—

Позабудь, что воеет выюга,  
Позабудь, что ты со мной,  
Вспомни тихий шопот леса  
И полдневный летний зной;

Вспомни, как шумят березы,  
А за лесом, у межи,  
Ходят медленно и плавно  
Золотые волны ржи!»

И знакомому совету  
Я доверчиво внимал  
И, обвеянный мечтами,  
Забываться начинал.

Вместе с тихим сном сливалось  
Убаюкиванье грез —  
Шопот зреющих колосьев  
И невнятный шум берез...

1887

## МЕТЕЛЬ

Ночью в полях, под напевы метели,  
Дремлют, качаясь, березки и ели...  
Месяц меж тучек над полем сияет,—  
Бледная тень набегает и тает...  
Мнится мне ночью: меж белых берез  
Бродит в туманном сияньи Мороз.

Ночью в избе, под напевы метели,  
Тихо разносится скрип колыбели...  
Месяца свет в темноте серебрится,—  
В мерзлые стекла по лавкам струится...  
Мнится мне ночью: меж сучьев берез  
Смотрит в безмолвные избы Мороз.

Мертвое поле, дорога степная!  
Вьюга тебя заматает ночная,  
Спят твои села под песни метели,  
Дремлют в снегу одинокие ели...  
Мнится мне ночью: не степи кругом,—  
Бродит Мороз на погосте глухом...

1887—95

\* \* \*

В темнеющих полях, как в безграничном море,  
Померк и потонул зари печальный свет —  
И мягко мрак ночной плывет в степном просторе  
Немой заре вослед.

Лишь суслики во ржи скликаются свистками,  
Иль по меже тушкан, таинственно, как дух,  
Несется быстрыми, неслышными прыжками  
И пропадает вдруг...

1887

\* \* \*

Какая теплая и темная заря!  
Давным-давно закат, чуть тлея, чуть горя,  
Померк над сонными весенними полями,  
И мягкими на все ложится ночь тенями,

В вечерние мечты, в раздумье погрузив  
Все, от затихших рощ до придорожных ив,  
И только вдалеке вечерней тьмой не скрыты  
На горизонте грустные ракиты.

Над садом облака нахмурившись стоят;  
Весенней сыростью наполнен тихий сад;  
Над лугом, над прудом, куда ведут аллеи,  
Ночные облака немного посветлее,  
Но в чаще, где, сокрыв весенние цветы,  
Склонились кушами зеленые кусты,  
И темь, и теплота...

1888

\* \* \*

Бледнеет ночь... Туманов пелена  
В лощинах и лугах становится белее,  
Звучнее лес, безжизненной луна  
И серебро росы на стеклах холоднее.

Еще усадьба спит... В саду еще темно,  
Недвижим тополь матово-зеленый,  
И воздух слышен мне в открытое окно,  
Весенним ароматом напоенный...

Уж близок день, прошел короткий сон —  
И, в доме тишины не нарушая,  
Неслышно выхожу из двери на балкон  
И тихо светлого восхода ожидаю...

1888

\* \* \*

Осыпаются астры в садах.  
Стройный клен под окошком желтеет,  
И холодный туман на полях  
Целый день неподвижно белеет.  
Ближний лес затихает, и в нем  
Показались всюду просветы,  
И красив он в уборе своем,  
Золотистой листвою одетый.

Но под этой сквозною листвою,  
В этих чашах не слышно ни звука...  
Осень веет тоской,  
Осень веет разлукой!

Поброди же в последние дни  
По аллее, давно молчаливой,  
И с любовью и с грустью взгляни  
На знакомые нивы.  
В тишине деревенских ночей  
И в молчаньи осенней полночи  
Вспомни песни, что пел соловей,  
Вспомни летние ночи  
И подумай, что годы идут,  
Что с весной, как минует ненастье,  
Нам они не вернут  
Обманувшего счастья...  
1888

\* \* \*

Не пугай меня грозою:  
Весел грохот вешних бурь!  
После бури над землею  
Светит радостней лазурь,  
После бури, молодея  
В блеске новой красоты,  
Ароматней и пышнее  
Распускаются цветы!

Но страшит меня ненастье:  
Горько думать, что пройдет  
Жизнь без горя и без счастья,  
В суете дневных забот,  
Что увянут жизни силы  
Без борьбы и без труда,  
Что сырой туман унылый  
Солнце скроет навсегда!  
1888

\* \* \*

Туча растаяла. Влажным теплом  
Веет весенняя ночь над селом;  
Ветер приносит с полей аромат,  
Слабо алеет за степью закат.

Тонкий туман над стемневшей рекой  
Лег серебристою нежной фатой,  
И за рекою, в неясной тени,  
Робко блестят золотые огни.

В тихом саду замолчал соловей;  
Падают капли во мраке с ветвей;  
Пахнет черемухой...

1888

\* \* \*

Ветер осенний в лесах подымается,  
Шумно по чашам идет,  
Мертвые листья срывает и весело  
В бешеной пляске несет.

Только замрет, припадет и послушает,—  
Снова взмахнет, а за ним  
Лес загудит, затрепещет,— и сыплются  
Листья дождем золотым.

Веет зимою, морозными вьюгами,  
Тучи плывут в небесах...  
Пусть же погибнет все мертвое, слабое  
И возвратится во прах!

Зимние вьюги — предтечи весенние,  
Зимние вьюги должны  
Похоронить под снегами холодными  
Мертвых к приходу весны.

В темную осень земля укрывается  
Желтой листвой, а под ней  
Дремлет побегов и трав прозябание,  
Сок животворных корней.

Жизнь зарождается в мраке таинственном.  
Радость и гибель ея  
Служат нетленному и неизменному —  
Вечной красе Бытия!

1888—95



\* \* \*

В полночь выхожу один из дома,  
Мерзло по земле шаги стучат,  
Звездами осыпан черный сад  
И на крышах — белая солома:  
Трауры полночные лежат.

*Ноябрь 1888*

\* \* \*

Пустыня, грусть в степных просторах.  
Синеют тучи. Скоро снег.  
Леса на дальних косогорах  
Как желто-красный лисий мех.  
Под небом низким, синеватым  
Вся эта сумрачная ширь  
И пестрота лесов по скатам  
Угрюмы, дики, как Сибирь.  
Я перейду луга и доли,  
Где серо-сизый, неживой  
Осыпался осинник голый  
Лимонной мелкою листвою.  
Я поднимусь к лесной сторожке —  
И с грустью глянут на меня  
Ее подслепые окошки  
Под вечер сумрачного дня.  
Но я увижу на пороге  
Дочь молодую лесника:  
Малы ее босые ноги,  
Мала корявая рука.  
От выреза льняной сорочки  
Ее плечо еще круглей,  
А под сорочкою — две точки  
Стоячих девичьих грудей.

*1888*

\* \* \*

Далеко за морем  
Догорает вечер...  
Потемнело небо,  
Потемнели волны...

Только на закате  
Светит тихим светом  
Полоса зари...

Но душе все это  
Чуждо, незнакомо;  
Каждый день с закатом  
Ухожу на берег  
И сажусь на камне,  
Вижу белый парус,  
Вижу, как темнеет  
Полоса зари...

И знакомой грустью  
Сердце сладко ноет:  
Кажется, что снова  
По степи родимой  
Еду я проселком,  
И закат далекий  
Долго-долго светит  
Над стемневшим морем  
Зреющих хлебов...

1889

### ТРИ НОЧИ

Старый сад всю ночь гудел угрюмо,  
Дождь шумел и, словно капли слез,  
Падал он в холодный снег на землю  
С голых сучьев стонущих берез.

По лесным трушобам и оврагам,  
По полям, пустынным и глухим,  
Первые весенние туманы  
Расползались медленно, как дым.

И леса седой оделись мглою,  
На озерах поднялись льды,  
И долины грозно потемнели  
От свинцовой мартовской воды...

А другая ночь — все победила:  
Ветер снес сырой туман с полей,  
Загорелись звезды, и в долинах  
Зашумели воды веселей.

До зари кричали хлопотливо  
В ближней роще черные грачи,  
Старый сад и тихую усадьбу  
Оглашали стонами сычи.

И темней ночное было небо —  
Издалека в темноте ночной  
Веяло весенним ароматом,  
Веяло грядущею весной...

И недолги были ожидания:  
За день вся природа ожила!  
Вечер был задумчив и прекрасен  
И заря, как летняя, тепла.

А когда померк закат далекий,  
Вспомнилась мне молодость моя,  
И окно открыл я, и забылся,  
В сердце грусть и радость затая.

Понял я, что юной жизни тайна  
В мир пришла под кровом темноты,  
Что весна вернулась — и незримо  
Вырастают первые цветы.

1889—97

\* \* \*

Один встречаю я дни радостной недели,—  
В глуши, на севере... А там у вас весна:  
Растаял в поле снег, леса повеселели,  
Даль заливных лугов лазурна и ясна;

Стыдливо белая береза зеленеет,  
Проходят облака все выше и нежней,  
А ветер сушит сад и мягко в окна веет  
Теплом апрельских дней...

1889

\* \* \*

Как дымкой даль полей закрыв на полчаса,  
Прошел внезапный дождь косыми полосами —  
И снова глубоко синеют небеса  
Над освеженными лесами.

Тепло и влажный блеск. Запахли медом ржи,  
На солнце бархатом пшеницы отливают,  
И в зелени ветвей, в березах у межи,  
Беспечно иволги болтают.

И весел звучный лес, и ветер меж берез  
Уж веет ласково, а белые березы  
Роняют тихий дождь своих алмазных слез  
И улыбаются сквозь слезы.

1889

## В СТЕПИ

*Н. Д. Телешову*

Вчера в степи я слышал отдаленный  
Крик журавлей. И дико и легко  
Он прозвенел над тихими полями...  
Путь добрый! Им не жаль нас покидать:  
И новая цветущая природа,  
И новая весна их ожидает  
За синими, за теплыми морями,  
А к нам идет угрюмая зима:  
Засохла степь, лес глохнет и желтеет,  
Осенний ветер, тучи нагоняя,  
Открыл в кустах звериные лазы,  
Листвой засыпал доли и овраги,  
И по ночам в их черной темноте,  
Под шум деревьев, свечками мерцают,  
Таинственно блуждая, волчьи очи...  
Да, край родной не радует теперы!  
И все-таки, кочующие птицы,  
Не пробуждает зависти во мне  
Ваш звонкий крик, и гордый и свободный.

Здесь грустно. Ждем мы сумрачной поры,  
Когда в степи седой туман ночует,  
Когда во мгле рассвет едва белеет  
И лишь бугры чернеют сквозь туман.  
Но я люблю, кочующие птицы,  
Родные степи. Бедные селенья —  
Моя отчизна; я вернулся к ней,  
Усталый от скитаний одиноких,  
И понял красоту в ее печали  
И счастье — в печальной красоте.

Бывают дни: повеет теплым ветром,  
Проглянет солнце, ярко озаряя  
И лес, и степь, и старую усадьбу,  
Пригреет листья влажные в лесу,  
Глядишь — и все опять повеселело!  
Как хорошо, кочующие птицы,  
Тогда у нас! Как весело и грустно  
В пустом лесу меж черными ветвями,  
Меж золотыми листьями берез  
Синеет наше ласковое небо!  
Я в эти дни люблю бродить, вдыхая  
Осинников поблекших аромат  
И слушая дроздов пролетных крики;  
Люблю уйти один на дальний хутор,  
Смотреть, как озимь мягко зеленеет,  
Как бархатом блестят на солнце пашни,  
А вдалеке, на жнивьях золотых,  
Стоит туман, прозрачный и лазурный.

Моя весна тогда зовет меня, —  
Мечты любви и юности далекой,  
Когда я вас, кочующие птицы,  
С такою грустью к югу провожал!  
Мне вспоминается бывшее счастье,  
Былые дни... Но мне не жаль былого:  
Я не грущу, как прежде, о былом, —  
Оно живет в моем безмолвном сердце,  
А мир везде исполнен красоты.  
Мне в нем теперь все дорого и близко:  
И блеск весны за синими морями,  
И северные скудные поля,  
И даже то, что уж совсем не может  
Вас утешать, кочующие птицы, —  
Покорность грустной участи своей!

1889—97

\* \* \*

Как все вокруг сурово, снежно,  
Как этот вечер сиз и хмур!  
В морозной мгле краснеют окна нежно  
Из деревенских нищенских конур.

Ночь северная медленно и грозно  
Возносит косное величие свое.  
Как сладко мне во мгле морозной  
Мое звериное жильё!

1889

\* \* \*

На поднебесном утесе, где бури  
Свишут в слепящей лазури, —  
Дикий, зловонный орлиный приют.

Пью, как студеную воду,  
Горную бурю, свободу,  
Вечность, летящую тут.

*Крым. 1889*

### ЦЫГАНКА

Впереди большак, подвода,  
Старый пес у колеса, —  
Впереди опять свобода,  
Степь, простор и небеса.

Но притворщица отстала,  
Ловко семечки грызет,  
Говорит, что в сердце жало,  
Яд горючий унесет.

Говорит... А что ж играет  
Яркий угольный зрачок?  
Солнцем, золотом сияет,  
Но бесстрастен и далек.

Сколько юбок! Ногу стройно  
Облегает башмачок,  
Стан струится беспокойно  
И жемчужна смуглость щек...

Впереди большак, подвода,  
Старый пес у колеса,  
Счастье, молодость, свобода,  
Солнце, степи, небеса.

1889

\* \* \*

Не видно птиц. Покорно чахнет  
Лес, опустевший и больной.  
Грибы сошли, но крепко пахнет  
В оврагах сыростью грибной.

Глушь стала ниже и светлее,  
В кустах сваялася трава,  
И, под дождем осенним тлея,  
Чернеет темная листва.

А в поле ветер. День холодный  
Угрюм и свеж — и целый день  
Скитаюсь я в степи свободной,  
Вдали от сел и деревень.

И, убаюкан шагом конным,  
С отрадной грустью внемлю я,  
Как ветер звоном монотонным  
Гудит-поет в стволы ружья.

1889

\* \* \*

Седое небо надо мной  
И лес раскрытый, обнаженный.  
Внизу, вдоль просеки лесной,  
Чернеет грязь в листве лимонной.

Вверху идет холодный шум,  
Внизу молчанье увяданья...  
Вся молодость моя — скитанья  
Да радость одиноких дум!

1889

\* \* \*

...Зачем и о чем говорить?  
Всю душу, с любовью, с мечтами,  
Все сердце стараться раскрыть —  
И чем же? — одними словами!

И хоть бы в словах-то людских  
Не так уж все было избито!  
Значенья не сыщете в них,  
Значение их позабыто!

Да и кому рассказать?  
При искреннем даже желаньи  
Никто не сумеет понять  
Всю силу чужого страданья!  
1890

\* \* \*

...Поздним летом  
Это было, друг милый.  
Уж давно не звучали  
Соловьиные песни  
По безмолвным садам;  
В темноте по аллее  
Разливался неясный  
Запах листьев сухих  
И склоненных акаций...

Там, где в двери балкона  
Лампа смутно светила,  
Зачинались песни,  
И веселые речи  
Молодых голосов  
Раздавались неясно...  
Сговорившись как будто,  
Мы спустились с балкона  
И в аллею вошли... Сердце билось, --  
Сердце ждало признанья,  
Опасалось любви... И приснился  
Вешний сон поздним летом...

Дни идут... Еще много  
Будет в жизни обид,  
И потерь, и страданий,  
И нерадостных дум...  
Но, как грустную песню  
О далеком, о милом,  
Вспоминай, дорогая,  
Светлый сон, что приснился  
Поздним летом на миг!  
1890



## ПОДРАЖАНИЕ ПУШКИНУ

От праздности и лжи, от суетных забав  
Я одинок бежал в поля мои родные,  
Я странником вступил под сень моих дубрав,  
Под их навесы вековые,

И, зноем истомлен, я на пути стою  
И пью лесных ветров живительную влагу...  
О, возврати, мой край, мне молодость мою  
И юных блеск очей, и юную отвагу!

Ты видишь — я красы твоей не позабыл  
И, сердцем чист, твой мир благословляю...  
Обетованному отеческому краю  
Я приношу остаток гордых сил.  
1890

\* \* \*

Нет, не о том я сожалею,  
Прощаясь с юностью моею! —  
Не жаль мне первых ясных дней,  
И сладких грез, и увлечений,  
Но жаль мне гордости своей  
И первых самообольщений!

Да, я гордился, я мечтал.  
Но не сулила гордость эта  
Ни благ житейских, ни похвал,  
Ни лавров славного поэта:  
Звучали струны, но не те!  
То было счастье просветленья,  
Высокий трепет приобщенья  
К духовной жизни, к красоте!  
1891

## РОДИНЕ

Они глумятся над тобою,  
Они, о родина, корят  
Тебя твоею простотою,  
Убогим видом черных хат...

Так сын, спокойный и нахальный,  
Стыдится матери своей —  
Усталой, робкой и печальной  
Средь городских его друзей,

Глядит с улыбкой сострадания  
На ту, кто сотни верст брела  
И для него, ко дню свиданья,  
Последний грошик берегла.

1891

\* \* \*

Лес, — и ясно лазурное небо глядится  
По-весеннему в светлые воды реки,  
На лугах заливных тонкий пар золотится,  
И рыбалки блестят, и кричат кулики.

Лес зеленый кругом, молодой и росистый,  
А в лесу тишина, и среди тишины —  
Только голос кукушки. Вещун голосистый!  
Отзовись, доживу ли до новой весны?

И приду ли опять в этот лес, напоенный  
Ароматом весенним и блеском лучей,  
Буду ль снова считать в чаще темной, зеленой,  
Сколько светлых еще мне осталось дней?

Буду ль снова внимать тебе с грустью глубокой,  
С тайной грустью в душе, что проходят года,  
Что весь мир я люблю, но люблю одиноко,  
Одинокий везде и всегда?

1891

\* \* \*

Ту звезду, что качалась в темной воде  
Под кривою ракушкой в заглушем саду, —  
Огонек, до рассвета мерцавший в пруде, —  
Я теперь в небесах никогда не найду.

В то селенье, где шли молодые года,  
В старый дом, где я первые песни слагал,  
Где я счастья и радости в юности ждал,  
Я теперь не вернусь никогда, никогда.

1891

\* \* \*

Свежеют с каждым днем и молодеют сосны,  
Чернеет лес, синеет мягче даль,—  
Сдается наконец сырым ветрам февраль,  
И потемнел в лощинах снег наносный.

На гумнах и в саду по-зимнему покой  
Царит в затишье дедовских строений,  
Но что-то тянет в зал, холодный и пустой,  
Где пахнет сыростью весенней.

Сквозь стекла потные заклеенных дверей  
Гляжу я на балкон, где снег еще навален,  
И голый, мокрый сад теперь мне не печален,—  
На гнезда в сучьях лип опять я жду грачей.

Жду, как в тюрьме, давно желанной воли,  
Туманов мартовских, чернеющих бугров,  
И света и тепла от белых облаков,  
И первых жаворонков в поле!

1892

\* \* \*

Бушует полая вода,  
Шумит и глухо, и протяжно.  
Грачей пролетные стада  
Кричат и весело, и важно.

Дымятся черные бугры,  
И утром в воздухе нагретом  
Густые белые пары  
Напоены теплом и светом.

А в полдень лужи под окном  
Так разливаются и блещут,

Что ярким солнечным пятном  
По залу «зайчики» трепещут.

Меж круглых рыхлых облаков  
Невинно небо голубеет,  
И солнце ласковее греет  
В затишье гумен и дворов.

Весна, весна! И все ей радо.  
Как в забытьи каком стоишь  
И слышишь свежий запах сада  
И теплый запах талых крыш.

Кругом вода журчит, сверкает,  
Крик петухов звучит порой,  
А ветер, мягкий и сырой,  
Глаза тихонько закрывает.

1892

\* \* \*

Догорел апрельский светлый вечер,  
По лугам холодный сумрак лег.  
Спят грачи; далекий шум потока  
В темноте таинственно заглох.

Но свежее пахнет зеленью  
Молодой озябший чернозем,  
И струится чище над полями  
Звездный свет в молчании ночном.

По лощинам, звезды отражая,  
Ямы светят тихую водой,  
Журавли, друг друга окликаая,  
Осторожно тянутся гурьбой.

А Весна в зазеленевшей роще  
Ждет зари, дыханье затая, —  
Чутко внемлет шороху деревьев,  
Зорко смотрит в темные поля.

1892

## СОЛОВЬИ

То разрастаясь, то слабея,  
Гром за усадьбой грохотал,  
Шумела тополей аллея,  
На стекла сумрак набегал.  
Все ниже тучи наплывали,  
Все ошутительней, свежей  
Порывы ветра обвевали  
Дождем и запахом полей.  
В полях хлеба к межам клонились...  
А из лощин и из садов —  
Отвсюду с ветром доносились  
Напевы ранних соловьев.

Но вот по тополям и кленам  
Холодный вихорь пролетел...  
Сухой бурьян зашелестел,  
Окно захлопнулось со звоном,  
Блеснула молния огнем...  
И вдруг над самой крышей дома  
Раздался треск короткий грома  
И тяжкий грохот... Все кругом  
Затихло сразу и глубоко,  
Сад потемневший присмирел, —  
И благодатно и широко  
Весенний ливень зашумел.  
На межи низко наклонились  
Хлеба в полях... А из садов  
Все так же звучно доносились  
Напевы ранних соловьев.

Когда же, медленно слабея,  
Дождь отшумел и замер гром,  
Ночь переполнила аллею  
Благоуханьем и теплом.  
Пар, неподвижный и пахучий,  
Стоял в хлебах. Спала земля.  
Заря чуть теплилась под тучей  
Полоской алого огня.  
А из лощин, где распускались  
Во тьме цветы, и из садов  
Лились и в чашах отдавались  
Все ярче песни соловьев.

\* \* \*

Гаснет вечер, даль синееет,  
Солнышко садится,  
Степь да степь кругом — и всюду  
Нива колосится!  
Пахнет медом, зацветает  
Белая гречиха...  
Звон к вечерне из деревни  
Долеет тихо...  
А вдали кукушка в роще  
Медленно кукует...  
Счастлив тот, кто на работе  
В поле заночует!  
Гаснет вечер, скрылось солнце.  
Лишь закат краснеет...  
Счастлив тот, кому зарею  
Теплый ветер веет;  
Для кого мерцают кротко,  
Светятся с приветом  
В темном небе темной ночью  
Звезды тихим светом;  
Кто устал на ниве за день  
И уснет глубоко  
Мирным сном под звездным небом  
На степи широкой!

1892

\* \* \*

Еще от дома на дворе  
Синеют утренние тени,  
И под навесами строений  
Трава в холодном серебре;  
Но уж сияет яркий зной,  
Давно топор стучит в сарае,  
И голубей пугливых стаи  
Сверкают снежной белизной.  
С зари кукушка за рекою  
Кукует звучно вдальеке,  
И в молодом березняке  
Грибами пахнет и листвою.  
На солнце светлая река  
Трепещет радостно, смеется,  
И гулко в роще отдается  
Над нею ладный стук валька.

1892

## ВЕСЕННЕЕ

Тает снег — и солнце ярко  
Блещет в полдень над полями;  
В блеске солнца влажный ветер  
По лесам-полям гуляет.  
Но поля еще пустынные,  
Но леса еще безмолвны;  
Только сосны, точно арфы,  
Напевают однотонно.  
И под их напев неясный  
В заповедных чашах бора  
Сладко спит весна-царевна  
В белоснежном саркофаге.  
Спит,— а скоро уж в долинах  
Солнце белый снег растопит,  
И пойдут бурлить потоки  
По долинам и оврагам.  
Налетят лесные птицы,  
Зашумят грачи, а с ними —  
Зацветут, зазеленеют,  
Оживут леса и рощи.  
И придет апрель-царевич  
Из заморских стран далеких  
На заре, когда в долинах  
Тают синие туманы,  
На заре, когда от солнца  
Пахнет лес зеленой хвоей,  
Пахнет теплою землею  
И апрельскими цветами,  
И склонится он с улыбкой  
Над царственною безмолвной  
И прильнет к устам царевны  
Крепко жаркими устами,  
И она в испуге вздрогнет,  
Разомкнет свои ресницы,  
Глянет, вспыхнет — и улыбкой  
Озарит весь мир влюбленный!  
1893

\* \* \*

В стороне далекой от родного края  
Снится мне приволье тихих деревень,  
В поле при дороге белая береза,

Озими да пашни — и апрельский день.  
Ласково синее утреннее небо,  
Легкой белой зыбью облака плывут,  
Важно грач гуляет за сохой на пашне,  
Пар блестит над пашней... А кругом поют  
Жаворонки в ясной вышине воздушной  
И на землю с неба звонко трели льют.

В стороне далекой от родного края  
Девушкой-невестой снится мне Весна:  
Очи голубые, личико худое,  
Стройный стан высокий, русая коса.  
Весело ей в поле теплым, ясным утром!  
Мил ей край родимый, — степь и тишина,  
Мил ей бедный север, мирный труд крестьянский,  
И с приветом смотрит на поля она:  
На устах улыбка, а в очах раздумье —  
Юности и счастья первая весна!

1893

\* \* \*

За рекой луга зазеленели,  
Веет легкой свежестью воды;  
Веселей по рощам зазвенели  
Песни птиц на разные лады.

Ветерок с полей тепло приносит,  
Горький дух лозины молодой...  
О, весна! Как сердце счастья просит!  
Как сладка печаль моя весной!

Кротко солнце листья пригревает  
И дорожки мягкие в саду...  
Не пойму, что душу раскрывает  
И куда я медленно бреду!

Не пойму, кого с тоской люблю я,  
Кто мне дорог... И не все ль равно?  
Счастья жду я, мучась и тоскуя,  
Но не верю в счастье уж давно!

Горько мне, что я бесплодно трачу  
Чистоту и нежность лучших дней,  
Что один я радуюсь и плачу  
И не знаю, не люблю людей.

1893



\* \* \*

Крупный дождь в лесу зеленом  
Прошумел по стройным кленам,  
По лесным цветам...  
Слышишь? — Звонко песня льется,  
Беззаботный раздается  
Голос по лесам.

Крупный дождь в лесу зеленом  
Прошумел по стройным кленам,  
Глубь небес ясна...  
В каждом сердце возникает, —  
И томит, и увлекает  
Образ твой, Весна!

О надежды золотые!  
Рощи темные, густые  
Обманули вас...  
Голос нежный и призывный!  
Прозвучал ты песней дивной —  
И в дали угас!

1893

### В ПОЕЗДЕ

Все шире вольные поля  
Проходят мимо нас кругами;  
И хутора и тополя  
Плывут, скрываясь за полями.

Вот под горою скит святой  
В бору белеет за лугами...  
Вот мост железный над рекой  
Промчался с грохотом под нами...

А вот и лес! — И гул идет  
Под стук колес в лесу зеленом;  
Берез веселых хоровод,  
Шумя, встречает нас поклоном.

От паровоза белый дым,  
Как хлопя ваты, расползаясь,

Плывет, цепляется по ним,  
К земле беспомощно склоняясь...

Но уж опять кусты пошли,  
Опять деревьев строй редееет,  
И бесконечная вдали  
Степь развернулась и синеет,

Опять привольные поля  
Проходят мимо нас кругами,  
И хутора и тополя  
Плывут, скрываясь за полями.

1893

\* \* \*

Ночь идет — и темнеет  
Бледносиний восток...  
От одежд ее веет  
По полям ветерок.

День был долг и зноен...  
Ночь идет и поет  
Колыбельную песню  
И к покою зовет.

Грустен взор ее темный,  
Одинок ее путь...  
Спи-усни, мое сердце!  
Отдохни... Позабудь.

1893

\* \* \*

...И снилось мне, что осенней порой  
В холодную ночь я вернулся домой.  
По темной дороге прошел я один  
К знакомой усадьбе, к родному селу...  
Трещали обмерзшие сучья лозин  
От бурного ветра на старом валу...  
Деревня спала... И со страхом, как вор,  
Вошел я в пустынный, покинутый двор.

И сжалось сердце от боли во мне,  
Когда я кругом поглядел при огне!  
Навис потолок, обвалились углы,  
Повсюду скрипят под ногами полы  
И пахнет печами... Заброшен, забыт,  
Навеки забыт он, родимый наш дом!  
Зачем же я здесь? Что осталось в нем,  
И если осталось — о чем говорит?

И снилось мне, что всю ночь я ходил  
По саду, где ветер кружился и выл,  
Искал я отцом посаженную ель,  
Тех комнат искал, где собиралась семья,  
Где мама качала мою колыбель  
И с нежною грустью ласкала меня,—  
С безумной тоскою кого-то я звал,  
И сад обнаженный гудел и стонал...

1893

### МАТЬ

И дни и ночи до утра  
В степи бураны бушевали  
И вешки снегом заметали,  
И заносили хутора.  
Они врывались в мертвый дом —  
И стекла в рамах дребезжали,  
И снег сухой в старинной зале  
Кружился в сумраке ночном.

Но был огонь — не угасая,  
Светил в пристройке по ночам,  
И мать всю ночь ходила там,  
Глаз до рассвета не смыкая.  
Она мерцавшую свечу  
Старинной книгой заслонила  
И, положив дитя к плечу,  
Все напевала и ходила...

И ночь тянулась без конца...  
Порой, дремотой обвевая,  
Шумела тише вьюга злая,  
Шуршала снегом у крыльца.

Когда ж буря в порыве диком  
Внезапным шквалом налетал,—  
Казалось ей, что дом дрожал,  
Что кто-то слабым, дальним криком  
В степи на помощь призывал.  
И до утра не раз слезами  
Ее усталый взор блестел,  
И мальчик вздрагивал, глядел  
Большими темными глазами...  
1893

### КОВЫЛЬ

Что ми шумить, что ми звенить  
давеча рано предъ зорями?

*Сл. о Пл. Игор.*

#### I

Что шумит-звенит перед зарею?  
Что колышет ветер в темном поле?

Холодеет ночь перед зарею,  
Смутно травы шепчутся сухие,—  
Сладкий сон их нарушает ветер.  
Опускаясь низко над полями,  
По курганам, по могилам сонным,  
Нависает в темных балках сумрак.  
Бледный день над сумраком забрезжил,  
И рассвет ненастный задымился...

Что шумит-звенит перед зарею?  
Что колышет ветер в темном поле?

Холодеет ночь перед зарею,  
Серой мглой подернулись балки...  
Или это ратный стан белеет?  
Или снова веет вольный ветер  
Над глубоко спящими полками?  
Не ковыль ли, старый и сонливый,  
Он качает, клонит и качает,  
Вежи половецкие колышет  
И бежит-звенит старинной былью?

## II

Ненастный день. Дорога прихотливо  
Уходит вдаль. Кругом все степь да степь.  
Шумит трава дремотно и лениво,  
Немых могил сторожевая цепь  
Среди хлебов загадочно синеет,  
Кричат орлы, пустынный ветер веет  
В задумчивых, тоскующих полях,  
Да тень от туч кочующих темнеет.

А путь бежит... Не тот ли это шлях,  
Где Игоря обозы проходили  
На синий Дон? Не в этих ли местах,  
В глухую ночь, в яругах волки выли,  
А днем орлы на медленных крылах  
Его в степи безбрежной провожали  
И клетком псов на кости созывали,  
Грозя ему великою бедой?  
— Гей, отзовись, степной орел седой!  
Ответь мне, ветер буйный и тоскливый!

...Безмолвна степь. Один ковыль сонливый  
Шуршит, склоняясь ровной чередой...

1894

\* \* \*

Могилы, ветряки, дороги и курганы —  
Все смерклось, отошло и скрылося из глаз.  
За дальней их чертой погас закат румяный,  
Но точно ждет чего вечерний тихий час.

И вот идет она, Степная Ночь, с востока...  
За нею синий мрак над нивами встает...  
На меркнувший закат, грустна и одинока,  
Она задумчиво среди хлебов идет.

И медлит на межах, и слушает молчанье...  
Глядит вослед зари, где в призрачной дали  
Еще мерещутся колосьев очертанья  
И слабо брезжит свет над сумраком земли.

И полон взор ее, загадочно-унылый,  
Великой кротости и думы вековой  
О том, что ведают лишь темные могилы,  
Степь молчаливая да звезд узор живой.  
1894

\* \* \*

Неуловимый свет разлился над землею,  
Над кровлями безмолвного села  
Отчетливей кричат перед зарею  
Далеко на степи перепела.

Нет ни души кругом — ни звука, ни тревоги...  
Спят безмятежным сном зеленые овсы...  
Нахохлясь, кобчик спит на кочке у дороги,  
Покрытый пылью матовой росы...

Но уж светлеет даль... Зелено-серебристый,  
Неуловимый свет восходит над землей,  
И белый пар лугов, холодный и душистый,  
Как фимиам, плывет перед зарей.  
1894

\* \* \*

Если б только можно было  
Одного себя любить,  
Если б прошлое забыть,—  
Все, что ты уже забыла,

Не смущал бы, не страшил  
Вечный сумрак вечной ночи:  
Утомившиеся очи  
Я бы с радостью закрыл!  
1894

\* \* \*

Нагая степь пустыней веет...  
Уж пал зазимок на поля,  
И в черных пашнях снег белеет,  
Как будто в трауре земля.

Глубоким сном среди лощины  
Деревня спит... Ноябрь идет,  
Пруд застывает, и с плотины  
Листва поблекшая лозины  
Уныло сыплется на лед.

Вот день... Но скупое над землею  
Сияет солнце; поглядит  
Из-за бугра оно зарею  
Сквозь сучья черные раки,  
Пригреет кроткими лучами —  
И вновь потонет в облаках...  
А ветер жидкими тенями  
В саду играет под ветвями,  
Сухой травой шуршит в кустах...

1894

### КОСТЕР

Ворох листьев сухих все сильнее, веселей разгорается,  
И трещит, и пылает костер.  
Пышет пламя в лицо; теплый дым на ветру развеивается,  
Затянул весь лесной косогор.

Лес гудит на горе, низко гнутся березы ветвистые,  
Меж стволами качается тень...  
Блеском, шумом листвы наполняет леса золотистые  
Этот солнечный ветренный день.

А в долине — затишье, светло от орешника яркого,  
И по светлой долине лесной  
Тянет гарью сухой от костра распаленного, жаркого,  
Развеивается дым голубой.

Камни, заросли, рвы. Лучезарным теплом очарованный,  
В полусне я лежу у куста...  
Странно желтой листвой озарен этот дол заколдованный,  
Эти лисьи, глухие места!

Ветер стоны несет... Не собаки ль вдали заливаются?  
Не рога ли тоскуют, вопят?  
А вершины шумят, а вершины скрипят и качаются,  
Однотонно шумят и скрипят...

17.IX.95

*Лес Жемчужникова*

\* \* \*

Ночь наступила, день угас,  
Сон и покой — и всей душою  
Я покоряюсь в этот час  
Ночному кроткому покою.  
Как облегченно дышит грудь!  
Как нежно сад благоухает!  
Как мирно светит и сияет  
В далеком небе Млечный Путь!

За все, что пережито днем,  
За все, что с болью я скрываю  
Глубоко на сердце своем,—  
Я никого не обвиняю.  
За счастье минут таких,  
За светлые воспоминанья  
Благословляю каждый миг  
Былого счастья и страданья!

1895

### НА ПРОСЕЛКЕ

Веет утро прохладой степною...  
Тишина, тишина на полях!  
Заросла павиликой-травой  
Полевая дорога в хлебах.

В мураве колен утопают,  
А за ними, с обеих сторон,  
В сизых ржах васильки зацветают,  
Бирюзовый виднеется лен,

Серебрится ячмень колосистый,  
Зеленеют привольно овсы,  
И в колосьях брильянты росы  
Ветерок зажигает душистый,

И вливает отраду он в грудь,  
И свежает с души он тревоги...  
Весел мирный проселочный путь,  
Хороши вы, степные дороги!

1895





Долог был во мраке ночи  
Наш неверный трудный путь!  
Напрягались тщетно очи  
Разглядеть хоть что-нибудь...  
Только гнулась и скрипела  
Тяжко мачта, да шумело  
Море черное, и челн  
Уносило и качало,  
И с разбегу осыпало  
Ледяною пылью волн...

Но редееет мрак холодный;  
Отделились небеса  
От седой пучины водной,  
И сереют паруса;  
Над свалившеюся тучей,  
Как над черной горной кручей,  
Звезды блещут серебром;  
Над кормой огонь сигнальный  
Искрой бледной и печальной  
Догорает... А кругом,—  
Из морской дали туманной,—  
Бледным сумраком одет,  
Уж сквозит рассвет багряный,  
Дышит холодом рассвет!

И все ярче меж волнами,  
В брызгах огненно-живых,  
В переливах голубых,  
Золотое блещет пламя,  
И все выше над волной  
Глубью радостной, иной  
Бирюза сквозит и тает,  
И, качая быстрый челн,  
Светлой влагой, пылью волн  
Море весело кидает!

1895



Поздний час. Корабль и тих и темен,  
Слабо плещут волны за кормой.  
Звездный свет да океан зеркальный —  
Царство этой ночи неземной.

В царстве безграничного молчанья,  
В тишине глубокой сторожат  
Час полночный звезды над морями  
И в морях таинственно дрожат.

Южный Крест, загадочный и кроткий,  
В душу льет свой нежный свет ночной —  
И душа исполнена предвечной  
Красоты и правды неземной.

1895

\* \* \*

Что в том, что где-то, на далеком  
Морском побережьи, валуны  
Блестят на солнце мокрым боком  
Из набегающей волны?

Не я ли сам, по чьей-то воле,  
Вообразил тот край морской,  
Осенний ветер, запах соли  
И белых чаек шумный рой?

О, сколько их — невыразимых,  
Ненужных миру чувств и снов,  
Душою в сладкой муке зримых, —  
И что они? И чей в них зов?

1895

## РОДИНА

Под небом мертвенно-свинцовым  
Угрюмо меркнет зимний день,  
И нет конца лесам сосновым,  
И далеко до деревень.

Один туман молочно-синий,  
Как чья-то кроткая печаль,  
Над этой снежною пустыней  
Смягчает сумрачную даль.

1896

\* \* \*

Ночь и даль седая,—  
В инее лесá.  
Звездами мерцающая,  
Светят небеса.

Звездный свет белеет,  
И земля окрест  
Стынет-цепенеет  
В млечном свете звезд.

Тишина пустыни...  
Четко за горой  
На реке в долине  
Треснет лед порой...

Метеор зажжется,  
Озаряя снег...  
Шорох пронесется —  
Зверя легкий бег...

И опять — молчанье...  
В бледной мгле равнин,  
Затаив дыханье,  
Я стою один.

1896

### НА ДНЕПРЕ

За мирным Днепром, за горами  
Заря догорала светло,  
И тепел был воздух вечерний,  
И ясно речное стекло.

Вечернее алое небо  
Гляделось в зеркальный затон,  
И тихо под лодкой качался  
В бездонной реке небосклон...

Далекое, мирное счастье!  
Не знаю, кого я любил,  
Чей образ, и нежный и милый,  
Так долго я в сердце хранил.

Но сердце грустит и донныне...  
И помню тебя я, как сон —  
И близкой, и странно далекой,  
Как в светлой реке небосклон...

1896

### КИПАРИСЫ

Пустынная Яйла дымится облаками,  
В туманный небосклон ушла морская даль,  
Шумит внизу прибой, залив кипит волнами,  
А здесь — глубокий сон и вечная печаль.

Пусть в городе живых, у синего залива,  
Гремит и блещет жизнь... Задумчивой толпой  
Здесь кипарисы ждут — и строго, молчаливо  
Восходит Смерть сюда с добычей роковой.

Жизнь не смущает их, — минутная, дневная...  
Лишь только колокол вечерний с берегов  
Перекликается, звеня и занывая,  
С могильной стражею белеющих крестов.

1896

\* \* \*

В окошко из темной каюты  
Я высунул голову. Ночь.  
Кипящее черное море  
Потопом уносится прочь.

Над морем — тупая громада  
Стальной паровой стены.  
Торчу из нее и пьянею  
От зыбко бегущей волны.

И все забирает налево  
Покатая к носу стена,  
Хоть должен я верить, что прямо  
Свой путь пролагает она.

Все вкось чья-то сила уводит  
Наш темный полуночный гроб,  
Все будто на нас, а все мимо  
Несется кипящий потоп.

Одно только звездное небо,  
Один небосвод недвижим,  
Спокойный и благостный, чуждый  
Всему, что так мрачно под ним.

1896

\* \* \*

Вьется путь в снегах, в степи широкой.  
Вот — луга и над оврагом мост,  
Под горой — поселок одинокий,  
На горе — заброшенный погост.

Ни души в поселке; не краснеют  
Из-под крыш вечерние огни;  
Слепо срубы в сумерках чернеют...  
Знаю я,— покинуты они.

Пахнет в них холодною золою,  
В печку провалилася труба,  
И давно уж смотрит нежилою,  
Мертвой и холодною изба.

Под застрехи ветер жесткий дует,  
Сыплет снегом... Только он один  
О тебе, родимый край, тоскует  
Посреди пустых твоих равнин!

Путь бежит, в степи метель играет,  
Хмуρο сходит долгой ночи тень...  
О, пускай скорее умирает  
Этот жуткий, этот тусклый день!

1897

\* \* \*

Отчего ты печально, вечернее небо?  
Оттого ли, что жаль мне земли,  
Что туманно синее безбрежное море  
И скрывается солнце вдали?

Отчего ты прекрасно, вечернее небо?  
Оттого ль, что далеко земля,  
Что с прощальной грустью закат угасает  
На косых парусах корабля,

И шумят тихим шумом вечерние волны  
И баюкают песней своей  
Одинокое сердце и грустные думы  
В беспредельном просторе морей?

1897

### СЕВЕРНОЕ МОРЕ

Холодный ветер, резкий и упорный,  
Кидает нас, и тяжело грести;  
Но не могу я взоров отвести  
От бурных волн, от их пучины черной.

Они кипят, бушуют и гудят,  
В ухабах их, меж зыбкими горами,  
Качают чайки острыми крылами  
И с воплями над бездною скользят.

И ветер вторит диким завываньем  
Их жалобным, но радостным стенаньям,  
Потяжелее выбирает вал,

Напрягши грудь, на нем взметает пену  
И бьет его о каменную стену  
Прибрежных мрачных скал.

1897

## НА ХУТОРЕ

Свечи нагорели, долог зимний вечер...  
Сел ты на лежанку, поднял тихий взгляд —  
И звучит гитара удалю печальной  
Песне беззаботной, старой песне в лад.

«Где ты закатилось, счастье золотое?  
Кто тебя развеял по чистым полям?  
Не взойти над степью солнышку с заката,  
Нет пути-дороги к невозвратным дням!»

Свечи нагорели, долог зимний вечер...  
Брови ты приподнял, грустен тихий взгляд...  
Не судья тебе я за грехи былого!  
Не воротить жизни прожитой назад!

1897

\* \* \*

Скачет пристяжная, снегом обдает...  
Сонный зимний ветер надо мной поет,  
В полусне волнуясь, по полю бежит,  
Вместе с колокольчиком жалобно дрожит.

Эй, проснися, ветер! Подыми пургу,  
Задымись метелью белою в лугу,  
Загуди поземкой, закружись в степи,  
Крикни вместо песни: «Постыдись, не спи!»

Безотраден путь мой! Каждый божий день —  
Глушь лесов да холод-голод деревень...  
Стыдно мне и больно... Только стыд-то мой  
Слишком скоро гаснет в тишине немой!

Сонный зимний ветер надо мной поет,  
Усыпляет песней, воли не дает,  
Путь заносит снегом, по полю бежит,  
Вместе с колокольчиком жалобно дрожит...

1897

\* \* \*

Снова сон, пленительный и сладкий,  
Снится мне и радостью пьянит,—  
Милый взор зовет меня украдкой,  
Ласковой улыбкою манит.

Знаю я,— опять меня обманет  
Этот сон при первом блеске дня,  
Но пока печальный день настанет,  
Улыбнись мне — обмани меня!

1898

\* \* \*

Счастлив я, когда ты голубые  
Очи поднимаешь на меня:  
Светят в них надежды молодые —  
Небеса безоблачного дня.

Горько мне, когда ты, опуская  
Темные ресницы, замолчишь:  
Любишь ты, сама того не зная,  
И любовь застенчиво таишь.

Но всегда, везде и неизменно  
Близ тебя светла душа моя...  
Милый друг! О, будь благословенна  
Красота и молодость твоя!

1898

\* \* \*

Звезды ночью весенней нежнее,  
Соловьи осторожней поют...  
Я люблю эти темные ночи,  
Эти звезды, и клены, и пруд.

Ты, как звезды, чиста и прекрасна...  
Радость жизни во всем я ловлю —  
В звездном небе, в цветах, в ароматах...  
Но тебя я нежнее люблю.



Лишь с тобою одною я счастлив,  
И тебя не заменит никто:  
Ты одна меня знаешь и любишь,  
И одна понимаешь — за что!  
1898

### НА ДАЛЬНОМ СЕВЕРЕ

Так небо низко и уныло,  
Так сумрачно вдали,  
Как будто время здесь застыло,  
Как будто край земли.

Густое чахлое полесье  
Стоит среди болот,  
А там — угрюмо в поднебесье  
Уходит сумрак вод.

Уж ночь настала, но свинцовый  
Дневной не меркнет свет.  
Немая тишь в глуши сосновой,  
Ни звука в море нет.

И звезды тускло, недвижимо  
Горят над головой,  
Как будто их зажег незримо  
Сам ангел гробовой.

1898

### ПЛЕЯДЫ

Стемнело. Вдоль аллея, над сонными прудами,  
Бреду я наугад.  
Осенней свежестью, листвою и плодами  
Благоухает сад.

Давно он поредел,— и звездное сиянье  
Белеет меж ветвей.  
Иду я медленно,— и мертвое молчанье  
Царит во тьме аллея.

И звонок каждый шаг среди ночной прохлады.  
И царственным гербом  
Горят холодные алмазные Плеяды  
В безмолвии ночном.

1898

\* \* \*

И вот опять уж по зарям  
В выси, пустынной и привольной,  
Станицы птиц летят к морям,  
Чернея цепью треугольной.

Ясна заря, безмолвна степь,  
Закат алеет, разгораясь...  
И тихо в небе эта цепь  
Плывет, размеренно качаясь.

Какая даль и вышина!  
Глядишь — и бездной голубою  
Небес осенних глубина  
Как будто тает над тобою.

И обнимает эта даль,—  
Душа отдаться ей готова,  
И новых, светлых дум печаль  
Освобождает от земного.

1898

\* \* \*

Листья падают в саду...  
В этот старый сад, бывало,  
Ранним утром я уйду  
И блуждаю, где попало.  
Листья кружатся, шуршат,  
Ветер с шумом налетает —  
И гудит, волнуясь, сад  
И угрюмо замирает.  
Но в душе — все веселей!  
Я люблю, я молод, молод:

Что мне этот шум аллея  
И осенний мрак и холод?  
Ветер вдаль меня влечет,  
Звонко песнь мою разносит,  
Сердце страстно жизни ждет,  
Счастья просит!

Листья падают в саду,  
Пара кружится за парой...  
Одиноко я бреду  
По листве в аллее старой.  
В сердце — новая любовь,  
И мне хочется ответить  
Сердцу песнями — и вновь  
Беззаботно счастье встретить.  
Отчего ж душа болит?  
Кто грустит, меня жалея?  
Ветер стонет и пылит  
По березовой аллее,  
Сердце слезы мне теснят,  
И, кружась в саду угрюмом,  
Листья желтые летят  
С грустным шумом!

1898

\* \* \*

Таинственно шумит лесная тишина,  
Незримо по лесам поет и бродит Осень...  
Темнеет день за днем,— и вот опять слышна  
Тоскующая песнь под звон угрюмых сосен.

«Пусть по ветру летит и кружится листва,  
Пусть заметет она печальный след былого!  
Надежда, грусть, любовь — вы, старые слова,  
Как блеклая листва, не расцветете снова!»

Угрюмо бор гудит, несутся листья вдаль...  
Но в шумном ропоте и песне безнадежной  
Я слышу жалобу: в ней тихая печаль,  
Укор былой весне,— и ласковый, и нежный.

И далеко еще безмолвная зима...  
Душа готова вновь волненьям предаваться,  
И сладко ей грустить и грустью упиваться,  
Не внемля голосу ума.

1898

\* \* \*

В пустынной вышине,  
В открытом океане небосклона  
Восток сияет ясной бирюзой.  
В степной дали  
Погасло солнце холодно и чисто,  
Свеж, звонок воздух над землей.  
И тишина царит,—  
Молчание осеннего заката  
И обнаженных черных тополей...  
Как хороши пустынные аллеи!

Иду на юг,  
Смотрю туда, где я любил когда-то,  
Где грусть моя далекая живет...  
А там встают,  
Там медленно плывут и утопают  
В глубоком океане небосклона,  
Как снеговые горы, облака...  
Как холодны и чисты изваянья  
Их девственных алеющих вершин!  
Как хороши безлюдные равнины!

Багряная листва,  
Покрытая морозною росой,  
Шуршит в аллее под моей ногой...  
Вот меркнет даль,  
Темнеет сад, краснее запад рдеет,  
В холодной и безмолвной красоте  
Все застывает, медленно мертвея,  
И веет холод ночи на меня,  
И я стою, безмолвием объятый...  
Как хороша, как одинока жизнь!

1898

\* \* \*

Беру твою руку и долго смотрю на нее,  
Ты в сладкой истоме глаза поднимаешь несмело:  
Вот в этой руке — все твое бытие,  
Я всю тебя чувствую — душу и тело.

Что надо еще? Возможно ль блаженнее быть?  
Но Ангел мятежный, весь буря и пламя,  
Летящий над миром, чтоб смертную страстью губить,  
Уж мчитя над нами!

1898

\* \* \*

Поздно, склонилась луна,  
Море к востоку черно, тяжело,  
А под луною, на юг,  
Блещет оно, как стекло.

Там, под усталой луной,  
У озаренных песков и камней,  
Что-то темнеет, рябит  
В неводе сонных лучей.

Там, под усталой луной,  
У позлащенных камней и песков,  
Чудища моря ползут,  
Двигается много голов.

Поздняя ночь, мы одни  
В этой степной и безлюдной стране,  
В мертвом молчаньи ее,  
При заходящей луне.

Поздняя ночь все свежей,  
Звезды все глубже, синей небосклон,  
Дикою пахнет травой.  
Запахом древних времен.

И холодеют пески,  
Холодны милые руки твои...

К югу склонилась луна.  
Выпита чаша до дна,  
Древняя чаша любви.  
1898

\* \* \*

Я к ней вошел в полночный час.  
Она спала — луна сияла  
В ее окно — и одеяла  
Светился спущенный атлас.

Она лежала на спине,  
Нагие раздвоивши груди,—  
И тихо, как вода в сосуде,  
Стояла жизнь ее во сне.  
1898

\* \* \*

При свете звезд померкших глаз сиянье,  
Косящий блеск меж гробовых ресниц,  
И сдавленное знойное дыханье,  
И это сердце — сердце диких птиц!  
1898

\* \* \*

Все лес и лес. А день темнеет;  
Низы синеют, и трава  
Седой росой в лугах белеет...  
Проснулась серая сова.

На запад сосны вереницей  
Идут, как рать сторожевых,  
И солнце мутное Жар-Птицей  
Горит в их дебрях вековых.  
1899

\* \* \*

Как светла, как нарядна весна!  
Погляди мне в глаза, как бывало,  
И скажи: отчего ты грустна?  
Отчего ты так ласкова стала?

Но молчишь ты, слаба, как цветок...  
О, молчи! Мне не надо признанья:  
Я узнал эту ласку прощанья,—  
Я опять одиноки!

1899

\* \* \*

Нынче ночью кто-то долго пел.  
Далеко скитаясь в темном поле,  
Голос грустной удалью звенел,  
Пел о прошлом счастье и о воле.

Я открыл окно и сел на нем.  
Ты спала... Я долго слушал жадно...  
С поля пахло рожью и дождем,  
Ночь была душиста и прохладна.

Что в душе тот голос пробудил,  
Я не знаю... Но душа грустила,  
И тебя так нежно я любил,  
Как меня когда-то ты любила.

1899

\* \* \*

Зеленоватый свет пустынной лунной ночи,  
Далеко под горой — морской пустынный блеск...  
Я слышу на горах осенний ветер в соснах  
И под обрывом скал — невнятный шум и плеск.

Порою блеск воды, как медный щит, светлеет.  
Порой тускнеет он и зыбью взор томит...  
Как в полусне сажу... Осенний ветер веет  
Соленой свежестью — и все кругом шумит.

И в шорохе глухом и гуле горных сосен  
Я чувствую тоску их безнадежных дум,  
А в шумном плеске волн — лишь холод лунной ночи  
Да мертвый плеск и шум.

1899

\* \* \*

Враждебных полон тайн на взгорье спящий лес.  
Но мирно розовый мерцает Антарес  
На южных небесах, куда прозрачным дымом  
Нисходит Млечный Путь к лугам необозримым.  
С опушки на луга гляжу из-под ветвей,  
И дышит ночь теплом, и сердце верит ей,—  
Колосьям божьих нив, на гнездах смолкшим птицам,  
Мерцанью кротких звезд и ласковым зарницам,  
Играющим огнем вокруг немой земли  
Пред взором путника, звенящего вдали  
Валдайским серебром, напевом беззаботным  
В просторе полевом, спокойном и дремотном.

1900

\* \* \*

Загрепетали звезды в небе,  
И от зари, из-за аллея,  
Повеял чистый, легкий ветер  
Весенней свежестью полей.

К закату, точно окрыленный,  
Спешу за ним, и жадно грудь  
Его вечерней ласки ищет  
И счастья в жизни потонуть.

Не верю, что умру, устану,  
Что навсегда в земле усну,—  
Нет,— упоенный счастьем жизни,  
Я лишь до солнца отдохну!

1900

\* \* \*

Нет солнца, но светлы пруды,  
Стоят зеркалами литыми,  
И чаши недвижной воды



Совсем бы казались пустыми,  
Но в них отразились сады.

Вот капля, как шляпка гвоздя,  
Упала — и, сотнями игол  
Затоны прудов бороздя,  
Сверкающий ливень запрыгал —  
И сад зашумел от дождя.

И ветер, играя листвою,  
Смешал молодые березки.  
И солнечный луч, как живой,  
Зажег задрожавшие блески,  
А лужи налил синевой.

Вон радуга... Весело жить  
И весело думать о небе,  
О солнце, о зреющем хлебе  
И счастьем простым дорожить:

С открытой бродить головой,  
Глядеть, как рассыпали дети  
В беседке песок золотой...  
Иного нет счастья на свете.

*1900*

### **ЛИСТОПАД**

Лес, точно терем расписной,  
Лиловый, золотой, багряный,  
Веселой, пестрою стеной  
Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой  
Блестят в лазури голубой,  
Как вышки, елочки темнеют,  
А между кленами синеют  
То там, то здесь в листве сквозной  
Просветы в небо, что оконца.  
Лес пахнет дубом и сосной,  
За лето высох он от солнца,

И Осень тихою вдовой  
Вступает в пестрый терем свой.

Сегодня на пустой поляне,  
Среди широкого двора,  
Воздушной паутины ткани  
Блестят, как сеть из серебра.  
Сегодня целый день играет  
В дворе последний мотылек  
И, точно белый лепесток,  
На паутине замирает,  
Пригретый солнечным теплом;  
Сегодня так светло кругом,  
Такое мертвое молчанье  
В лесу и в синей вышине,  
Что можно в этой тишине  
Расслышать листика шуршанье.  
Лес, точно терем расписной,  
Лиловый, золотой, багряный,  
Стоит над солнечной поляной,  
Завороженный тишиной;  
Заквохчет дрозд, перелетая  
Среди подседа, где густая  
Листва янтарный отблеск льет;  
Играя, в небе промелькнет  
Скворцов рассыпанная стая —  
И снова все кругом замрет.

Последние мгновенья счастья!  
Уж знает Осень, что такой  
Глубокий и немой покой —  
Предвестник долгого ненастья.  
Глубоко, странно лес молчал  
И на заре, когда с заката  
Пурпурный блеск огня и злата  
Пожаром терем освещал.  
Потом угрюмо в нем стемнело.  
Луна восходит, а в лесу  
Ложатся тени на росу...  
Вот стало холодно и бело  
Среди полян, среди сквозной  
Осенней чащи помертвелой,  
И жутко Осени одной  
В пустынной тишине ночной.

Теперь уж тишина другая:  
Прислушайся — она растет,  
А с нею, бледностью пугая,  
И месяц медленно встает.  
Все тени сделал он короче,  
Прозрачный дым навел на лес  
И вот уж смотрит прямо в очи  
С туманной высоты небес.  
О мертвый сон осенней ночи!  
О жуткий час ночных чудес!  
В сребристом и сыром тумане  
Светло и пусто на поляне;  
Лес, белым светом залитой,  
Своей застывшей красотой  
Как будто смерть себе пророчит;  
Сова, и та молчит: сидит,  
Да тупо из ветвей глядит,  
Порою дико захохочет,  
Сорвется с шумом с высоты.  
Взмахнувши мягкими крылами,  
И снова сядет на кусты  
И смотрит круглыми глазами,  
Водя ушастой головой  
По сторонам, как в изумленьи;  
А лес стоит в оцепененьи,  
Наполнен бледной, легкой мглой  
И листьев сыростью гнилой...

Не жди: наутро не проглянет  
На небе солнце. Дождь и мгла  
Холодным дымом лес туманят, —  
Недаром эта ночь прошла!  
Но Осень затаит глубоко  
Все, что она пережила  
В немую ночь, и одиноко  
Запрется в тереме своем:  
Пусть бор бушует под дождем,  
Пусть мрачны и ненастны ночи  
И на поляне волчьи очи  
Зеленым светятся огнем!  
Лес, точно терем без призора,  
Весь потемнел и полинял,  
Сентябрь, кружась по чашам бора,  
С него местами крышу снял  
И вход сырой листвой усыпал;

А там зазимок ночью выпал  
И таять стал, все умертвив...

Трубят рога в полях далеких;  
Звенит их медный перелив,  
Как грустный вопль, среди широких  
Ненастных и туманных нив.  
Сквозь шум деревьев, за долиной,  
Теряясь в глубине лесов,  
Угрюмо воет рог туриний,  
Скликаая на добычу псов,  
И звучный гам их голосов  
Разносит бури шум пустынный.  
Льет дождь, холодный, точно лед,  
Кружатся листья по полянам,  
И гуси длинным караваном  
Над лесом держат перелет.  
Но дни идут. И вот уж дымы  
Встают столбами на заре,  
Леса багряны, недвижимы,  
Земля в морозном серебре,  
И в горностаевом шугае,  
Умывши бледное лицо,  
Последний день в лесу встречая,  
Выходит Осень на крыльцо.  
Двор пуст и холоден. В ворота,  
Среди двух высохших осин,  
Видна ей синева долин  
И ширь пустынного болота,  
Дорога на далекий юг:  
Туда от зимних бурь и выюг,  
От зимней стужи и метели  
Давно уж птицы улетели;  
Туда и Осень поутру  
Свой одинокий путь направит  
И навсегда в пустом бору  
Раскрытый терем свой оставит.

Прости же, лес! Прости, прощай!  
День будет ласковый, хороший,  
И скоро мягкою порошей  
Засеребрится мертвый край.  
Как будут странны в этот белый,  
Пустынный и холодный день  
И бор, и терем опустелый,  
И крыши тихих деревень,

И небеса, и без границы  
В них уходящие поля!  
Как будут рады соболя,  
И горностаи, и куницы,  
Резвясь и греясь на бегу  
В сугробах мягких на лугу!  
А там, как буйный пляс шамана,  
Ворвутся в голую тайгу  
Ветры из тундры, с океана,  
Гудя в крутящемся снегу  
И завывая в поле зверем,  
Они разрушат старый терем,  
Оставят кольца и потом  
На этом острове пустом  
Повесят инеи сквозные,  
И будут в небе голубом  
Сиять чертоги ледяные  
И хрусталем и серебром.  
А в ночь, меж белых их разводов,  
Взойдут огни небесных сводов,  
Заблещет звездный щит Стожар —  
В тот час, когда среди молчанья  
Морозный светится пожар,  
Расцвет Полярного Сиянья!

1900

### НА РАСПУТЬЕ

На распутье в диком древнем поле  
Черный ворон на кресте сидит.  
Заросла бурьяном степь на воле,  
И в траве заржавел старый щит.

На распутье люди начертали  
Роковую надпись: «Путь прямой  
Много бед готовит, и едва ли  
Ты по нем воротишься домой.

Путь направо без коня оставит, —  
Побредешь один и сир и наг, —  
А того, кто влево путь направит,  
Встретит смерть в неизвестных полях...»

Жутко мне! Вдали стоят могилы...  
В них бывшее дремлет вечным сном...  
«Отзовися, ворон чернокрылый!  
Укажи мне путь в краю глухом».

Дремлет полдень. На тропах звериных  
Тлеют кости в травах. Три пути  
Вижу я в желтеющих равнинах...  
Но куда и как по ним идти?

Где равнина дикая граничит?  
Кто, пугая чуткого коня,  
В тишине из синей дали кличет  
Человечьим голосом меня?

И один я в поле, и отважно  
Жизнь зовет, а смерть в глаза глядит...  
Черный ворон сумрачно и важно,  
Полусонный, на кресте сидит.

*1900*

## **ВИРЬ**

Где ельник сумрачный стоит  
В лесу зубчатом темным строем,  
Где старый позабытый скит  
Манит задумчивым покоем,

Есть птица Вирь. Ее убор  
Весь серо-аспидного цвета,  
Головка в хохолке, а взор  
Исполнен скорбного привета.

Она так жалостно поет,  
С такою нежностью глубокой,  
Что, если к скиту забредет  
Случайно путник одинокий,

Он не покинет те места:  
Лес молчаливый и унылый  
И скорбной песни красота  
Полны неотразимой силы!

И вот, когда в лесу пустом  
Горит заря, а ельник черный  
Стоит на фоне золотом  
Стеною траурно-узорной,

С какой отрадой ловит он  
Все, что зарей еще печальней:  
Вечерний колокольный звон,  
Напевы женщин в роще дальней,

И гул сосны, и ветерка  
Однообразный шелест в чаще...  
Невыразима их тоска,  
И нет ее больней и слаще!

Когда же лес, одетый тьмой,  
Сгустится в ней, и тьма сольется  
С его могильной бахромой, —  
Вирь в темноте тревожно вьется,

В испуге бьется средь ветвей,  
Тоскливо стонет и рыдает,  
И тем тоскливей, тем грустней,  
Чем человек больней страдает...

1900

### ПОСЛЕДНЯЯ ГРОЗА

Не прохладой, не покоем,  
А истомою и зноем  
Ночь с горячих пашен веет:  
Хлеб во мраке ночи зреет.

Обступают осторожно  
Небо тучи, и тревожно,  
Точно жар и бред недуга,  
Набегает ветер с юга.  
Шелестя и торопливо  
Волны ветра ловит нива,  
Страстным шопотом привета  
Провожает их, — и мнится:  
Ночь прощается тоскливо  
С лаской пламенного лета,  
Разметалась и томится...

Блеск зарниц ей точно снится,  
Мрак растет над ней кошмаром,  
И когда всю степь пожаром  
Красный сполох озаряет, —  
В поле чей-то призрак темный.  
Величавый и огромный,  
На мгновенье вырастает,  
Чьи-то очи ярко блещут,  
Содрогаясь от усилья,  
И раскинутые крылья  
За плечом его трепещут.

Как тот блеск ее пугает!  
Точно в страхе пробегает  
Знойный шелест по бурьяну...  
Быть большому урагану!  
Уж над этим смутным шумом  
Все слышней, как за горою  
Дальний гром ворчит порою,  
Как в величии угрюмом,  
Потрясая своды неба,  
Он проходит тяжким гулом  
Над шумящим морем хлеба...

Скоро бешеным разгулом  
В поле ветер понесется,  
Скоро гром смелее грянет,  
Жутким блеском даль зажжется,  
Ночь испуганно воспрянет,  
Ночь порывисто очнется —  
И обильными слезами  
Вся тоска ее прольется!

А наутро над полями  
Солнце грустно улыбнется, —  
Озарит их на прощанье,  
И на нивы, на селенья  
Ляжет кроткое смиренье  
Тишины и увяданья.

1900

### **В ОТЪЕЗЖЕМ ПОЛЕ**

Сумрак ночи к западу уходит,  
Серой мглой над черной пашней бродит,  
По бурьянам стелется к земле...



Звезды стали тусклы и далеки,  
Небеса — туманны и глубоки,  
Но восток уж виден в полумгле.

Лошади продрогли. Север дышит  
Ветром ночи и полынь колышет...  
Вот и солнце.— В колеях дорог  
Грязь чернеет, лужи заалели...  
Томно псы голодные запели...  
Встань, труби в холодный, звонкий рог!

1900

### ПОСЛЕ ПОЛОВОДЬЯ

Прошли дожди, апрель теплеет.  
Всю ночь — туман, а поутру  
Весенний воздух точно млеет  
И мягкой дымкою синее  
В далеких просеках в бору.

И тихо дремлет бор зеленый.  
И в серебре лесных озер —  
Еще стройней его колонны,  
Еще свежее сосен кроны  
И нежных лиственниц узор!

1900

\* \* \*

Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет;  
Колокольчики ландышей в чаще зеленой цветут;  
На рассвете в долинах теплом и черемухой веет,  
Соловьи до рассвета поют.

Скоро Троицын день, скоро песни, венки и покосы...  
Все цветет и поет, молодые надежды тая...  
О весенние зори и теплые майские росы!  
О далекая юность моя!

1900

\* \* \*

Не угас еще вдали закат,  
И листва сквозит узором четким,  
А под ней уж серебрится сад  
Светом и таинственным, и кротким:

Народился месяц молодой.  
Робко он весенними зарями  
Светит над зеркальной водой,  
По садам сияя меж ветвями.

Тихий пруд среди кудрявых верб  
Озарился, блестками играя...  
Но настала ночь — и лунный серп  
Угасает, точно умирая.

Завтра он зарею выйдет вновь  
И опять напомнит, одинокий,  
Мне весну и первую любовь  
И твой образ, милый и далекий...

1900

\* \* \*

Когда деревья в светлый майский день  
Дорожки осыпают белым цветом,  
И ветерок в аллее, полной светом,  
Струит листвы узорчатую тень,  
Я свой привет из тихих деревень  
Шлю девушкам и юношам-поэтам:  
Пусть встретит жизнь их ласковым приветом,  
Пусть будет светел их весенний день.  
Пусть их мечты развеет белым цветом!

1900

\* \* \*

Лес шумит невнятным, ровным шумом...  
Лепет листьев клонит в сон и лень...  
Петухи в далекой караулке  
Распевают про весенний день.

Лес шумит невнятным, сладким шумом...  
Хорошо и беззаботно мне  
На траве, среди берез зеленых,  
В тихой и безвестной стороне!

1900

\* \* \*

Влали еще гремит, но тучи уж свалились,  
Как горы дымные, идут они на юг.  
Опять лазурь ясна, опять весна вокруг,  
И ярким солнцем чащи озарились.

Из-за лесных вершин далекой церкви шпиг  
Горячим золотом трепещет и сверкает,  
Звенят в низах ручьи, и льется пенье птиц,  
А на полянах снова припекает.

Густеет облаков волнистое руно;  
Они сдвигаются, спускаются все ниже —  
И вот уж солнца нет; опять в лесу темно,  
Дождь зашумел — и все слышней и ближе.

Наохлясь, птицы спят, и тихо лес стоит  
И точно чувствует, счастливый и покорный,  
Как много свежести и силы благотворной  
Весенняя гроза в себе таит!

1900

\* \* \*

Еще утро не скоро, не скоро,  
Ночь из тихих лесов не ушла.  
Под навесами сонного бора —  
Предрассветная теплая мгла.

Еще ранние птицы не пели,  
Чуть сереют вверху небеса,  
Влажно-зелены темные ели,  
Пахнет летнею хвоей роса.

И пускай не светает подольше.  
Этот медленный путь по лесам,  
Эта ночь — не воротится больше,  
Но легко пред разлукою нам...

Колокольчик в молчании бора  
То замрет, то опять запоет...  
Тихо ночь по долинам идет...  
Еще утро не скоро, не скоро.  
1906

### ПО ВЕЧЕРНЕЙ ЗАРЕ

Засинели, темнеют равнины...  
Далеко, далеко в тишине  
Колокольчик поет, замирая...  
Мне грустней и больнее вдвойне.

Вот уж звук его плачет чуть слышно;  
Вот и пыль над простором немым,  
По широкой пустынной дороге,  
Опускаясь, темнеет, как дым...

Но душа еще ждет и тоскует...  
О, зачем ты и ночью и днем  
Вспоминаешься мне так призывно?  
Отчего ты везде и во всем?

Вслед заре, уходящей к закату,  
Умирающим звукам вослед  
Посылаю тебе мою душу,—  
Мой печальный и нежный привет!  
1900

\* \* \*

Ночь печальна, как мечты мои.  
Далеко в глухой степи широкой  
Огонек мерцает одинокий...  
В сердце много грусти и любви.

Но кому и как расскажешь ты,  
Что зовет тебя, чем сердце полно!  
— Путь далек, глухая степь безмолвна.  
Ночь печальна, как мои мечты.  
1900

## РАССВЕТ

Высоко поднялся и белеет  
Полумесяц в бледных небесах.  
Сумрак ночи прячется в лесах.  
Из долин зеленых утром веет.

Веет юной радостью с полей.  
Льется, как серебряное пенье,  
Звон костела, славя воскресенье...  
Разгорайся, новый день, светлей!

Выйди в небо, солнце, без ненастья,  
Возродися в блеске и тепле,  
Возвести опять по всей земле,  
Что вся жизнь — день радости и счастья!

*1900*

## РОДНИК

В глуши лесной, в глуши зеленой,  
Всегда тенистой и сырой,  
В крутом овраге под горой  
Бьет из камней родник студеный:

Кипит, играет и спешит,  
Крутятся хрустальными клубами,  
И под ветвистыми дубами  
Стеклом расплавленным бежит.

А небеса и лес нагорный  
Глядят, задумавшись в тиши,  
Как в светлой влаге голыши  
Дрожат мозаикой узорной.

*1900*

## УЧАН-СУ

Свежее, слаше воздух горный.  
Невнятный шум идет в лесу:  
Поет веселый и проворный,  
Со скал летящий Учан-Су!  
Глядишь — и, точно застывая,  
Но в то же время ропот свой,

Свой легкий бег не прерывая, —  
Прозрачной пылью снеговой  
Несется вниз струя живая, —  
Как тонкий флер, сквозит огнем,  
Скользит со скал фатой венчальной  
И вдруг и пеной и дождем  
Свергаясь в черный водоем,  
Бушует влагою хрустальной...

1900

### ЗНОИ

Горячо сухой песок сверкает,  
Сушит зной на камнях невода.  
В море — штиль, и ласково плескает  
На песок хрустальная вода.

Чайка в светлом воздухе блеснула...  
Тень ее спустилась надо мной —  
И в сияньи солнца потонула...  
Клонит в сон и ослепляет зной...

И лежу я, упоенный зноем.  
Снится сад мне и прохладный грот,  
Кипарисы неподвижным строем  
Стерегут там звонкий водомет.

Старый мрамор под ветвями тисов  
Молодыми розами увит,  
И горит залив меж кипарисов,  
Точно синим пламенем налит...

1900

### СУМЕРКИ

Все — точно в полусне. Над серою водой  
Сползает с гор туман, холодный и густой.  
Под ним гудит прибой, зловеще разрастаясь,  
А темных голых скал прибрежная стена,  
В дымящийся туман погружена,  
Лениво курится, во мгле небес теряясь.

Суров и дик ее могучий вид!  
Под шум и гул морской она в дыму стоит,

Как неугасший жертвенник титанов,  
И Ночь, спускаясь с гор, вступает точно в храм,  
Где мрачный хор поет в седых клубах туманов  
Торжественный хорал неведомым богам.

1900

\* \* \*

На мертвый якорь кинули бакан,  
И вот, среди кипящего залива,  
Он прыгает и мечется тоскливо,  
И звон его несется сквозь туман.

Осенний мрак сгущается вдаль,  
Подходит ночь, — и по волнам тяжелым  
Ныряют и качаются за молом  
Рыбачьи пустые корабли.

И мачты их средь темной высоты  
Чертят туман все шире и быстрее,  
И плавают среди тумана рей,  
Как черные могильные кресты.

1900

\* \* \*

К побережью моря длинная аллея  
Ведет вдаль как будто в небосклон:  
Там море подымается, синяя  
Меж позабытых мраморных колонн.

Там на прибой идут ступени стройно  
И львы лежат, как сфинксы, над горой;  
Далеко в море важно и спокойно  
Они глядят вечернею порой.

А на скамье меж ними одиноко  
Сидит она... Нет имени для ней,  
Но знаю я, что нежно и глубоко  
Она с душой сроднилась моей.

Я ль не любил? Я ль не искал мятежно  
Любви и счастья юность разделить

С душою женской, чистою и нежной,  
И жизнь мою в другую перелить?

Но та любовь, что душу посещала,  
Оставила в душе печальный след, —  
Она звала, она меня прельщала  
Той радостью, которой в жизни нет.

И от нее я взял воспоминанья  
Лишь лучших дней и уж не ту люблю,  
Кого любил... Люблю мечты созданья  
И снова о несбыточном скорблю.

Вечерняя безмолвная аллея  
Зовет меня к скалистым берегам,  
Где море подымается, синяя,  
К пустынным и далеким небесам.

И горько я и сладостно тоскую,  
И грезится мне светлая мечта,  
Что воскресит мне радость неземную  
Печальная земная красота.

1900

\* \* \*

Открыты жнивья золотые,  
И светлой кажутся мечтой  
Простор небес, поля пустые  
И день, прохладный и пустой.

Орел, с дозорного кургана  
Взмахнувший в этой пустоте,  
Как над равниной океана  
Весь четко виден в высоте.

И на кургане одиноком,  
Сдержав горячего коня,  
Степь от заката до востока  
В прозрачной дали вижу я.

Как низко, вольно и просторно  
Степных отав раскинут круг!  
И как легко фатой узорной  
Плывут два облачка на юг!

1900



## РУЧЕЙ

Ручей среди сухих песков...  
Куда спешит и убегает?  
Зачем меж скудных берегов  
Так стойко путь свой пролагает?

От зноя бледен небосклон,  
Ни облачка в лазури жаркой;  
Весь мир как будто заключен  
В песчаный круг в пустыне яркой.

А он, прозрачен, говорлив,  
Он словно знает, что с востока  
Придет он к морю, где залив  
Пред ним раскроет даль широко —

И примет светлую струю,  
Под вольной ширью небосклона,  
В безбрежность синюю свою,  
В свое торжественное лоно.

1901

\* \* \*

На высоте, на снеговой вершине,  
Я вырезал стальным клинком сонет.  
Проходят дни. Быть может, и доныне  
Снега хранят мой одинокий след.

На высоте, где небеса так сини,  
Где радостно сияет зимний свет,  
Глядело только солнце, как стилет  
Чертил мой стих на изумрудной льдине.

И весело мне думать, что поэт  
Меня поймет. Пусть никогда в долине  
Его толпы не радует привет!

На высоте, где небеса так сини,  
Я вырезал в полдневный час сонет  
Лишь для того, кто на вершине.

1901

\* \* \*

Еще и холоден и сыр  
Февральский воздух, но над садом  
Уж смотрит небо ясным взглядом,  
И молодеет божий мир.

Прозрачно-бледный, как весной,  
Слезится снег недавней стужи,  
А с неба на кусты и лужи  
Ложится отблеск голубой.

Не налюбуюсь, как сквозят  
Деревья в лоне небосклона,  
И сладко слушать у балкона,  
Как снегири в кустах звенят.

Нет, не пейзаж влечет меня,  
Не краски жадный взор подметит,  
А то, что в этих красках светит:  
Любовь и радость бытия.

1901

\* \* \*

Высоко в просторе неба,  
Все сияя белизною,  
Вышло облачко на полдень  
Над равниной водяною.

Из болот оно восстало,  
Из холодного тумана —  
И замлело, засияло  
В синей стали океана...

— Не затем ли ты возникло,  
Чтобы в вечном отразиться?  
Не затем ли ввысь стремилось,  
Чтоб под солнцем раствориться?

Вышло облачко высоко,  
Стало тонкое, сквозное,  
Улыбнулось одиноко —  
И угасло в ярком зное.

1901

\* \* \*

Был поздний час — и вдруг над темнотою,  
Высоко над уснувшею землею,  
Прорезав ночь оранжевой чертой,  
Взвилась ракета бешеной змеєю.

Стремительный порыв ее вознес.  
Но миг один — и в темноту, в забвенье  
Уже текут алмазы крупных слез,  
И медленно их тихое паденье.

1901

\* \* \*

Раскрылось небо голубое  
Меж облаков в апрельский день.  
В лесу все серое, сухое,  
И паутиной пала тень.

Змея, шурша листвою дубовой,  
Зашевелилася в дупле  
И в лес пошла, блестя лиловой,  
Пятнистой кожей по земле.

Сухие листья, запах пряный,  
Атласный блеск березняка...  
О миг счастливый, миг обманный,  
Стократ блаженная тоска!

1901

\* \* \*

Мил мне жемчуг нежный, чистый дар морей!  
В лоне океана, в раковине тесной,  
Рос он одиноко, как цветок безвестный,  
На обломках мшистых мертвых кораблей.

Бурею весенней выброшен со дна,  
Он лежал в прибое на побережье диком,  
Где носились чайки над водою с криком,  
Где его качала шумная волна...

Мил мне жемчуг нежный на груди твоей!  
Сладко упиваясь юной красотой,  
В светлом божьем мире я брожу мечтою, —  
В небе, в блеске солнца, в тишине морей,

С перлами морскими под водой цвету,  
Рассыпаюсь в рифах влагой голубою —  
И одно есть счастье: разделить с тобою  
Эту радость жизни, эту красоту!

1901

\* \* \*

Дымится поле, рассвет белеет,  
В степи туманной кричат орлы,  
И дико звонок их плач голодный  
Среди холодной плывучей мглы.

В росе их крылья, в росе бурьяны,  
Благоухают поля со сна...  
Зарю сладок твой бодрый холод,  
Твой томный голод, — твой зов, весна!

Ты победила, — вся степь дымится,  
Над степью властно кричат орлы,  
И тучи жарким горят пожаром,  
И солнце шаром встает из мглы!

1901

\* \* \*

Гроза прошла над лесом стороною.  
Был теплый дождь, в траве стоит вода...  
Иду один тропинкою лесною,  
И в синеве вечерней надо мною  
Слезую светлой искрится звезда.

Иду — и вспоминается мерцанье  
Мне звезд иных... глубокий мрак ресниц,  
И ночь, и тучи жаркое дыханье,  
И молодой грозы благоуханье,  
И трепет замирающих зарниц...

Все пронеслось, как бурный вихрь весною,  
И все в душе я сохраняю, любя...  
Слезою светлой блещет надо мною  
Звезда весны за чашей кружевною...  
Как я любил тебя!

1901

### В СТАРОМ ГОРОДЕ

С темной башни колокол уныло  
Возвещает, что закат угас.  
Вот и снова город ночь сокрыла  
В мягкий сумрак от усталых глаз.

И нисходит кроткий час покоя  
На дела людские. В вышине  
Грустно светят звезды. Все земное  
Смерть, как страж, обходит в тишине.

Улицей бредет она пустынной,  
Смотрит в окна, где чернеет тьма...  
Всюду глухо. С важностью старинной  
В переулках высятся дома.

Там в садах платаны зацветают,  
Нежно веет раннею весной,  
А на окнах девушки мечтают,  
Упиваясь свежестью ночной,

И в молчаньи только им не страшен  
Близкой смерти медленный дозор,  
Сонный город, думы черных башен  
И часов задумчивый укор.

1901

\* \* \*

Отошли закаты на далекий север,  
Но всю ночь хранится солнца алый след.  
Тихо в темном поле, сладко пахнет клевер,  
Над землею брезжит слабый полусвет.

Это — ночи робких молодых мечтаний,  
Предрассветный сумрак в чутком полусне.  
Это — ночи грусти и воспоминаний,  
Думы на закате о былой весне.

1901

\* \* \*

Облака, как призраки развалин,  
Встали на заре из-за долин.  
Теплый вечер темен и печален,  
В темном доме я совсем один.

Слабым звоном люстра отвечает  
На шаги по комнате пустой...  
А вдали заря зарю встречает,  
Ночь зовет бессмертной красотой.

1901

### ЭЛЕГИЯ

Стояли ночи северного мая,  
И реял в доме бледный полусвет.  
Я лег уснуть, но, тишине внимая,  
Все вспоминал о грезах прежних лет.

Я вновь грустил, как в юности далекой,  
И слышал я, как ты вошла в мой дом, —  
Неуловимый призрак, одинокий  
В старинном зале, низком и пустом.

Я различал за шелестом одежды  
Твои шаги в глубокой тишине —  
И сладкие забытые надежды,  
Мгновенные, стеснили сердце мне.

Я уловил из окон свежесть мая,  
Глядел во тьму с тревогой прежних лет...  
И призрак твой и тишина немая  
Сливались в грустный, бледный полусвет.

1901

## НА МОНАСТЫРСКОМ КЛАДБИЩЕ

Ударил колокол — и дрогнул сон гробниц,  
И голубей испуганная стая  
Вдруг поднялась с карнизов и бойниц  
И закружилась, крыльями блистая,  
Над мшистою стеной монастыря...

О, ранний благовест и майская заря!  
Как этот звон, могучий и тяжелый,  
Сливается с открытой и веселой  
Равниной зеленеющих полей!  
Ударил колокол — и стала ночь светлей,  
И позабыты старые гробницы,  
И кельи тесные, и страхи темноты, —  
Душа, затрепетав, как крылья вольной птицы,  
Коснулась солнечной поющей высоты!

1901

## КЕДР

Темный кедр растет среди долины, —  
Я люблю долины тихих гор, —  
Видит он далекие вершины  
И глядится в зеркало озер.

Темный кедр один в горах тоскует, —  
Я люблю печаль весенних дней, —  
А кругом зеленый лес ликует  
И цветут фиалки у корней.

Божий мир люблю я, — в вечной смене  
Он живет и красотой цветет...  
Как поверить злобе иль измене?  
Темный час проходит и пройдет!

Темный кедр растет среди долины, —  
Расцветай, наперекор судьбе!  
Быстро дни идут, но ни единый  
Не пройдет без думы о тебе!

1901

\* \* \*

Зеленый цвет морской воды  
Сквозит в стеклянном небосклоне,  
Алмаз предутренней звезды  
Блестит в его прозрачном лоне.

И, как ребенок после сна,  
Дрожит звезда в огне денницы,  
А ветер дует ей в ресницы,  
Чтоб не закрыла их она.

1901

\* \* \*

В поздний час мы были с нею в поле.  
Я дрожа касался нежных губ...  
«Я хочу объятия до боли,  
Будь со мной безжалостен и груб!»

Утомясь, она просила нежно:  
«Убаюкай, дай мне отдохнуть,  
Не целуй так крепко и мятежно,  
Положи мне голову на грудь».

Звезды тихо искрились над нами,  
Тонко пахло свежестью росы.  
Ласково касался я устами  
До горячих щек и до косы.

И она забылась. Раз проснулась,  
Как дитя, вздохнула в полусне,  
Но, взглянувши, слабо улыбнулась  
И опять прижалась ко мне.

Ночь царила долго в темном поле,  
Долго милый сон я охранял...  
А потом на золотом престоле,  
На востоке, тихо засиял

Новый день, — в полях прохладно стало...  
Я ее тихонько разбудил  
И в степи, сверкающей и алой,  
По росе до дому проводил.

1901



## НОЧЬ

Ищу я в этом мире сочетанья  
Прекрасного и вечного. Вдали  
Я вижу ночь: пески среди молчанья  
И звездный свет над сумраком земли.

Как письмена, мерцают в тверди синей  
Плеяды, Вега, Марс и Орион.  
Люблю я их течение над пустыней  
И тайный смысл их царственных имен!

Как ныне я, мирьяды глаз следили  
Их древний путь. И в глубине веков  
Все, для кого они во тьме светили,  
Исчезли в ней, как след среди песков.

Их было много, нежных и любивших,  
И девушек, и юношей, и жен,  
Ночей и звезд, прозрачно сереб्रивших  
Евфрат и Нил, Мемфис и Вавилон!

Вот снова ночь. Над бледной сталью Понта  
Юпитер озаряет небеса,  
И в зеркале воды, до горизонта,  
Столпом стеклянным светит полоса.

Прибрежья, где бродили тавро-скифы,  
Уже не те, — лишь море в летний штиль  
Все так же сыплет ласково на рифы  
Лазурно-фосфорическую пыль.

Но есть одно, что вечной красотою  
Связует нас с отжившими. Была  
Такая ж ночь — и к тихому прибою  
Со мной на берег девушка пришла.

И не забыть мне этой ночи звездной,  
Когда весь мир любил я для одной!  
Пусть я живу мечтою бесполезной,  
Туманной и обманчивой мечтой, —

Ищу я в этом мире сочетанья  
Прекрасного и тайного, как сон.  
Люблю ее за счастье слиянья  
В одной любви с любовью всех времен!

1901.

\* \* \*

Зарницы лик, как сновиденье,  
Блеснул — и в темноте исчез.  
Но увидел я на мгновенье  
Всю даль и глубину небес.

Там, в горнем свете, встали горы  
Из розоватых облаков,  
Там град и райские соборы —  
И снова черный пал покров.

Вот задрожал и вспыхнул снова —  
И снова блещущий восторг,  
И мрак томления земного  
Господь десницею расторг.

Не так же ль в радости случайной  
Мечта взмахнет порой крылом —  
И вдруг блеснет небесной тайной  
Все потонувшее в былом?

1901

\* \* \*

Спокойный взор, подобный взору лани,  
И все, что в нем так нежно я любил,  
Я до сих пор в печали не забыл,  
Но образ твой теперь уже в тумане.

А будут дни — угаснет и печаль,  
И засинеет сон воспоминанья,  
Где нет уже ни счастья, ни страданья,  
А только всепрощающая даль.

1901

\* \* \*

Высоко наш флаг трепещет,  
Гордо вздулся парус полный,  
Встал, огромный и косой;

А навстречу зыбью плещет,  
И бегут-змеятся волны  
Быстрой, гибкой полосой.

Изумруд горит, сверкая,  
В ней, как в раковине тесной,  
Медью светит на борту;

А кругом вода морская  
Так тяжка и полновесна,  
Точно ртутью налита.

Ходит зыбкими буграми,  
Ходит мощно и упруго,  
Высоко возносит челн —

И бегущими горами  
Принимают друг от друга  
Нас крутые гребни волн.

1901

## УТРО

Светит в горы небо голубое,  
Молодое утро сходит с гор.  
Далеко внизу — кайма прибоя,  
А за ней — сияющий простор.

С высоты к востоку смотрят горы,  
Где за нежно-млечной синевой  
Тают в море белые узоры  
Отдаленной цепи снеговой.

И в дали, таинственной и зыбкой,  
Из-за гор восходит солнца свет —  
Точно горы светлую улыбкой  
Отвечают братьям на привет.

1901

## ВЕСНЯНКА

(Отрывок)

Перед грозой, в Петровки, жаркой ночью,  
Среди лесного ропота и шума,  
Спешил я, спотыкаясь на коряги  
И путаясь меж елок, за Веснянкой.

Она неслась стрелой среди деревьев  
И, белая, мелькала в темноте,  
Когда зарницу ветром раздувало,  
А у меня уж запеклись уста  
И сердце трепетало, точно голубь.  
«Постой!» — хотел я крикнуть — и не мог.

Мы долго с ней бежали по болоту,  
Вдоль озера, вдоль отмели, заросшей  
Купавами, травой и камышами,  
И наконец я выбился из сил.  
Хочу сказать: «Остановись, не бойся!» —  
Она на миг оглянется — и в путь!  
А между тем поднялся ветер,  
Деревья недовольно зароптали,  
Задвигали мохнатой хвоей ели,  
И звезды замелькали из-за них.  
Кричу за ней: «Остановись, послушай!  
Я все равно до света не отстану,  
Ты понапрасну мучишься»... Не слышит!

Вдруг молния всю чащу озарила  
Таинственным и бледносиним светом...  
«Стой! — крикнул я. — Лишь слово! Я не трону...»  
(Она остановилась на мгновенье.)  
«Ответь, — вскричал я, — кто ты? И зачем  
Ты здесь со мной встречалась вечерами,  
Ждала меня над заводью темневшей,  
Где сумрачно и тускло рдели воды?  
Зачем со мной ты слушала, грустя,  
Далеких песен радость молодую?  
Зачем потом, когда они смолкали  
И только комары звенели сонно  
Да нежно пахло сонною водой,  
Ты разбирала ласково мне кудри,  
А я глядел с твоих колен в глаза?  
Зачем во тьме, когда из тихой рощи  
Гремели соловьи, ты наклонялась  
К моей щеке горячею щекой  
И целовала сладко, осторожно,  
А после все томительней и крепче?  
Скажи, зачем?..» Она лицо руками  
Закрыла вдруг и кинулась вперед.

И долго мы, как звери за добычей,  
Опять бежали в роще. Шумный ливень

По темным чащам с громом бушевал,  
Даль раскрывали молнии, и ярко  
Белело платье девичье... Но вдруг  
Оно исчезло, точно провалилось.  
Я выскочил с разбега на опушку,  
Упал в овес, запутанный и мокрый,  
И зарыдал, забился...

1901

\* \* \*

Полями пахнет,— свежих трав,  
Лугов прохладное дыханье!  
От сенокосов и дубрав  
Я в нем ловлю благоуханье.

Повеет ветер — и замрет...  
А над полями даль темнеет,  
И туча из-за них растет,—  
Закрыла солнце и синее.

Нежданной молнии игра,  
Как меч, блеснувший на мгновенье,  
Вдруг озарит из-за бугра —  
И снова сумрак и томленье...

Как ты таинственна, гроза!  
Как я люблю твоё молчанье,  
Твое внезапное блистанье,—  
Твои безумные глаза!

1901

\* \* \*

Пока я шел, я был так мал!  
Я сам себе таким казался,  
Когда хребет далеких скал  
Со мною рос и возвышался.

Но на предельной их черте  
Я перерос их восхождение.  
Один, в пустынной высоте,  
Я чую высших сил томленье.

Земля — подножие мое.  
Ее громада поднимает  
Меня в иное бытие,  
И душу радость обнимает.

Но бездны страх — он не исчез,  
Он набегает издалека..  
Не потому ль, что одиноко  
Я заглянул в лицо небес?  
1901

\* \* \*

Из тесной пропасти ущелья  
Нам небо кажется синей.  
Привет тебе, немая келья  
И радость одиноких дней!

Звучней и песни и рыданья  
Гремят под сводами тюрьмы.  
Привет вам, гордые страданья,  
Среди ее холодной тьмы!

Из рудников, из черной бездны  
Нам звезды видны даже днем.  
Гляди смелее в сумрак звездный —  
Предвечный свет таится в нем!  
1901

\* \* \*

Не слышать еще тяжкого грома за лесом, —  
Только сполох зарниц пробегает в вершинах.  
Лапы елей висят неподвижным навесом,  
И запуталась хвоя в сухих паутинах.

Если ж молния вспыхнет, как пламя над горном,  
Раскрываются чащи в изломах неверных,  
Точно древние своды во храмах пещерных,  
В подземелье Перуна, высоком и черном!  
1901

\* \* \*

Любил он ночи темные в шатре,  
Степных кобыл залихватое ржанье,  
И перед битвой волчье завыванье,  
И коршунов на сумрачном бугре.

Страсть буйной мощи силясь утолить,  
Он за врагом скакал как исступленный,  
Чтоб дерзостью погони опьяненной,  
Горячей кровью землю напоить.

Стрелюю скиф насквозь его пробил,  
И там, где смерть ему закрыла очи,  
Восстал курган — и темный ветер ночи  
Дождем холодных слез его кропил.

Прошли века, но слава древней были  
Жила в веках... Нет смерти для того,  
Кто любит жизнь, и песни сохранили  
Далекое наследие его.

Они поют печаль воспоминаний,  
Они бессмертье прошлого поют  
И жизни, отошедшей в мир преданий,  
Свой братский зов и голос подают.

1901

\* \* \*

Это было глухое, тяжелое время.  
Дни в разлуке текли, я, как мертвый, блуждал;  
Я коня на закате седлал  
И в безлюдном дворе ставил ногу на стремя.

На горе меня темное поле встречало.  
В темноту, на восток, направлял я коня —  
И пустынная ночь окружала меня  
И, склонивши колосья, молчала.

И, молчанью внимая, я тихо склонялся  
Головой на луку. Я без мысли глядел  
На дорожную пыль и душой холодел,  
И в холодной тоске забывался.

1901

\* \* \*

Моя печаль теперь спокойна,  
И с каждым годом все ясней  
Я вижу даль, где прежде знойно  
Синела дымка летних дней...

Так в тишине приморской виллы  
Слышнее осенью прибой,  
Подобный голосу Сибиллы,  
Бесстрастной, мудрой и слепой.

Так на заре в степи широкой  
Слышнее колокол вдали,  
Спокойный, вещий и далекий  
От мелких горестей земли.

1901

\* \* \*

Звезды ночи осенней, холодные звезды!  
Как угрюмо и грустно мерцаете вы!  
Небо тускло и глухо, как купол собора,  
И заливы морские — темны и мертвы.

Млечный Путь над заливами смутно белеет,  
Точно саван ночной, точно бледный просвет  
В бездну Вечных Ночей, в запредельное небо,  
Где ни скорби, ни радости нет.

И осенние звезды, угрюмо мерца  
Безнадежным мерцанием тусклых лучей,  
Говорят об иной, — о предвечной печали  
Запредельных Ночей.

1901

\* \* \*

Шумели листья, облетая,  
Лес заводил осенний вой...  
Каких-то серых птичек стая  
Кружилась по ветру с листвою.



А я был мал,— беспечной шуткой  
Смятенье их казалось мне:  
Под гул и шорох пляски жуткой  
Мне было весело вдвойне.

Хотелось вместе с вихрем шумным  
Кружиться по лесу, кричать —  
И каждый мертвый лист встречать  
Восторгом радостно-безумным!

1901

\* \* \*

Светло, как днем, и тень за нами бродит  
В нагих кустах. На серебре травы  
Луна с небес таинственно обводит  
Сияние вокруг темной головы.

Остановясь, ловлю твой взор прощальный,  
Но в сердце холод мертвенный таю —  
И бледный лик, загадочно-печальный,  
Под бледною луной не узнаю.

1901

\* \* \*

Смотрит месяц ненастный, как сыплются желтые листья,  
Как проносится ветер в беспомощно-зыбком саду.  
На кусты и поляны в тоске припадают деревья:  
«Пронеси, вольный ветер, скорей эту жуткую ночь!»

С неземною печалью глядит затуманенный месяц...  
Ветер в жутком восторге проносится в черных кустах:  
«Достигайте в несчастьи радости мук беспредельных!  
Приготовьтесь к Великому мукой великих потерь!»

1901

### ОТРЫВОК

В окно я вижу груды облаков,  
Холодных, белоснежных, как зимою,  
И яркость неба влажно-голубого.  
Осенний полдень светел, и на север

Уходят тучи. Клены золотые  
И белые березки у балкона  
Сквозят на небе редкою листвою,  
И хрусталем на них сверкают льдинки.  
Они, качаясь, тают, а за домом  
Бушует ветер... Двери на балконе  
Уже давно заклеены к зиме,  
Двойные рамы, топленые печи —  
Все охраняет ветхий дом от стужи,  
А по саду пустому кружит ветер  
И, листья подметая по аллеям,  
Гудит в березах старых... Светел день,  
Но холодно,— до снега недалеко.

Я часто вспоминаю осень юга...  
Теперь на Черном море непрерывно  
Бушуют бури: тусклый блеск от солнца,  
Скалистый берег, бешеный прибой  
И по волнам сверкающая пена...  
Ты помнишь этот берег, окаймленный  
Ее широкой снежною грядой?  
Бывало, мы сбежим к воде с обрыва  
И жадно ловим ветер. Вольно веет  
Он бодростью и свежестью морской;  
Срывая брызги с бурного прибоя,  
Он влажной пылью воздух наполняет  
И снежных чаек носит над волнами.  
Мы в шуме волн кричим ему навстречу,  
Он валит с ног и заглушает голос,  
А нам легко и весело, как птицам...

Все это сном мне кажется теперь.

1901

### ЭПИТАЛАМА

Озарен был сумрак мрачный  
В старом храме, и сиял  
Чистый образ новобрачной  
При огнях, в фате прозрачной,  
Под молитвенный хорал.

А из окон ночь синела;  
Зимний вечер темен был,  
Вьюга в сумраке шумела,  
Грустно с колоколом пела,  
Подымая снег с могил...

Сохрани убор венчальный,  
Сохрани цветы твои:  
В жизни краткой и печальной  
Светит только безначальный,  
Непорочный свет любви!

1901

\* \* \*

Морозное дыхание метели  
Еще свежо, но улеглась метель.  
Белеет снега мшистая постель,  
В сугробах стыннут траурные ели.

Ночное небо низко и черно, —  
Лишь в глубине, где Млечный Путь белеет,  
Сквозит его таинственное дно  
И холодом созвездий пламенеет.

Обрывки туч порой темнеют в нем...  
Но стынет ночь. И низко над землею  
Усталый вихрь шипящею змеєю  
Скользит и жжет своим сухим огнем.

1901

### КУСТАРНИК

Жесткой, черной листвою шелестит и трепещет кустарник,  
Точно в снежную даль убегает в испуге.  
В белом поле стога, козогор и забытый овчарник  
Тонут в белом дыму разгулявшейся вьюги.

Дымный ветер кружит и несет в небе ворона боком,  
Конский след на бегу порошит-заметает...

Вон прохожий вдали. Истомлен на пути одиноком,  
Мертвым шагом он мерно и тупо шагает.

«Добрый путь, человек! Далеко ль до села, до ночлега?»  
Он не слышит, идет, только голову клонит...  
А куда и спешить против холода, ветра и снега?  
Родились мы в снегу,— выюга нас и схоронит.

Занесет равнодушно, как стог, как забытый овчарник...  
Хорошо ей у нас на просторе великом!  
Бесприютная жизнь, одинокий под бурей кустарник,  
Не тебе одолеть в поле темном и диком!

1901

### НА ОСТРОВЕ

Люблю я наш обрыв, где дикою грядою  
Белеют стены скал, смотря на дальний юг,  
Где моря синего раскинут полукруг,  
Где кажется, что мир кончается водою,  
И дышится легко среди безбрежных вод.

В веселый летний день, когда на солнце блещет  
Скалистый известняк и в каждый звонкий грот  
Зеленая вода хрустальной влагой плещет,  
Люблю я зной и ширь, и вольный небосвод,  
И острова пустынные высоты.

Ласкают их ветры, и волны лижут их,  
А чайки зоркие заглядывают в гроты, —  
Косятся в чуткий мрак пещер береговых  
И вдруг, над белыми утесами взмывая,  
Сверкают крыльями в просторах голубых,  
Кого-то жалобно и звонко призывая.

1901

\* \* \*

Не устану воспевать вас, звезды!  
Вечно вы таинственны и юны.  
С детских дней я робко постигаю  
Темных бездн сияющие руны.

В детстве я любил вас безотчетно, —  
Сказкою вы нежную мерцали.  
В молодые годы только с вами  
Я делил надежды и печали.

Вспоминая первые признанья,  
Я ищу меж вами образ милый...  
Дни пройдут — вы будете светиться  
Над моей забытою могилой.

И быть может, я пойму вас, звезды,  
И мечта, быть может, воплотится,  
Что земным надеждам и печалям  
Суждено с небесной тайной слиться!

1901

### ЛЕСНАЯ ДОРОГА

В березовом лесу, где распевают птицы,  
Где в шелковой траве сквозь тень лучи горят,  
Темнеют холмики — могил забытых ряд,  
А под березами, как юные черницы,  
Смирненно елочки зеленые стоят.

Был здесь когда-то скит, как говорят преданья,  
И десять девственниц, отрекшись от земли,  
В нем приняли обет святого созерцанья,  
Держали строгий пост и, как цветы, цвели  
Под пенье божьих птиц и странников сказанья.

Был здесь дремучий бор, в народе говорят,  
Был долгий стан татар, в лесах кипели битвы;  
Потом был этот край спокоен и богат,  
И древний скудный скит и подвиги молитвы  
Забылись, точно сон, уж много лет назад.

Немало было снов, — зачем нам помнить их?  
И вот опять весна. В лесу все зеленеет,  
Лес сенокоса ждет, а небосклон синеет  
Меж белых облаков среди вершин лесных,  
И на глазах трава в полдневном зное млеет.

Пройдет моя весна, и этот день пройдет,  
Но весело бродить и знать, что все проходит,  
Меж тем как счастье жить вовеки не умрет,  
Покуда над землей заря зарю выводит  
И молодая жизнь рождается в свой черед.

Бежит зеленый лес, поют и свещут птицы,  
А вон и озеро, песчаный, белый скат...  
Пошел! И бубенцы играют и гремят,  
В колесах, как лучи, блещут на солнце спицы,  
И кружева теней по лошадям скользят...

1902

## НА ОЗЕРЕ

(Отрывок)

На озере, среди лесов зеленых,  
Кувшинки белые, как звезды, расцвели.  
В Петровки, в жаркий день, когда в бору сосновом  
Так сухо и светло от солнца и песков,  
Я прихожу на луг, под тень ольхи сребристой,  
Где пахнет мятою и теплою водой,  
Где реют радужно-стеклянные стрекозы  
И блещет озеро среди стволов берез.

На озере, в веселый летний полдень,  
Я слышу женский смех, далекий крик и плеск,  
В бору за озером аукается кто-то —  
И сладко мне дремать и слушать в полусне...  
Люблю я молодых, счастливых и беспечных,  
Люблю зеленый лес и долгий летний день,  
Все голоса его меня зовут, волнуют...  
Но я заката жду...

Закроются на озере кувшинки...  
Как ночь в лесу темна, спокойна и тепла!  
Кувнички в траве чуть шепчутся. Сквозь ветви  
Белеет озеро, — там звезды в глубине...  
Стоишь и слушаешь — и кажется, что звезды  
Глядят из темных вод, и светляки в кустах  
Для тех, кто ждет любви, затеплились недвижно...  
И вот она идет, — неслышно и легко.

Таинственно с песчаного побережья  
Она сойдет к воде, одежды тихо сняв, —  
И ласковым теплом вода ее обнимет,  
И закачается у берега звезда.  
Как жутко-хорошо в ночном подводном небе!  
Какая глубина!..  
Прохладны и легки одежды после влаги,  
Песок еще хранит полдневное тепло...  
1902

\* \* \*

Перед закатом набежало  
Над лугом облако — и вдруг  
На взгорье радуга упала,  
И засверкало все вокруг.

Стеклянный, редкий и ядреный,  
С веселым шорохом спеша,  
Промчался дождь, и лес зеленый  
Затих, прохладую дыша.

Вот день! Уж это не впервые:  
Прольется — и уйдет из глаз...  
Как эти ливни золотые,  
Пугая, радовали нас!

Едва лишь добежим до чащи —  
Все стихнет... О, росистый куст!  
О, взор, счастливый и блестящий,  
И холодок покорных уст!  
1902

\* \* \*

Когда вдоль корабля, качаясь, вьется пена  
И небо меж снастей синее в вышине,  
Люблю твой бледный лик, печальная Селена,  
Твой безнадежный взор, сопутствующий мне.

Люблю под шорох волн рыбацкие напевы,  
И свежесть от воды — ночные вздохи волн,  
И созданный мечтой, манящий образ девы,  
И мой бесцельный путь, мой одинокий челн.

1902

\* \* \*

Если б вы и сошлись, если б вы и смирились, —  
Уж не той она будет, не той!  
Кто вернет тот закат, как навек вы простились,  
Темный взор, засиявший слезой?

Дни бегут — и теперь от бывшего остались  
Только думы о том, чего нет,  
Лишь цветы, что цвели в день, когда вы венчались,  
Да поблекший портрет!

1902

\* \* \*

Чашу с темным вином подала мне богиня печали.  
Тихо выпив вино, я в смертельной истоме поник.  
И сказала бесстрастно, с холодной улыбкой богиня:  
«Сладок яд мой хмельной. Это лозы с могилы любви».

1902

\* \* \*

Крест в долине при дороге,  
А на нем, на ржавых копьях  
У подножия распяты,  
Из степных цветов венки...  
Как был ясен южный вечер!  
Как любил я вечерами  
Уходить в простор долины,  
К одинокому кресту!

Тяжело в те дни мне было.  
Я был молод, я навеки  
С тем, кому я отдал душу,  
Расставался в эти дни.  
Чья же грусть мою смиряла?  
Кто, задумчивый и кроткий,  
Сплел в долине при дороге  
Из степных цветов венки?



За широкою долиной,  
В балках, даль полей синела,  
Южный августовский вечер  
Был спокоен, тих и ясен,  
А в долине кто-то пел.  
И звала меня, томила  
Даль полей, что поздним летом  
Так прекрасна и бесстрашна,  
Так безлюдна и грустна.

1902

\* \* \*

Как все спокойно и как все открыто!  
Как на земле стало тихо и бедно!  
Сад осыпается, — все в нем забыто,  
Небо велико и холодно-бледно...

Небо далекое, не ты ли, немое,  
Меня пугаешь своим простором?  
Здесь, в этой бедности, где все родное,  
Встречу я осень радостным взором.

Еще рассеян огонь листопада,  
И редкие краски ласково-ярки;  
Еще синицы свищут из сада,  
И как им тихо в забытом парке!

И только ночью, когда бушует  
Осенний ветер, все чуждо снова...  
И одинокое сердце тоскует:  
О, если бы близость сердца родного!

1902

### БРОДЯГИ

На позабытом тракте к Оренбургу,  
В бесплодной и холмистой котловине  
Большой, глухой дороги на восток,  
Стоит в лугу холщовая кибитка

И бродит кляча в путах. Ни души  
Нет на лугу, — цыган в кибитке дремлет,  
И девочка-подросток у дороги  
Сидит себе одна и равнодушно,  
С привычной скукой, смотрит на закат:  
На солнце, уходящее за пашню,  
На блеск лучей над темным косогором.  
Наморщив лоб от ветра, вся в лохмотьях,  
Она следит в безлюдье за холодным,  
Печальным солнцем, тенью от холма  
И алой пылью, веющей с дороги  
Из-под копыт кобылы, — то молчит,  
То будто грезит, — что-то напевает...  
Какая глушь! Какая скудость жизни!  
Какие заунывные напевы!

Вот вечереет, солнце в тучку село,  
Темнеет в котловине, ветер дует,  
И ночь идет... Пошли господь бродягам  
Не думать днем и не слышать, как ночью  
Штатается в сухом бурьяне ветер  
И что-то шепчет, словно в забытьи!  
Спи под кибиткой, девочка! Проснешься —  
Буди отца больного, запрягай —  
И снова в путь... А для чего, — кто скажет?  
Жизнь, как могила в поле, молчалива.

1902

### ЗАБЫТЫЙ ФОНТАН

Рассыпался чертог из янтаря, —  
Из края в край сквозит аллея к дому.  
Холодное дыханье сентября  
Разносит ветер по саду пустому.

Он замечает листьями фонтан,  
Взвевает их, внезапно налетая,  
И, точно птиц испуганная стая,  
Кружат они среди сухих полян.

Порой к фонтану девушка приходит,  
Влача по листьям спущенную шаль,  
И подолгу очей с него не сводит.

В ее лице — застывшая печаль,  
По целым дням она, как призрак, бродит,  
А дни бегут... Им никого не жаль.  
*1902*

### ЭПИТАФИЯ

Я девушкой, невестой умерла.  
Он говорил, что я была прекрасна,  
Но о любви я лишь мечтала страстно, —  
Я краткими надеждами жила.

В апрельский день я от людей ушла,  
Ушла навек покорно и безгласно —  
И все ж была я в жизни не напрасно:  
Я для его любви не умерла.

Здесь, в тишине кладбищенской аллеи,  
Где только ветер веет в полусне,  
Все говорит о счастье и весне.

Сонет любви на старом мавзолее  
Звучит бессмертной грустью обо мне,  
А небеса синеют вдоль аллеи.

*1902*

### ЗИМНИЙ ДЕНЬ В ОБЕРЛАНДЕ

Лазурным пламенем сияют небеса...  
Как ясен зимний день, как восхишают взоры  
В безбрежной высоте изваянные горы, —  
Титанов снеговых полярная краса!

На скатах их, как сеть, чернеются леса,  
И белые поля сквозят в ее узоры,  
А выше, точно рать, бредет на косогоры  
Темнозеленых пихт и елей полоса.

Зовет их горный мир, зовут снегов пустыни,  
И гнет к ним уйти, — быть вольным, как дикарь,  
И целый день дышать морозом на вершине.

Уйти и чувствовать, что ты — пигмей и царь,  
Что над тобой, как храм, воздвигся купол синий  
И блещет Зильбергорт, как ледяной алтарь!

1902

\* \* \*

Багряная печальная луна  
Висит вдали, но степь еще темна.  
Луна во тьму свой теплый отблеск сеет,  
И над болотом красный сумрак реет.  
Уж поздно — и какая тишина!

Мне кажется, луна оцепенеет:  
Она как будто выросла со дна  
И допотопной лилией краснеет.

Но меркнут звезды. Даль озарена.  
Равнина вод на горизонте млеет,  
И в ней луна столбом отражена.  
Склонив лицо прозрачное, светлеет  
И грустно в воду смотрится она.

Поет комар. Теплом и гнилью веет.

1902

## КОНДОР

Громады гор, зазубренные скалы  
Из океана высятся грядой.  
Под ними берег, дикий и пустой,  
Над ними кондор, тяжкий и усталый.

Померк закат. В ущелья и провалы  
Нисходит ночь. Гонимый темнотою,  
Уродливо-плечистый и худой,  
Он медленно спускается на скалы.

И долгий крик, звенящий крик тоски,  
Вдруг раздается жалобно и властно  
И замирает в небе. Но бесстрастно

Синеет море. Скалы и пески  
Скрывает ночь — и веет на вершине  
Дыханьем смерти, холодом пустыни.

1902

\* \* \*

Широко меж вершин дубравы  
Струилась синяя река;  
Благоухая, сохли травы,  
Дымясь, курились облака.

Дымясь, вставали из-за леса  
На склон небес — и вот одно  
Могучим обликом Зевеса  
Воздвигло снежное руно...

Но тает призрак величавый —  
И снова светозарный сон,  
И снова меж вершин дубравы —  
Лазури пламенный затон.

1902

## ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее собрание сочинений включены избранные произведения И. А. Бунина, написанные в период с 1886 года до последних лет его жизни.

В первые четыре тома входят повести, рассказы и стихотворения; в пятый том — воспоминания и переводы.

В мае 1913 года Бунин заключил договор с товариществом А. Ф. Маркс на издание полного собрания сочинений в шести томах, для которого отобрал из ранее напечатанных книг и отредактировал все, что он считал «достойным включения» в это собрание. Оно вышло в 1915 году приложением к журналу «Нива».

При последующих публикациях произведений, входивших в это издание, Бунин продолжал работать над ними, и в 1934—1936 годах выпустил в издательстве «Петрополис» (Берлин) новое собрание сочинений, в предисловии к которому писал: «В этом собрании окончательно установлен текст всего его содержания (и я очень прошу читателей, критиков и переводчиков пользоваться только этим текстом)». Однако в 1947 году он начал исправлять и это издание и не оставлял работу над ним до последнего года жизни.

В нашем издании тексты печатаются по собранию сочинений 1934—1936 годов, исправленному Буниным, и по отдельным книгам, вышедшим после этого издания и также исправленным автором. Ранние произведения, не вошедшие в берлинское издание, печатаются по полному собранию 1915 года или по их последним публикациям.

Материал располагается в хронологическом порядке с некоторыми отступлениями, допущенными самим автором в перечисленных выше собраниях. Стихи не выделены в отдельный том, в соответствии с традицией, установленной Буниным.

Датировка произведений авторская.

В примечаниях указывается, по какому изданию печатается то или иное произведение. Не даются ссылки на издание только к произведениям, печатаемым по собранию сочинений, выпущенному А. Ф. Марксом.

Подготавливая настоящее собрание, редакция пользовалась личным архивом И. А. Бунина, недавно привезенным в Москву.

## РАССКАЗЫ

1892—1909

**Перевал** (стр. 33).— Напечатано в журнале «Русская мысль», 1901, книга VIII, вместе с рассказами «Костер» и «В августе», под общим заголовком «Три рассказа».

**Танька** (стр. 36).— Напечатано в журнале «Русское богатство», 1893, № 4, апрель, под названием «Деревенский эскиз».

Это заглавие рассказу, посланному в журнал без названия, дала редакция «Русского богатства». Редактор журнала Н. К. Михайловский, вспоминает Бунин в «Автобиографической заметке» (полное собрание сочинений, 1915, шестой том), «написал, что из меня выйдет «большой писатель». Под авторским заглавием «Танька» рассказ был включен в первую книгу рассказов Бунина «На край света», СПб., 1897.

**Кастрюк** (стр. 45).— Напечатано в журнале «Русское богатство», 1895, № 4, апрель, с подзаголовком «Очерк».

На экземпляре второго тома собрания сочинений 1915 года с пометками Бунина, хранящемся в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ), указано место написания рассказа: «Полтава»

В декабре 1901 года А. М. Горький писал Н. Д. Телешову, предполагавшему издать сборник рассказов для народа, чтобы в него был включен «Кастрюк» (М. Горький. Собр. соч., т. 28, М., 1954).

**На хуторе** (стр. 54).— Напечатано в журнале «Русское богатство», 1895, № 5, май, с подзаголовком «Очерк»

Заглавие в первом сборнике рассказов Бунина «На край света» и в книге «Рассказы» (т. 1, издание товарищества «Знание», 1904) — «Фантазер». При последующих перепечатках рассказа Бунин восстановил его прежнее название.

**Вести с родины** (стр. 59).— Напечатано в журнале «Русское богатство», 1895, № 6, июнь, под названием «Неожиданность», с подзаголовком «Очерк».

**На чужой стороне** (стр. 66).— Напечатано в журнале «Мир божий», 1895, № 4, апрель, под названием «Святая ночь».

**На край света** (стр. 71). — Напечатано в журнале «Новое слово», 1895, № 1, октябрь, с подзаголовком «Из записной книжки».

В рассказе описано подлинное событие, которое Бунин наблюдал в селе Казачьи Броды на Украине

«Рассказ этот,— пишет Бунин,— критики так единодушно расхвалили, что прочие журналы стали приглашать меня сотрудничать, а петербургское «Общество попечения о переселенцах» даже обратилось ко мне с просьбой приехать в Петербург и выступить на литературном вечере в пользу какого-то переселенческого фонда». Первое выступление Бунина на литературном вечере, в котором участвовали Мамин-Сибиряк, Потапенко, Засодимский и другие известные писатели, состоялось в начале зимы 1895 года. «Я...— вспоминает Бунин,— читал «На край света» и... имел большой успех» («Автобиографические заметки. III. Из записей», собрание сочинений, издательство «Петрополис», том первый, 1936).

Печатается по книге «Начальная любовь», «Славянское издательство», Прага, 1921.

**Учитель** (стр. 76).— Напечатано в журнале «Новое слово», 1896, № 7, апрель, под названием «Тарантелла», с подзаголовком «Из жизни деревенской интеллигенции».

Печатается по книге «Начальная любовь».

**В поле** (стр. 106).— Напечатано в журнале «Новое слово», год II, № 3, декабрь, 1896, под названием «Байбаки», с подзаголовком «Из быта мелкопоместных». Под заглавием «В поле» рассказ вошел в книгу «Начальная любовь».

О работе над «Байбаками» Бунин сообщал брату Юлию Алексеевичу 5 ноября 1896 года: «Я почти не выхожу, пишу рассказ, Кривенко просит для декабрьской книги». «Сегодня прочитал во второй корректуре «Байбаков» для декабря «Нового слова»... (письмо к нему же от 30 ноября 1896) (ЦГАЛИ).

Печатается по книге «Начальная любовь».

**На Донце** (стр. 119).— Первая публикация не установлена.

Бунин послал рассказ в редакцию журнала «Новое слово», но напечатан в нем он не был. 29 мая 1896 года А. Скабичевский писал Бунину: «К величайшему сожалению, не можем поместить ваш рассказ «На Донце»: очень уж много в нем описаний и мистики и кроме этого ничего. Простите великодушно нас грешных и не сетуйте, а присылайте поскорее нечто вроде вашей прекрасной «Тарантеллы»,— которая всем понравилась» (ЦГАЛИ).

**На даче** (стр. 129).— Заглавие в рукописи — «Сутки на даче». Рассказ был послан в редакцию «Нового слова», но в журнале он не появился. 27 августа 1896 года А. Скабичевский писал Бунину: «К сожалению, не можем напечатать вашего рассказа «Сутки на даче». Больно уж он носит фельетонный характер. Выставлены несколько несообразных уродов, словно нарочно подобранных один к одному, и над всеми ими возвышается толстовец, причем вам не удалось выяснить, как вы относитесь к нему: герой он или тоже урод?» (ЦГАЛИ).

Скабичевский, видимо, единолично решил судьбу рассказа, не показав его другим работникам «Нового слова». 1 ноября 1896 года Бунин писал брату Юлию Алексеевичу, что был у С. Н. Кривенко, редактировавшего журнал, читал ему и его жене «Сутки на даче»: «О ба в восторге. Ведь Кривенко-то не читал. Софья Ермолаевна настаивает, чтобы он поругался с Скабичевским и чтобы рассказ был напечатан в «Новом слове»: Но когда ж теперь?» К этому времени Бунин заканчивал работу над первым сборником своих рассказов и, по предложению издательницы О. Н. Половой, включил в него «Сутки на даче», хотя и сожалел о том, что предвительно не напечатал рассказ в журнале. «Верно уж прямо в книжке пойдет, — писал он в этом же письме брату. — А как жаль-то! Ведь в книжке никто не обратит внимания! Попова хочет через несколько дней печатать» (ЦГАЛИ).

Рассказ впервые появился в сборнике Бунина «На край света» под измененным им названием: «На даче».

В рассказе отразились настроения Бунина, связанные с его увлечением творчеством Л. Н. Толстого, с которым он впервые встретился в январе 1894 года, незадолго до написания «На даче». О своем «толстовстве» Бунин рассказал впоследствии в воспоминаниях «Толстой» (см. пятый том настоящего собрания сочинений).

**Велга** (стр. 161).— Напечатано в газете «Сын отечества», второе издание, 1899, № 4, 5 января, и № 5, 6 января, с подзаголовком «Северная легенда», с посвящением Н. Д. Телешову.

**Без роду-племени** (стр. 169).— Напечатано в журнале «Мир божий», 1899, № 4, апрель, с подзаголовком «Из повести о современных людях».

**Поздней ночью** (стр. 181).— Напечатано в альманахе «Северные цветы», 1901, № 1.

По поводу этого рассказа Бунин писал редактору-издателю «Журнала для всех» В. С. Миролюбову: «Что касается «Поздней ночи» в «Северных цветах», то я и не думал касаться своей семейной жизни. Там



настроение общечеловеческое и фигурируем в нем вовсе не мы с Анной Николаевной (жена Бунина.— П. В.),— никогда в жизни у нас ничего подобного не было» (Архив института русской литературы, Пушкинский дом).

**Антоновские яблоки** (стр. 184).— Напечатано в журнале «Жизнь», 1900, том X, октябрь, с подзаголовком «Картины из книги «Эпитафии».

За десять лет до работы над «Антоновскими яблоками» Бунин в письме от 14 августа 1891 года к В. В. Пашенко уже как бы намечал тему будущего рассказа. Живя в деревне у своего брата Евгения, он писал: «Нынче почти весь день пропадаю на охоте... Я еще у Евгения,— он упрямил меня остаться у него на денек... Вечером мы проболтали с ним до двух часов ночи, но проснулся я все-таки рано. Вышел на крыльцо и увидел, что начинается совсем осенний день. Заря — сероватая, холодная, с легким туманом над первыми зелеными... В саду пахнет «антоновскими» яблоками... Просто не надышишься! Ты ведь знаешь, милый зверочек, как я люблю осень!.. У меня не только пропадает всякая ненависть к крепостному времени, но я даже начинаю невольно поэтизировать его. Хорошо было осенью чувствовать себя именно в деревне, в дедовской усадьбе, с старым домом, старым гумном и большим садом с соломенными валами! Хорошо было ездить целый день по зеленым, проезжать по лесным тропинкам, в полуголых аллеях, чувствовать лесной, холодный воздух!.. Право, я желал бы пожить прежним помещиком! Вставать на заре, уезжая в «отъезжее поле», целый день не слезать с седла, а вечером, с здоровым аппетитом, с здоровым, свежим настроением возвращаться по стемневшим полям домой, где уж блестит, как волчий глаз на лесной опушке, далекий огонек дома... Там тепло, уютно, освещенная столовая я в ней — Варенька!..» (Архив института мировой литературы имени А. М. Горького).

В собрании сочинений 1915 года рассказ начинался со вступления, исключенного Буниным при редактировании «Антоновских яблок» для книги «Начальная любовь»:

«Осень, идут непрерывные дожди; на улицах дребезжат извозчицы экипажи, и с гулом, с грохотом катятся среди толпы тяжелые конки; по целым дням сижу я за работой, гляжу в окно, на мокрые вывески и серое небо, и все деревенское далеко от меня. Но по вечерам я читаю старых поэтов, родных мне по быту, по душе и даже по местности, — средней полосе России. А ящики моего письменного стола полны антоновскими яблоками, и здоровый аромат их — запах меда и осенней свежести — переносит меня в помещицью усадьбу, в тот мир, который скудел, дробился, а теперь уже гибнет, о котором через пятьдесят лет будут знать только по нашим рассказам...»

Для книги «Начальная любовь» было исключено также несколько абзацев (после первого) в четвертой главе, полнее передававших впечатления Бунина об усадебной, деревенской жизни:

«Я надолго покинул родные «палестины», как любят говорить у нас, а когда недавно заглянул в них, невесело встретили меня они. Старые книги, старые портреты, разрозненные и никому не нужные, затерялись по городам, по мешанским хуторкам, по ястребиным гнездам новых помещиков, — гнездам, на которые раздробились прежние поместья. На весь наш уезд приходится теперь три-четыре состоятельных дворянина, но и они живут в деревне уже новою жизнью, чаще всего только летом...»

«Скверное было утро, когда я покинул поезд на нашем полустанке, затерянном среди полей. И поля после долгой городской жизни показались мне мучительно убогими и скучными, когда мужик под дождем потащил меня на телеге к старой нашей усадьбе... Деревушки над лощинами кажутся издали кучами навоза. В лесу,— голом, мокрым и черном,— синеватый туман и шумит сырой ветер, а на проселочной дороге — пустынно, как

в киргизской степи. Навстречу попалась свадьба, — три телеги с бабами, покрывшимися от дождя армяками и подолами верхних юбок. Бабы кричат пьяными голосами песни, стараясь возбудить в себе удалство и веселость. Одна стоит среди телеги, машет платком, с криками погоняет веревочными вожжами лошадь, но лошадь неловко тычет ногами, колокольчики звенят вразбивку, телега не в лад стучит по дороге, удаляя песня выходит фальшивой... Слава богу, показываются более подходящие к этому серому дню фигуры. Едет кабатчик, возвращаясь из города с винными ящиками, в которых тяжело бултыхается в штофах зеленая влага, прокатил на дрожках, весь закиданный грязью из-под колес, урядник, а за ним в тележке поп, рослый, рыжий, в большой шапке и в тулупе с поднятым воротником, который повязан полотенцем, свернутым в жгут на груди и завязанным на спине в узел... А вот из-за бугра, сбегающего к ложине, показываются и деревья нашего сада...

Однако первым впечатлениям не следует доверять. Проходит два-три дня, погода меняется, становится свежей, и усадьба и деревня начинают казаться иными. Начинаешь улавливать связь между прежней жизнью и теперешней, и то, что вспомнилось мне при запахе антоновских яблок, — здоровье, простота и домовитость деревенской жизни, — снова проступает и в новых впечатлениях. Прошло почти пятнадцать лет, многое изменилось кругом, но я опять чувствую себя дома почти так же, как пятнадцать лет тому назад: по-юношески грустно, по-юношески бодро. И мне хорошо среди этой сиротеющей и смиряющейся деревенской жизни.

Печатается по книге «Начальная любовь».

**Эпитафия** (стр. 196). — Напечатано в «Журнале для всех», 1901, № 8, август, под названием «Руда», с подзаголовком «Из книги «Эпитафии». Новое название дано в книге «Начальная любовь». Печатается по этому изданию.

**Над городом** (стр. 200). — Напечатано в «Журнале для всех», 1902, № 11, ноябрь.

Печатается по книге «Начальная любовь».

**Новая дорога** (стр. 204). — Напечатано в журнале «Жизнь», 1901, т. IV, апрель.

Над этим рассказом Бунин работал в конце марта 1901 года. 27 марта он писал из Одессы брату Юлию Алексеевичу: «Послал в «Жизнь» два рассказа — один («Туман») страницы четыре печатных, другой на 1/2 листа — «Новая дорога» (ЦГАЛИ).

**Сосны** (стр. 212). — Напечатано в журнале «Мир божий», 1901, № 11, ноябрь.

Бунин работал над этим рассказом в Ялте, находясь в гостях у Чехова. «Все утро писал «Сосны», — сообщает он брату Юлию Алексеевичу в письме от 21 января 1901 года (ЦГАЛИ).

Впоследствии журнальный отпечаток рассказа был послан Буниним Чехову. «Писал ли я Вам насчет «Сосен»? — спрашивает Чехов в письме к Бунину от 15 января 1902 года. — Во-первых, большое спасибо за присланный отпечаток, во-вторых, «Сосны» — это очень ново, очень свежо и очень хорошо, только слишком компактно, вроде сгущенного бульона» (А. П. Чехов в Полн. собр. соч. и писем, т. XIX, М., 1950).

Печатается по книге «Начальная любовь».

**Мелитон** (стр. 221). — Напечатано в «Журнале для всех», 1901, № 7, июль, под названием «Скит». Новое заглавие дано в книге «Начальная любовь».

«Рад, что вам понравился «Скит», — писал Бунин 1 июня 1901 года в

редакцию «Журнала для всех» В. С. Миролюбову,— постараюсь угодить и на август» (Архив института русской литературы, Пушкинский дом).

Печатается по книге «Начальная любовь».

**Туман** (стр. 227).— Напечатано в журнале «Жизнь», 1901, т. IV, апрель, вместе с рассказом «Новая дорога».

**Костер** (стр. 232).— Напечатано в журнале «Русская мысль», 1901, книга VIII.

Печатается по книге «Начальная любовь».

**В августе** (стр. 235).— Напечатано в журнале «Русская мысль», 1901, книга VIII.

На эту же тему написана XXVII глава пятой книги «Жизнь Арсеньева».

**Осенью** (стр. 238).— Напечатано в журнале «Мир божий», 1902, № 1, январь, с подзаголовком «Эскиз».

Печатается по книге «Начальная любовь».

**Новый год** (стр. 243).— Напечатано в журнале «Русская мысль», 1902, книга I.

**Тишина** (стр. 249).— Напечатано в журнале «Мир божий», 1901, № 7, июль, под названием «На Женевском озере».

Рассказ написан под впечатлением совершенной Буниным поездки по Женевскому озеру. Подробное сообщение о поездке он сделал в письме к брату Юлию Алексеевичу от 18 ноября 1900 года, находясь в местечке Рига-Кульм. Во многом это письмо почти дословно совпадает с теми местами рассказа, где Бунин пишет об озере, горах и «Манфреде» Байрона: «Выехали из Парижа 10-го, вечером приехали в Женеву. Ночь провели в... «Отеле Солнца», вышли утром и поразились тихим, теплым утром. Из нежных туманов, скрывающих все впереди, проступали вдали горы и озеро... Взяли лодку, купили сыру и вина и вдвоем. без лодочника, уехали по озеру... было очень хорошо. Тишина, солнце, лазурное, заштилевшее озеро, горы и дачи. В тишине — звонкий и чистый колокол, издали — и тишина, вечная тишина озера и гор... Помнишь, как в «Манфреде»? Он один. «Уж близок полдень»... Берет из водопада воды хрустальной в пригоршни и бросает в воздух. В радуге водопада появляется Дева Гор...» (ЦГАЛИ).

**«Надежда»** (стр. 253). — Первая публикация не установлена.

После собрания сочинений 1915 года рассказ с небольшими изменениями печатался в книге «Начальная любовь». Позднее Бунин еще раз возвращается к нему, заново исправляя текст «нивского» издания.

Печатается последняя редакция рассказа.

**Сны** (стр. 256). — Напечатано в первом сборнике «Знание» за 1903 год (вышел в 1904 г.) вместе с рассказом «Золотое дно», под общим заголовком «Чернозем». Вошел в сборник рассказов Бунина «Петлистые уши», Издательство им. Чехова, Нью-Йорк, 1954.

В 1953 году в Париже, готовя рассказ для этого сборника, Бунин написал к нему послесловие:

«Рассказ «Сны» написан мною в конце 1903 г., — ползетка тому назад! — слан был напечатан в первый сборник «Знания» и напечатан в нем без моей корректуры, — я был тогда в Ницце, — чем и объясняются многие погрешности этого рассказа в его первой редакции (ныне мною устраненные)... Рассказ, повторяю, был в некоторых частностях далек от совершенства (и, как я уже сказал, не совсем по моей вине). Однако, вот что писал о нем Чехов в письме к Амфитеатрову 13 апреля 1904 года, незадолго до своего рокового отъезда за границу:

«Пишу я теперь мало, читаю много. Сегодня читал «Сборник» изд. «Знания»... прочел там и великолепный рассказ Бунина. Это в самом деле

превосходный рассказ, есть места просто на удивление, и я рекомендую его Вашему вниманию».

Я узнал об этом отзыве Чехова совсем недавно — из собрания чеховских сочинений и писем, вышедшего в Москве также сравнительно недавно. Узнал, конечно, с большой радостью».

Бунин неточно цитирует письмо Чехова, писавшего: «и великолепный рассказ Бунина «Чернозем» (А. П. Чехов. Полное собр. соч. и писем, т. XX, М., 1951). Опуская в этой фразе общее заглавие, под которым первым печатался рассказ «Золотое дно», а вторым «Сны», Бунин пишет так, как будто Чехов говорит только об одном из этих произведений — рассказе «Сны», тогда как в чеховском письме речь идет об обоих рассказах.

О них же писал К. П. Пятницкому А. М. Горький в декабре 1903 года: «Рассказики Бунина читал, и очень они мне нравятся, особенно второй» (М. Горький. Собр. соч., т. 28, М., 1954).

В журнале «Русское богатство» (1904, № 8) В. Г. Короленко напечатал статью «О сборниках товарищества «Знание» за 1903 год». В ней он писал об одной из заметок, посвященных памяти А. П. Чехова, в которой встретил упоминание, что Чехову «очень нравились очерки г. Бунина, озаглавленные «Чернозем». «К сожалению,— писал В. Г. Короленко,— нам приходится сказать, что мы не разделяем этой оценки по отношению к данным очеркам г-на Бунина. Его «Чернозем» — это легкие виньетки, состоящие преимущественно из описаний природы, проникнутых лирическими вздохами о чем-то ушедшем... Эта внезапно ожившая эллигичность нам кажется запоздалой и тепличной. Прежде всего,— мы уже имели ее так много и в таких сильных образцах. В произведениях Тургенева этот мотив, весь еще трепетавший живым ощущением свежей раны, жадно ловился поколением, которому был близок и родствен... И не странно ли, что теперь, когда целое поколение успело родиться и умереть после катастрофы, разразившейся над тенистыми садами, уютными парками и задумчивыми аллеями, нас вдруг опять приглашают вздыхать о тенях прошлого, когда-то наполнявших это нынешнее запустение... Вот то, что г-н Бунин только намечает среди своих эллигических картинок (второй очерк: «Сны»), те толки угрюмым шопотом о старом и новом, которыми делятся в сумраке вагона III класса неясные серые фигуры, — могло бы быть интересно. Но... случайно или неслучайно г. Бунин их не дослушал...» (В. Г. Короленко. Полное собр. соч., т. 5, СПб., 1914).

Печатается по книге «Петлистые уши».

**Золотое дно** (стр. 262). — Напечатано в первом сборнике «Знание» за 1903 год (вышел в 1904 г.) вместе с рассказом «Сны» под общим названием «Чернозем».

**Заря всю ночь** (стр. 268). — Напечатано в сборнике «Корабли», 1907, под названием «Счастье».

Новое заглавие дано рассказу при редактировании его в 1926 году. В собрание сочинений, издательство «Петрополис», рассказ не вошел.

Печатается в последней редакции.

**Далекое** (стр. 273). — Напечатано в журнале «Правда», 1904, март, под названием «В хлебах». Заглавие в собрании сочинений 1915 года — «Сон Обломова-внука». Название «Далекое» дано рассказу при редактировании его в 1926 году. В собрание сочинений, издательство «Петрополис», не вошел.

Печатается в последней редакции.

**Цифры** (стр. 278). — Напечатано в «Товарищеском сборнике» «Новое слово», 1907, книга первая.

**У истока дней** (стр. 286). — Напечатано в альманахе «Шиповник», 1907, книга вторая.

Материалом для рассказа послужили воспоминания Бунина о своих детских годах.

**Белая лошадь** (стр. 296). — Напечатано в альманахе «Шиповник», 1908, книга третья, под названием «Астма».

В 1927 году Бунин переработал рассказ, исключил из него первую и пять последних глав и дал рассказу новое заглавие. В собрание сочинений, издательство «Петрополис», рассказ не вошел.

Печатается в последней редакции.

Ниже приводятся отброшенные при редактировании главы, представляющие самостоятельное художественное значение.

## I

— А и глухая же сторона наша! — весело сказал землемер своим грудным, слегка сиплым тенором.

И, наклонившись, худой волосатой рукой подsunул под сиденье тележки, стоявшей возле хуторской конторы, старые пыльные ботинки, завернутые в газету.

Был теплый сухой вечер конца августа — вечер среди степных полей, таких задумчивых и мирных в засуху позднего лета, после уборки хлеба. Солнце только что закатилось за вишневым садом, окружавшим контору, и не оставило никаких красок после себя. Разве вот стало бледнее голубое однотонное небо, яснее луна на востоке, спокойнее лиловые волнистые равнины, да слышнее осторожный треск пересохших за лето стручков акации... Была во всем этом какая-то большая грусть, но землемеру и она была приятна. Все трогало его нынче, но почему — бог знает. Это чувство, что все хорошо, все восхитительно, бывало у него после долгих томлений в астме. Но астма не душила давно, уже больше месяца.

Помещик Стоцкий, высокий белоглазый блондин в батистовой косоворотке и лакированных сапогах, посмотрел с крыльца с той благодушно-презрительной улыбкой, которая всегда появлялась у него на лице после двух-трех рюмок. Нынче их было выпито пять, и угреватое лицо бывшего семеновца стало так сизо, что редкие белые волосы, тщательно причесанные на косой ряд, казались льняными, а глаза голубовато-оловянными. И глаза эти с легкой улыбкой оглядели землемера — кожаную куртку на шитой малорусской рубахе, штаны, заправленные в сапоги, по-цыгански загорелое и волосатое лицо с добрыми блестящими глазами, черную с проседью бороду... Кивнув работнику, державшему под уздцы коренника, помещик ответил:

— Глухая-то глухая, а вот голову кореннику надо опустить.

Но землемер замахал руками.

— Ни боже мой! — послешно и весело сказал он мягким грудным голосом. — Люблю, грешный человек, с шиком проехать. Вот свернем на дорожку, да и с господом.

— Да и курите же вы! — вставил помещик равнодушно.

— И покурить люблю! — ответил землемер, привычным жестом доставая из бокового кармана камышовый мундштук и старый серебряный портсигар с московским кремлем на крышке.

И, быстро крутя папиросу, еще раз оглядел тележку.

Да, все в исправности! Чуйка на сиденье, сундук с причиндалами — под козлами, тренога — сзади. Про лошадей же и говорить нечего. С закрученными в узлы хвостами и с задранной мордой коренника — прямо чеголи: час езды до неба!

— И, стало быть, прощения просим! — сказал землемер, сняв белый, пропотевший по околышу картуз и по-военному шелкнув каблукми. — Тысячу рублей денег и детей кучу! Дай, боже, и на лето то же.

Вынул и помещик свой портсигар, — плоский, с оранжевым жгутом, с

монограммами вкривь и вкось,— и, постукивая мундштуком папиросы о крышку, мутно усмехнулся.

— Живы ли еще будем, господин хороший! — сказал он.

— Что? — воскликнул землемер, поднимая большие черные брови.— Да ни за что не умру! Вы там как себе хотите, а я — пас. Нет на то моего полного согласия.

— Нас с вами не спросят,— сказал помещик.

— А без спросу — это уж не тае... не годится.

— Не годится-то не годится,— сказал помещик,— а признайтесь-ка, потрухиваете, небось? Недаром не любите разных там пятниц, понедельников и тому подобного...

Землемер сдвинул кистью руки картуз на затылок и слегка нахмурился.

— По совести сказать, не знаю,— ответил он, глядя в землю.— Боюсь, если говорить правду, всю жизнь — и весьма основательно боюсь. В хоре пел, по покойникам читал, а не привык вот...

— То есть как по покойникам? — спросил помещик.— Разве вы из духовных?

— Отчасти,— сказал землемер.— Дед — дьячок, отец — землемер, а я, верно, в деда. В молодости чуть не всю Библию наизусть знал. Теперь забывать стал...

— Стара стала, слаба стала, — вставил помещик армянским голосом.

— Да нет,— простодушно возразил землемер.— Мне ведь всего сорок пятый. А вот — астма! Помните в Долгом коричневого рогатого чорта на алтарной двери? Лежит с высунутым языком, а Гавриил наступил ему на грудь и копьем его... Так вот и смерть: наступит, а ты вывертывайся!

— Ох, какая чертовщина! — прибавил он, закрывая глаза.— Гроб, свечи, венчик... А потом — погост, ночь, холод, темь, лозинки от ветра гудут... А ты лежишь без шапки, в одном сюртучке, весь гнилой, лиловый... Эх, умирать бы по-птичьему, по-звериному!

— Ну, это уж философия,— сказал помещик.— Звери тут ни при чем. Зверь издох — и дело с концом.

— Вот именно! — воскликнул землемер.— Попроше, понимаете, надо! Я, конечно, в этих штуках — как крот в соломе, но что такое смерть? «Я, Чувиль, веселая...»

Работник, державший лошадей, засмеялся и деликатно отвел глаза в сторону.

Засмеялся и помещик.

— Это еще что за Чувиль такой?

— Да сказка такая есть,— ответил землемер с рассеянной улыбкой.— Жил-был, понимаете, какой-то Чувиль, и выросли у него на яблоньке золотые яблоки. Ну, конечно, с ума сошел мужик, стережет луце зеницы ока... И вдруг в одну прекрасную ночь — шась к нему в сад Баба-Яга. Нос крючком, голова сучком, но веселая-развеселая! «Дай яблочка...» Оробел мужик, тряхнул яблоньку... «Нет, ты,— говорит,— из ручки в ручку дай!» И цап его за руку, да в лес, в избушку. А в избушке сидят, понимаете, девки ее простоволосые: Аленка и Акулька. Вот Яга и говорит этак беспечно: «Сжарь-ка мне, Аленушка, Чувиль к ужину, а я пока по делу сбегаю...» Сейчас Аленка к печке, разжарила ее — чертям тошно, посадила мужика на лопату — и трах в огонь! Да не тут-то было! Уперся мужичишка боком, никак не всунет его Аленка. «Что ж ты,— говорит,— не лезешь?» — «Да я не умею,— ты научи, как сесть-то».— «У, дурак, да вот так-то!..» А Чувиль — шмыг ее в печь!

— Да и говорун же вы! — сказал помещик.— Вот у нас в полку был некто Шахов не хуже вас: уморительный субъект.

— Ну-с,— не слушая, продолжал землемер,— та же самая история происходит и с Акулькой...

— Позвольте,— перебил помещик,— я не понимаю: опять, что ли, мужик девку зажарил?

— Ну конечно! — воскликнул землемер. — Да суть-то не в том, а в том, что все-таки добралась Яга до мужика. Посадила на лопату, тащит в печь, да еще и посмеивается: «уж и легок же ты, мужик!» «А ты кинь, — говорит мужик, — авось на век не налопаешься!» — «Да мне и лопать-то не хочется...» — «Вот те на! Так чего ж тебе хочется?» — «А поиграть, да силу твою попробовать: я ведь, Чувиля, веселая!..»

— Хороша, стерва, веселая! — сказал помещик.

Землемер помолчал, рассеянно глядя в землю, и вдруг засмеялся.

— Действительно! — подхватил он, смеясь и думая о чем-то своем. — Действительно! Есть, знаете, у нас в Долгом лавочник и ростовщик, Иван Павлов... Плут первостатейный, но деликатен — на редкость. Ростом под потолок, сюртук — по щиколки, глаза косые, томные... И вот умирает в прошлом году у нашего попа сын... Является Иван Павлов, краснеет, как девица, и говорит: «Имею честь, батюшка, поздравить с новопреставленным!»

— Это великолепно! — воскликнул помещик. — Имею честь поздравить с новопреставленным!

— Так вот, — докончил землемер, — мне все и лезет в голову: задохнешься ночью, а Иван Павлов войдет этак вежливо, поздоровается со всеми за ручку — и радостно поздравит... Но однако пора и честь знать. Доброго здоровья, Николай Николаевич! Спасибо за ласку.

— Прощайте, Егор Гаврилыч, — сказал помещик. — Не забывайте.

— Не прощайте, а до свидания! — шуточно подчеркнул землемер, разбирая вожжи.

И легко вскочил в тележку.

Работник посторонился, и лошади сразу тронули рысью. Помещик посмотрел на широкую и слегка сутулую спину землемера и вдруг, посинев от натуги, заорал не своим голосом:

— Домой!.. Дом-мой, тебе говорят!.. Тишка, лови!

Землемер обернулся и увидел со всех ног бегущего работника. Оказалось, что пегий легаш Кадо выскочил из окна и кинулся следом за тележкой. Но, услышав крик, тотчас же прижался к земле и виновато пополз в сторону. Землемер посмотрел, как работник ловил собаку за ошейник, и засмеялся, как ребенок.

«Боже, что за чудесный пес!» — подумал он с нежностью.

А лошади уже вынесли тележку, мимо картофельных ям и старых ометов, в поле.

## V

В Долгое он приехал перед рассветом.

Нищенка исчезла возле подъема на хохляцкие выселки Ярэськи. И тотчас же после этого он бессильно опустил вожжи. Рубашка на нем была мокрая, сердце билось. Крестьясь, он снял картуз, вытер рукавом потный лоб и почувствовав озноб, накинул на плечи чуйку.

— Что за чушь! — сказал он изумленно и посмотрел в луг.

Но в лугу было пусто.

Он посмотрел с горы в поля за лугом, к юго-востоку — и что-то грозное глянуло ему в глаза. А, это поднимается зимнее небо! Уже встают яркие полночные созвездия: треугольник из алмазов Тельца с рубином Альдебарана посредине, мистическое Всевидящее Око...

Землемер закурил с жадностью, с упоением. Потом почувствовал такую жажду сна, какая бывает только в детстве, после долгого летнего дня.

— Спать, спать! — сказал он, закрывая глаза и опуская голову.

Лошади шли шагом, темные, едко пахнущие потными хомутами и разгоряченным телом. Землемер смотрел на сбитую на бок шлею коренника, хотел поправить кнутовищем — и не мог.

— Спать, спать! — сумрачно говорил он, закрывая глаза. — Я, кажется, с ума схожу.

И тотчас же начинало казаться, что тележка бежит под гору, и от этого замирало сердце, путались мысли...

Вот, чувствуется, случилось что-то. Он слабо открывает глаза и видит, что тележка стоит — и коренник с шумом делает то, для чего остановился.

Луна поднялась высоко-высоко, светлая, бледная ночь стала еще бледнее, и далеко вокруг расстилается равнина, покрытая бледной полынью...  
Степь, поздно, тишина, свежесть...

И опять коренник трогает с места, и опять все путается. Кажется, что по земле, по долине светлой мглой бежит туман, а в тумане — белая легкая лошадь... Землемер открывает глаза — и видит, что коренник опять стоит: большой дымчатый вол лежит посреди глинистой улицы, половина которой покрыта косой зубчатой тенью, а кругом — хаты, хохлацкие выселки. Место ровное, по-степному голое, улица широкая, а направо и налево — бледно-голубые мазанки с квадратными глиняными трубами, такие молчаливые и грустные в этот поздний час долгой лунной ночи. И ни звука! Только осторожно и прерывисто трюкают сверчки в бледно-голубых стенах с темными окошечками, слюдой поблескивающими против луны.

— Ах, дурак, дурак! — с ласковой укоризной говорит землемер кореннику и легонько ударяет его вожжой, объезжая важно дремлющего дымчатого вола с огромными рогами.

А в третий раз он открывает глаза уже в Долгом, упершись оглоблями в ворота своего поместья. Похоже на Ярьески, — только улица еще шире и длиннее, а хаты тонут в палисадниках. Набежал туман на луну, стало совсем прохладно, за воротами хрипло и бодро кричит басом красно-золотой петух. Землемер слезает с тележки, расправляет ноги с родственным чувством к своему поместью, с легкой тревогой — благополучно ли в доме? — и чуть слышно стучит кнутовищем в кухню, в крайнее окно длинного кирпичного дома под железной крышей, почти невидного за высокими мальвами.

И через минуту шелкает задвижка, и на крыльце, ежась и зевая, появляется солдатка Василиса, босая, в короткой юбке, вся теплая и томная со сна.

— Здоровы? — спрашивает землемер, отводя глаза от ее голых плеч.

— Слава богу, живы, здоровы, — улыбаясь и почесывая подмышками, говорит Василиса.

— Ну, возьми лошадей, вели Кузьке распрячь...

## VI

Дома все было благополучно, жизнь текла обычно, и, как всегда по воскресным дням, утром из зала запахло ладаном. Землемер, спавший не раздеваясь, плеснул на лицо водою из умывальника и вышел в зал. В зале было солнечно. На столе, в простенке между окнами, выходящими в палисадник, кипел золотой самовар. Кусочек ладана, брошенный Марьей Яковлевной в его трубу — для праздника, — распространял сладкий церковный запах. Марья Яковлевна, небольшая женщина лет сорока, похожая лицом на Фонвизина, мыла чашки. И, как всегда, землемер поздоровался с ней ласково-иронически и в том же тоне поговорил о делах.

Новостей было мало: только ссора с Иваном Павловым, который опять приписал в книжке.

— Такой свинья! — воскликнула Марья Яковлевна. — Да покарал господь! Помнишь его бланжевого быка? Картошкой подавился!

— Издох? — спросил землемер.

— И часу не прожил! — сказала Марья Яковлевна, раздувая ноздри. — Покарал господь!

Потом взглянула в открытое окно и взволновалась еще больше.



— Ну вот! Полюбуйтесь! — сказала она. — Боже, какие мои дети пошлые! Опять босиком!

Дети были в палисаднике. Толстый трехлетний Котик, одетый, как девочка, важно ходил среди мальв, переваливаясь на кривых ножках. Десятилетний Павлик, худенький, хорошенький, с черными и всегда гневными глазками, закатав до самого паха штанишки, целился из лука в воробьев. Таня и Оля, белобрысые и некрасивые, с замиранием сердца следили за ним.

Землемер посмотрел в окно, слабо крикнул:

— Здравствуйте, наследники! — и, улыбаясь, сказал: — При чем же тут пошлость?

— Ну, конечно! — воскликнула Марья Яковлевна. — У тебя все ни при чем. Ты уж привык потакать им!

И, видя, что землемер слушает рассеянно, с изумлением прибавила:

— Да что это ты как блаженный какой?

— Уморился, — виновато сказал землемер и отвел глаза в сторону...

Перед обедом он опять спал и поднялся с тяжелой головой.

Есть не хотелось, и, как среди мух в жаркий день, было томительно сидеть среди густого терпкого запаха картофельного супа с бараниной, среди баловавшихся детей и крика Марьи Яковлевны. «Тоже — зал называется!» — думал землемер, с кислой улыбкой оглядывая знакомую комнату, вдруг показавшуюся нестерпимо тесной, и противные украшения на ее стенах: Тамару в гробу, крещение Руси и выцветшие фотографические снимки, на одном из которых был он сам — в солдатской позе, в сюртуке, в белом галстуке, в старомодных штанах с раструбами — и Марья Яковлевна, в фате с бессмысленно выпученными глазами. Жадно хотелось пива, и, когда принесли из лавочки холодную бутылку темного толстого стекла, землемер осушил ее почти залпом. Потом вышел за калитку палисадника, на скамейку.

Вечер был ясный, улица, мирная и красивая от белых мазанок и разноцветных мальв, вся розовела против заходящего солнца, блестела стеклами. Стрижи сверлили воздух, кружась над площадью направо, над куполом деревянной церкви. И, как всегда в хороший вечер, с площади, из окон сидельца винной лавки, неслись резкие, ухабистые басы и альты аристонна — звуки краковяка.

Землемер слушал, весь наполняясь этими вызывающими и бьющими по нервам звуками, и тщетно заставлял себя обдумать что-то.

— Ну, привидение так привидение, — тупо говорил он себе, с болезненным наслаждением вспоминая под краковяк только одно, — что белая лошадь была сильна, прекрасна, — и возвращался к другой мысли.

Мысль эта пришла ему в голову еще утром и затем уже не покидала его даже во сне.

«Почему, — напряженно думал он, — почему дети так любят игру в войну, в охоту и в какие-то далекие поездки?»

Чтобы рассеяться, он встал и пошел к хате о. Нифонта, жившего через улицу, напротив.

Загорелый подпасок в старом дворянском картузе гнал по улице кучку темнолиловых баранов, теснившихся друг на друга, мелко перебивавших ножками и поднимающих золотисто-розовую пыль. Белоголовые ребятишки катали визгливую тележку на деревянных кружках вместо колес. По тропинкам возле палисадников, среди засохшей глинистой грязи, шли бабы с подоткнутыми подолами и с коромыслами на плечах и низко кланялись поповой хате, не глядя на нее и вилия кострецами. А поп, тучный, лысый, сидел на лавочке возле палисадника, одной рукой разбирал большую енотовую бороду, а другой гладил ходившего по его плечу тощего котенка мышиного цвета.

— Здравствуйте, здравствуйте, Юрий Милославский! — благодушно сказал он. — Давненько не были. Небось, весь земной шар смерили?

Землемер подсел на лавочку и, принужденно улыбаясь, небрежным тоном рассказал, какая «глупейшая» история приключилась с ним в дороге.

Но на о. Нифонта белая лошадь не произвела никакого впечатления.  
— Бывает, — сказал он. — То ли еще бывает! Вон мои работники недавно жаловались: как только они в сарай, на боковую, так сейчас же козел за стеной: бя-я! А я и козлов-то отроду не водил... Слышали, как бычок-то подковал Ивана Павлова?

Землемеру стало скучно. Вспомнил он однообразие зимних и летних дней в Долгом, вспомнил сон после обеда, Марью Яковлевну, выходящую после сна к чаю с желтым смятым лицом, засиженным мухами... И, раздражаясь, сказал:

— А быка жалко, батюшка! Великолепный был бык! Бывало, бежит — земля дрожит... Глаза огненной кровью налиты... Не нам чета...

— То есть, как не нам чета? — удивленно спросил о. Нифонт, опуская руку, гладившую головастого котенка.

— А так, — резко сказал землемер и почувствовал, что у него похолодели руки. — Сила! Я вот поехал как-то прошлой осенью в город, а в городе зверинец, а в зверинце — лев. Сижу вечером в номере, а стекла так и заливаются! У меня, понимаете, свечка едва коптит, номеришка вонючий, зеркальце на стене от духоты и самоварного пара побелело, а он — как хватит, хватит! Открыл я окно — темь, дождь, все забилось в хибарки, а он так и панует над городом!.. Ах, отец Нифонт, — страстно прибавил землемер, начиная дрожать от волнения, — все-таки нет ничего на свете хуже бессилия!

— Ну, это дело другое, — сказал о. Нифонт. — А то я не понял сперва, какую мысль вы хотите провести. Понятно, страшная сила! Пишут, будто лев может хвостом быка убить...

Землемер вдруг лякнул зубами. Раскрасневшееся солнце только что село за площадью, и все сразу потускнело, поблекло. Неприятный ветер, пыля по площади, добежал до поповой хаты, зашумел в мальвах, и землемер вдруг дернулся и стукнул зубами от холода. Торопливо простившись с о. Нифонтом, он торопливо перешел улицу, торопливо вошел в дом и, не зажигая огня, бросился на постель в своем кабинете — узкой комнате возле зала. В голове, певшей краковяк, вертелась назойливо-мучительная мысль о детской любви к войне, а нывшее тело жадно просило одеял, шуб, полушубков. Перепуганная Марья Яковлевна бегала по темным комнатам, одевала его чем попало, а он видел, что со всех сторон сыплются на него белые лошадиные черепа, заваливают столы, стулья, — и задыхался от духоты, жары и неловкости под этими черепами... А стекла дрожали от далекого львиного рева... Он вспомнил однако, что это не рева, а гром, и, открыв глаза, услышал шум ветра за окном, увидал какой-то золотой сполох, озаривший комнату...

— Марья Яковлевна! — крикнул он слабо.

— Лампу запроваляю, — откликнулась Марья Яковлевна из зала.

И землемер опять потерял сознание.

Приехавший на другой день к вечеру земский врач, человек с изумленными глазами, в очках, с густой огненной бородой и в парусинном балахоне, сказал, что у больного крупозное воспаление легких.

## VII

Воспаление протекло быстро. Но до кризиса землемер пришел в сознание только два раза.

Открыв глаза в первый раз, он узнал Марью Яковлевну, понял, что он дома, что на столике возле кровати горит свечка. Но бока были так крепко скованы острыми, нестерпимо режущими при каждом вздохе железными обручами, глазные яблоки так ломило, а дрожащее пламя свечи было окружено таким печальным и большим мутно-радужным шаром, что он после-

шил повернуть голову к стене, к ковру, на котором был изображен очень прямо сидящий турок в тюрбане, в огромных шальварах и с мундштуком кальяна в руке.

— Ну, как ты себя чувствуешь? — сдерживая слезы и стараясь говорить ровным голосом, спросила Марья Яковлевна.

Но больной не ответил.

Все было так чуждо ему, так скучно, что ответить не хватило силы. А свет дрожал, краснел, турок в тюрбане рос, расплывался, принимал фантастические очертания...

Второй раз сознание держалось дольше. В комнате было темно, Марья Яковлевна всхрипывала в кресле, за окном синела лунная ночь. И землемер вспомнил, как много лет тому назад, когда у него было первое воспаление, он вот так же пришел в себя поздней ночью, в темной комнате... И всю душу его охватила невыразимая тоска. Как молод он был тогда, как восхитительна была даже болезнь! Он целый год жил тогда дома, выгнанный за курение из пятого класса реального училища, готовился в землемерное, пропадал в поле с ружьем и собакой... В жаркий апрельский день напился из ледяного хрустального ключа в голем веселом лесу — и слег в постель. Болезнь была тяжелая, осложненная разлитием желчи, по ночам температура доходила до сорока, но что за ночи стояли тогда! Голова пылает, по телу идет острый колючий холод, а лунный свет так дерзко и ярко сквозит в щели ставни, и соловьи наполняют весь сад таким ярким ликованием, что весь мир кажется сновидением... И во всем существе была непоколебимая уверенность в выздоровлении.

Уверенность эта была, впрочем, и теперь. И так оно и случилось. На шестой день был кризис, а на десятый больной уже ел в постели бульон, пил чай и просто, спокойно разговаривал.

Был он желт, слаб, голова и борода у него сильно поседели, — не слались только одни густые строгие брови, — но это очень шло к нему. Лицо его стало чище, красивее. Марья Яковлевна с радостью рассказывала, как он бредил, какую чепуху он говорил иногда, — и землемер улыбался с ласковой снисходительностью к самому себе.

И с такой же улыбкой, с грустным и приятным сознанием своей слабости, вышел он в первый раз после болезни в зал, в прихожую... Казалось, что уже давно-давно не видел он знакомых комнат!

Глаза у него стали темнее, больше и смотрели на все удивленно, внимательно. На ногах были мягкие туфли, под пиджаком и рубашкой ласково грел тело лифчик из лисьей шкурки. Никуда не нужно спешить, ни о чем не нужно заботиться, — давно не бывало у него таких отрадных дней! Но он уже твердо знал: это его последняя осень. Из головы не выходили воспоминания о белой лошади, — он теперь уж не сомневался, что видел ее, — и мысль о звериной хитрости астмы: не спроста дала она ему такой долгий отдых!

Положим, на то были причины. Астма не уживается с покоем. А он жил очень покойно. Детей целый день нет дома, — почти до вечера уходят в школу, — Котик ребенок тихий, Марья Яковлевна занята по дому. Только и слышишь: «Ах, господи, куда ж это я ключи забельшила?..» И дни текут в тишине, в беззаботном одиночестве... Но почему астма не трогала его все лето?

Вся его жизнь была связана с нею. С ранней молодости он отдавал треть всех своих сил на борьбу с нею, на изучение ее нрава. Она казалась ему живым существом, беспощадным, злым, внимательным. Малейший упадок сил, малейшее расстройство их, малейшая слабость — и астма уже спешит обвиться вокруг его шеи и радостно начинает сдавливать ее...

— Живая, живая! — подумал землемер, волнуясь и бродя по залу, уже полному сумерками, и, взглянув в зеркало, со страхом увидел в нем свое худое лицо, свои расширенные темные глаза, сурово сдвинутые большие брови, свою чистую, гробовую седину.

Он вспомнил канун Ивана Постного,— вечер, в который он уехал от Стоцкого,— вспомнил свою беспричинную радость, тоску и тревогу в дороге, жуткий восторг перед таинственной и злой ночной жизнью... до осязаемости увидел внутренним зрением белую лошадь с прекрасными человеческими глазами... заставил себя удивиться нелепости этого призрака — и не мог! Был в нем теперь только холод отчаяния, сознание, что белая лошадь всем существом своим сказала ему о красоте и беспощадности той живой, той страшной силы, что со всех сторон окружила его, бессильного.

Он весь век чувствовал, что она стережет его, издевается над ним, приходит к нему воровски и внезапно, выжидает ночи. И если он был слаб, ночь не проходила ему даром. Томительная радость, перемешанная со смертельной тоской, овладевала им еще задолго до заката. И как только он, обессиленный, дрожащий, ложился в постель и тушил свечу, тотчас же радостно и бесцельно падала ему на грудь астма. Он пытался бороться. Он вскакивал, зажигал свечу, зеленел, синел от натуги, от жажды хоть единого глотка воздуха — и бедное сердце трепетало и кричало в нем дикими беззвучными криками... Теперь это сердце опять ждало борьбы,— может быть, последней... А с какою жадной начиналась она, с какою страстью и любовью ко всему живому, сильному,— ко всему, что теперь так беспощадно вытесняет его из мира!

Он ушел в кабинет, снял с полки Библию и развернул давно знакомую книгу Иова. На столе лежали какие-то гвозди, старые планы, рассыпанные патроны папирос... Он прилачился с краю и зачитался.

Потом положил локти на книгу и загляделся на кривую лесовку, росшую на пустыре за окном.

Да, вот был человек непорочный, справедливый, богобоязненный. Был он богат, здоров, счастлив. Но истребил сатана, с изволения господня, все его имущество, истребил всех чад его и поразил его проказою от подошвы по самое темя. И взял человек черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне селения. И открыл уста свои и страстно проклял день свой. «Погибни,— сказал он,— день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек! Дыхание мое ослабело; дни мои прошли; думы мои — достойные сердца моего — разбиты; ночью ноют во мне кости мои: ибо летам моим приходит конец, и отхожу я в путь невозвратный.— Скажу богу: за что ты со мною борешься? За что гонишься за мною, как лев, и нападаешь на меня, и чудным являешься во сне? Но не ответит мне бог!»

Было в простоте этих слов, в образе безумно-вдохновенного прокаженного, сидящего в пустыне за селением, скребущего черепком гнойные раны и проклинающего жизнь от колыбели до гроба, что-то столь древнее и в то же время столь близкое во все времена каждому человеческому сердцу, что прежде землемер был не в силах читать этих слов. Но теперь он прочел их спокойно и медленно, чувствуя себя почти равным Иову в безнадежности. Потом просмотрел середину книги — она никогда не нравилась ему запутанным пустословием друзей Иова — и остановился только на словах Сафара:

«Можешь ли ты постигнуть вседержителя? Он превыше небес: что можешь сделать? Глубже преисподней: что можешь узнать? Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку...»

— Ну, вот и ответ! Вот и ответ дикому осленку! — сказал землемер, глядя в сумерки.— Где же спасение? Где приют бессильному?

— Ей, господи, приди и возьми! — вслух сказал он, и брови у него страдальчески сморщились и задрожали.

— Я покоряюсь,— сказал он, восторженно всхлипнув, и, встав с места, трясущимися руками закурил папиросу.

Но тут из прихожей послышался голоса вернувшихся из школы детей, потом чьи-то тяжелые шаги, и в комнату быстро вошла взволнованная, вся пахнувшая осенней свежестью Марья Яковлевна.

— Полюбуйтесь! — воскликнула она. — Иван Павлов капусту прислал! Ну, пря-ямо смотреть не на что! Кочерыжки одни!

Землемер сморгнул слезы, нежно и жалко улыбнулся ей и отвернулся к окну.

## VIII

Вечером на столе горела лампа под абажуром из розовой бумаги и стояла миска со щами. Марья Яковлевна медленно и аккуратно ела, вся поглощенная думами о капусте, а дети щипали друг друга за ноги, вскрикивали от боли, хотали и хватали друг у друга из тарелок, расплескивая по столу. Землемер, сгорбившись, сидел с дымящимся мундштуком в руках и глубоко затыгивался.

Возня детей волновала его, и он глядел на них почти с ненавистью. Руки у него дрожали, глаза лихорадочно блестели, темя ломило, сердце трепетало, в груди, где-то глубоко внутри, чесалось... Было похоже на отравление табаком, на угар.

— Я не буду ужинать, — сказал он, вставая, — лягу спать сейчас, вели шуметь детям...

И затворился в кабинете.

Там он сел в кресло, согнувшись и крепко, с цепкостью сумасшедшего, стиснув ледяными пальцами ручки. Рот его изредка раскрывался, со свистом лова воздух, блестящие глаза были расширены. Лицо посинело от натуги, и поседевшая борода казалась страшной.

Потом, собрав все силы, с поднятыми плечами, он стал жечь на свечке селитренную бумагу и жадно втягивать едкий дым ртом и ноздрями.

Стало немного легче, и тогда он поспешил раздеться, дунул на свечку и тотчас же забылся в наступившей темноте.

Но темнота начала сгущаться, чернеть и давить грудь. Он сделал усилие, вздохнул и перевернулся на бок. Черная темнота заколебалась, поплыла, — и колокольня, обозначившаяся в ней, стала наклоняться, наклоняться — и вдруг вся рухнула на него. Он барахтался, сился освободиться от сыплющихся на него камней, пыли, известки, — и наконец, глухо, по-животному, заревев всем нутром, раскинул их. Раскинул — и, весь в ледяном поту, с трепещущим сердцем, порывисто сел на постели... Нужно было нашарить в темноте коробку со спичками, поскорее зажечь свечу и закурить черную, пахнущую горящим веником сигару Эспик... По крыше шумел проливной дождь, и этот шум, вместе с лихорадочным шумом — и, весь с каждой минутой становился все певучее, наполняясь вызывающими звуками краковяка.

Под утро землемер забылся и, свистя залупшими бронхами, крепко спал до десяти часов утра. Мирный величавый гул, от которого нежно дребезжали стекла, слышался ему сквозь сон. Он открыл глаза и понял, что это колокол: было первое октября, престольный праздник в Долгом. Нежно звенящие стекла были матово-голубые, — значит, перед утром был крепкий мороз; чистый легкий воздух, яркое небо... Землемер освежил водой свое точно заплаканное лицо. В доме было тихо, — все были в церкви, — на столе в зале стоял остывший самовар. Землемер выпил стакан теплого чаю и на минутку вышел на крыльцо, — первый раз после болезни.

Боже, какое невыразимое счастье — дышать! Думать, смотреть, двигаться — это дивно, сладко, но дышать... люди даже и представить себе не могут, чего они лишатся, утратив блаженство пить этот божественный напиток жизни!

И, сладостно слабая от душистой свежести, проникавшей до самой груди, наболевшей груди, землемер прислонился к двери.

На крыльце — яркое радостное тепло, из палисадника тянет холодком сырой земли и вялым ароматом гниющих цветов и листьев. Противоположная сторона улицы еще в тени, и в прозрачном воздухе так близки кажутся

голубовато-белые стены мазанок. Ветви лозин за ними уже голы и четко рисуются на чистой лазури... Какой простор сияет теперь за селом, в степи,— на мерзлых кочковатых дорогах, на озимях, над которыми дрожат острые крылья ястребков и кобчиков! — Но стоять было трудно, воздух пьянил и резал грудь.

Он повернулся и столкнулся с Василисой, выносившей из дому медный поднос с самоваром и чашками. «Вот здоровье!» — острой завистью мелькнуло у него в голове. Не то кукла, не то истукан какой-то! Черные глаза бессмысленно блестят, лицо сизо от густого румянца и цинковых белил, бордовое шерстяное платье, неуклюже сшитое по моде и надушенное «персидской сиренью», чуть не трещит по швам, в черных волосах краснеет бумажная роза, на шее разноцветные бусы...

— С праздником, барин! — сказала Василиса бойко. — Чуть было не задала вас!

И ловко захлопнула дверь ногою.

А в зале, на высоком стуле возле стола, сидел Котик, ел с блюдечка яйцо всмятку и таращил глаза, засовывая в рот чайную ложечку. За столом стояла недавно нанятая нянька, бедная мешанка Пелагея, очень худая и высокая, с длинным лицом, с длинными зубами, в темном старушечьем платье горошком, и говорила печально и рассеянно:

— Вы, батюшка, яичка-то поменьше, а хлеба побольше,— вот и сыты будете...

В одиннадцать пришли из церкви дети и Марья Яковлевна, нарядные, перемонные,— как гости. Марья Яковлевна — в лиловом шелковом платье, маленькой старомодной шляпке; девочки, бледные, некрасивые,— обе в розовом, Павлик, стройный, хорошенький,— в темносинем суконном костюмчике, похожем на матросский. И только один Павлик вошел в комнату бодро, блестя черными злыми глазками. А девочки и Марья Яковлевна еле двигались.

— Ах, боже мой! — жеманно сказала Марья Яковлевна, поставив в угол зонтик и развязывая под подбородком ленту черной корзиночки, чуть державшейся на макушке ее прилизанной головы с широким пробором.

И девочки, крутя головками, томно повторили в один голос:

— Ах, боже, какая духота была в храме!

— Давайте поскорее обедать,— сказал землемер, чувствуя отвращение ко всему своему дому.

Есть не хотелось, но чем, кроме еды, наполнить долгий праздничный день в этом скучном и противном домишке, где интересен только один черноглазый Павлик?

«Я зол, измучился за ночь», — подумал землемер и с тяжелым камнем на сердце лег в постель.

Но сердце дрожало, замирало, и, как только землемер закрыл глаза, постель полетела в бездну. Он с трудом приподнялся, снял пиджак, ситцевую рубашку и швырнул в угол жаркую лисью курточку. Но и рубашка была противна: еще ни разу не мытая, горячая, с запахом галантерейной лавки. От этого запаха тошнило и ломило голову... Потом поднялся мучительный затаенный кашель с насморком... И замученного землемера охватила страстная жажда смерти, нечеловеческого вздоха, от которого сразу лопнуло бы сердце... С этой жаждой он и забылся.

В три часа он внезапно очнулся, услышав какую-то возню в зале, и слабо крикнул:

— Кто там?

Но никто не отозвался.

Марья Яковлевна ушла с детьми в гости к становому. Прислуга была за воротами. И в душе вдруг так ясно, так отчетливо послышались резкие ухабистые звуки, хриплые басы и альты аристана, играющего краковяк, что

на голове зашевелились волосы. И опять с ужасающей яркостью представилась белая лошадь, вошедшая в темнеющий зал.

«Боже, какой вздор! — подумал землемер, закрывая глаза и сляясь освободиться от этого нестерпимо живого образа.— Боже, какое издевательство!»

Вдруг что-то стукнуло. По столу мелькнул длинный хвост большой серой крысы. Землемер затаил дыхание и стал поджидать, что будет дальше.

«Придет или нет? — думал он, дрожа всем телом.— Если придет,— значит, нынче конец мне!»

И, не дождавшись, снова заснул глубоким сном. А когда открыл глаза, весь похолодел от страха: в комнате почти темно, тишина гробовая, а крыса стоит на столе на задних лапках, задом к окну, и пристально смотрит на постель... Ушки подняты и розовеют на свет... Значит, конец! Он спал, как спят перед казнью!

И, весь дрожа от страха и холода, землемер уронил голову на подушку.

— Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей! — пробормотал он умоляюще-бессильно.

Он представил себе свое детство, младенчество — и почувствовал невыразимую жалость к этому бедному маленькому осленку, неизвестно зачем пришедшему в мир и осмелившемуся мудрствовать. Что ответит ему бог в шуме бури? Он только напомним безумцу его ничтожество, напомним, что пути творца неисповедимы, грозны, радостны, и развернет бездну величия своего, скажет только одно: я Сила и Беспощадность. И ужаснет великой красотой проявления этой силы на земле, где от века идет кровавое состязание за каждый глоток воздуха и где беспомощней и несчастней всех — человек.

— Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? — вспомнил он страшные слова, звучавшие когда-то в шуме бури.— Препояшь ныне чресла свои, как муж: я буду спрашивать, а ты отвечай мне...

— О, какая красота! — сказал землемер, и горячие слезы выступили из-под его ресниц.

— Знаешь ли ты время, когда рождают дикие козы на скалах? Они изгибаются, рождая детей своих, а дети их приходят в силу, растут в поле и не возвращаются к ним. Знаешь ли ты, кто разрешил узы онагру, которому степь я назначил домом, а солончаки жилищем? Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих? Ты ли дал перья и пух страусу? Он оставляет яйца свои на песке и забывает, что полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим...

— Все сила, сила и — звериная свобода! — воскликнул землемер, садясь на постели и почти видя в темноте перед собой свою гибель, свою смерть — белую лошадь с дико-веселым, вызывающим и беспощадным взглядом.

— Храпение ноздрей ее — ужас, — с безумным восторгом вспомнил он стихи о лошади в книге Иова.— Роем ногою землю и восхищается силою. В порыве ярости глотает землю и не может устоять при звуке трубы. При звуке трубы издает голос: Гу! Гу! и издалека чувствует битву, громкие голоса вождей и крик...

— А верх путей его! — дерзко и громко, точно в бреду, сказал землемер.— Верх путей его — бык Ивана Павлова... бегемот... левиафан...

— Сила в чреслах бегемота и крепость в мускулах его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Это — верх путей божиих.

— *Астма Ты*, — сказал землемер, блестящими бешеными глазами глядя в темноту и свистя бронхами.

Ночью в тусклом воздухе кабинета тускло горела лампа. Тяжело пахло холодным дымом сигар и жженой бумаги. Землемер, с опухшим пятнистым лицом, с расширенными черными глазами и густой белой бородой, в разорванной сверху рубашке, полулежал на высоко взбитых подушках. Грудь его, покрытая седеющими курчавыми волосами, была в круглых кровоподтеках: вернувшаяся в десять часов от станowego Марья Яковлевна нашла его без сознания и поставила ему банки, зажигая вату и быстро прикрывая стаканами... Стало легче, и он уговорил Марью Яковлевну идти спать. И в доме, после суматохи и беготни, наступила тишина.

В полночь землемер привстал с постели, потушил лампу и закрыл глаза в смертельной жажде отдыха. Но лампа внезапно зажглась снова — сама собою. От страха у землемера опять заколотилось сердце, и он опять пошел тушить ее. И увидал, что он в людном дымном вагоне, бегущем среди зыбких снежных полей, — лежит на диване и смотрит на кавалериста-офицера, сидящего напротив. Офицер молод, красив и крепко-крепко затянут в рейтузы и смешно-короткий китель. Глаза у него блестят, губы яркие, короткие курчавые волосы черны, как смоль. Усики маленькие, нахальные. И, нахально наклоняясь к землемеру, офицер глухо кричит ему на ухо:

— Вы все-таки счастливец! Скоро приедете!

И, наклоняясь все ниже и ниже и чувствуя, что землемер почти не слышит его, кричит еще громче и еще невнятнее:

— А надо вам сказать, что я безумно люблю свою жену...'

Но землемер с отчаянием чувствует, что не слышит его. По лицу офицера видно, что он кричит, — но голоса не слышно. И, задыхаясь от напряжения, землемер вскочил и побежал к воротам скотного двора, упал на землю и нырнул в подворотню, но ворота тотчас же осели — и стопудовой тяжестью притиснули его к земле. Он крикнул и сделал нечеловеческое усилие освободиться... И, вскочив с постели, кинулся к окну, за которым белел рассвет, и с размаху ударил ладонью в раму. Рама распахнулась, в комнату ворвался свежий сырой воздух, но землемер не успел глотнуть его: он упал в кресло и так и остался на месте с закинутой назад головой, выкатившимися белками и раскрытыми посиневшими губами... И долго тянуло в эти раскрытые губы холодной пахучей сыростью ненастного осеннего рассвета...

А в полдень, когда землемер уже спокойно лежал на столе, на сене, застланном простынею, вымытый, причесанный, в куртке и крахмальной рубашке, в зал на цыпочках вошел Иван Павлов, поклонился ему до земли, поцеловал в ледяной лоб, в лиловые выпуклости закрытых глаз и, увидав выходящую из кабинета заплаканную Марью Яковлевну, вежливо, кротко и радостно сказал:

— Имею честь поздравить с новопреставленным.

**Маленький роман** (стр. 303). — Напечатано в журнале «Северное сияние», 1909, № 5, март, под названием «Старая песня». В собрании сочинений 1915 года датирован — 1908. Новое название рассказу дано при переработке его в 1926 году. Тогда же изменена дата его написания: 1909.

В собрание сочинений, издательство «Петрополис», не вошел.

Печатается в последней редакции.

Ниже приводится заключительная глава рассказа, отброшенная при его редактировании.



Были зимне-весенние сумерки, только что начало таять. Я вышел из села, перешел железную дорогу, вскинул ружье на плечи и пошел целиком.

За Каменкой я сбегал с горы в луга, к нашему лесочку «Ключики». Хотелось сделать что-нибудь необыкновенное, и, дойдя до караулки, я постучал в окошечко. Вышел Сибирка, рябой, широкогрудый и приземистый мужик в косматой волчьей шапке.

— Вот, Сибирка, — сказал я ни с того ни с сего, — получил я нынче письмо: помер один мой приятель. Дома скука, хочу у тебя переночевать. Сибирка тряхнул шапкой, зорко глянул мне на ноги.

— Что ж, — сказал он, — царство небесное, вечный покой. Все помрем, да не в одно время.

И сейчас же попросился домой сбегать, ребятишек проведать.

Я согласился и прибавил:

— Ехал я домой, Сибирка, было мне вроде как восемнадцать лет. А теперь мне сорок.

— Горе-то хушь кого смотает, — отозвался Сибирка.

И, кивнув головой, зашагал по темной тропинке, убегавшей в дубняк, по оврагам.

Скоро его коротконогая фигура слилась вдали с сумраком, скрылась за изгородью пустого пчельника в разлужье, где из снега торчали ульи, прикрытые корой и похожие на грибы. И такая тишина была в теплом зимнем воздухе, что хотелось закрыть глаза и стоять так долго, долго... И неподвижно сидели и сонно жмурились у ног моих собаки, — черный в белом жилете Цыган и остромордый рыжий Волчок в своей пушистой шубке.

Стал падать снежок, вывел меня из оцепенения, — и мрачно взглянула на меня пустая изба, когда я отворил ее тяжелую потную дверь. Низкая, просторная, с маленькими окошечками и огромной широкоплечей печью, она производила впечатление жилища почти дикого. Дубки уже гудели в белесой темноте за нею. Возвращалась зима. И, когда я зажег в печи лучины, поставил на них таганчик и чугунок с водою и вышел в сени за хвостом, навстречу мне понесло свежестью метели. Нервно хотелось работать, и, прозябнув в сенях, я с наслаждением вбежал опять в избу и крепко прихлопнул ее черную, липкую дверь.

Изба наполнялась душистым запахом сырых дубовых дров, сказочно была озарена яркой пастью печки. Длинные оранжево-красные языки вырывались из нее, — дрожа, переплетаясь, бежали и лизали устье, и стены, покрытые сажей от топки по-курному, трепетно блестя, как смоляные. Черно-бархатная кошка примостилась на конце широкой лавки у загнетки, ежилась, мурлыкала и жмурилась. Красный голенастый петух, разбуженный огнем, тупо бродил по соломе, в теплом кругу света. А из-под лавки зелеными самоцветами вспыхивали иногда глаза Волчка.

Чугун с кулешом меж тем нагревался. Он уже шипел и запевал задумчивыми жалобными голосами. Дикой красотой старой русской сказки притягивала к себе широкая ярко-цветная игра пламени. И, присев на дубовый обрубок среди полутемной избы, я долго смотрел на бегущие оранжевые ленты.

— Умерла! — говорил я себе — и, вздрагивая, смеялся.

Черный хлеб был липок, как замазка, от чугуна воняло салом, но ел я с жадностью. Свет замирающего пламени дрожал под низким потолком, озарял то окно, то покоробленную доску иконы, стоявшей в переднем углу на лавке. Образ был суздальский, большие косые глаза кого-то, похожего на Будду, были страшны в этом мерцании... Страшны пути твои, господи!

Я настелил на лавке соломы, кликнул в избу Цыгана, кинул в изго-

ловье полушубок... Собаки подошли, посмотрели и, с визгом зевая, легли... И все вокруг стало тихо и печально.

Чтобы не угореть, я не закрыл трубы и не задвинул печку заслонкой. Дрова прогорели, свет медленно меркнул. На мгновение в сумраке у дверей мне померещилась высокая темная фигура...

— Цыган! — слабо крикнул я, приподнявшись, с застучавшим сердцем.

Цыган перекосил и насторожил ухо. Насторожился и Волчок. Однако, прислушавшись, оба поглядели на меня и успокоились. «Спи, никого нет», — сказали мне эти взгляды.

Но красноватая темнота все сгущалась. На мгновение со страшной живостью увидел я ее на лавке против печки. Она была в короткой юбке, свет углей освещал ее ноги. Приподняв руки, она поправляла волосы и, ласково глядя мне в лицо, беззвучно смеялась... Нежность, боль и ужас охватили меня...

Темнота подошла к устью, и последний уголек на загнетке глядел в нее, подобно закрывающемуся глазу. Вот и он померк... Ветер шуршал по завалинке, заносил снегом окошечки. Окошечки тускло серели... Кто-то подошел и заглянул в одно из них... Чья-то высокая тень промелькнула и скрылась...

Я знал: это оборвавшаяся притуга. Но тяжело и страшно было мне, как в могиле. То, что так радостно сыпало дождем сквозь солнце под Москвою, что так вольно звало вдаль над Ляй-Лю, теперь смотрело в окошечко таким тусклым, тусклым оком!

**Птицы небесные** (стр. 311). — Напечатано в двадцать седьмом сборнике «Знание» за 1909 год, под названием «Беден бес».

22 сентября 1909 года Бунин писал А. М. Горькому о том, что отправил этот рассказ в «Знание» («М. Горький. Материалы и исследования», сборник II, М.-Л., 1936).

Рассказ переработан в 1927 году, но в собрание сочинений, издательство «Петрополис», не вошел.

Печатается в последней редакции.

Ниже приводится заключительный эпизод рассказа, отброшенный Буниным при редактировании.

### III

Лежало оно вниз лицом. Подняли его в тот же день, в обед. Но какой-то зверек уже успел изгрызть ему шею.

Станового оно дожидалось в холодной избе старосты. Постелили на полу соломки — и положили...

Закопали просто и равнодушно.

Взглянуть на него студент не решился. Пошел только к выносу, к церкви. Опять был морозный ясный вечер, опять блеснул крест в зеленоватом небе. На крыльце сторожки, возле ворот церковной ограды, без шапки стоял лысый сторож, георгиевский кавалер, и с азартом в сотый раз рассказывал студенту о том, как он был под «Кискинтинополем».

— А боялся ты на войне? — спросил студент. — Смерти-то боишься?

— Смерти-то? Чего ж ее бояться? Двум смертям не бывать, одной не миновать! — бойко ответил сторож.

— Эко-ся! — сказал студент, поддельваясь под его тон. — А ну-ка да нет там ничего, — на том свете-то?

Сторож подумал, хитрыми глазами глядя в землю. И вдруг быстро и восторженно срезал его:

— Так. А кто ж колчег-то строил?

Студент опешил. «Какой такой колчег? Ковчег, что ли?» — хотел спросить он. Но сторож уже заметил, что срезал.

— Вот то-то и оно-то! — воскликнул он восторженно.

«Дикарь!» — подумал студент с сердцем и отвернулся.

Наконец показалась небольшая толпа: несколько человек, без шапок, низко несли на полотенцах огромный тесовый гроб. Ударили в колокол. Подкатали козырьки с высоким и сутулым дяконом и седобородым попом в теплой скуфье.

— Поживей, ребятушки, поживей! — бодро крикнул поп, выпрастывая из козырьков ногу в большой калаше.

И тащившие гроб почти бегом, спотыкаясь под тяжестью, дружной толпой кинулись в ворота среди девок и мальчишек. Студент, с застучавшим сердцем, приподнял картуз и покосился на колени, закрывавший лицо этого странного, всем чужого покойника.

Вдруг из-под горы показался мужик, лохматый, тоже с раскрытой головой, — с детским гробиком подмышкой. Он бежал и весь сиял от радости.

— Разрешил! — крикнул он сторожу и, добежав до церковной ограды, остановился перевести дух. — Дьякон было уперся, а батюшка и слова не сказал!

Сторож хлопнул себя по ляжкам и вытарашил слезящиеся глаза.

— Да что ты? Ну, значит, магарыч! Только что ж ты, дурак, с гробом-то бегал?

Мужик заволновался.

— Чудак человек! Да ты ж сам болтал, — не велит, мол, батюшка без спросу в церковь ставить... Да и тяжести-то всего два фунта.

— А в чем дело? — спросил студент.

— Да в том дело, что уж очень ловко линия мне вышла, — радостно сказал мужик. — То бы мне, значит, для девчонки-то могилку рыть, да батюшку, али, скажем, хоть отца дьякона тревожить, да то, да се, а тут так ловко вышло, что поставлю я ее с господом на этого самого странника — и шабаш!

— Ну вот, к тому я и говорю, — перебил сторож. — К тому и веду, что магарыч с тебя на радостях.

— За мной, брат, не пропадет, — пробормотал мужик, поворачиваясь к воротам.

Долго казалась студенту странной безыменная могила, выросшая на погосте за церковью. Все вспоминались высокий костыль, черные глаза, прядь длинных волос. Хотелось написать рассказ... Но ведь столько уже написано об этих замерзающих! Хотелось озаглавить зло и резко: «Дикари». Но дикари ли? Да и смущал, трогал детский гробик, случайно попавший в эту могилу, на чей-то бестолково-огромный, всем чужой гроб... Разве это выразишь?

## СТИХОТВОРЕНИЯ

1886—1902

**Деревенский нищий** (стр. 320). — С этим стихотворением И. А. Бунин впервые выступил в печати в иллюстрированном еженедельнике «Родина» (1887, № 20, 17 мая).

«Как печально, как скоро померкла...» (стр. 321). — В собрании сочинений, вышедшем в 1915 году приложением к журналу «Нива», датировано:

1886—89. Впоследствии, подготавливая стихи 1886—1902 годов для «будущего собрания» сочинений, Бунин зачеркнул дату: 89<sup>1</sup>.

**Крещенская ночь** (стр. 322). — После собрания сочинений 1915 года редактировалось в 1926 году.

Печатается последний текст.

**«Серп луны под тучкой длинной...»** (стр. 324). — В книге «Начальная любовь» снята указанная в издании 1915 года дата переработки стихотворения: 1894.

Печатается по книге «Начальная любовь».

**Октябрьский рассвет** (стр. 325). — Для нового собрания сочинений снята указанная в издании 1915 года дата переработки стихотворения: 1894.

**«В темнеющих полях, как в безграничном море...»** (стр. 327). — Для нового собрания сочинений Бунин изменил датировку стихотворения (раньше указывался 1897 год) и вычеркнул вторую строфу:

Из зреющих хлебов, как теплое дыханье,  
Порою ветерок касается чела.  
Но спят уже хлеба. Царит кругом молчанье,  
Молчат перепела.

**«В полночь выхожу один из дома...»** (стр. 331). — В собрание сочинений 1915 года не включалось.

Печатается по первому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис», Берлин, 1936.

**«Пустыня, грусть в степных просторах...»** (стр. 331). — В собрание сочинений 1915 года не включалось.

Печатается по первому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**«Как дымкой даль полей закрыв на полчаса...»** (стр. 333). — В собрании сочинений 1915 года первая строка читалась: «Как флером даль полей закрыв на полчаса».

Печатается по книге «Начальная любовь».

В 1899 году М. Горький писал Бунину из Н.-Новгорода:

«Читал и читаю стихи. Хорошие стихи, ей-богу! Свежие, звучные, в них есть что-то детски-чистое и есть огромное чутье природы. Моим приятелям, людям строгим в суждениях о поэзии и поэтах, Ваши стихи тоже очень по душе, и я очень рад, что могу сказать Вам это.

Весел мирный проселочный путь,  
Хороши вы, степные дороги!..

Это просто и красиво, а главное — это искренно и верно!

И хутора, и тополя  
Плывут, скрываясь за полями!..

---

<sup>1</sup> Все стихи первого тома нашего издания, в примечаниях к которым сказано, что они редактировались Буниным для нового собрания сочинений, печатаются по собственноручно исправленному им тексту первого тома собрания сочинений 1915 года. Последние исправления в томе были сделаны Буниным 16 декабря 1952 года.

Миленский мой, это и есть самая чистая поэзия.

...а белые березы  
Роняют тихий дождь своих алмазных слез  
И улыбаются сквозь слезы.

Так оно и бывает — красиво, просто, музыкально!

М. Горький цитирует стихи «На проселке», «В поезде» и «Как дымкой даль полей закрыв на полчаса», вошедшие в сборник Буннина «Под открытым небом», М., 1898 (М. Горький. Собр. соч., т. 28, М., 1954).

«Как все вокруг сурово, снежно...» (стр. 335).— В собрание сочинений 1915 года не включалось.

Печатается по первому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

«На поднебесном утесе, где бури...» (стр. 336).— В собрание сочинений 1915 года не включалось.

Печатается по первому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Цыганка** (стр. 336).— В собрание сочинений 1915 года не включалось.

Печатается по первому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

«Не видно птиц. Покорно чахнет...» (стр. 337).— Печатается по первому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис». Исправляя в июле 1953 года этот том для нового издания, Бунин вычеркнул из стихотворения предпоследнюю строфу:

Теснятся тучи небосводом,  
Синеет резко даль под ним,  
И бодро конь идет по всходам,  
По взметам вязким и сырм.

«Седое небо надо мной...» (стр. 337).— В собрание сочинений 1915 года не включалось.

Печатается по первому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

«Лес,— и ясно лазурное небо глядится...» (стр. 340).— В собрании сочинений 1915 года первая строка читалась: «Зной,— но ясно лазурное небо глядится», а последняя — «Одинокое везде и всегда».

Печатается по книге «Начальная любовь».

«Ту звезду, что качалась в темной воде...» (стр. 340).— В собрании сочинений 1915 года стихотворение датировалось 1901 годом; в книге «Начальная любовь» — 1900; в собрании сочинений, издательство «Петрополис», — 1891.

Печатается по последнему изданию.

«Свежеют с каждым днем и молодеют сосны...» (стр. 341).— В собрании 1915 года печаталось под названием «В феврале» и с посвящением А. М. Жемчужникову. Заглавие и посвящение сняты в книге «Начальная любовь». При редактировании стихотворения в 1952 году была изменена вторая строка. Раньше она читалась: «Чернеет лес, синеет мягко даль».

*Жемчужников* Алексей Михайлович (1821—1908) — русский поэт, активный участник группы поэтов (А. К. Толстой, Александр Михайлович и Владимир Михайлович Жемчужниковы), выступавших под псевдонимом Козьмы Пруткина, оказавший Бунину поддержку в первые годы его поэтического творчества. «Я бывал у него довольно часто,— писал Бунин в 1927 году в «Автобиографических заметках»,— и меня поражала его

неизменная ласковость ко мне, чисто отеческая заботливость к каждому стихотворению, которое я печатал при его содействии в «Вестнике Европы».

«Бушует полая вода...» (стр. 341). — Печатается по книге «Начальная любовь».

Соловьи (стр. 343). — Печатается по книге «Начальная любовь».

«Еще от дома на дворе...» (стр. 344). — Для нового собрания сочинений исключены последние строфы:

А за деревнею, где межи  
В поля привольные бегут,  
Где хуторки белеют реже, —  
Ржи наливают и цветут,  
В лазури жаворонки реют,  
Поют про степь наперебой,  
И, как мираж, курганы мреют  
В дали воздушно-голубой.

«За рекой луга зазеленели...» (стр. 346). — Для нового собрания сочинений исключена последняя строфа:

Горько мне, что сердце так устало,  
А душа горячих сил полна,  
Что для сердца скорбного настала,  
Может быть, последняя весна.

«Крупный дождь в лесу зеленом...» (стр. 347) — Печатается по книге «Начальная любовь».

Ковыль (стр. 350). — Печатается по книге «Начальная любовь».

«Неуловимый свет разлился над землею...» (стр. 352). — Печатается по книге «Начальная любовь».

Костер (стр. 353). — Печатается по книге «Начальная любовь».

«Что в том, что где-то, на далеком...» (стр. 356). — В собрание сочинений 1915 года не включалось.

Печатается по первому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

«В окошко из темной каюты...» (стр. 358). — В собрание сочинений 1915 года не включалось.

Печатается по первому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

«Вьется путь в снегах, в степи широкой...» (стр. 359). — Для нового собрания сочинений исключена пятая строфа:

Мы спешим, мы ищем лучшей доли,  
Мы хотим, чтоб это стало сном —  
И погост, и вешки в белом поле,  
И пустыня в сумраке ночном.

«Беру твою руку и долго смотрю на нее...» (стр. 367). — В собрание сочинений 1915 года не включалось.

Печатается по первому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

«Поздно, склонилась луна...» (стр. 367).— В собрание сочинений 1915 года не включалось.

Печатается по первому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

«Я к ней вошел в полночный час...» (стр. 368).— В собрание сочинений 1915 года не включалось.

Печатается по первому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

«При свете звезд померкших глаз сиянье...» (стр. 368).— В собрание сочинений 1915 года не включалось.

Печатается по первому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

«Все лес и лес. А день темнеет...» (стр. 368).— Для нового собрания сочинений снято заглавие «Из сказки».

«Нынче ночью кто-то долго пел...» (стр. 369).— Печатается по книге «Начальная любовь».

«Враждебных полон тайн на взгорье спящий лес...» (стр. 370).— В собрание сочинений 1915 года не включалось.

Печатается по первому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

«Затрепетали звезды в небе...» (стр. 370).— В собрании сочинений 1915 года и в книге «Начальная любовь» печаталось под названием «Весенний вечер» и датировалось 1901 годом. Дата в собрании сочинений, издательство «Петрополис»,— 1900. При редактировании стихотворения для этого издания Бунин исключил третью строфу:

Всех, для кого берег я юность,  
Кого любил, опять люблю  
И в теплом ветре, в звездном небе  
Вновь ласки женские ловлю,—

а также последнюю:

И снова день меня разбудит,  
И снова,— чем бы ни был я,—  
Я буду жить и сладко плакать  
И славить радость бытия!

Печатается по первому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

«Нет солнца, но светлы пруды...» (стр. 370).— В собрании сочинений 1915 года печаталось под названием «Счастье» и датировалось 1901 годом. Дата в собрании сочинений, издательство «Петрополис»,— 1900. В этом издании Буниным исключена первая строфа:

Весеннего ливня мы ждем...  
Уж тучки синеют сердито  
И в воздухе пахнет дождем,  
А к югу все небо раскрыто...  
Как чисто и весело в нем!

Листопад (стр. 371).— В собрании сочинений 1915 года печаталось с подзаголовком «Осенняя поэма» и с посвящением М. Горькому. Редактировалось Буниным для книги «Начальная любовь», для «Избранных стихов» (1929, Париж) и для собрания сочинений, издательство «Петрополис». Печатается по этому изданию.

При переработке в стихотворении были сделаны следующие изменения и сокращения. Вместо:

И Осень тихую вдовой  
Вступает в пестрый терем свой.

было:

Сегодня на пустой поляне...

И Осень тихую вдовой  
Вступила нынче в терем свой...

Как хорошо ей! На поляне...

После строки «Блестят, как сеть из серебра» исключено:

Пресека узкая, как сени,  
Уходит в терем, а по ней  
Лежит ковер листвы осенней  
Среди кустарников и пней.  
Там, в потаенном чернолесье,  
Всегда затишье: частый бор  
Над ним темнеет в поднебесье  
И окружает светлый двор.

После строки «И снова все кругом замрет» вычеркнуто:

Лес розовеет. А в ворота —  
Среди двух высохших осин —  
Глядят и синева долин,  
И мелколесье, и болота,  
И даль лиловых деревень...  
Как хорошо! Но жаль чего-то,  
И грустно Осени весь день.

Порой задумчиво выходит  
Она на солнце из ворот  
И бродит в поле, и не сводит  
Очей с желтеющих болот.  
Там, по лощинам и полянам,  
Густых кустарников бугры  
Раскинулись широким станом,  
Как темнокрасные шатры.  
Там путь на юг. С немой печалью  
На край небес глядит она,  
Где даль слилась с небесной далью,  
Мечтами тихими полна.  
А день уходит. Небо ясно,  
Прозрачный воздух сух и тих,  
Леса алеют... И безгласно  
Уходит светлый день от них.

После строки «Предвестник долгого ненастья» исключена строфа:

Все строже вдаль она глядит,  
Все резче тайное страданье  
В ее немых очах сквозит...  
Какое вещее молчанье!

После строки «И листьев сыростью гнилой» вычеркнуто:

Наутро слабой и больною  
Проснется Осень. На дворе



Темно и хмуро. За стеною  
Бушует бор, как в ноябре...

Строка «Не жди: наутро не проглянет» в издании 1915 года читалась:  
«Теперь уж долго не проглянет».

Вместо строк:

Но дни идут. И вот уж дымы  
Встают столбами на заре,—

было:

Но дни идут. Свежеет просинь  
Студеных далей. Их простор  
В поля иные тянет Осень.  
Близка зима, стихает бор.

И вот встают столбами дымы  
В селе на утренней заре;

После «Повесят инеи сквозные» исключена строка «Воздвигнут арки кружевные».

Поэма «Листопад» пользовалась большой известностью. Она вошла первым произведением в одноименный сборник стихотворений Бунина, вышедший в 1901 году в издательстве «Скорпион».

В письме к И. А. Бунину А. М. Горький сообщал о получении им сборника «Листопад», о том, что прочитал его вместе с поэтом Скитальцем: «Хорошо! Какое-то матовое серебро, мягкое и теплое, льется в грудь со страниц этой простой, изящной книги. Люблю я, человек мелочной, всегда что-то делающий, отдыхать душою на том красивом, в котором вложено вечное, хотя и нет в нем приятного мне возмущения жизнью, нет сегодняшнего дня, чем я, по преимуществу, живу...» (Письмо без даты. Написано в начале 1901 года, до 15 февраля. Публикуется впервые. Архив имени А. М. Горького).

**На распутье** (стр. 375).— Редактируя стихотворение для нового собрания, Бунин исключил из него пятую строфу:

«Я покинул остров Царь-Девицы,  
Сине море, терем и сады,  
Не ишу я по свету Жар-Птицы,—  
Укажи мне ключ живой воды!»,

а также восьмую и девятую:

И ужели нет пути иного,  
Где бы мог пройти я, не губя  
Ни надежд, ни счастья, ни былого,  
Ни коня, ни самого себя?

Веет поле тишиной великой!  
Мертвецы в могилах древних спят.  
Очарован красотою дикой,  
Опуская я покорно взгляд.

**Вирь** (стр. 376).— Редактируя стихотворение для нового собрания сочинений, Бунин исключил из него строфы пятую и шестую:

Вирь тихо плачет меж ветвей,  
Вирь сострадания не знает,  
И человек идет за ней  
И дней печальных не считает.

Безмолвной жалостью к себе,  
Томленьем сладостным объятый,  
Покорный горестной судьбе,  
Он помнит лишь одни закаты.

**В отъезде поле** (стр. 378).— Редактируя стихотворение для нового собрания сочинений, Бунин исключил из него последнюю строфу:

Старых предков я наследье чую,  
Зверем в поле осенью ночую,  
На заре добычи жду... Скудна  
Жизнь моя, расцветшая в неволе,  
И хочу я слепо в диком поле  
Силу страсти вычерпать до дна!

**«Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет...»** (стр. 379).— Для нового собрания сочинений снято заглавие «В мае».

**«Не угас еще вдали закат...»** (стр. 380).— Редактируя стихотворение для нового собрания сочинений, Бунин снял его заглавие «Новолуние» и переместил строфы, поставив первую после второй.

**«Когда деревья в светлый майский день...»** (стр. 380).— Печатается по книге «Начальная любовь», для которой Бунин исключил последние двенадцать строк:

Мне хорошо, мне грустно и легко  
Тогда мечтать про молодость былую,  
Мне радостно, что я еще тоскую  
О том, что неозвратно-далеко.  
Свой первый май невесело и бедно  
И встретил я и навеки проводил,  
Но я любил, надеялся, грустил —  
И не прошла весна моя бесследно.  
Я не забыл ее святой привет,  
Я знал ее несбыточные грезы,  
Я до сих пор сквозь радостные слезы  
Гляжу на их недолгий, нежный цвет!

**«Лес шумит невнятным, ровным шумом...»** (стр. 380).— После собрания сочинений 1915 года стихотворение печаталось в книге «Начальная любовь» с исключением третьей строфы:

Так привык я к горю и заботам,  
Что мне странен этот ясный день,  
Точно должен упрекнуть себя я  
И за эту радость, и за лень.

Редактируя стихотворение для нового собрания сочинений, Бунин вычеркнул еще заключительные строки:

Но укор в улыбке замирает...  
Лес шумит, дрожит узор теней...  
Убегают светлый лепет листьев,  
Тихий лепет светлых детских дней!

**«Еще утро не скоро, не скоро...»** (стр. 381).— В собрании сочинения 1915 года первая строка читалась: «Отдохни,— еще утро не скоро».

Печатается по книге «Начальная любовь».

**По вечерней заре** (стр. 382).— Печатается по книге «Начальная любовь».

**«Ночь печальна, как мечты мои...»** (стр. 382).— Печатается по книге «Начальная любовь».

Музыку к этому стихотворению написал С. В. Рахманинов.

**Родник** (стр. 383).— Печатается по книге «Начальная любовь».

**Учан-Су** (стр. 383).— Редактируя стихотворение для нового собрания сочинений в 1952 году, Бунин исключил из него последнюю строфу:

А горы в синей вышине!  
А южный бор и сосен шопот!  
— Под этот шум и влажный ропот  
Стоишь, как в светлом полусне!

**Сумерки** (стр. 384) — Печатается по книге «Начальная любовь».

**«На мертвый якорь кинули бакан...»** (стр. 385).— В собрании сочинений 1915 года печаталось под названием «В заливе».

Печатается по книге «Начальная любовь».

**«К побережью моря длинная аллея...»** (стр. 385).— Печатается по книге «Начальная любовь», для которой Бунин исключил четвертую строфу:

Быть может, сон создал мои картины.  
Но пусть! Мой сон — печаль моей любви:  
Вселил ее я в тихие руины,  
И мне отрадны вымыслы мои.

**Ручей** (стр. 387).— Печатается по книге «Начальная любовь».

**«На высоте, на снеговой вершине...»** (стр. 387).— Для нового собрания сочинений снято заглавие «В Альпах» и изменена тринадцатая строка. В издании 1915 года она читалась: «Я вырезал в вечерний час сонет».

**«Еще и холоден и сыр...»** (стр. 388).— Редактируя стихотворение для нового собрания сочинений, Бунин снял его заглавие «Оттепель» и вычеркнул последние строфы:

Она повсюду разлита,—  
В лазури неба, в птичьем пеньи,  
В снегах и вешнем дуновеньи,—  
Она везде, где красота,

И, упиваясь красотой,  
Лишь в ней дыша полней и шире.  
Я знаю,— все живое в мире  
Живет в одной любви со мной

**«Высоко в просторе неба...»** (стр. 388).— Для нового собрания сочинений снято заглавие «Облако».

**«Был поздний час — и вдруг над темной...»** (стр. 389).— В собрании сочинений 1915 года и в книге «Начальная любовь» печаталось под заглавием «Ракета».

Печатается по первому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**«Раскрылось небо голубое...»** (стр. 389).— В собрании сочинений 1915 года и в книге «Начальная любовь» печаталось под названием «Подснежники». В издании «Петрополис» Буниным исключены строфы: вторая:

Зато все ярче и нежнее  
Живая неба бирюза,

И смотрят, весело синяя,  
В кустах подснежников глаза,—

четвертая:

И нежный ветер, подымая  
Весенний шум своим крылом,  
Пахнул широко лаской мая  
И мягким солнечным теплом,—

шестая:

Как утонченно яркие краски,  
Как даль светла и хороша!  
Как жадно верит вешней ласке  
Освобожденная душа!

Заключительные строки в собрании сочинений 1915 года читались:

О, как за этою поляной  
Пресека стройно-глубока!

Печатается по первому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

«Мил мне жемчуг нежный, чистый дар морей!» (стр. 389).— Для нового собрания сочинений снято заглавие «Жемчуг».

«Дымится поле, рассвет белеет...» (стр. 390).— Для нового собрания сочинений снято заглавие «С кургана».

«Гроза прошла над лесом стороною...» (стр. 390).— Редактируя стихотворение для нового собрания сочинений, Бунин исправил последнюю строку. В издании 1915 года она читалась: «Как я люблю тебя!»

В старом городе (стр. 391).— Печатается по книге «Начальная любовь».

«Отошли закаты на далекий север...» (стр. 391).— Печатается по книге «Начальная любовь».

«Облака, как призраки развалин...» (стр. 392).— Редактируя стихотворение для нового собрания сочинений, Бунин исключил последние строфы:

Покоряясь смене, одиноко  
Мы уходим... Скоро догорит  
Наш закат... Но день уж недалеко,—  
Он других улыбкой озарит.

Кто сумеет в эту ночь ответить,  
Для чего лелеял я мечты?  
Не затем ли, чтоб покорно встретить  
Эту смену вечной красоты?

Элегия (стр. 392).— Печатается по книге «Начальная любовь».

На монастырском кладбище (стр. 393).— Печатается по книге «Начальная любовь».

«Зеленый цвет морской воды...» (стр. 394).— Печатается по книге «Начальная любовь».

Ночь (стр. 395).— Печатается по книге «Начальная любовь».

«Зарницы лик, как сновиденье...» (стр. 396).— В собрании сочинений 1915 года и в книге «Начальная любовь» печаталось под названием «Зарница».

Печатается по первому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**«Спокойный взор, подобный взору лани...»** (стр. 396).— Печатается по книге «Начальная любовь».

**«Высоко наш флаг трепещет...»** (стр. 396).— Для нового собрания сочинений снято заглавие «В море».

**Веснянка** (отрывок) (стр. 397).— В собрании сочинений 1915 года стихотворение печаталось полностью. При редактировании его для книги «Начальная любовь» были исключены последние строки:

В вышине,  
Сквозь жидкие, разорванные тучи,  
Мелькали звезды. Ветер предрассветный  
Пахнул с гречих медвяным ароматом,  
И вдруг, открыв глаза, я улыбнулся.  
«О, да! — сказал я, радостно вздохнув: —  
Я страсть сломил... Пойду к ней и скажу:  
«Прости меня, — я изнемог, измучен, —  
Люби других, — меня лишь пожалей.  
Так горестно, так сладко жить на свете,  
Любя неразделенною любовью,  
Но чувствуя, что ты не одинок!»  
И вновь вскочив, я вновь упал на землю.

Я замирал, я трепетал от скорби,  
Стенал, как зверь, и плакал, расточая  
Безумные и нежные слова...  
Потом я обессилел. Наступило  
Седое утро, тихое, сырое,  
Овсы к земле приникли — и устало  
Я головой склонился на между..

Грозы не будет больше. Скоро осень.

Печатается по книге «Начальная любовь».

**«Полями пахнет, — свежих трав...»** (стр. 399).— Для нового собрания сочинений снято заглавие «Под тучей».

**«Пока я шел, я был так мал!»** (стр. 399).— Для нового собрания сочинений снято заглавие «На горах».

**«Не слышать еще тяжкого грома за лесом...»** (стр. 400).— Для нового собрания сочинений снято заглавие «Ночью в июле».

**«Любил он ночи темные в шатре...»** (стр. 401). Для нового собрания сочинений снято заглавие «Курган».

**«Это было глухое, тяжелое время...»** (стр. 401).— Для нового собрания сочинений снято заглавие «Сон-цветок» и исключена третья строфа:

Замыкалось кольцом море спелого хлеба.  
Жизни не было в нем. Уж давно отцвели  
Те цветы, что в полях хороводы вели  
И смотрели в далекое, ясное небо,—

а также последняя:

Поздним летом в степи, на казацких могилах  
«Сон-цветок» в полусне одиноко цветет:  
Он живой, но сухой. Он угаснуть не в силах,  
Но весна для него не придет.

«Светло, как днем, и тень за нами бродит...» (стр. 403).— Редактируя стихотворение для нового собрания сочинений, Бунин исключил из него вторую строфу:

Луна взошла над садом так высоко,  
Что редкий сад весь виден до ворот.  
И все молчит. И веет издалека  
С пустого поля сыростью болот.

**Отрывок** (стр. 403).— Заглавие в собрании сочинений 1915 года — «Из дневника». Новое название дано при редактировании стихотворения в 1952 году. Тогда же после строки «Но холодно,— до снега недалеко» вычеркнуто:

В конце аллея есть старая калитка.  
Под нею лужа зеркалом чернеет,  
А в луже — куча листьев. За калиткой  
Зеленых всходов лоснится равнина  
И даль полей открыта... Много дней  
Вдоль тех аллея, среди берез гудящих,  
Под холодом и ветром я скитался,  
Пытаясь к одиночеству привыкнуть,  
Забыть тебя, унять тоску разлуки,  
Пока недуг тоски не поборол...  
Теперь я отдыхаю. Одиноко  
Проходят дни, но горе миновало.  
Мне радостно глядеть теперь на небо,  
На облака, на солнце... Я с улыбкой  
Внимаю песне ветра, что разгульно  
Весь день звенит и свищет в щели рам.

После строки «А нам легко и весело, как птицам» вычеркнуто:

Ты помнишь, что я говорил тебе?  
«Не надо думать в радости и горе!  
Люби и грусть, и радость,— песни жизни».

Вычеркнуты и заключительные строки:

Деревня, глушь, забытая усадьба,  
И только ветер тот же... Он играет  
В березах старых, кружится по саду  
И в щели рам, меняясь каждый миг,  
Поет о чем-то, звонко и высоко...  
Какое дело ветру до сомнений,  
До слез о прошлом? Жизнь не замечает  
Свой вольный бег,— она зовет вперед,  
Она поет, как ветер, лишь о вечном!  
Зачем смущать себя бесплодной думой,  
Что мы живем не счастьем, а надеждой  
На это счастье,— что никто не знает,  
К чему все наши радости и скорби,  
Когда нас ждет забвение, ничто?  
Умру — и все ж останусь в этом мире,  
Как часть его великой, вечной жизни,  
И пусть, пока я сознаю его,  
Пока я это чувствую и мыслю,  
Пусть сердце не смущается в печали,  
Пусть познаёт, что и печаль, и радость  
Равно прекрасны в вечной жажде — жить!

**Эпиталама** (стр. 404).— Редактируя стихотворение для нового собрания сочинений, Бунин исключил из него третью строфу:

Восприми же в час урочный  
Юной жизни торжество.  
Будь любимой, непорочной:  
Близок мертвый час полночный,  
Близок сон и мрак его.

**Кустарник** (стр. 405).— Печатается по книге «Начальная любовь».

**На острове** (стр. 406).— Печатается по книге «Начальная любовь».

**«Не устану воспевать вас, звезды...»** (стр. 406).— Редактируя стихотворение для нового собрания сочинений, Бунин снял заглавие «Звезды» и исправил первую строку. В издании 1915 года она читалась: «Не устанем воспевать вас, звезды!»

**Лесная дорога** (стр. 407).— Печатается по книге «Начальная любовь».

**«На озере»** (отрывок) (стр. 408).— В собрании сочинений 1915 года печаталось без подзаголовка. В книге «Начальная любовь» дан тот же текст, что и в собрании, с исключением из шестнадцатой строки слов: «Я жду иной любви», из тридцатой: «Но поздно,— выходи!..»

Печатается по книге «Начальная любовь».

**«Перед закатом набежало...»** (стр. 409).— В собрании сочинений 1915 года и в книге «Начальная любовь» печаталось под названием «Первая любовь».

Печатается по первому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**«Когда вдоль корабля, качаясь, вьется пена...»** (стр. 409).— Печатается по книге «Начальная любовь».

**«Если б вы и сошлись, если б вы и смирились...»** (стр. 410).— Редактируя стихотворение для нового собрания сочинений, Бунин исключил из него первую строфу:

Что напрасно мечтаты! Кто на песню откликнется?  
Каждый слышит в ней только свое...  
Пусть же сердце скорей с одиночеством свыкнется:  
Все равно не воротить ее!

**«Чашу с темным вином подала мне богиня печали...»** (стр. 410).— Печатается по книге «Начальная любовь».

**«Крест в долине при дороге...»** (стр. 410).— Редактируя стихотворение для нового собрания сочинений, Бунин исключил последние строки:

Память сердца, образ милый!  
Все, чем молодость смущала,  
Все, чем сладко упивалось  
Молодое сердце в скорби,  
Все теперь слилось с тобой.  
С тайной болью вспоминаю  
То, чего забыть нет силы,  
Но с печального пути  
Все назад гляжу с печалью,  
Все надеюсь, что услышу  
Хоть последнее «прости!»

**«Как все спокойно и как все открыто!..»** (стр. 411).— Печатается по книге «Начальная любовь».

**Бродяги** (стр. 411).— Редактируя стихотворение для нового собрания сочинений, Бунин после строки «Какие заунывные напевы!» вычеркнул:

Бродя по свету, выгнанный из дому  
Нуждой и скукой, часто вспоминаю  
Я собственное детство: протекло  
Оно в степи, среди лощин и пашен,  
Среди таких же голых косогулов,  
Как вот на этом тракте; много тихих  
Печальных детств зачем-то расцвело  
И расцветет не раз еще в безлюдье  
Степных полей; мне тяжело любить их,  
Но как забыть родное?  
Ни души  
Нет на лугу...

**Забывтый фонтан** (стр. 412).— Печатается по книге «Начальная любовь».

**Эпитафия** (стр. 413).— Печатается по книге «Начальная любовь».

**Зимний день в Оберланде** (стр. 413).— Печатается по книге «Начальная любовь».

**«Багряная печальная луна...»** (стр. 414).— В собрании сочинений 1915 года и в книге «Начальная любовь» печаталось под названием «Сиваш».

Печатается по первому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

**Кондор** (стр. 414).— Печатается по книге «Начальная любовь».

*П. ВЯЧЕСЛАВОВ*



## СОДЕРЖАНИЕ

*Л. В. Никулин, И. А. Бунин* . . . . . 3

### РАССКАЗЫ

1892—1909

Перевал . . . . .	33
Танька . . . . .	36
Кастрюк . . . . .	45
На хуторе . . . . .	54
Вести с родины . . . . .	59
На чужой стороне . . . . .	66
На край света . . . . .	71
Учитель . . . . .	76
В поле . . . . .	106
На Донце . . . . .	119
На даче . . . . .	129
Велга . . . . .	161
Без роду-племени . . . . .	169
Поздней ночью . . . . .	181
Антоновские яблоки . . . . .	184
Эпитафия . . . . .	196
Над городом . . . . .	200
Новая дорога . . . . .	204
Сосны . . . . .	212
Медитон . . . . .	221
Туман . . . . .	227
Костер . . . . .	232
В августе . . . . .	235
Осенью . . . . .	238
Новый год . . . . .	243
Тишина . . . . .	249
«Надежда» . . . . .	253
Сны . . . . .	256
Золотое дно . . . . .	262
Заря всю ночь . . . . .	268
Далекое . . . . .	273

Цифры . . . . .	278
У истока дней . . . . .	286
Белая лошадь . . . . .	296
Маленький роман . . . . .	303
Птицы небесные . . . . .	311

## СТИХОТВОРЕНИЯ

1886—1902

«Шире, грудь, распахнись для принятия...» . . . . .	319
Поэт . . . . .	319
Деревенский нищий . . . . .	320
«Месяц задумчивый, полночь глубокая...» . . . . .	321
«Как печально, как скоро померкла...» . . . . .	321
Крещенская ночь . . . . .	322
Полевые цветы . . . . .	323
На пруде . . . . .	324
«Серп луны под тучкой длинной...» . . . . .	324
Затишье . . . . .	325
Октябрьский рассвет . . . . .	325
«Высоко полный месяц стоит...» . . . . .	325
«Помню — долгий зимний вечер...» . . . . .	326
Метель . . . . .	327
«В темнеющих полях, как в безграничном море...» . . . . .	327
«Какая теплая и темная заря!» . . . . .	327
«Бледнеет ночь... Туманов пелена...» . . . . .	328
«Осыпаются астры в садах..» . . . . .	328
«Не пугай меня грозою...» . . . . .	329
«Туча растаяла. Влажным теплом...» . . . . .	329
«Ветер осенний в лесах подымается...» . . . . .	330
«В полночь выхожу один из дома...» . . . . .	331
«Пустыня, грусть в степных просторах...» . . . . .	331
«Далеко за морем...» . . . . .	331
Три ночи . . . . .	332
«Один встречаю я дни радостной недели...» . . . . .	333
«Как дымкой даль полей закрыв на полчаса...» . . . . .	333
В степи . . . . .	334
«Как все вокруг сурово, снежно...» . . . . .	335
«На поднебесном утесе, где бури...» . . . . .	336
Цыганка . . . . .	336
«Не видно птиц. Покорно чахнет...» . . . . .	337
«Седое небо надо мной...» . . . . .	337
«...Зачем и о чем говорить?» . . . . .	337
«...Поздним летом...» . . . . .	338
Подражание Пушкину . . . . .	339
«Нет, не о том я сожалею...» . . . . .	339
Родине . . . . .	339
«Лес,— и ясно лазурное небо глядится...» . . . . .	340
«Ту звезду, что качалась в темной воде...» . . . . .	340
«Свежеют с каждым днем и молодеют сосны...» . . . . .	341
«Бушует поляя вода...» . . . . .	341
«Догорел апрельский светлый вечер...» . . . . .	342
Соловьи . . . . .	343
«Гаснет вечер, даль синееет...» . . . . .	344
«Еще от дома на дворе...» . . . . .	344
Весеннее . . . . .	345

«В стороне далекой от родного края...»	345
«За рекой луга зазеленели...»	346
«Крупный дождь в лесу зеленом...»	347
В поезде	347
«Ночь идет — и темнеет...»	348
«...И снилось мне, что осенней порой...»	348
Мать	349
Ковыль	350
«Могилы, ветряки, дороги и курганы...»	351
«Неуловимый свет разлился над землею...»	352
«Если б только можно было...»	352
«Нагая степь пустыней веет...»	352
Костер	353
«Ночь наступила, день угас...»	354
На проселке	354
«Долог был во мраке ночи...»	355
«Поздний час. Корабль и тих и темен...»	355
«Что в том, что где-то, на далеком...»	356
Родина	356
«Ночь и даль седая...»	357
На Днепре	357
Кипарисы	358
«В окошко из темной каюты...»	358
«Вьется путь в снегах, в степи широкой...»	359
«Отчего ты печально, вечернее небо?»	360
Северное море	360
На хуторе	361
«Скачет пристяжная, снегом обдаёт...»	361
«Снова сон, пленительный и сладкий...»	362
«Счастлив я, когда ты голубые...»	362
«Звезды ночью весенней нежнее...»	362
На дальнем севере	363
Плеяды	363
«И вот опять уж по зарям...»	364
«Листья падают в саду...»	364
«Таинственно шумит лесная тишина...»	365
«В пустынной вышине...»	366
«Беру твою руку и долго смотрю на нее...»	367
«Поздно, склонилась луна...»	367
«Я к ней вошел в полночный час...»	368
«При свете звезд померкших глаз сиянье...»	368
«Все лес и лес. А день темнеет...»	368
«Как светла, как нарядна весна!»	369
«Нынче ночью кто-то долго пел...»	369
«Зеленоватый свет пустынной лунной ночи...»	369
«Враждебных полон тайн на взгорье спящий лес...»	370
«Затрепетали звезды в небе...»	370
«Нет солнца, но светлы пруды...»	370
Листопад	371
На распутье	375
Вирь	376
Последняя гроза	377
В отъезде поле	378
После половодья	379
«Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет...»	379
«Не угас еще вдали закат...»	380
«Когда деревья в светлый майский день...»	380

«Лес шумит невнятным, ровным шумом...»	380
«Вдали еще гремит, но тучи уж свалились...»	381
«Еще утро не скоро, не скоро...»	381
По вечерней заре	382
«Ночь печальна, как мечты мои...»	382
Рассвет	383
Родник	383
Учан-Су	383
Зной	384
Сумерки	384
«На мертвый якорь кинули бакан...»	385
«К побережью моря длинная аллея...»	385
«Открыты жнивья золотые...»	386
Ручей	387
«На высоте, на снеговой вершине...»	387
«Еще и холоден и сыр...»	388
«Высоко в просторе неба...»	388
«Был поздний час — и вдруг над темнотою...»	389
«Раскрылось небо голубое...»	389
«Мил мне жемчуг нежный, чистый дар морей!»	389
«Дымится поле, рассвет белеет...»	390
«Гроза прошла над лесом стороною...»	390
В старом городе	391
«Отошли закаты на далекий север...»	391
«Облака, как призраки развалин...»	392
Элегия	392
На монастырском кладбище	393
Кедр	393
«Зеленый цвет морской воды...»	394
«В поздний час мы были с нею в поле...»	394
Ночь	395
«Зарницы лик, как сновиденье...»	396
«Спокойный взор, подобный взору лани...»	396
«Высоко наш флаг трепещет...»	396
Утро	397
Веснянка	397
«Полями пахнет, — свежих трав...»	399
«Пока я шел, я был так мал!»	399
«Из тесной пропасти ущелья...»	400
«Не слышать еще тяжелого грома за лесом...»	400
«Любил он ночи темные в шатре...»	401
«Это было глухое, тяжелое время...»	401
«Моя печаль теперь спокойна...»	402
«Звезды ночи осенней, холодные звезды!»	402
«Шумели листья, облетая...»	402
«Светло, как днем, и тень за нами бродит...»	403
«Смотрит месяц ненастный, как сыплются желтые листья...»	403
Отрывок	403
Эпиталама	404
«Морозное дыхание метели...»	405
Кустарник	405
На острове	406
«Не устану воспевать вас, звезды!»	406
Лесная дорога	407
На озере	408
«Перед закатом набежало...»	409
«Когда вдоль корабля, качаясь, вьется пена...»	409

«Если б вы и сошлись, если б вы и смирились...» . . . . .	410
«Чашу с темным вином подала мне богиня печали...» . . . . .	410
«Крест в долине при дороге...» . . . . .	410
«Как все спокойно и как все открыто!» . . . . .	411
Бродяги . . . . . ; ;	411
Забывтый фонтан . . . . .	412
Эпитафия . . . . .	413
Зимний день в Оберланде . . . . .	413
«Багряная печальная луна...» . . . . .	414
Кондор . . . . . ;	414
«Широко меж вершин дубравы...» . . . . .	415
Примечания . . . . .	416

---

И. А. БУНИН.  
Собрание сочинений  
в пяти томах. Том 1.

Оформление художника  
П. П. Зубченкова.

Технический редактор А. Ефимова.

---

А 11101. Подп. к печ. 10/VIII 1956 г.  
Тираж 250 000 экз. Изд. № 758.  
Заказ 1139. Формат бум. 60×92<sup>1/4</sup>.  
Бум. л. 14,25. Печ. л. 28,5+1 вкл.  
(0,125 п. л.). Уч.-изд. л. 26,41.

---

Ордена Ленина типография газеты  
«Правда» имени И. В. Сталина.  
Москва, улица «Правды», 24.

